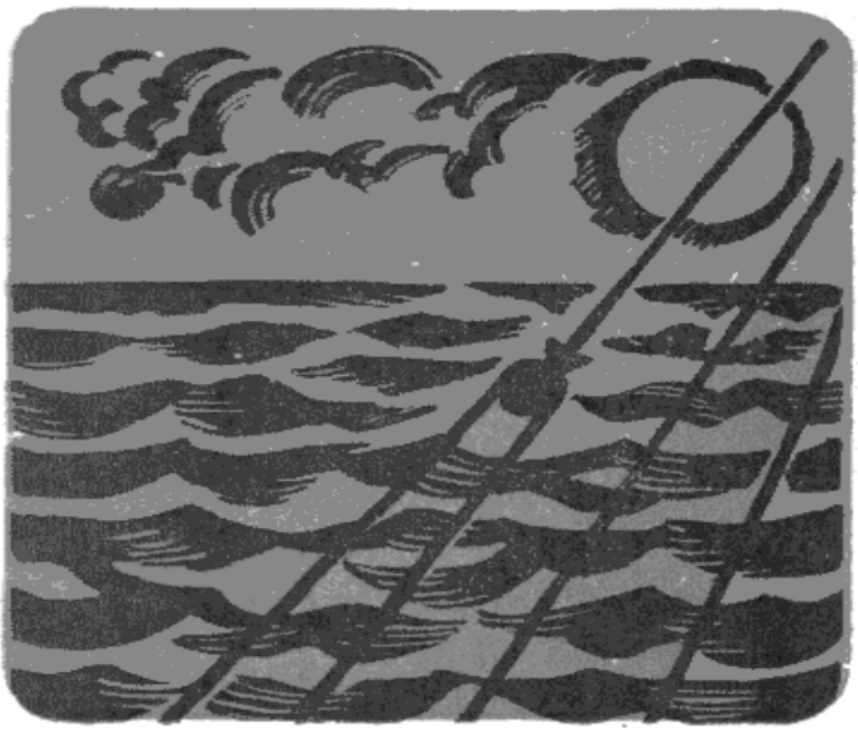
ЮРИЙ КЛИМЕНЧЕНКО

КОРАБЛЬ ИДЕТ ДАЛЬШЕ



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Корабль идет дальше» — документальная автобиографическая повесть. Здесь нет вымысла — только события, фамилии, факты, сюда вошли также воспоминания автора о четырехлетнем пребывании в баварской тюрьме-лагере в 1941–1945.

- Юрий Клименченко
  - От автора
  - Часть первая
    - Ветер дальних странствий
    - Мореходка
    - Лидочка
    - Первое плавание
    - Под парусами
    - «Мироныч»
    - Михаил Петрович
    - Лонг Алек
    - Диплом
    - КЭБ
    - Корабль несчастий
    - Выговор
    - Голубчик
    - Океан
    - «Костер»
    - Школа
  - Часть вторая
    - Накануне
    - Война
    - Штеттинский лагерь
    - Бланкенфельде
    - Замок Вюльцбург
    - За воротами
    - Офицеры
    - Побег
    - Начало конца
    - Дорога домой
  - Часть третья
    - «Аскольд»
    - «Беня Крик»
    - Чайные клипера
    - «Истинный курс»

        - На Дальний Восток
        - Встреча
        - «Ледовое побоище»
        - О морской романтике
        - Корабль идет дальше
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25

Юрий Клименченко
Корабль идет дальше

От автора

Четырнадцать лет тому назад из печати вышел мой роман «Штурман дальнего плавания». Почти каждый знакомый моряк, который встречал меня после выхода книги в свет, укоризненно качал головой и говорил:

— Эх ты… Не мог написать как было, не вспомнил замечательных капитанов Панфилова, Зузенко, Лухманова, Смирнова, Павлова, ведь они воспитали столько отличных моряков. Учителя! И тебя в люди выводили. А про интернированных моряков написал так, что читать не хочется. Все нафантазировал. Плохо, брат. А еще писатель.

— Ребята, побойтесь бога! «Штурман дальнего плавания» — это роман. Автор волен поступать со своими героями, как ему вздумается, — защищался я, чувствуя в душе, что упреки их в какой-то степени справедливы. — Я не претендовал на документальную достоверность. Это роман, и этим все сказано.

— Мы понимаем, что это роман. Ты нам прописные истины не растолковывай, — отвечали мне. — Ты должен был писать документальную повесть. Надо рассказать читателям, как все было на самом деле. Правда куда интереснее твоего романа…

Меня самого донимали угрызения совести. Приняться за новую книгу не было возможности. Мешала другая работа. Но я твердо решил, что рано или поздно выполню пожелание товарищей. И вот —

«Корабль идет дальше». Документальная автобиографическая повесть.

В этой книге нет вымысла. Здесь все подлинное. События, фамилии, факты. Многие из героев живут и работают в Ленинграде и других городах, некоторые погибли или умерли.

Я приношу свою благодарность товарищам, любезно предоставившим мне свои записки и воспоминания для второй части книги о четырехлетнем пребывании моряков в тюрьме-лагере Вюльцбург в Баварии.

Часть первая
Море и моряки

Ветер дальних странствий

В действительности все было не так, как я написал в одной из своих книг. Мама настаивала, чтобы после школы я поступил в институт и получил высшее образование. Где угодно. Хоть в ветеринарном. Она считала, что каждый человек должен иметь высшее образование. Я же с детства стремился в море и все каникулы проводил в яхт-клубе.

Шел 1927 год. Высших мореходных училищ тогда не существовало, и задача стать капитаном и одновременно получить диплом инженера была неразрешима.

— Ты должен поступить в вуз, — твердила мама. — Тогда я буду спокойна. Кончишь — можешь делать что хочешь.

Я любил мать и не хотел огорчать ее. Выбрал кораблестроительный факультет Политехнического института. «Буду строить корабли, — думалось мне, — и ходить в море на испытания. А там увидим».

Конкурс был большой. Десять человек на место. Я позорно срезался на первом же экзамене по обществоведению и не очень жалел об этом. А вот мама расстроилась.

— Год пропал, — сетовала она. — Все перезабудешь к следующим экзаменам. Надо заниматься, заниматься и заниматься.

Мама преподавала русский язык в школе, отец умер несколько лет назад. Жилось нам трудно, и потому предложение заниматься и сидеть на маминой шее мне не подходило.

— Пойду работать, а на будущий год в Мореходку, — решительно сказал я.

В Ленинграде, — впрочем, как и по всей стране в те годы, — была безработица. С большим трудом удалось мне устроиться чернорабочим в строительную контору. Каждое утро, одетый в комбинезон и грубые ботинки, я отправлялся на работу. Мы сносили какой-то круглый рынок, расположенный за Академией наук.

Целый день я складывал в кучи битый кирпич, помогал разбирать деревянные полы, грузил мусором телеги. Работа была неинтересная, душа к ней не лежала. Я стремился в море. Но как осуществить мечту? Я приставал ко всем знакомым с одной и той же просьбой: «Не можете ли устроить меня в Совторгфлот? Кем угодно. Может быть, найдете там какие-нибудь связи?» Связей ни у кого не было.

Я пытался пробиться сам. Несколько раз ходил в отдел кадров пароходства, простаивал в очередях, разговаривал с

начальником и всегда слышал безжалостный ответ:

— Только через Биржу труда. Так принять не можем.

Ходил я и на Биржу. Правдами и неправдами хотел встать на учет, получить «Памятку безработного»— так называлась регистрационная книжка, — но тоже безуспешно. На Биржу труда меня не принимали, как не члена профсоюза, а в союз можно было вступить только имея рабочий стаж. Круг замыкался. Положение казалось безвыходным. И вдруг блеснула надежда.

Один из знакомых дал мне письмо к судовому механику из Балтийского пароходства. Кажется, его фамилия была Подъямпольский.

— Этот парень все может, — сказал мне знакомый. — У него огромные связи. Считай, что ты уже на пароходе. Я говорил с ним по телефону. Он сказал… В общем, иди, не задерживайся. Надо ковать железо, пока горячо.

Я принялся благодарить этого доброго человека.

— Не стоит благодарности, — небрежно бросил знакомый. — Вот попадешь на судно, тогда привезешь мне банку трубочного табака «Кепстэн».

В тот же день я отправился на Васильевский остров, где жил механик. Мне открыл дверь бледный человек в синем пупырчатом свитере и в шлепанцах. Я протянул ему конверт со словами:

— Вам Владимир Семенович звонил…

Он удивленно взглянул на меня, на конверт, нахмурился и сказал:

— Заходи. Ноги вытирай получше… Ведь говорил же я Володьке, что ничем помочь не могу. Чего было человеку голову морочить? Вот елкин корень…

Он бросил письмо не читая на крышку облупленного рояля.

— Ты садись. Я сейчас приду. Чайник поставлю.

Пока хозяин ходил в кухню, я разглядывал комнату. Чего только тут не было. На стенах висели фотографии пароходов, бивень моржа, засушенные морские коньки и звезды, чучело акуленка, а верхняя полка книжного шкафа была сплошь заставлена диковинными фигурками, деревянными лодочками, глиняными изображениями восточных божков. Музей, да и только! Через спинку стула был перекинут китель с тремя прямыми золотыми нашивками. «Старший механик», — с уважением подумал я. Знаки различия у комсостава на торговых судах были мне хорошо известны[1].

Вернулся хозяин.

— Так-с, — проговорил он, потирая руки. — Сейчас будем чай пить. А помочь я тебе не могу. Прошло время.

— Владимир Семенович говорил, что у вас связи в

пароходстве большие. Может быть, кем-нибудь все же устроите?

— Трепач твой Владимир Семенович… Были когда-то связи, это верно. Теперь нет. Сказал же ему…

Глаза у Подъямпольского стали грустными.

Я уже знал, что он ничем мне не поможет, но уходить от него не хотелось. Что-то было в этом человеке теплое, располагающее. Механик принес из кухни две чашки с крепким чаем, нарезанную булку и вазочку с вареньем.

— Пей, пожалуйста. Больше сегодня угощать нечем… Так уж получилось… Раньше-то я тебе помог бы в два счета. Но ты не дрейфь, устроишься. Скоро будет столько пароходов, что людей не хватит.

— Когда это еще будет…

— Не беспокойся, скоро. Очень скоро. Оглянуться не успеешь. Весной. И какие суда! Вон на Северной верфи, на Балтийском заводе строятся теплоходы. Видел я их. Красавцы… А ты учиться не думаешь?

— Думаю. В Мореходку пойду.

— Вот это правильно, — одобрительно сказал хозяин. — На механика?

— На капитана.

— Зря. На механика лучше. Специальность шире… Ну и на капитана сойдет. Только учись. Давай закурим. Хочешь сигару?

Он полез в деревянную коробку, стоявшую на столе, протянул мне светло-коричневую сигару с ярким колечком посредине. Сигары я видел только на плакатах у английского премьера Чемберлена. А тут настоящая в моих руках. Я сунул ее в карман. «Дома закурю».

— Слушай, а ты знаешь, какое оно, море? Впрочем, откуда тебе знать, — механик вздохнул. — Оторвешься от берега, и все твои земные горести растают как дым. И всего-то у тебя забот — твое судно. А вокруг океан. Где-то далеко дрожит горизонт, — он вытянул руку, — и никогда не дойти до него.

Он нахмурился, замолчал и как-то погас, но, затянувшись папиросой, снова заговорил:

— Станешь моряком — и мир откроется перед тобой, как коробочка. Увидишь много. У тебя расширится кругозор, шагать станешь увереннее по жизни, кое-что поймешь, чего не мог понять раньше. Месяцев шесть поскитаешься по разным странам, насмотришься всего, напробуешься до оскомины, покачаешься на всех океанских волнах и поймешь, что ничего нет дороже и прекрасней своей земли. За неделю до прихода в родной порт покой потеряешь. Пять раз побреешься, несколько раз костюм отгладишь, помоешься, постираешься, подарки каждый день

перекладывать станешь, и все будет казаться, что не готов. Но вот судно подходит к причалу… И такой ты счастливый!.. Нет, этого не расскажешь, надо пережить самому.

— А вы в каких странах были?

— Ты лучше спроси, в каких не был.

— Интересно, наверное?

— Интересно. Только не думай, это тебе не приключенческие романы читать. Другой раз пятки вспотеют…

— А я и не думаю, — вспыхнул я.

— Не ершись. Морской хлеб твердый. Иногда на все хочется наплевать. Холод, пурга, обледенение, качка… И так сутками. Проклянешь все на свете, и море в первую голову. Думаешь — зачем пошел? На берегу спокойнее. Вернулся с работы в пять часов и сиди в теплой комнате, газеты читай, жену обнимай или в кино иди. Клятву даешь — в отпуск, а там на береговую работу. А под конец отпуска из дому рвешься. Скорее бы в море. Тянет. И забыл шторма, бессонные ночи, пургу… Ох, как тянет.

— Вы на каком пароходе плаваете? — опять спросил я.

— Сейчас не плаваю. Мотор шалит. Врачи не пускают, — он потер ладонью по левой стороне груди. — Поправлюсь — снова пойду. Обязательно пойду.

Он убеждал себя, а я чувствовал, что он не верит тому, что говорит. Глаза его сделались беспокойными, печальными. Я понял — дело его плохо. И мне стало бесконечно жаль его.

Я выпил чай, встал и начал прощаться.

— Жаль, что ты напрасно пришел. Я этому Володьке мозги промою, чтобы не трепался, — говорил механик, провожая меня до двери. — Да ты не унывай. Устроишься… Стой, стой! Есть у меня на Бирже один человек… Ян Магула. Представитель от моряков… Впрочем, нет… Ничего он не сделает. Только напрасно надеяться будешь. Новые теплоходы ждать надо. Тогда обязательно возьмут. Счастливо тебе.

Он протянул мне влажную руку.

По дороге домой я думал о механике с Васильевского острова. Неужели не будет плавать? Мне так хотелось, чтобы прошло то тревожное чувство, с каким я ушел от него. Все, что он говорил, было близко моей душе. Другого пути у меня нет. И ни в какой вуз я больше не пойду, как бы этого ни хотела мама. Я должен плавать.

Дома я вытащил сигару. Рассматривал, надевал и снимал бумажное колечко, потом закурил. Комната наполнилась голубоватым дымком, и я увидел океан и далекую, дрожащую линию горизонта…

Обычно после работы немного отдохнув, я с кем-нибудь из

своих приятелей выходил на Невский. Нескончаемый поток людей медленно двигался по тротуару от Садовой до Литейного. Здесь встречались нэпманы, моряки загранплавания, люди, причастные к искусству, бездельники разных мастей и молодежь, мечтающая о легкой жизни.

Рабочие ребята появлялись на Невском редко. Они с презрением глядели на разодетую толпу, смеялись, когда видели безусого юнца, целующего ручку у девчонки-подростка. Но я жил рядом с Невским и ходил гулять охотно, хотя выглядел более чем скромно в своей белой рубашке «апаш» и черном клеше.

У меня была тайная мечта. Мне хотелось познакомиться с девушкой — голубоглазой, со вздернутым носиком. Попадалось много похожих на нее, но это была не она. Не та, которую я ждал.

На Невском я познакомился с Юркой Пакидовым и его товарищами. Он был высокий, худой, с добрыми карими глазами и большим ртом. Пакидов тоже не попал в вуз, искал работу и мечтал о море. Я нашел родственную душу. Мы подружились. Пакидьянц, — ребята почему-то переделали его фамилию на армянский лад, — оказался хорошим парнем, добрым и отзывчивым. Он умел говорить по-английски. В детстве Юрка жил с родителями в Китае, ходил в английскую школу и там немного выучился боксу. Это вызывало уважение товарищей. Мы стали реже появляться на Невском и частенько проводили вечера у меня дома. Обрадованная мама поила нас чаем. Она не одобряла мои шатания по проспекту.

В один из воскресных дней мы решили отправиться на набережную Невы. И хотя до моря было далеко, у моста Лейтенанта Шмидта почти всегда дул ветер с залива. Мы ощущали его на своих лицах.

Перешли мост. Постояли у памятника Крузенштерну у Военно-морского училища имени Фрунзе и пошли дальше.

— Смотри, — вдруг сказал Пакидьянц. — Какое-то судно. Пойдем посмотрим.

У Масляного Буяна, в конце набережной, стоял парусник. Огромный. Он поднимал свои мачты к самому небу. Мы задрали головы, чтобы посмотреть на верхние реи. Черный корпус притягивали к берегу толстые швартовы. На баке крупными белыми буквами было написано — «Товарищ». По палубе сновали молодые люди в синих шерстяных свитерах, на которых было вышито красным — «У/с «Товарищ» НКПС». Раньше мы ничего подобного не видали.

— Вот это да! — выдохнул Пакидьянц. — Откуда такой взялся?

С трапа спустились два парня в свитерах и фуражках с

блестящими черными козырьками.

— Откуда пришли? — спросил Пакидьянц. Моряки с удивлением посмотрели на нас.

— Газеты надо читать, — сказал один из них. — Весь Ленинград знает, а он не знает. Из Аргентины.

— А что за судно?

— Эх вы, ленинградцы. Стыдно за вас.

— Учебное судно «Товарищ», — сказал второй, и они ушли.

Мы купили «Красную газету». Там было напечатано, что учебный парусник «Товарищ» возвратился из дальнего плавания, прошел 20 000 миль, побывал в Буэнос-Айресе и Розарио, на паруснике прошли практику 150 учеников из всех морских техникумов Советского Союза. Помещена и фотография «Товарища» под полными парусами. Но важнее для нас были последние строчки заметки: «После небольшой стоянки, приемки снабжения и новой группы учеников барк снова покинет Ленинград и уйдет в учебное плавание с заходом в германский порт Киль, где судну запланирован ремонт».

— Пойти бы в такой рейс, и больше ничего в жизни не надо, — сказал я, когда мы выучили заметку наизусть. — Да разве попадешь?

— Не попадешь, — согласился со мною Пакидьянц, и мы грустные побрели к дому.

С этого дня мы потеряли покой. Каждый свободный вечер ходили на Масляный Буян смотреть «Товарищ». Видели, как команда разбегается по реям, распускает паруса для просушки, как собирает их в тугие валики и быстро спускается по вантам. Дух захватывало, когда мы наблюдали за маленькими черными фигурками, смело передвигающимися по самому верхнему рею. Бом-брам-рею! Какой музыкой звучало для нас это название! Бом-брам-рей! В нем слышался и рев бушующего океана, и треск лопающихся парусов, и резкие команды капитана, и щелканье кастаньет в далеком Буэнос-Айресе. На судно мы не поднимались.

У трапа всегда дежурил вахтенный. Мы стояли и с берега следили за жизнью на паруснике. Он завладел нашими сердцами. И хотя мы прекрасно понимали, что ни о каком плавании на «Товарище» мечтать не смеем, все же расстаться с ним так просто не могли…

И вдруг… Как-то поздно вечером раздался стук в окно. Я жил в первом этаже, и мы пользовались окном как дверью, считая, что в комнату входить так ближе и удобнее. На улице стоял Пакидьянц. Он был без кепки, какой-то взъерошенный, возбужденный. Я открыл окно, и он как барс впрыгнул в комнату.

— Ухожу в плавание на «Товарище»! Буфетчиком!

Понимаешь? Ура! — заорал он, бросаясь на меня.

Юрка повалил меня на матрас, служивший тахтой, катал, давил, в общем проявлял восторг дикаря. Наконец, когда мне удалось освободиться, я спросил:

— Как же ты сумел? Врешь ты все. Не может быть. Давай рассказывай.

— Истинная правда! Вот те крест! — и Пакидьянц для убедительности перекрестился. — А как получилось? Невероятно. Понимаешь, я рассказал матери о «Товарище», ну, и упомянул фамилию капитана. Она и говорит: «Дмитрий Афанасьевич — мой хороший знакомый». Ну, тут уж я к ней прилип: попроси, чтобы взял меня на «Товарищ». Она туда-сюда, вуз, ученье, но я ее довел до того, что мы оделись и пошли к Лухманову. У-у, какой это человек, ты бы знал! Он выслушал маму, засмеялся и сказал мне: «Что ж с тобой делать? Матросом ты не годишься, да и мест нет. Но я всегда стараюсь помочь тем, кто хочет плавать. Пойдешь буфетчиком?» — «Кем угодно пойду». — «Только помни, — говорит он, — буфетчиком работать нелегко и не очень интересно. Надо убирать каюты, кают-компанию, подавать на стол администрации, мыть посуду и тому подобное. Работы много… Ладно, сейчас напишу записку Эрнесту Ивановичу Фрейману». Оказывается, Лухманов уже не капитан «Товарища». Он начальник техникума. Завтра иду на судно. Вот такие дела.

Я сидел подавленный грандиозностью новости. Пакидьянц уходит в плавание на «Товарище», а я остаюсь в Ленинграде. Я так ему завидовал, что потерял дар речи.

— Что ты молчишь? — опять заорал Пакидьянц. — Ухожу в плавание, в Южную Америку! Понимаешь ты это? Тра-ля-ля! — Он не мог сдержать своего восторга.

— Буфетчиком не то, — протянул я, желая хоть чем-нибудь омрачить его радость. — Не морская специальность. Подай, принеси, помой… Вроде холуем будешь…

Но мои слова на него никак не подействовали.

— Черт с ним! Хоть кем угодно. Но ведь на «Товарище» пойду в плавание. А там, может быть, и в матросы переведут. Заболеет кто-нибудь или уйдет. Буду присматриваться, снасти изучать. Неважно, что буфетчиком. Здорово, верно?

— Вообще-то здорово, конечно, — невесело согласился я. — А ты не можешь попросить Лухманова, чтобы и меня взяли, а?

— Мест больше нет, Юрка. Но если что-нибудь освободится, я обязательно попрошу, — горячо пообещал Пакидьянц. Он так хотел утешить меня и был таким счастливым, что мог обещать что угодно. Ему все казалось простым и выполнимым.

Пакидьянц начал работать на «Товарище». Дня через три я

пришел к нему в гости. Он с гордостью показывал мне судно, свою маленькую каюту, буфет, кают-компанию, познакомил с несколькими кадровыми матросами, со старпомом Константином Федоровичем Саенко.

Теперь я часто приходил к Пакидьянцу после работы. И завидовал. Сидел, смотрел, как он моет стаканы и тарелки, на его белую курточку буфетчика и думал, что я тоже мог бы это делать, если бы знал Лухманова и на «Товарище» было бы место… Нет, так дальше продолжаться не может. Надо что-то предпринимать.

В один из моих приходов на «Товарищ» взволнованный Пакидьянц завел меня к себе в каюту.

— Освобождается место хлебопека. Федька Баранов уходит. Ты как?

— Хлебопека? Конечно, давай, — обрадовался я.

В своей жизни я не выпек ни одного хлеба, но желание попасть на «Товарищ» помутило мой разум. Наверное, в тот момент я согласился бы принять любую должность.

— Давай, — без всякого энтузиазма промямлил Пакидьянц. Он был уверен, что я откажусь. — А справишься? Ведь надо печь на сто семьдесят человек.

Эта цифра меня отрезвила. Сто семьдесят человек! Я подумал и отказался.

— Нет, не справлюсь. Отпадает. И тебя подведу, и старпома. Выгонят с треском.

Пакидьянц облегченно вздохнул.

— Не говори. Хлеб-то надо уметь печь., А я вот хочу тебя попросить. Может, позволишь Федьке Баранову пожить у тебя месячишко, пока он на другое судно попадет.

— Пусть поживет, если мать разрешит.

Мама позволила, хотя и не очень обрадовалась. Пакидьянц познакомил меня с молодым прыщавым парнем.

— Дэн Баранов, — представился он. — Так я к тебе чемоданчик заброшу? Давай адресок, кореш.

В первый же вечер, когда мы улеглись спать — я на железную, узенькую, приютскую кровать, Федька, как гость, на «тахту» — продавленный пружинный матрас, — он начал «травить»:

— В Гамбурге был? Нет? Жаль. Чудачки там мировые, я тебе скажу. Была у меня одна из «Блау Грот». Эльза. Красавица. Немного не отстал от коробки из-за нее. Никак не отвязаться. Женись да женись. И был бы я хозяин бара.

Он взглянул на меня. Какое, мол, впечатление? Я слушал его с открытым ртом. И Федька понес… Он все время упоминал названия гамбургских ресторанов— «Альказар», «Трихтер», «Чайна», красавицы не давали Федьке проходу, он один

справлялся с десятком вооруженных английских матросов, татуировщик в Гулле собирался выколоть у него на спине многокрасочную картину «Парусник на закате», да капитан не разрешил: долго колоть, трое суток, а пароход из-за этого не задержишь. Врал он вдохновенно, а вот писал неграмотно. Видел я его послание к приятелю в Херсон: «Привет из Ленинграда. Живу нечего у одного кореша. Мине скоро пошлют на коробку…» Дальше в таком же духе. Модником Федька был страшным. Носил коричнево-красный костюм, синий буртоновский макинтош, серую шляпу и лакированные туфли. Кроме того, он имел разные заграничные штучки — расческу в виде дамской ножки, зажигалку с головкой девушки, бумажник с тисненным на нем парусником. Мне очень хотелось иметь такие же.

Каждый день Дэн ходил в пароходство отмечаться в резерв, где он стоял на учете. Ждал, когда его пошлют на пароход. Хлебопеком он оказался никудышным, хотя говорил, что может печь не только хлеб.

Однажды он пообещал нам с мамой сделать пончики. Накупил продуктов, надел белый поварской фартук, долго колдовал над кастрюльками и в конце концов выбросил всю свою стряпню на помойку. Дэн заявил, что попались плохие дрожжи, тесто не поднялось, пончики не получились. Он нисколько не смутился, даже принялся учить маму, как надо делать заварные пирожные. На судах ему, вероятно, помогали повара.

«Товарищ» все еще стоял в Ленинграде. Наступила зима. Меня уволили по сокращению. Я безуспешно искал работу. Ее не было. На Биржу труда меня не принимали, как не члена профсоюза. А мне так хотелось в море!

Я решил пойти к Лухманову. Я считал, что он единственный человек, кто сможет мне помочь.

Лухманов жил в здании техникума. Робко позвонив, я с замиранием сердца ждал, когда отворится дверь. Я подготовил речь. Вызубрил ее наизусть. Дверь открыла пожилая женщина. Она пытливо взглянула на меня.

— Я хочу видеть Дмитрия Афанасьевича.

— Пройдите в прихожую. Я сейчас… — она скрылась в комнатах.

Через минуту женщина вернулась и пригласила:

— Раздевайтесь и проходите, вон туда.

Я вошел в кабинет. Он напоминал каюту. Полки с книгами, модели судов, стол красного дерева, зава- ленный чертежами… Лухманов сидел в кресле лицом к двери и прямо смотрел на меня. Большеголовый, грузный, с рыжеватыми волосами, широким носом и светлыми проницательными глазами.

— Чем могу служить, молодой человек? — приветливо спросил капитан.

Все заученные слова выскочили у меня из головы. Я растерялся и стоял как столб.

— Ну, так в чем дело? Я вас слушаю, — уже нетерпеливо повторил Лухманов. — Садитесь вон на тот стул.

Я не сел. Страшно покраснев, прерывающимся от смущения голосом я начал свою речь:

— Дмитрий Афанасьевич, я знаю, вы всегда помогали молодежи. Перед вами человек, который не может жить без моря. Я вас очень прошу, пошлите меня на «Товарищ». Кем угодно. Я согласен на любое место.

— Кто вам сказал, что я всегда помогаю молодежи? — улыбнувшись, спросил Лухманов.

— Я… я слышал от товарищей.

— Значит, решили сыграть на этой струне?.. Впрочем, все равно. Помогаю всем стремящимся в море. Но в данном случае вам помочь не могу. «Товарищ» полностью укомплектован. Вакантных должностей нет.

— Ведь Пакидову помогли, Дмитрий Афанасьевич.

— Ах, вот что. Знаете Пакидова?

— Мой друг.

— Понимаю, понимаю. Вместе на одно судно хотели? К сожалению, ничего нет. Впрочем, — он лукаво взглянул на меня, — кажется, собирается уходить старший помощник капитана. Но на эту должность вы, наверное, не согласитесь?

— Нет, — ответил я. Мне было не до шуток.

— Так вот, молодой человек, — Лухманов стал серьезным, — ничем не могу помочь. Хотите в море — поступайте в техникум. Сделаетесь штурманом, механиком или радистом. Будете плавать.

— Дмитрий Афанасьевич, возьмите меня на «Товарищ» без жалованья. Я бесплатно буду работать, — чуть не со слезами просил я.

— Так нельзя. Бесплатно у нас никто не работает. Да вы не отчаивайтесь. Попадете в техникум, и все будет в порядке, — видя мое огорчение, утешил Лухманов и улыбнулся широко и добродушно. От этой улыбки у меня полегчало на душе.

— Может быть, в будущем году возьмете на «Товарищ», когда он вернется? — не сдавался я.

— Ну, до этого надо дожить. До свидания.

Я двинулся к двери, но капитан остановил меня:

— Все-таки подумайте о техникуме, если так любите море.

От Лухманова я направился на «Товарищ». Было обидно, что

я не попал на парусник, но все же я говорил с самим Лухмановым, он приглашал в Морской техникум, и это в какой-то степени приобщало меня к морякам. Пакидьянц с нетерпением ждал меня.

— Как? Вышло?

— Ничего не получилось.

Я рассказал ему, что советовал мне Лухманов.

— Правильно, — одобрил Пакидьянц. — Видишь, какой он человек? До капитана надо идти.

Через три недели зимним туманным утром «Товарищ» покидал Ленинград. Шел крупный, редкий снег. Он медленно опускался на реи и ванты. «Товарищ» казался пушистым, потерявшим очертания, таинственным «Летучим Голландцем». Я пришел проводить Пакидьянца. На палубе толпились родственники и знакомые практикантов. Слышался смех, веселые напутствия, всхлипывания. У борта дымили буксиры. Они должны были вывести барк в Финский залив. Я чувствовал себя так, как будто терял что-то очень дорогое.

«Товарищ» ушел. Без Пакидьянца мне стало одиноко. Правда, Федька все еще жил в моей комнате, но вот-вот должен был получить место. Подходила его очередь.

Неожиданно из Киля, где «Товарищ» стоял. в ремонте, пришло письмо. В нем Пакидьянц коротко сообщал о своем житье-бытье. В конверте лежала фотография. На ней с застывшими лицами, в черных шляпах, черных пасторских пальто с бархатными воротничками и белых кашне, стояли Пакидьянц и его новый приятель Алька Ланге. Они выглядели шикарно, как лорды или… похоронные факельщики.

Федьку послали угольщиком на ледокол «Красин». Судно срочно готовили в экспедицию к Северному полюсу, на поиски дирижабля Нобиле «Италия». Федька страшно, фасонил, несмотря на то что угольщик или кочегар второго класса не ахти как звучит. Но сделав-угольщиком, он отрывался от «цеха питания» — коков, поваров, хлебопеков, буфетчиков — и становился «марсофлотом». Из угольщиков впоследствии пере ходили в кочегары первого класса, а потом и в машинисты. Все же перспектива!

Перед уходом в море Федька сделал «королевский жест» — подарил мне свою серую шляпу и клетчатый шарф, предметы моей зависти. Я отказывался принять подарки, но Федька небрежно бросил:

— Шат-ап! Я себе новые куплю. За границу ведь идем.

Шляпа и шарф вместе с белым норвежским макинтошем. синей вылинявшей английской робой «Каролина» (их я обменял у

одного практиканта с «Товарища» на единственную мою ценность — коллекцию марок) делали меня как две капли воды похожим на настоящего совторгфлотца, моряка дальнего плавания. А ведь мне так хотелось стать им!

Проболтавшись несколько месяцев без работы, я наконец поступил в Ленинградский морской техникум, отлично выдержав все экзамены. Даже по обществоведению получил пятерку, и был принят в первый класс судоводительского отделения.

Мореходка

Ленинградский морской техникум. Старая Мореходка. Школа, выпустившая много хороших моряков. Серое трехэтажное здание на Двадцать второй линии Васильевского острова. Внутри, у дверей висит надраенный колокол-рында, под ним стоит стол и сидит вахтенный с бело-синей повязкой на рукаве. Светлые, широкие коридоры.

Не похожа Мореходка ни на один другой техникум. Все здесь иное. Студенты называются учениками, аудитории— классами. В перерыве между лекциями ученики высыпают в коридоры и курилки. Во что только они не одеты! В голубые американские робы, в канадские клетчатые курточки, в синие свитера, в вязаные жилеты всех фасонов и расцветок. Это ребята, побывавшие в дальних плаваниях. Только мы, первокурсники, выглядим здесь посторонними в своих скромных штатских костюмчиках из «Ленодежды», И запах в коридорах особенный, медовый: старшекурсники курят голландский табак «три шиллинга за тонну». Покупают его за границей без пошлины, очень дешево и потому в больших количествах. Чтобы хватило на всю зиму, до следующего плавания. Послушать разговоры— тоже таких нигде в другом учебном заведении не услышишь. Говорят про Квебек, Лондон, Гамбург Средиземное море, Тихий океан, упоминаются пассаты, свирепые норды, названия пароходов и фамилии капитанов. В Мореходке три отделения: судоводительское, механическое и радио. Для механиков есть отличные мастерские. Для судоводителей — такелажный кабинет. Им руководит старейший боцман Грязнов. В кабинете везде развешаны кранцы, маты, всякие мусинги и оплетки. Здесь всегда приятно пахнет смоленными тросами и кажется, что ты попал на палубу парусника.

А преподаватели! Все они бывшие моряки, много плававшие в своей жизни. Энтузиасты. Люди, бескорыстно преданные морю. Вот к нам в класс идет Касьян Михайлович Платонов. Добрейший человек. Высокий, грузный, краснолицый, с большим носом. Он преподает нам несколько предметов: теорию и устройство корабля, океанографию и метеорологию.

Сейчас — теория корабля. Свои предметы он излагает обстоятельно, скучновато, но иногда такое выдает, что весь класс умирает от смеха. Мы уже знаем его байки. Платонов рассказывает о качке корабля и, сохраняя полную серьезность, говорит:

— Коровы груз опасный. Был случай, — он поднимает кверху

указательный палец, — в Тихом океане, в свежую погоду, коровы, погруженные в трюмы, так раскачали пароход, что он опрокинулся. Почему? Потому что коровы, когда жуют сено, качают головами, и вот такое раскачивание синхронно с волнением послужило…

Класс разражается хохотом. На лице Касьяна Михайловича ни тени улыбки. Или еще:

— Бобовые грузы требуют особого внимания. Был случай, — палец поднимается кверху, — судно, перевозившее соя-бабы насыпью, было разорвано по швам. Корабль, очевидно, имел течь. Бобы приняли влагу, разбухли и… — он обводит класс лукавым взглядом.

Николая Ивановича Панина мы боялись. Его боялись не только мы, первокурсники, но и бывалые ученики старших классов. Мы трепетали перед ним. Николай Иванович читал астрономию. Читал отлично, но зато и спрашивал жестко.

Когда он входил в класс, брал в руки журнал, начинали дрожать даже самые лучшие ученики.

— Итак, повторим, — говорил Панин, устремляя свой взор к потолку. Черная эспаньолка, усики и блестящие, темные, немного мрачные глаза делали его удивительно похожим на кардинала Ришелье из романа Дюма «Три мушкетера». — О чем мы прошлый раз говорили? Часовой угол и прямое восхождение? — И как выстрел: — Корхов, к доске!

Достаточно было Корхову оговориться, как Николай Иванович отправлял его обратно со словами:

— Не знаете. Садитесь. Двойка.

В этот момент все мы старались вжаться в свои стулья, пока глаза Николая Ивановича блуждали по журналу. И снова выстрел:

— Козловский, к доске! Расскажите про первый вертикал.

Панин требовал точного изложения своего предмета. Он не признавал никаких оправданий, ссылок на болезнь и чрезвычайные обстоятельства. Не знаешь — получи двойку и будь впредь прилежнее. Целый год Панин держал нас в напряжении. Он отпускал узду, становился мягче, когда приближались переходные экзамены в следующий класс. Но тревожиться ему было нечего. Большинство знало предмет хорошо, и только самые отчаянные лодыри и тупицы на экзаменах получали неудовлетворительные отметки.

Лекций по морскому праву мы ожидали с нетерпением.

Сергей Иванович Кузнецов сумел заинтересовать нас. Всегда аккуратный, в белом воротничке, сухощавый, со старорежимной седой бородкой клинышком и такими же седыми волосами, он приходил в класс, надевал на нос очки и таинственно начинал:

— Итак… 18 января 1902 года в обширном зале страхового общества Ллойда трижды прозвучал колокол. Пароход «Эмансипейшн» погиб. Он столкнулся с французским пароходом «Жан Барт». «Эмансипейшн» затонул через час после столкновения. Владельцы парохода предъявили иск компании «Месажери Маритим» в триста тысяч фунтов стерлингов, но французы отклонили претензию, полностью переложив ответственность за столкновение на владельцев погибшего судна. И может быть, они выиграли бы дело, если бы не неожиданные показания французского лоцмана. Он сообщил…

Класс замирал. Мы уже не видели Сергея Ивановича Кузнецова. Перед нами был французский лоцман. Он давал показания в Королевском суде…

Отлично преподавал Кузнецов. Все так само и укладывалось в голове.

— Самый важный документ на судне, имеющий наибольшую юридическую силу, — вахтенный журнал, — учил нас Кузнецов. — Помните об этом всегда. Избави вас бог от небрежного или легкомысленного ведения журнала. Это может повлечь за собою непоправимые последствия. Вот характерный пример. Наш теплоход проходил норвежскими шхерами. В Вест-фиорде у него скисла машина. Надо было затратить двадцать минут на ремонт, и капитан попросил маленькое встречное норвежское судно подержать его теплоход за корму, пока механики приведут машину в порядок: берег был сравнительно недалеко, дул свежий ветер, и капитан боялся, чтобы их не снесло на камни. Через двадцать минут повреждение устранили. Капитаны обменялись по радио любезностями и разошлись в разные стороны. После чего наш капитан сделал в вахтенном журнале такую запись:

«Вследствие сильного нордового ветра и близости берега был вынужден из-за поломки машины на двадцать минут подать буксир на норвежский пароход «Сапсборг», за что обязался уплатить его капитану двадцать пять фунтов стерлингов. Если бы не принятые мною своевременные меры, выразившиеся в подаче буксира на пароход «Сапсборг», теплоход мог быть снесен на камни». Обратите внимание на последнюю строчку: «мог быть снесен на камни». Значит, при таком ветре погибнуть? Так?

— Так, так! — кричали мы.

— Вот эта запись, — продолжал Кузнецов, — каким-то образом стала известна владельцам «Сапсборга». Вероятно, через лоцманов-норвежцев, находившихся на борту. И вместо двадцати пяти фунтов вознаграждения за простую услугу владельцы «Сапсборга» потребовали миллион крон за спасение всего нашего

теплохода. Резонно? Безусловно. Если наш капитан сам подтверждает письменно, в вахтенном журнале, что его судно подвергалось смертельной опасности, — значит, «Сапсборг» его спас от гибели.

— Неужели заплатили? — возбужденно орали мы. — Ведь это грабеж, жульничество!

Не хотелось верить, что наш капитан оказался таким профаном.

Нет, конечно, — успокаивал нас Сергей Иванович. — Мы тоже кое-что понимаем в морском праве. Все не так просто. Позиция «Сапсборга» тоже была шаткая. Но какую-то сумму, большую, чем двадцать пять фунтов, все же пришлось уплатить.

Вопросам нет конца. Кузнецов еле успевает отвечать… А тут звонок. Преподаватель уходит, а мы все еще горячо обсуждаем поведение капитана, лоцманов, владельцев «Сапсборга».

Я с благодарностью вспоминаю преподавателей Мореходки. Учили они нас хорошо. Васильев, Хабалов, Лосев, Маркузе, Глазенап, Платонов, Кузнецов — это были имена, пользующиеся известностью и уважением в морских кругах. Многие имели печатные труды. И во главе техникума — Дмитрий Афанасьевич Лухманов. Коммунист, капитан-парусник, писатель, конструктор, широко образованный человек. В одной из своих книг он писал: «Соленый ветер, которым я дышал столько лет, помог мне вложить истинно морской дух в сотни моих бывших учеников».

Он любил молодежь. Мы были для него не просто молодыми людьми, но людьми, которые будут представлять нашу Родину за границей, моряками, по выучке, мастерству и знанию которых будут судить о нашем торговом флоте. Он чувствовал себя ответствен- за каждого из нас. Дмитрий Афанасьевич Лухманов делал все, чтобы возродить хорошие морские традиции, и помогал нам освободиться от того скверного, что осталось от старого флота. Он был непримирим ко лжи, бахвальству, позерству и разыгрыванию из себя «морских волков». Он учил нас уважать море, быть с ним на «вы» и в то же время уметь его побеждать, не бояться.

Он был настоящим воспитателем моряков, воспитателем в лучшем смысле этого слова, искренне считавшим, что нет более почетной профессии, чем профессия моряка.

Дмитрий Николаевич входил в класс, и сразу же наступала тишина. Мы знали, что урок пройдет интересно. А может быть, урока вовсе не будет. Лухманов просто расскажет о каком-нибудь плавании, о тайфуне, о том, как судно уходило от урагана и что в это время делала команда. В сущности, это и был урок морской практики, и запоминался он на всю жизнь.

На нас, первокурсников, магически действовал и внешний вид Лухманова. Он полностью соответствовал тому представлению о капитане, которое мы получили, начитавшись всевозможных приключенческих романов о море. Кто из нас не восхищался Дмитрием Афанасьевичем, когда встречал его где-нибудь на улице! Он шел в своей длинной черной пелерине с золотыми застежками в виде львиных голов, в фуражке с суконным козырьком, шитым золочеными листьями. Мы знали— такую фуражку в то время мог носить только капитан, пересекший экватор. Он шел, нахмурив густые брови, прямо глядя перед собой.

Не шел, а плыл, опираясь на трость с замысловатой ручкой. Медленно, с достоинством. Редко кто из прохожих не оборачивался ему вслед. Многие ленинградцы знали его и шептали своим спутникам: «Смотрите, это Лухманов. Капитан «Товарища». В Аргентину ходил под парусами».

Его педагогическая и общественная деятельность были широко известны. Впоследствии Дмитрию Афанасьевичу присвоили звание Героя Труда.

Лухманов читал нам морскую практику и правила предупреждения столкновений судов в море — ППСС. Мы чувствовали себя капитанами, когда плавали на деревянных корабликах по учебному столу-морю.

Как мне хотелось завоевать расположение Дмитрия Афанасьевича! Хотелось побыть рядом с ним, послушать его рассказы, посидеть в его кабинете, получить какие-нибудь книги из его рук. Морскую практику я знал на пять. Но, видимо, этого было недостаточно, чтобы он заметил меня. Почти все знали морскую практику и правила на отлично. Знать их хуже считалось «не по-морски», дурным тоном.

Наконец выдался случай, о котором я мечтал. Однажды Лухманов вошел в класс и не стал, как обычно, спрашивать нас ППСС, а сказал:

— Товарищи, я делаю модель нашего судна «Красная Звезда». Кто из вас занимался моделированием и умеет обращаться с деревом?

Никто не успел опомниться, как я уже высоко поднял руку. Лухманов одобрительно взглянул на меня:

— Вот и отлично. Тебя не затруднит помочь мне? Надо сделать пятьдесят два блока разных размеров. Сумеешь?

— Конечно, — весело и убежденно проговорил я, как будто всю жизнь только и делал, что изготовлял блоки. На самом же деле мое знакомство с деревом было очень поверхностным. Я умел пилить и колоть дрова. Но желание быть поближе к

Лухманову вселило в меня уверенность, что я все смогу.

— Тогда после уроков зайди ко мне домой, — сказал Лухманов и открыл журнал.

Я был на седьмом небе. В перерыве гордо ходил по коридору в окружении товарищей. Кто-то осторожно осведомился:

— А ты справишься? Это, знаешь ли, тонкая работа.

— Спрашиваешь! Сколько я этих блоков переделал… в детстве.

Когда я пришел к Дмитрию Афанасьевичу, он показал мне почти готовую модель «Красной Звезды». Он сам сконструировал этот парусник, а построили его силами и средствами нашего техникума на пустыре Васильевского острова. В скором времени «Красная Звезда» должна была идти в плавание вокруг Европы с командой и капитаном из учеников. «Красная Звезда» была детищем Лухманова. К сожалению, из-за каких-то формальностей и финансовых неувязок рейс этот не состоялся.

Дмитрий Афанасьевич достал пустую коробку из-под сигар и принялся объяснять мне, как нужно делать блоки. Работа действительно оказалась тонкой. Самый большой блок не превосходил размерами тельца пчелы.

— Для того чтобы пропустить через блок снасти, надо прожечь в нем иголкой два отверстия. Понятно? — заключил Лухманов, подавая мне коробку. Я кивнул головой. — Ну, прощай. Постарайся сделать блоки скорее. Когда будет готово, придешь, и мы с тобой начнем вооружать модель, — сказал он на прощание, выпуская меня из квартиры.

«Мы с тобой начнем вооружать…» Вот о чем я мечтал! Буду помощником у Лухманова. Прямо не верится!

Я прибежал домой и сразу же принялся за изготовление блоков. Все казалось очень простым. Нарезал маленьких кусочков дерева, обточил их напильником, прожег дырочки, и блок готов. Но так только казалось. Дерево крошилось, кусочки выскакивали из рук, а при прожигании лопались пополам. Промучившись часа три, я изготовил с пяток кривых, рахитичных блоков и решил, что на сегодня хватит. Назавтра у меня уже нашлись другие, более важные дела. Время шло, ара-бота с блоками не двигалась. Несколько раз я давал себе клятву начать, но… «суждены нам благие порывы..» Сначала я избегал встречаться с Лухмановым глазами, потом, когда он стал настойчиво спрашивать: «Ну, как дела с блоками? Скоро закончишь?..» — я, кляня и презирая себя, неизменно отвечал:

— Скоро, Дмитрий Афанасьевич. Еще немного осталось.

Наконец разразился скандал. Лухманов пришел в класс, взглянул на меня такими глазами, что я похолодел, и проговорил:

— Вижу, что понадеялся на вас напрасно. Завтра принесите коробку и то, что вы успели там сделать за месяц.

Мне хотелось провалиться сквозь землю. Дома я лихорадочно принялся за блоки. Куда там! Я торопился, блоки не получались. До поздней ночи я работал и, вырезав еще с десяток таких же уродцев, заснул над ними в полном изнеможении. А на следующий день, завернув в газету свое «производство» и остатки коробки, отправился в техникум. Первый урок давал Лухманов. Я с трепетом ждал его появления. Вот он вошел. Не дожидаясь вопроса, я вскочил, протянул ему сверток:

— Вот…

Лухманов молча развернул газету, высыпал содержимое на стол, потом гневно взглянул на меня:

— Не понимаю, зачем понадобилось вам вранье? Вы же никогда и ножа в руках не держали. Никто вас не заставлял помогать мне. Не понимаю… Посмотрите, пожалуйста. Разве это можно назвать блоками?

Товарищи повскакали с мест и устремились к столу.

— Сразу видно работу краснодеревца! — ехидно крикнул кто-то сзади.

Раздался хохот. Всем, кроме меня, было очень весело. Я же сидел красный, как якорный буек. Когда веселье несколько улеглось, Дмитрий Афанасьевич серьезно сказал:

— Блоки — мелочь, товарищи. Но в такой мелочи проявляется характер человека. Запомните. Если ты однажды дал слово, должен его сдержать. Обещал что-нибудь — выполни обязательно. Не можешь — не обещай. Вы будете капитанами. И, пожалуй, одно из самых плохих качеств для капитана — вот такая безответственность. Команда должна верить вам безоговорочно. А вот таким людям, — он опять взглянул на меня, — она верить не станет, если ее хоть раз обмануть. Ну, хватит. Начали заниматься.

Если бы я мог ему сказать откровенно, почему я вызвался делать эти чертовы блоки! Мне казалось, что я навсегда потерял расположение Дмитрия Афанасьевича. Я понимал — оправданий мне нет, исправить сейчас уже ничего нельзя. В его глазах я был болтуном и обманщиком. Вот тебе и помощник Лухманова!

Но вскоре произошло событие, которое начисто отвлекло мое внимание от Лухманова, блоков и занятий в техникуме вообще. Я познакомился с Лидочкой. Это знакомство круто повернуло мою морскую судьбу.

Лидочка

Как-то в середине года один из приятелей спросил меня:

— Что вечером делаешь?

Я неопределенно пожал плечами.

— Хочешь познакомлю с одной девчонкой?

— Кто такая?

— Лидочка. Вместе в школе учились. Я должен к ее матери зайти по делу. Можешь пойти со мной.

— Блондинка, брюнетка?

— Вроде блондинка. Светлая, в общем. Пойдешь?

Вечер был свободный, и я согласился. Чтобы произвести впечатление на будущую знакомую, я надел свои лучшие вещи. Все тот же белый макинтош, Федькину шляпу и синие, вылинявшие «дунгари».

На третьем этаже облупленного дома на Литовском проспекте мы позвонили в дверь, обшитую черной клеенкой. Какая-то древняя старушка впустила нас в прихожую. Я намеренно долго стаскивал свой «макен», все надеялся, что выйдет эта самая девчонка, с которой я пришел знакомиться, и будет поражена моим иностранным видом, но она не вышла. Вместо нее появилась полная, еще не старая женщина с жестковатыми голубыми глазами, затянутая в черное шелковое платье.

— А, мальчики, здравствуйте. Проходите в гостиную. Как поживают родители? — спросила она моего приятеля. — Здоровы? Как дядюшка?

Приятель ответил на все вопросы и потом сконфуженно сказал:

— Мне бы надо с вами поговорить наедине, Анна Николаевна.

— Ну что ж. Пойдем поговорим, если надо. Вы нас извините, — обернулась ко мне хозяйка.

Они вышли. Я остался один. В комнате стоял поцарапанный старый рояль, несколько мягких стульев, диван и целый лес фикусов в деревянных бочках. Открылась дверь, вошла рыжая собака, а за нею белобрысая девочка с бантом на голове. Она испуганно взглянула на меня, покраснела и, повернувшись спиной, принялась играть с собакой.

«Невежа, — подумал я, — даже здравствуйте не сказала». Я чувствовал себя крайне неловко. Но тут снова отворилась дверь. В комнату вошла девушка.

Я взглянул на нее и понял, что это именно она, та, которую я

искал, о которой мечтал, видел во сне и уже любил, никогда не встречая прежде. Светлая, подстриженная под мальчишку головка, лазурные глаза, широкий носик и родинка над верхней губой. Она! Лидочка была одета в длинную бархатную толстовку и такую короткую по тем временам юбочку, что она еле-еле прикрывала колени.

— Здравствуйте, — проговорила Лидочка и улыбнулась.

Не знаю, каким колокольчиком прозвучал ее голос. Мне показалось, что я услышал музыку. Я поздоровался и больше не сказал ни слова. Что со мною случилось? Раньше я никогда не смущался в присутствии девушек. Даже бывал излишне развязен. А тут…

К счастью, в комнату вошли мой приятель, Анна Николаевна, вторая сестра Лидочки. Начали знакомиться. Лидочка спросила меня о чем-то. Я ответил односложно и опять замолчал. Скоро мы стали собираться домой. Нас не удерживали. На прощание Лидочка сказала из вежливости:

— Заходите, пожалуйста.

Щелкнул замок. Мы спускались по лестнице.

— Добрая старушка, — засмеялся приятель. — Дала пятерку до стипендии. Живем! А то не у кого было занять… Как, понравилась Лидочка?

— Ничего, — как можно безразличнее ответил я.

Мне не хотелось говорить о ней ни с кем. Я нес ее в своем сердце и боялся, что приятель начнет какой-нибудь пошлый разговор. На улице я спросил: — У них есть телефон? Дай я запишу. Может быть, звякну когда-нибудь от скуки.

Приятель назвал номер, я записал его на обрывке газеты.

— Ну, пока! — Я сунул ему руку и побежал к трамвайной остановке. Мне хотелось побыть одному. В полупустом трамвае я остался на площадке. Под стук трамвайных колес, упершись лбом в холодное стекло, я думал о том, что мне страшно не повезло, я определенно не понравился Лидочке, держался таким дураком, и вряд ли она захочет встретиться со мною еще раз. Да наберусь ли я смелости позвонить ей? Что скажу? Знакомы-то были всего с полчаса.

Целую неделю я мучился. В голову ничего не лезло. Несколько раз подходил к телефону, хотел позвонить. Придумывал, что скажу. Что-нибудь веселое, остроумное, возьму реванш за глупое поведение, пусть знает, с кем имеет дело. Не придумал. Ходил как в воду опущенный. Даже мама заметила — не заболел ли?

В субботу после занятий в Мореходке — решился. Набрал номер.

— Можно Лиду?

В трубке чужой голос:

— А кто спрашивает?

— Знакомый один.

В ответ что-то проворчали. Через минуту слышу:

— Алло?

У меня дух захватило.

— Лидочка? Юра говорит.

— У меня Юр знакомых нет. Не помнит! Я этого и боялся.

— Ну, Юра. Еще с этим… — я назвал имя приятеля, — у вас дома целый час сидел. Вспомнили?

Помолчала.

— Теперь вспомнила. Вы еще в таких смешных штанах были с передником и лямками, как у детишек. Да?

Смешных?! Высший класс мореходской моды!

— Ага… в синих.

Надо сразу решиться. Или пан, или пропал.

— Я хотел вас в кино пригласить. Картина мировая идет в «Парижиане». Называется «Жизнь за жизнь». Пауль Вегенер играет. Пойдем сегодня?

— Сегодня не могу. Завтра, если вам удобно.

Согласилась! Я даже трубку чуть не выронил от радости. Договорились встретиться у входа за полчаса до начала сеанса.

Вечером я никуда не пошел.

Сидел дома и мечтал о Лидочке. Все представлял, как мы с ней в кино пойдем, о чем будем говорить. А в воскресенье занялся приведением в порядок своего туалета. Выутюжил брюки, робу решил не надевать, «макен» почистил, поля у шляпы прогладил. Надел рубашку с галстуком. Без конца смотрел на часы. Они как будто остановились. Я и за книгу хватался, и комнату прибирал, и задание по навигации пытался выполнить. За час до начала не выдержал. Оделся, выскочил из дому. Бог мой! Меня так и обожгло! Мороз градусов двадцать пять! В трамвае я уже закоченел. Мой шикарный «макен» был неподходящей одеждой для такой погоды. С полчаса я бодро подпрыгивал у входа в «Парижиану», согреваясь испытанным извозчичьим методом — сам себя хлопал по спине. Но к семи часам я уже «дошел». Сеанс начинался в семь пятнадцать, а Лидочка не приходила. Я с надеждой смотрел на каждый трамвай с номером «четыре», на нем она должна была приехать. Напрасно. Трамваи катили один за другим. Ее не было.

«Не придет, — думал я. — Обманула. Свинство какое! Знает ведь, что мороз. Двадцать минут уже жду сверх срока. Не придет. Еще пять минут, и уйду. Хватит. Подумаешь, королева!» Но

проходило пять минут, еще пять, а я все прыгал у входа в кино. Не уходил. Ровно в семь тридцать она сошла с трамвая.

— Ах, ах! Я, кажется, немножко опоздала? Не сердитесь, пожалуйста. Задержалась дома. Ну, не сердитесь, — ворковала Лидочка, беря меня под руку.

— Н… ничего. Мы опоздали на сеанс. Пропали билеты. П… пойдем на второй, — сказал я плохо поворачивающимся от мороза языком.

Лидочка говорила, извинялась, сожалела, что пропали билеты. Я не слушал. Мне было нестерпимо холодно. Только через некоторое время, в фойе, в ожидании второго сеанса, я начал отогреваться и стал способен отвечать ей и шутить. Когда же мы очутились в теплом темном зале, мне сделалось совсем хорошо. Я взял ее руку в свою и привалился к ее плечу. От белого барашкового воротничка пахло дешевенькими духами. На экране страдал Пауль Вегенер. У меня начали слипаться глаза. Меня разморило. Я собрал всю свою волю, чтобы не уснуть, но как-то непроизвольно положил голову на белый Лидочкин воротник и задремал.

— Бедный мой, — услышал я ее голос. — Перемерзли. Как я виновата перед вами. Но я не думала, что вы будете ждать так долго…

Ее слова были лучшей наградой за все мучения, что я перенес. Фильм кончился. Мы вышли на улицу. Мороз стал еще крепче. Прохожие бежали, подняв воротники и надвинув шапки на уши. Все кругом покрылось сверкающим налетом инея. Казалось, что воздух звенит, таким он сделался осязаемым. Лидочка не разрешила провожать себя. Категорически запретила. В душе я радовался этому, хотя и протестовал. Я посадил ее в трамвай.

— Звоните! — крикнула она с площадки. Трамвай звякнул и, блеснув двумя оранжевыми глазками, ринулся в мороз. Я поехал домой, в противоположную сторону. Не могу рассказать о своем состоянии. Наверное, в тот вечер счастливее меня на свете не было человека.

Мама открыла мне дверь и ахнула:

— Боже мой! Что с тобою случилось? Уши! Боже…

Я все понял, когда, раздевшись, посмотрел в зеркало. На месте ушей торчали два красных надутых бифштекса. Я обморозил себе уши. Потер их и ощутил нестерпимую боль. Теперь придется долго лечить их. Но каких жертв не приносили во имя любви? А тут какие-то уши?

Несколько позже, сидя дома с намазанными гусиным жиром ушами, я подумал, что Лидочка опоздала нарочно. Испытывала

меня на верность. С тех пор, в течение сорока лет, я ее всегда жду и, если дело происходит зимой, предусмотрительно надеваю зимнюю шапку. Жена всегда опаздывает, а уши у меня до сих пор боятся мороза. С этого началась наша любовь.

Я совсем забросил занятия в техникуме. Мы встречались почти каждый день.

Ходили по морозу, по слякоти, ездили за город. Лидочка приходила ко мне, я приходил к ней, к величайшему неудовольствию Анны Николаевны. Наверное, ей не нравилась такая неразлучная дружба.

Весной, перед самым окончанием первого курса, когда я уже сдал все предметы и готовился уезжать на практику, пришла грустная Лидочка.

— Я на минутку. Все очень плохо. Мы должны расстаться и больше не видеться.

— Почему?

— Мама настаивает. Она говорит, что я должна выйти замуж… И ты этому мешаешь.

— А ты что?

— Я не хочу.

Расстаться? Не для того я искал ее, чтобы вот так просто отпустить. Мама настаивает! Невозможно. И я принял решение. Ведь мне было девятнадцать.

— Успокой мать. Выйдешь замуж.

— Ты с ума сошел! Ни за кого не выйду.

— Выйдешь. За меня. Завтра. Согласна? Она не колебалась:

— Согласна. А жить как будем?

— Там увидим. Завтра я пойду в техникум, получу обмундирование и к двенадцати приду на угол Фонтанки и Невского. Там и загс. Не опаздывай.

На следующий день я поехал в Мореходку. Получил там какой-то волосатый бушлат с двумя золотыми птичками на рукаве, что означало «второй курс», пару сапог и две тельняшки. Все это я свернул в неуклюжий тюк. перевязал смоленым шкимушгаром — и был готов к бракосочетанию.

Ровно в двенадцать я стоял у загса. Невеста, конечно, опоздала. Минут на двадцать. Мы поднялись на второй этаж, красные от смущения подали паспорта. Я все еще держал свои пожитки в руках, не зная, куда их деть. Женщина, производившая запись, подозрительно оглядела нас. Нет, все было в порядке, кроме нашей неприличной молодости. Через десять минут мы стали мужем и женой. Регистраторша вручила мне брачное свидетельство, сказала несколько напутственных слов. За нами, переминаясь с ноги на ногу, стояла еще одна нетерпеливая пара.

В то время все это делалось быстро.

На лестнице никого не было, и мы поцеловались.

— Надо сейчас же поехать и объявить маме, — твердо сказала Лидочка, когда мы вышли на Невский.

Не могу сказать, чтобы мне хотелось туда ехать. И тюк с бушлатом и сапогами все время мешал мне. Я его перекладывал то в левую, то в правую руку.

Встретила нас Анна Николаевна сурово. Без улыбки. Не обрадовалась моему появлению. Бушлат я втащил в гостиную и бросил на кресло. Лидочка куда-то убежала. Я остался с тещей с глазу на глаз.

— Как учеба? — для приличия спросила она.

Вообще-то ей было наплевать на мою учебу! Раньше она никогда ею не интересовалась.

— Да вот — женился, — с опаской проговорил я. Теща, против ожидания, улыбнулась. Новость ее явно обрадовала. Наверное, подумала: «Слава богу, этот пижон женился на какой-то дуре. Теперь ходить к нам не будет».

— Правильно, — сказала она. — В брак надо вступать молодым. На ком женился-то?

— На Лидочке.

Анна Николаевна переменилась в лице.

— На какой Лидочке?

— На вашей.

Тут она как закричит:

— Лидия! Иди сюда немедленно. Появилась бледная, но решительная Лидочка.

— Он правду говорит? — тихим, угрожающим голосом спросила Анна Николаевна, наступая на дочь.

— Правду, мамочка.

Что тут было! И слезы, и упреки, и угрозы, и оскорбления. Я слушал молча, все терпел, но когда Анна Николаевна крикнула, что я голодранец и чтобы я больше не смел появляться в ее доме, обиделся. Взял за руку жену, в другую руку проклятый бушлат с сапогами и сказал:

— Пойдем, Лидия.

Мы вышли и поехали ко мне.

Как все это было смешно и глупо! Я долго сердился на тещу, не понимая, что Анна Николаевна — мать и тревожится за судьбу дочери. Какой я был муж? Ничего не имеющий, кроме белого бумажного «макена», синих «дунгари» и двадцати рублей стипендии. А слов «безумная любовь» она не понимала. Человек старого закала, она хотела прочного положения и безбедного существования для дочки. Тогда я этого не понимал, мне

казалось, что теща у меня изверг. Потом для меня все стало ясным. Кое-что поняла и она. Позже…

На следующий день Лидочка провожала меня в Архангельск на практику. Я уезжал на свой первый пароход, в первое настоящее плавание. А она пошла к Себе домой, к маме. Наверное, у нее на душе скребли кошки. Вдруг кто-нибудь из домашних спросит:

— Вышла замуж? Где же твой муж — объелся груш?

Неприятно. Но в девятнадцать лет все невзгоды переживаются легче.

Я, одетый в волосатый бушлат и мичманку, стоял в коридоре, смотрел на убегающий перрон и напевал:

Он юнга, родина его Марсель.
Он обожает песни, шум и драки.
Он курит трубку, пьет крепчайший эль
И любит девушку из Нагасаки.

Уезжал моряк, оставивший любимую в далеком порту… Ну, вы знаете, как это бывает.

Первое плавание

Наша группа практикантов приехала в Архангельск в середине мая. Он встретил нас пронизывающим, холодным ветром. По Двине плыли редкие льдины, сновали смешные маленькие пароходики «макарки», до отказа набитые пассажирами. Суденышки отчаянно дымили. У каждого из них позади трубы были уложены дрова. Топливо для котлов. Переехав на правый берег реки, где расположился город, мы вышли на улицу. Архангельск мне не понравился. Какие-то приземистые, приплюснутые дома, выкрашенные желтой краской, деревянные дощатые тротуары, пыль, посреди площади некрасивый собор. Мне показалось, что город походит на огромный монастырь со службами. По проспекту Павлина Виноградова, главной улице, лязгая по рельсам, изредка проезжали старомодные, сильно потрепанные трамваи.

Все мы имели направления на суда «Убеко — Севера». Расшифровывалось название так: «Управление безопасности кораблевождения». Узнали туда дорогу.

Архангелогородцы говорили на певучем языке, делая ударение на конце слов. Нам это казалось смешным. Трамвай привез нас еще к одной речке. Она называлась тоже необычно: Кузнечиха. Перешли деревянный наплавной мост и очутились в Соломбале. У огромного кирпичного здания, похожего на тюрьму, остановились и прочли вывеску на воротах: «Убеко — Север». Значит, нам сюда.

Через проходную долго не пропускали. Куда-то звонили, спрашивали фамилии, читали направления, выданные в техникуме. Наконец пришел штурман с двумя средними нашивками, пересчитал, опять спросил фамилии и повел за ворота. Здесь была территория «Убеко — Севера». Его склады, мастерские, причалы.

Штурман назвался Николаем Николаевичем и сказал, что на судах «Убеко» команды опытные и нас там научат уму-разуму.

— Большие суда? — спросил я.

— Не особенно. Удобные для выполнения работы.

— А куда они плавают? За границу ходят? Николай Николаевич усмехнулся.

— Нет. По Белому и Баренцеву морю. До Новой Земли. По диким местам. Снабжаем маяки дровами, продовольствием, баллонами с газом, устанавливаем знаки, створы. Работы много.

Мы знали, что нам предстоит, и все-таки были разочарованы. Плавание показалось нам уж больно неинтересным.

Так за разговорами дошли до причала. Он выходил на Маймаксу, один из притоков Двины. У стенки стояли три небольших парохода: «Таймыр», «Метель», «Пахтусов». О, «Таймыр»! Неужели тот, на котором в 1913 году плавал знаменитый Вилькицкий? Я спросил об этом у Николая Николаевича.

— Да, тот самый, — подтвердил он. — «Вайгач» — его родной брат — погиб, если помните, а «Таймыр» жив и еще крепок.

Правда, по сравнению с другими судами, стоявшими у причала, «Таймыр» был самым большим и производил впечатление крепкого судна. Он имел ледокольные образования кормы и носа. Я подумал: «Хорошо бы попасть на «Таймыр». Все-таки ледокол, историческое судно, и можно будет потом небрежно сказать: «Я плавал на «Таймыре». Да, да, на том самом «Таймыре», на котором Вилькицкий…»

Мне повезло. Когда нас распределяли, меня назначили на «Таймыр». Туда же из моих одноклассников попали еще двое — Пунченок и Дворяшин. Кадровой команды на судне не хватало, и нас на следующий день перевели в штат матросами второго класса. Среди учеников такое назначение считалось большой удачей. Мы сразу становились настоящими моряками, и к тощей стипендии прибавлялась зарплата. А это немаловажно.

«Таймыром» командовал старенький капитан-эстонец Придик, старшим помощником был моряк из поморов Пустошный и вторым штурманом — Николай Николаевич, тот, который нас встретил у ворот. Имена команды стерлись в памяти, но одного матроса, Германа, или, как его чаще звали, Герку, я запомнил на всю жизнь. Высокий, с сильным гибким телом, с курчавыми золотистыми волосами, небольшой головой, длинной шеей, маленькими темными злыми глазами и слегка приплюснутым носом, Герка напоминал змею. А губы у него были почему-то неестественно красными, будто накрашенные. У соломбальских девчонок он пользовался успехом. Мы видели его то с одной, то с другой. Герка принял наше появление на судне недружелюбно. Когда мы вошли в кубрик, он приветствовал нас словами:

— А, сачки прибыли. Ты, боцман, мне в напарники никого из этих не давай. Я одну зарплату получаю.

Это было оскорблением. Пунченок что-то пробурчал в ответ, а Дворяшин и я промолчали. Не хотелось сразу же портить отношения. Может быть, все наладится. Мы поселились вместе с командой в просторном, неуютном кубрике, выкрашенном скучной грязноватой охрой. Посреди стоял стол, покрытый линолеумом. На нем мы обедали, а потом играли в кости и шахматы. Матросы отнеслись к нам безразлично. Пришли новые

люди и пришли, а чего они стоят — покажет будущее. Только Герман всегда старался хоть чем-нибудь задеть нас, да и не только нас, но и других. Из-за него в кубрике часто вспыхивали ссоры.

К большому нашему огорчению, «Таймыр» К рейс пока не собирался. Он стоял у причала, заканчивал ремонт котлов, и, в лучшем случае, мог выйти недели через две. А мы-то думали, что достаточно нам бросить свои чемоданчики на палубу судна, как раздастся команда: «Отдать швартовы!» Мы рвались в море, а тут предстояла стоянка.

Начались корабельные будни. Нам поручили самую неинтересную работу: обить ржавчину в угольных бункерах. Бункера — тесные глубокие шахты — были запущены, и ржавчина покрывала их стенки толстой сплошной коростой. Каждое утро после завтрака, пере-одевшись в грязную робу, вооружившись кирками, защитными очками, мы спускались в бункер. Целый день, с коротким перерывом на обед, поднимая страшный грохот, мы колотили по железным стенкам. Ржавчина отлетала пластами, колола лицо, забивала нос и уши, а мы все колотили, колотили до одурения. Казалось, что работа совсем не двигается. К концу дня оглушенные и совершенно обессиленные вылезали на свет божий. Садились прямо на палубу и дышали чистым воздухом. Потом шли в баню, наскоро мылись, заваливались в койки. Даже есть не хотелось. Непривычные мы были к такой работе. Если Герман находился в кубрике, когда мы появлялись там после бункеров, он неизменно говорил:

— Пришли, будущие капитаны? Сколько сегодня наработали? Метра два квадратных сделали? Ничего, привыкнете. Это вам не бабам мозги замусоривать, про штормы рассказывать. Погодите, ягодки еще впереди.

Мы устало огрызались. Не до подначки нам было. Вечером в кубрике над столом зажигалась лампа, и тот, кто оставался на судне, садился играть в карты или читать. Герман в карты не играл. Если он не уходил на берег, то собирал вокруг себя несколько человек, любителей всяких баек, и рассказывал. Рассказывал про женщин. Только про женщин. Говорил пошло, грязно, похабно. Читал какие-то порнографические стихи и поэмы. Наслаждался, облизывая свои красные губы. В кубрике хихикали. Матросы постарше останавливали его:

— Хватит тебе языком трепать, Герка. Уши вянут.

— А ты уши заткни. Кстати, тут не институт благородных девиц. Да знаю я: одно заткнешь, другое оставишь. Ведь самому интересно. Как он ее… А?

Меня не интересовали его рассказы. Мы привыкли к

похабщине, и непристойная форма, тупость суждений, безапелляционное утверждение, что «все они такие, не удивляли и даже не раздражали. Я не останавливал его, придерживаясь удобной точки зрения: «не любо — не слушай, а врать не мешай».

Но однажды за ужином, когда он сел на своего любимого конька, не знаю, что со мною случилось, я ввязался в разговор:

— Слушай, ну что ты заладил одно и то же? Надоело! Все скверные, все продажные, все проститутки, а где же хорошие? Где честные, благородные, верные?

Что тут началось! Я не могу повторить даже десятой доли того, что выслушал от Германа. Может быть, на этом все бы и кончилось, но он совершил ошибку: оскорбил меня и мою семью. Я вскочил.

— Замолчи, скотина! Или я разобью тебе котелок! Замолчишь, сволочь?

Казалось, мои слова только подхлестнули Герку. Его речь стала еще грязнее. Он издевался над моей женой и матерью. От ярости я уже ничего не соображал. Схватил со стола медный чайник и с силой швырнул в Герку. К моему счастью, не попал. Чайник снарядом просвистел мимо его головы, ударился о койку. Носик у него сплющился. Теперь наступил Геркин черед. Он был не из тех людей, которые прощают обиды.

— Убью, сука! — тихо сказал он.

Не торопясь взял со стола нож и пошел на меня. Не думаю, что он хотел меня ударить, вероятнее всего просто собирался попугать, унизить, но я приготовился к обороне, схватил табуретку. Нас разняли. Герман сквозь зубы процедил:

— Я тебе этот чайник припомню. Каждый день смотри на носик и вспоминай сегодняшний день.

И он припомнил.

В начале июня «Таймыр» вышел в море. Мы ждали этой минуты с нетерпением. Дул свежий, прохладный северо-восточный ветер, но мы не уходили с палубы. Проплыла мимо зеленая Соломбала, лесозаводы со стоящими у деревянных стенок судами, причалы Экономии. «Таймыр» уже просвистел тоненьким голосом три продолжительных свистка, что означало прощание с портом. Одно из судов ответило басовито и солидно. Маймакса петляла. Вскоре потянулись низменные болотистые берега. Ветер стал крепче, холоднее. Чувствовалась близость моря. Берега удалялись. Слева они уже еле виднелись.

«Таймыр» шел между красными и черными вехами. Впереди краснела маленькая точка, не то буй, не то веха.

— Северодвинский плавучий маяк, — сказал кочегар, поднявшийся на палубу подышать.

Верно, это был маяк. Я видел такой впервые. Выкрашенный в красный цвет, с белой полосой посредине, он казался самым настоящим судном с бушпритом. Только в центре палубы возвышалась мачта с большим маячным фонарем. Мы прошли «плавучку» близко. Кто-то из маячных помахал нам рукой. Видно, распознал знакомого.

Так незаметно мы оказались в море. «Таймыр» стало покачивать. Он переваливался, как настоящий большой ледокол. Справа тянулся черный высокий Зимний берег. В море гуляла волна. На судно, как стая курчавых болонок, бежали шипящие барашки. Так легко дышалось! Я полной грудью вдыхал прохладный воздух и казался себе таким сильным, смелым, мужественным. Несколько лет, проведенных мною в яхт-клубе, принесли большую пользу. Я не укачивался, легко передвигался по палубе, кое-что знал из морской практики. Вот я и стал настоящим моряком. Так мне казалось. На ледоколе плыву в Белом море, а впереди Северный Ледовитый океан. Вероятно, встретятся штормы и мне придется бороться с ними. А потом мы будем высаживаться на необитаемые острова, строить навигационные знаки, выгружать продовольствие на маяки… Мысли были самые детские.

Я поднялся в рубку. Пунченок стоял на руле. Часы показывали полночь, но было светло, как днем. В Белом море летом ночей не бывает. Пунченок недовольно сказал:

— Вставай. На вахту надо выходить за пять минут до смены. Понял?

До Мореходки он учился в Военно-морском училище и гордился тем, что знает все морские порядки, Я принял теплые ручки небольшого штурвальчика. Судно покачивало, и я никак не мог удержать его на курсе. Рыскал градусов по десять то вправо, то влево. Волновался и от этого все чаще гонял руль с борта на борт. Николай Николаевич нес штурманскую вахту. Он несколько раз заглядывал ко мне в компас, качал головой. Потом взглянул на мое лицо, подошел.

— Дай-ка сюда, — проговорил он, легонько отталкивая меня от штурвала, — и смотри.

Не прошло и нескольких секунд, как штурман успокоил судно. Оно устойчиво легло на заданный курс.

— Обернись, — сказал Николай Николаевич. — Ровная струя за кормой?

— Ровная.

— Становись к штурвалу. И запомни одно золотое правило. Чем меньше ты будешь гонять руль, тем лучше. Чуть-чуть. Полградуса вправо, полградуса влево. И достаточно.

Я встал к рулю. Стал меньше крутить штурвал. Судно пошло ровнее.

— Вот видишь, я был прав, — довольно сказал штурман. — Учись, пока я жив.

К концу вахты я уже довольно сносно управлял «Таймыром». Правило действительно было «золотое». Не гоняй руль, и все будет хорошо.

Утром ветер притих. Море начало успокаиваться. От воды поднимался низкий туман. Когда я сменился, пробили склянки — четыре утра. Такая рань, а солнце шпарит вовсю. На мою долю пришлась «собачья» вахта — с двенадцати до четырех. Я позавтракал, улегся в койку с чувством выполненного долга. Отстоял первую матросскую вахту.

Проснулся я от того, что начал ерзать в койке. Судно качало. Меня прижимало то к борту, то к деревянной доске ограждения. По палубе кубрика катался все тот же медный чайник со смятым носиком. Он катался и гремел. На нижней койке, заклинившись подушками, похрапывал Герка. Качка на него не действовала.

«Погода изменилась, — подумал я. — Штормит, наверное. Надо вылезти на палубу».

С трудом сохраняя равновесие, я оделся и поднялся наверх. От утреннего спокойствия не осталось и слада. Небо и море стали серыми, волны потеряли свой мирный вид. Они катились одна за одной, большие, с белой пеной на верхушках. По передней палубе гуляла вода. Трудно было стоять.

— В горло моря вошли, — сказал пожилой матрос, убиравший с палубы концы. — Паршивое место. Здесь всегда дует как в трубу.

…Две недели «Таймыр» ходил по побережью Белого моря, а потом перебрался в Баренцево. Мы ставили новые навигационные знаки, ремонтировали старые, снабжали маяки дровами и продовольствием. Тяжелая это была работа! Ледокол становился на якорь в открытом море, против маяка. Спускали карбас, грузили и гребли к берегу. Обычно, не дойдя до него несколько метров — не позволяла глубина, — мы перелезали через борт лодки, выстраивались в цепочку и, стоя по колено, а иногда и по пояс в воде, вручную передавали грузы. Требовалось выбросить их за линию прибоя, а там уж дело маячных сторожей.

Если мы не занимались снабжением маяков, то поднимали на вершины скалистых островов тяжелые бревна, баллоны с горючим газом для автоматических мигалок, доски. Капитан «Таймыра» Придик всегда торопился. Работы было много, и ему хотелось использовать каждую минуту спокойного летнего времени. Мы не успевали заснуть, как слышался грохот отдаваемого якоря и

команда: «Подъем! Карбас на воду!»

Месяца через полтора, обойдя с десяток богом проклятых мест, «Таймыр» пошел в Кольский залив, на остров Сальный, где мы должны были взять пустые баллоны, заменить их новыми, после чего наконец возвращаться в Архангельск. Архангельска мы ждали с нетерпением. Все-таки город…

Выгрузили баллоны из карбаса и принялись таскать их на вершину, к мигалке. Брали баллон два человека. На мое несчастье, напарником мне попался Герка. Я всегда избегал работать с ним, а тут пришлось.

— Чего смотришь? Бери сзади. Я впереди стану, — хмуро процедил Герка.

Мы подняли баллон, и спотыкаясь на скользких, обросших мхом камнях, медленно двинулись к маячку. Подъем был трудный. Мы несколько раз останавливались передохнуть. Стояли молча, Герка демонстративно отворачивался от меня. Наконец дотащились до вершины. Надо было сбрасывать баллон на землю. Опасный момент. Их всегда сбрасывали по команде переднего, одновременно, иначе тяжелый баллон мог упасть на человека. И вдруг, не предупредив меня, Герка бросил свой конец. Опоздай я на долю секунды — остался бы без ног. Я подпрыгнул. Баллон откатился в сторону.

— Что делаешь, подлюга?! Человека хочешь угробить? — С камня вскочил отдыхавший на нем кочегар Костя Попов, силач и добряк. — Морду тебе за это разбить надо. Ох и гад же ты, Герка!

— Иди ты знаешь куда… Чего привязался? Видишь, не рассчитал. С каждым может случиться. Не нарочно я бросил, — трусливо отвел глаза Герка.

— Ты и Волошину «не нарочно» трапик положил, когда он за борт сыграл? Чуть не утонул. Помнишь, как тебе рожу всей капеллой били? Забыл?

— Такие, как ты, всегда бороду шьют, — пробурчал Герка, явно не желая предаваться воспоминаниям.

— Имей в виду, последний раз тебе сходит. А ты, — обратился Костя ко мне, — больше с ним не становись, Я сам с ним поработаю. Давай пошли.

Герка злобно взглянул на кочегара, ничего не сказал и поплелся вниз за следующим баллоном.

Через три дня «Таймыр» пришел в Архангельск. В конторе «Убеко» нас ждала телеграмма. В ней говорилось: «Ленинградским практикантам срочно выехать в Керчь на учебное судно «Товарищ» для прохождения дальнейшей практики».

Я покидал «Таймыр» с радостью. Я был слишком утомлен тяжелой работой, непросыхающей робой, вечным недосыпанием.

Нет. если быть честным, мне не понравилось первое плавание. Я ждал романтики и не нашел ее. Мне все время хотелось спать. Больше я ни о чем не думал. Впрочем, думал. Мне казалось, что я неправильно выбрал себе специальность…

Под парусами

«Товарищу» не повезло. В Английском канале в густом тумане он столкнулся с итальянским пароходом «Алькантара». Через несколько минут после столкновения пароход затонул со всей командой. Спасся один человек, каким-то чудом зацепившийся за бушприт парусника.

Начался процесс в английском морском суде. В Лондон ездил Дмитрий Афанасьевич Лухманов и несколько свидетелей. После долгих месяцев разбирательства «Товарищ» был признан полностью невиновным. И вот теперь он стоял в Керчи на судоремонтном заводе, блестя свежей краской, готовый сняться в новое плавание, но уже по Черному морю.

Не доходя до трапа, я остановился. Поставил свой чемоданчик на землю и оглядел барк от самого клотика до ватерлинии. Встретился как со старым знакомым. Вот так же смотрели мы на него с Пакидьянцем с набережной Лейтенанта Шмидта. Смертельно завидовали тем, кто работал на паруснике, и не верили, что когда-нибудь попадем в число этих счастливцев. Неужели через минуту я поднимусь на его палубу?.. Верно говорят, что если человек чего-нибудь очень захочет, он обязательно этого достигнет.

На «Товарище» мы встретили нескольких своих однокурсников. Их прислали сюда раньше. А всего на паруснике собралось сто пятьдесят семь практикантов из всех техникумов. Они приехали из Одессы, Баку, Архангельска, Херсона, Владивостока. Веселые, здоровые, дружные ребята. Мы, ленинградцы, как-то сразу сблизились с архангельцами.

К моему большому огорчению, Пакидьянца на «Товарище» уже не было. Вместе с Алькой Ланге он перешел на теплоход «Ян Рудзутак» и теперь плыл где-то в Средиземном море. Но зато я встретил Мана. Ваня Ман среди нас был человеком известным, даже больше— знаменитым. Высоченного роста, светловолосый, голубоглазый, он слыл большим любителем парусного дела и знал его отлично. «Красная Звезда» собиралась идти вокруг света под его командованием. С Маном меня познакомил Пакидьянц, когда я приходил к нему на «Товарищ». К тому времени Ман уже окончил техникум и числился в штате «Товарища» матросом. Он сразу завоевал мое расположение простым, дружеским отношением, несмотря на то что я был значительно моложе его и море знал только по книгам и яхт-клубу. Многие практиканты, ходившие в Аргентину, на таких, как я, смотрели свысока, держались надменно.

Ман еще больше понравился мне после одного эпизода. Было это в Ленинграде. Ман, Пакидьянц и я поздно вечером шли по набережной, возвращались из кино. Несколько выпивших парней пристали к нам. Ман закричал: «Становись за мной!» — а сам стал хватать нападающих по одному и бросать в снежные кучи. Нам с Пакидьянцем даже не пришлось пустить в ход кулаки для защиты. Через минуту, прокричав несколько угроз по нашему адресу, пьянчуги ретировались. Ну что в то время могло мне больше прийтись по душе, чем сила, смелость и вот такая «морская хватка»?

Ман встретил меня как старого знакомого. Он уже занимал должность боцмана и командовал вторым гротом. Увидев меня, он предложил:

— Хочешь в мою вахту? На второй грот?

— Конечно.

— Ладно. Скажу старпому. Так я попал в третью вахту.

Жили мы в огромных кубриках, переделанных из грузовых трюмов. Утром нас выстраивали на подъем флага, после чего начинались занятия, уборка судна, парусные учения.

Ман обращался с нами безжалостно. Позже я пожалел, что попал в его вахту. Каждый день, стоя на палубе с секундомером, он гонял нас на реи. Требовал быстроты, ловкости, сообразительности. Подсмеивался над теми, кто путал снасти, не знал, на каких нагелях они крепятся. Нерадивых заставлял по нескольку раз повторять упражнения. Добивался от своей вахты во всем безукоризненной четкости.

Главным боцманом, боцманом первой вахты, был Осип Адамович Хмелевский, «Адамыч», как все называли его. Удивительный старик! Адамыч пришел на «Товарищ» очень давно. Плавал и с капитаном Шанцбергом, и в Аргентину ходил с Лухмановым, и вот теперь плавает с капитаном Фрейманом. Адамычу было много лет. Во всяком случае больше шестидесяти. Гладкая как яйцо голова, голубые маленькие глазки, небольшой красный носик, розовые, склеротические, старческие щеки. Адамыч — главный боцман «Товарища»! Незабываемая фигура. Он все видел, все умел, а если не видел, то чувствовал. Мы знали, что зрение у него ослабло и верхних парусов он уже не видит, но командовал он так, как будто сам сидел на бом-брам-рее.

— Эй, орел — куриная головка! — кричал кому-нибудь Адамыч, он каждого практиканта называл не иначе как «орел — куриная головка». — Не хлопай ушами. Подбери бык-гордень. Зачем тебя тут поставили!

Мы поражались. Он на ощупь различал каждую снасть. А сколько их на судне! И такелажником Адамыч был выдающимся.

Боцман мог делать такие работы, которые знали только моряки старого парусного флота. Какие-то особенные маты, татарские оплетки, королевские мусинги, умел шить любые паруса.

Осип Адамович любил форму. Любил, чтобы его принимали за капитана. Он сходил с судна в синем английском бушлате с золотыми пуговицами, в фуражке с «крабом», с твердыми полями и кожаным лакированным козырьком. И его частенько принимали за капитана. Очень уж морской вид он имел. В каком-нибудь ресторанчике, за стаканом вина Адамыч начинал свои удивительные рассказы. Он много видел в своей долгой жизни, многое пережил, но еще больше фантазировал. Нам была известна эта слабость, но мы любили его слушать и никогда не высказывали недоверия.

— Вот, орлы — куриные головки, плавал я тогда на английской баркентине «Блю Сван», — говорил Адамыч, попыхивая короткой обгорелой трубочкой, на баке, когда знал, что скоро не будет аврала. — Молодой я был, красивый… Ну и она ничего. Рыжая. Хе-хе-хе… — и смеялся своим старческим, петушиным смехом.

Но, пожалуй, ни Адамыч, ни Ман не имели такого морского вида, какой имел Швец, боцман второй вахты. Коренастый, с коричневым, как у индейца, лицом, горбоносый, с серебряной серьгой в ухе, Швец выглядел настоящим пиратом. Он очень подходил к парусному судну. Как бы дополнял его. Голос у него был громкий, ругался Швец виртуозно, и если командовал на баке, то его слышали и на корме. Однако не знаю почему, второй боцман не был для нас таким авторитетом, как Адамыч и Ман.

Капитана «Товарища», Эрнеста Ивановича Фреймана, мы видели редко. Он стоял очень далеко от нас, учеников, и был почти недосягаем. Никому и в голову не приходило обратиться непосредственно к самому капитану. Для этого имелся старпом, наш главный начальник, веселый Иван Васильевич Трескин.

Вот с ним мы иногда беседовали, иногда жаловались на что-нибудь. Но все же ближе всего мы стояли к боцманам. Капитан и штурмана обитались на мостике, вели судно, а мы лазали по реям, выполняли их команду.

Плавали на «Товарище» и старые, кадровые матросы, оставшиеся на барке после аргентинского рейса. Миша Маклаков, эстонец Ремель, архангелец Смолин— все великолепные парусники — знали свое дело досконально и являлись первыми помощниками боцманов. Ну, а про учеников говорить нечего. Их было много, разных по характеру и духу. Многие из них впоследствии стали известными капитанами — Миша Марков, Саша Дубинин, Саша Ветров, Моня Соловьев, Виктор Маевский.

Вся эта масса людей подчинялась суровой дисциплине учебного судна, неизменяемому распорядку дня, уставу.

Через неделю после моего приезда «Товарищ» ушел из Керчи. Два маленьких пыхтящих буксирчика вытащили его в море. Раздалась долгожданная команда: «Все наверх! Паруса ставить!» — и барк, одевшись в белую парусину, слегка накренился и пошел вперед, восхищая столпившихся на палубе практикантов.

Это было море Станюковича, Лондона, Джозефа Конрада. Море, о котором я так много читал. Оно расстилалось передо мной бескрайним голубым простором и слепило глаза солнечными зайчиками. Иногда оно бывало бурным и катило свои сердитые валы, разбиваясь о штевень каскадами сверкающих брызг. В тихие темные ночи оно таинственно мерцало, оставляя за кормой светящийся след потревоженной воды. Когда на небе появлялась луна и прокладывала серебристую дорожку к горизонту, все кругом становилось сказочным, нереальным… Огромный четырехмачтовый барк, один из немногих оставшихся в мире. «Товарищ»!

Мне надо было поплавать на нем, для того чтобы запомнить на всю жизнь. Запомнить его полные паруса, свист ветра в снастях, шум воды у бортов и штевня, когда барк летел, накренившись, со скоростью в тринадцать узлов.

Я запомнил и команду капитана: «Все наверх! К шквалу приготовиться! Бом-брамселя и брамселя убрать!» И то, как мы, лежа животами на раскачивающихся реях, с кровью, выступающей из-под ногтей, скатывали рвущуюся из рук парусину. А какое чувство удовлетворения охватывало нас после таких авралов! Мы все успели сделать вовремя, мы настоящие матросы… И вахты у деревянного штурвала «Товарища» я запомнил. Ведь тебе подчинялось удивительное судно, почти живое существо. От твоей воли и уменья зависело, чтобы оно не закапризничало, не обстенило парусов, не вышло из ветра… Все это я запомнил. Все так ярко в памяти. будто не было прожитых десятилетий. Замечательное, незабываемое плавание.

«Товарищ» бродил по Черному морю. Делал повороты, мы убирали и ставили паруса, становились на якорь у живописных крымских берегов, спускали шлюпки, проводили учения. Купались, загорали, мыли и чистили свое судно.

Около двух месяцев барк находился в учебном плавании. Изредка он заходил в порты, вызывая восхищение жителей и курортников. Мы страшно гордились и фасонили, когда слышали, как девушки шептали нам вслед: «Это ребята с «Товарища». И хотя Феодосия не Буэнос-Айрес, а Черное море не Тихий океан, мы чувствовали себя нисколько не меньше моряками, чем

ученики, ходившие в Южную Америку.

На комсомольском собрании меня выбрали в ред-коллегию стенгазеты. Я отказался. Предложили работать уполномоченным МОПРа. Я опять отказался. Когда секретарь сделал мне замечание, я высокомерно заявил:

— Пусть этим занимаются те, кто не знает парусного дела. А мне некогда.

«Я моряк, работаю на нижнем брам- рее, боцман мной доволен. Чего же еще?» — так я думал. Мне уже казалось, что я почти адмирал Ушаков.

И вдруг слух: «Товарищ» идет на десять дней в Одессу. Одесса! Я никогда не был в этом городе, но слышал о нем много.

А теперь практиканты-одесситы не давали покоя со своей Одессой. Целыми днями они жужжали: «Одесса — черноморский Париж! Самые красивые женщины в Одессе! Город моряков! Золотые пляжи! Куприн написал «Гамбринус». Он еще существует…»

Если все правда, я должен показать Одессу своей Лидочке. Пусть она посмотрит и на «Товарищ», пусть проникнется уважением к мужу, плавающему на таком красавце. Жена должна увидеть, как он работает на такой высоте, правда не на самом бом-брам-рее, а на брам-рее, но тоже достаточно высоко и страшно. А вечерами мы будем сидеть у моря… Но на стипендию особенно не разъездишься. И я дал первый в жизни семейный приказ: «Продай белый макен, шляпу, шарф, немедленно приезжай в Одессу». О жилье я договорился с одним славным практикантом-одесситом. Он принимал нас к себе на квартиру безвозмездно. Радиограмма была послана. Что я буду носить, когда вернусь, меня не тревожило.

«Товарищ» подал швартовы в Арбузной гавани вечером, а утром я уже встречал жену.

В этот же день я привел ее на «Товарищ». Наши «троглодиты» — так называли друг друга практиканты— совсем обалдели. Глядели на меня с завистью, отпускали вслед шуточки и, вероятно, думали: «Везет! Не успели прийти в порт, как этот чмур такую девчонку отхватил!» Большинство не знало, что эта девчонка моя жена. Да и трудно было поверить. Я шел рядом с Лидочкой, как петух, гордо подняв голову, показывал, объяснял ей, что такое рангоут и такелаж, для чего служит. Когда же я дошел до брам-рея и она узнала, что при авралах там мое место, то спросила:

— А ты не упадешь оттуда?

Я не успел ответить, как сзади кто-то хихикнул и сказал:

— Не беспокойтесь. Когда он туда забирается, его накрепко

прихватывают к рее веревками. Такой порядок. Никуда не денется.

Я обернулся. Рядом стоял практикант из одесской Мореходки и нагло улыбался во всю свою рожу. С каким бы удовольствием я съездил ему по носу! А Лидочка поверила и спросила:

— Правда? А я за тебя беспокоилась, когда читала твои письма.

Я постарался поскорее увести ее с судна.

Я предусмотрел все. И комнату, и то, в какой столовой будем обедать, и где гулять, и как проводить время… Предусмотрел все, кроме одного. Практикантов с «Товарища» выпускали на берег через два дня на третий. Вахта и подвахта на борту, третья вахта свободна. Железный закон учебного судна. Но разве могли подойти такие правила влюбленному молодому мужу? И вместо того чтобы попытаться получить разрешение чаще бывать на берегу, я пошел на преступление. Почему я не поговорил со старпомом, не объяснил ему всего? До сих пор не понимаю. Наверное, боялся получить отказ.

Каждый вечер я укладывал свой бушлат на койку, придавал ему очертания человеческого тела, покрывал одеялом и с наступлением темноты незаметно удирал с судна.

— Почему тебя так часто пускают на берег? — спросила Лидочка, когда я стал ежедневно приходить к ней. — Ты же писал, что у вас с судна не вырвешься.

— Это правда. Но у меня с дядей Ваней прекрасные отношения. Придешь, скажешь ему и — дело в шляпе. Гуляй до утра.

— А кто это дядя Ваня?

— Дядя Ваня? Старпом. Он меня уважает за работу. Если что-нибудь серьезное, дядя Ваня посылает меня: «Иди быстро наверх, посмотри, что там заело», — беззастенчиво врал я, в глубине души опасаясь встречи с милым дядюшкой» где-нибудь в городе во время моей вахты. «Племяннику» бы не поздоровилось! Но жена мои объяснения приняла. Не может быть иначе. Ее муж — прекрасный моряк, и старпом, конечно, его заметил и выделил из общей массы. Чего ж тут удивительного?

Несколько раз мне это сходило с рук, но в конце концов меня уличили. Лидочке я ничего не сказал. Но она заметила, как упало мое настроение.

— Почему? Что с тобой?

— Не хочется расставаться…

Дело принимало плохой оборот. За самовольный уход с вахты на учебном судне отчисляли из техникума. Только теперь я понял всю серьезность последствий.

«Товарищ» снялся в Батум. На переходе должна решиться моя судьба. Мне могли помочь товарищи-комсомольцы: ходатайствовать перед капитаном об оставлении на судне. Я бросился в бюро ячейки.

— Вряд ли собрание примет такое решение, — холодно сказал секретарь, прочитав мое заявление. — Ничем хорошим ты себя не зарекомендовал, а вот с вахты уйти не всякий додумается.

Он оказался прав. Общее комсомольское собрание отклонило мою просьбу. Нет, мол, оснований. Некоторые даже выступили против меня:

— Самовлюблен, зазнается, общественной работы не ведет.

Я был возмущен и подавлен. Горевал не от того, что меня списывают. Меня не захотели защитить товарищи. Почему? Ведь, кажется, я… Нет, несправедливо. Поеду к Лухманову, все объясню, он меня восстановит. Он поймет.

Через несколько дней приказ зачитали перед строем. Меня списывали. Я стал «отрезанным ломтем», посторонним. Меня даже не вызывали на авралы. Никто не интересовался, чем я занят. Это было мучительно.

Как только «Товарищ» пришел в Батум, я собрал свои вещи и, когда наступил вечер, ни с кем не попрощавшись, выскользнул с судна. Постоял, посмотрел на притихший парусник, уткнувший мачты в звездное темное небо, поднял голову к брам-рею, где недавно работал с товарищами, и медленно побрел к вокзалу. Я любил «Товарищ»…

В Ленинграде я сразу же поехал в техникум.

— Лухманов в отпуске, — сказали мне.

Без начальника техникума никто не мог решить — оставить ученика или отчислить. Я ходил расстроенный и мрачный. Лидочка и мать утешали меня, как могли. Но, встречаясь глазами с матерью, я чувствовал, что она недовольна мной.

— Почему товарищи не попросили оставить тебя? — как-то спросила она. — Почему?

— Не знаю. Фарисеи они…

Я начал кипятиться, все старался доказать, что я прав. Мама отвернулась и ничего не сказала.

Приехал Лухманов. Сразу же назначили заседание педсовета. Я считал, что меня должны оставить. Дело ясное. Ко мне подошли несправедливо. Лухманов разберется. Начался совет. Я с замиранием сердца стоял под дверью. Пытался услышать, что говорят. Но кроме сливающегося гула голосов, ничего не услышал. Через два часа из аудитории стали выходить преподаватели. Один парень из профкома — он тоже присутствовал на совете, — увидя меня, сказал:

— Все, брат. Отчислили тебя. Я не поверил:

— А что Лухманов говорил?

— Он сказал, что, как коммунист, капитан и воспитатель, считает, что пока тебе в техникуме делать нечего, — с удовольствием повторил парень слова начальника. — Вот так, дорогой товарищ.

Это был удар. Смертельный, неожиданный удар. Нокаут. Я побежал к Лухманову. Он ждал моего прихода.

— Ну? — спросил он. — Я знаю, что ты хочешь сказать. Я все знаю. Мы разбирали твое дело.

— Дмитрий Афанасьевич, оставьте в техникуме. Ведь я ушел не с вахты, а с подвахты. Кроме меня на судне оставалось еще сто человек. Ничего не произошло. Оставьте. Вы тоже были молодым и, наверное, совершали ошибки. Больше такого не повторится.

— Нет, — сказал Лухманов, и я понял, что он не изменит решения совета. — Тебе надо поплавать, повариться в морском котле. Я бы тебя оставил несмотря на то, что ты ушел с судна. Не это важно. Дело в тебе самом. Надо немного хватить настоящей жизни, иначе ты всегда будешь делать ошибки. А они могут быть непоправимы.

— Оставьте, Дмитрий Афанасьевич…

Лухманов встал, положил руку мне на плечо:

— Послушай, что я тебе скажу, У меня большой опыт. Ты веришь мне?

— Да.

— Так вот, самое лучшее для тебя сейчас — это пойти в море. Поплавай годик-другой, и я возьму тебя обратно. Надо счистить все наносное, что в тебе есть, научиться уважать людей и корабль, на котором ты плаваешь, помнить, что иногда лично от тебя зависит безопасность судна и человеческие жизни. Все это придет. Ну, а если не придет, — Лухманов помолчал, — тогда из тебя не выйдет капитана.

— Что же мне делать теперь?

— Я напишу на Биржу труда. Тебя возьмут. Ни от чего не отказывайся.

Он вырвал листок из блокнота и размашисто написал несколько слов.

— Иди. Через год я жду тебя в техникум.

Он протянул мне руку. Говорить было не о чем.

На Бирже труда записка Лухманова имела вес. Месяца через полтора я получил назначение на пароход «Мироныч». Начиналась новая жизнь. Я твердо решил, что возвращусь в Мореходку.

«Мироныч»

Недавно в Архангельске я навестил Федора Андреевича Рынцина. Он уже не работал, оставив важный пост заместителя начальника пароходства по безопасности мореплавания. Рынцин угощал меня душистой вишневой настойкой. Мы вспоминали прошлое. И хотя я сам был уже капитаном, волосы мои побелели и поредели, мне все время хотелось вскочить и разговаривать с ним стоя, как это было тридцать пять лет назад, когда Рынцин командовал лесовозом Северного пароходства «Мироныч», а я плавал на нем матросом второго класса.

— А помнишь, как в Антверпене ты заснул у трапа? Помнишь? — спросил Рынцин и залился смехом.

— Да не спал я, Федор Андреевич… — несмотря на свой возраст и положение, смутился я.

Еще бы! Я все помнил.

…Завернувшись в тулуп, я устроился на табуретке у самой сходни на берег. Динамо после двенадцати, как обычно, остановили. «Мироныч» погрузился во мрак. Только на поручнях болтался изрядно закоптевший фонарь «летучая мышь». Меня клонило в сон. Я закрыл глаза. И вдруг услышал:

— Спишь, вахтенный! На кого судно оставил? Я вскочил. Передо мной стоял капитан.

— Виноват, Федор Андреевич… Я не сплю. Я зажмурился… От сильного света.

Рынцин выпучил глаза, посмотрел на меня, потом на тусклую «летучку» и захохотал:

— Хитер! Чтобы последний раз было. Смотри у меня, — погрозил он пальцем. — Стекло у фонаря протри-то.

Не забыл я и того, как капитан, зажав в кулаке карандаш, — мы шли в Зунде, — с силой прочертил курс вне фарватера. На удивленный вопрос помощника, почему он так сделал, Рынцин ответил:

— Пароходов-то встречных много. По-за буями пойдем. Осадка у нас малая.

Федор Андреевич Рынцин потомственный помор, «трескоед», «трешочки не поешь, не поработаешь». Говорил он с певучим северодвинским акцентом. Казалось, капитан знает все моря на ощупь, цвет и вкус. Он всегда держался ровно. И в шторм, и в туман, и при швартовках. Он был уверен в себе и в своих действиях. Мне думается, таким и должен быть капитан. Всегда уверенным в своих действиях.

Наш лесовоз — первенец советского судостроения. Он имел

отличные двухместные каюты для команды, отдельную столовую, красный уголок. А вот ходок он был плохой. Парадный ход — восемь миль, если нет встречного ветра, а если ветер… На нем стояли маленькие котлы, и пару всегда не хватало. Кочегары выбивались из сил, проклиная все на свете. Зато корпус у «Мироныча» был крепчайший. Построили его добротно, на долгие годы. В иностранных портах любопытные инженеры приходили посмотреть на советский пароход. Они замеряли толщину обшивки, прищелкивали языками и говорили:

— Ол райт! Из этой стали можно два парохода построить.

На «Мироныче» я встретил своего старого знакомого Борьку Соколова. Мы с ним вместе ходили в яхт-клуб года четыре назад. Борька тоже плавал матросом второго класса. Он меня сразу ввел в курс дела:

— Коробка хуже некуда. Одних трюмных лючин двести пятьдесят. Пуда по три. Попробуй перекидай. А порты часто. Открой, закрой. Капитан — душа. Старпом и помощники на фудель-дудль. А вот «дракон», я тебе скажу, зараза. Наплачешься. Зато ребята что надо. Ты с Тубакиным будешь вахту стоять.

Так я начал свою службу на «Мироныче». Пароход ползал по портам континента, так называли Европу. Ходил в Лондон, Роттердам, Антверпен, Глазго. С командой я подружился. Вахту стоял с матросом первого класса Тубакиным. Сашка Тубакин отслужил военную службу старшиной-рулевым и пришел на торговый флот.

— Знаешь, — говорил он мне, когда, плотно поужинав перед вахтой, мы валялись в койках, — хочу стать штурманом. Как ты смотришь? Выучусь и буду по мостику ходить, посвистывать. Не всю же жизнь матросом ишачить? Женюсь на своей курносой, — Сашка взглядывал на фотокарточку, приколотую кнопками над койкой, — и заживу как порядочный. Так?

— Так, — соглашался я и тоже глядел на фотографию. На ней девушка с большими наивными глазами и неправильными чертами лица прижимала к груди цветы. Милая такая девушка. Почему-то мне казалось, что у Сашки ничего хорошего с его «курносой» не получится. Он болтал много. И к девушке относился как-то несерьезно. Хотя товарищем он был неплохим: всегда мог отстоять за тебя вахту, помочь в трудной работе, одолжить денег.

В общем, плавалось нам не худо. Вот только боцман… Мы с Борькой были новичками, самыми молодыми, и боцман здорово нажимал на нас. Он выискивал нам самые паршивые, грязные работы и обязательно посылал в канатный ящик. Пожалуй, больше всего мы с Борькой не любили канатный ящик, но боцман

эстонец Август Нугис придерживался другого мнения. Наверное, считал, что это наша любимая работа. Он вообще придирался к нам. Достаточно было зайти куда-нибудь в укромный уголок, сделать маленький перекур, как раздавался скучный голос боцмана:

— Опять курить? Кто же будет работать? Борька, бери тряпку, щетку, будешь мыть надстройка. И ты тоже.

А в канатный он посылал только кого-нибудь из нас. За что он нас невзлюбил? Непонятно. Мы платили ему тем же. Издевались над его плохим русским языком, за глаза передразнивали, называли тупицей, но были бессильны что-либо изменить. Нугис считался отличным боцманом и пользовался неограниченным доверием у старпома.

Тогда мы решили как следует угостить боцмана в надежде на то, что он станет к нам мягче. В один из приходов нашего судна в Ленинград мы пригласили Августа в ресторанчик на канале Грибоедова.

Для такого торжественного случая Нугис надел новый костюм и выходную кепочку. Из крахмального воротничка вылезала тонкая петушиная шея. В такой одежде рядом с нами он казался совсем щупленьким: мы с Борькой были высокие парни.

Мы заняли столик в углу. Август пригладил благо ухающие одеколоном волосы — мы только что ходили в парикмахерскую, — удовлетворенно вздохнул и сказал:

— Это правда есть. На берегу иногда тоже, как в море. Хорошо.

Мы пили коньяк, ели шашлыки, танцевали. Боцман разошелся. По-видимому, был доволен.

Наконец наступило время начать серьезный разговор. Боцман пришел в благодушное настроение.

— Слушай, Август, — начал Борька, — ты все-таки поступаешь нехорошо. Почему только нас двоих ты заставляешь лазать в канатный ящик? Ведь на судне есть еще четыре матроса. Надо по очереди. Так будет по — честному.

Боцман посмотрел на нас грустными, осоловевшими глазами:

— Это правда есть. Я послал все время вас. Ну, ладно, ладно. Будем делать очередь.

К трем часам Август совершенно опьянел. Мы с трудом привезли его на пароход.

— Боцман у нас в кармане, — сказал мне Борька, когда мы улеглись в койки.

«Мироныч» стоял на якоре на Темзе в ожидании прибытия лоцмана. Я был уверен, что на этот раз в канатный полезет кто-нибудь другой. И все-таки, когда раздались звонки, означающие

съемку с якоря, я на всякий случай постарался убраться с передней палубы. Но не успел я дойти до полуюта, как услышал голос Августа:

— Иди канатный. Ну, ну, быстро.

Он подождал, пока я пройду мимо него. Я двигался, как на эшафот. «Мироныч» стоял на десяти смычках цепи. Десять смычек!

В канатном ящике, как всегда, пахло кузбаслаком, суриком, пылью. Сегодня он показался особенно узким и глубоким. Цепь почти вся была вытравлена.

— Готов канатный? — услышал я сверху голос боцмана.

— Готов!

Застучал брашпиль, и на меня медленно поползла цепь. Первые смычки прошли сравнительно легко. Но когда боцман прозвонил, что прошла шестая смычка, я уже выбивался из сил. А цепь неумолимо, как судьба, ползла на меня, облепленная синей скользкой глиной, ее не успевала сбивать струя воды из шланга наверху. Цепь, у которой каждое звено в руку толщиной и весит больше пуда! Она ползла, подрагивая, как живая толстая змея, громоздилась у ног, поднимаясь все выше к клюзу. Я не поспевал укладывать ее. Надо немедленно растащить эту гору! Сейчас же, иначе цепь забьет клюз и может произойти несчастье.

Я обхватил ее руками, прижал к животу, что было сил оттягивал от клюза. Цепь, больно ударяя меня по ногам, тяжело и неохотно ложилась в углы. Ну, слава богу, кучу растащил. Я весь покрылся противной синен глиной, глаза заливал соленый, едкий пот, я чувствовал холод слизи всюду — на лице, под рубашкой, на спине…

А цепь все ползла и ползла… Звенья с похоронным звоном падали друг на друга. Нет больше сил! Снова цепь громоздится в кучу, все выше и выше… Нет, не могу! Сейчас закричу, чтобы остановили брашпиль, дали передохнуть… Но это значит опозориться на всю жизнь: матрос не мог уложить цепь. Стыдно! Сколько же еще осталось? Боцман прозвонил восьмую смычку. О, черт возьми. Нет, не выдержать! Два моих слова: «Стоп брашпиль!» — и проклятая цепь прекратит свое движение. Можно будет свободно вздохнуть, вытереть пот, отдышаться… Нет, я все же не крикну ни за что. Ты ждешь этого, Август? Ты свинья, Август, не выполнил своего обещания. Сколько же еще? Черт, цепь подошла под самый клюз. Ну, еще немного. Осталась одна смычка.

Как сквозь сон я слышу четыре удара в колокол. Панер! Встал якорь. Брашпиль замолк. Перестали падать звенья…

— Долой канатного! Ну что ты там, умер? — донесся до меня

голос боцмана.

Я еле выбрался на палубу, задыхающийся, грязный, с не видящими от пота глазами… Ладно, я все-таки скажу боцману, что о нем думаю.

— Ты не держишь своего слова, боцман. Кто говорил, что установит очередь?

— Почему не держишь слова? Будет очередь. Скажи Борьке, что следующий раз он пойдет канатный. Хе-хе. Ты что думал? Купил Август Нугис за рюмка водка? Ты есть глупый человек. Запомни. Если ты выдержал десять смычек такого цепи, как наш пароход, — ты есть настоящий матрос. Не просил пардон. Не кричал: «Стоп! Я больше не могу!» — как девчонка. Ты молодой. Должен делать самый трудный матросский работа. Иди мойся.

.. Как-то в Архангельске (я уже десять лет командовал судами) меня окликнул знакомый голос:

— Эй, это ты? Погоди.

Я обернулся и увидел Августа Нугиса. Он был такой же чистенький, в выходной кепке, с твердым воротничком вокруг тонкой шеи… Такой же, как в тот знаменитый день, когда мы с Борькой водили его в ресторан… Боцман только постарел. Да и лет ведь прошло много…

— Ну, я ушел на пенсия. Три года назад. Живу новой квартире. Заходи. А где Борька? Видишь его?

Я сказал, что Борька полковник. Боцман покосился на мои нашивки.

— Капитан? Канатный помнишь? Не обижайся. Это был наука. Заходи домой, сделаем рюмка. Ну, когда придешь?

Я проплавал на «Миронычe» больше года. Подошло время моего отпуска. По приходе в Мурманск я с писался на берег. Отпуск пролетел как один день.

И вот я снова стою у окошка отдела кадров Балтийского пароходства и жду, когда дядя Вася Елизаров, старший комплектатор, вручит мне приказ на новое судно. Стукнуло окошечко, высунулась тонкая рука с узеньким листком приказа, и я услышал сердитый голос дяди Васи:

— На «Рошаль» пойдешь.

Михаил Петрович

«Рошаль» стоял у стенки второго района против домика контрольного пропускного пункта. Длинный, узкий, с высокой некрасивой трубой и почему-то с креном на правый борт.

Я вступил на палубу с волнением. Всегда немножко волнуешься, когда приходишь на новое судно. Какие люди встретятся тебе? Какой будет капитан? Ты обретаешь новую семью. В руках я держал круглый брезентовый морской мешок, кит-бег, сшитый на «Мироныче» под руководством боцмана Нугиса. Им я очень гордился. В старое время эти мешки являлись принадлежностью «просоленных» моряков. В них влезали все матросские пожитки: роба, выходной костюм, белье… Я шил его целый месяц. Наконец мешок был готов. Он закрывался специальным медным замком-ручкой, пропущенной в люверсы. Он получился тяжелым, неуклюжим и страшно оттягивал руки. В душе я проклинал старых моряков, не сумевших придумать что-нибудь более удобное. Но все же мне казалось, что кит-бег придает матросу солидность.

На палубе меня встретил чернявый парень с повязкой вахтенного. Он посмотрел на меня, на мой мешок, засмеялся и крикнул высунувшемуся из камбузной двери коку:

— Ты смотри! Матрос с фрегата «Летящее облако»… Где ты взял эту колбасу? — повернулся он ко мне и непочтительно пихнул ногой мой кит-бег.

— Бабушка подарила, — сердито ответил я. — Где старпом живет?

— А вот тут, Идем.

Матрос провел меня в узенький коридорчик, где с мешком я никак не мог развернуться.

— Да ты своего поросенка оставь. Не бойся. Никто не тронет, — опять засмеялся матрос. — Поставь здесь.

Он постучал в дверь, приоткрыл ее и сказал:

— Михаил Петрович, новый человек пришел.

— Давай его сюда, Сергеев, — услышал я веселый голос и протиснулся в каюту.

На вращающемся кресле лицом ко мне сидел маленький человек в форме старпома. Очень светлые голубые глаза смотрели на меня с доброжелательным любопытством. Не знаю почему, но я сразу почувствовал к этому человеку симпатию и доверие. Старпом полистал мою мореходную книжку.

Надо сказать, что в то время мореходная книжка не походила ни на один из обычных документов. Она была в красном или

синем матерчатом переплете, с золотыми тисненными якорями, с продолговатой прорезью на обложке, через которую читалась твоя фамилия, а внутри на первом листе приклеивалась фотография владельца и ставился оттиск большого пальца правой руки. Дальше шло подробное перечисление судов, на которых ты плавал, сила их машин, тоннаж, районы плавания, замечания капитана, подпись администрации и печать.

В моей была только одна запись: о плавании на «Мироныче». Я боялся, что старпом отправит меня обратно в отдел кадров, как неопытного матроса. Я знал, что на «Рошале» требуются первоклассные рулевые. Пароход проходит Кильский канал без немецких рулевых. Правят свои. Меня об этом предупредили. Но старпом молчал. Потом он вернул мне книжку, взял приказ о назначении, положил в папку.

— Все в порядке. Идите, Сергеев покажет вам место в кубрике, а потом к боцману. Он поставит на вахту. Вам будет хорошо плавать. У нас неплохие ребята.

Чернявый матрос провел меня по всей палубе на самый нос, толкнул дверь в кубрик.

— Вот наша каюта люкс. Располагайся на верхней носовой койке.

Я был ошеломлен. После роскошной двухместной каюты на «Мироныче», уютной столовой, красного уголка — шестиместный грязноватый кубрик, тут же обеденный стол, грубо сколоченные табуретки-раскладушки, неудобные двухъярусные койки, и ко всему этому посредине кубрика — клюзовая якорная труба. Значит, когда отдают или выбирают якорь, здесь стоит невероятный грохот — не уснешь. А если ты сменился с вахты?

Заметив мой растерянный вид, Сергеев усмехнулся:

— Что, не понравилась каюта люкс? Ничего, привыкнешь. «Рошаль» пароход старый.

Я кинул свой мешок на койку, уселся к столу.

— По правому борту живут рогали, по левому духи, [2]— продолжал Сергеев, — у них такой же кубрик. Гальюн справа, баня слева. В шторм сами носим обед, потому как Таню пускать нельзя. Она у нас хроменькая, да вообще женщина. Опасно. Кубрик убираем по очереди, посуду моем тоже по очереди.

— Понятно. Ты лучше скажи, как старпом? Ничего парень?

— Михал Петрович? — Сергеев поднял кверху большой палец. — Такого не найдешь больше.

— А кэп?

— Дядя Вася мировой чудак. С ним вахту стоять одно удовольствие. Обсмеешься. Как начнет рассказывать, держись… — Сашка, что-то вспомнив, расхохотался. Потом

согнал улыбку с лица — Только не думай… разгильдяев не терпит. Работу знает и требует. Некоторые приходили, решали, что тут все хи-хи-хи да ха-ха-ха и сачкануть можно… Долго не задерживались. Перо в одно место — и лети… А уж если дядя Вася выгонит — дело труба. В отделе кадров с ним считаются.

В кубрик вошел человек огромного роста, похожий на борца. Маленькая коротко стриженная голова сидела на бычьей шее. Вид у него был грозный.

— Ты что, Сашка, здесь вахту стоишь? Трап оставил?

— Никак нет, товарищ боцман. По распоряжению Михаила Петровича привел тебе нового матроса, — вскочил Сергеев, шутливо прикладывая пальцы к козырьку кепки. — Могу идти выполнять служебный долг?

— Давай иди, и поскорее. Треплешься много, — строго сказал боцман.

Когда матрос исчез, боцман обратился ко мне:-

— Так, так… Меня зовут Павел Васильевич. Фамилия Чернышев. А тебя как?

Я назвался.

— Станешь на вахту с шестнадцати часов. Пока устраивайся; если нужно, съезди домой. Робу, сапоги, рукавицы, мыло я тебе сейчас выдам. Рисовать умеешь? Отлично. Сделаем тебя членом редколлегии. А то прямо беда — газету оформлять некому.

Потом я узнал, что Чернышев парторг судна.

— Ну, вот… Работы у нас много. «Пассажир» — сам понимаешь. Все время моем, красим, чистим. Зато дома часто. Семья-то есть? Поторопился жениться. Хотя это неплохо в общем-то. Пойдем, робу дам.

Мы вышли из Ленинграда на рассвете. Промелькнули причалы Морского канала, суда под разными флагами, Кронштадт, издали похожий на огромный крейсер, — и наш пароход оказался в заливе. Я заступил на руль. Медный старинный штурвал поворачивался легко. Где-то за спиной постукивала паровая рулевая машина. Судно слушалось меня отлично. Достаточно было чуть-чуть тронуть «колесо», как нос уваливал влево или вправо. Позади тянулась ровная полоса кильватерной струи. Хорошо! Никто не скажет, что я пишу за кормой свою фамилию. Так всегда подсмеивались над плохими рулевыми.

Но когда через двое суток «Рошаль» влез в шлюз Кильского канала Гольтенау, я забеспокоился. Канал казался очень узким, да навстречу без конца шли суда. Расходились впритирку. Я молил бога, чтобы моя вахта не пришлась на канал.

«Только бы не мне, только бы не мне», — думал я,

посматривая на часы, но надежды были напрасными. Половину канала должна пройти наша вахта. Первым на руль пошел Лева Гущин, мой напарник. Через час к штурвалу заступил я. Старпом прохаживался по мостику. У окна стоял немецкий лоцман. Увидя меня, он улыбнулся и сказал по-немецки: «О, новый матрос». Видимо, он знал всех рулевых на «Рошале». Пароход проходил канал три раза в месяц. Он держал линию Ленинград — Гамбург.

Я вцепился в теплые медные ручки. Сейчас канал выглядел еще уже. Из-за поворота показалось тяжело груженное большое судно.

— О! — сказал лоцман и тревожно взглянул на меня. Я повернул штурвал. Судно увалилось вправо.

— Нет — нет! Держи так. Прямо руль! — скомандовал лоцман.

Я снова отвел руль. Теперь суда шли прямо друг на друга. Казалось, что столкновение неизбежно.

«Ну, увались влево, увались, дай же мне пройти!» — мысленно молил я встречное судно и помимо своей воли опять немного увел нос «Рошаля» вправо.

— Лево руль! — заорал лоцман. Он подбежал к Михаилу Петровичу, быстро заговорил, показывая рукой на меня. Я понял, что он требует замены рулевого. Какой стыд! Матрос первого класса называется! На лбу выступил пот. Я потерял уверенность. Если пойдем так еще несколько минут, непременно столкнемся. Ко мне подошел старпом. Встал за спиной, и я услышал его спокойный голос:

— Не горячись. Держи прямо на него. Нос в нос. Не бойся. Он знает, что делать, а я скомандую, когда тебе взять вправо. Здесь свои методы расхождения. Спокойнее.

Панфилов, такая была фамилия у старпома, что-то сказал лоцману по-немецки. Тот пожал плечами, недовольно кивнул головой. Присутствие старпома подбодрило меня. Он стоял рядом, совсем близко. Я знал, что в случае чего он поможет.

Встречный пароход неумолимо приближался. Все напряглось во мне.

«Скорее же давай команду вправо. Скорее, а то будет поздно!»

Но старпом молчал. Наконец, когда между судами оставалось не более ста метров, Михаил Петрович скомандовал:

— Немного право. Как только носы разойдутся, сразу же бери влево. Только аккуратно.

Мы разошлись в нескольких метрах. Я отчетливо видел лица людей на встречном судне, слышал шум его машины, разговоры команды. Все продолжалось не более минуты.

— Гут, — проговорил лоцман, — рудерман! [3]

Я отер влажный лоб. Тяжесть свалилась с плеч.

— Понял, как надо расходиться в Киль-канале? Разошелся молодцом, — похвалил меня Михаил Петрович и ушел на мостик.

Как я был ему благодарен! Он спас меня от большой неприятности. Снят с руля! Только подумать. Со следующим судном я разошелся уже увереннее, хотя Михаил Петрович опять встал за моей спиной. Он страховал меня, На всякий случай. Это был урок морской практики. Урок отношения к людям Панфилов дал мне несколько позже.

Вскоре я познакомился со всеми матросами. Они оказались славными ребятами и подтвердили рекомендацию, данную старпомом. Их было пять человек. Эстонец Тамбе, Саша Сергеев, Александров, Кушнаренко и Лева Гущин. Все они имели разные характеры и вкусы, но держались дружно, редко ссорились, а главное, любили море преданно и самозабвенно. Плавали они не потому, что их прельщали деньги, валюта, а потому, что море было их профессией, делом, которому они посвятили жизнь. Все хотели впоследствии стать штурманами.

А боцман был уравновешенным, неторопливым, спокойным человеком. С ним было приятно и легко работать. Все у него спорилось. К нам он относился по-отечески. Изредка поругивал, но никогда не жаловался старпому, что частенько делал Август. Павел Васильевич подбирал нам «теплые» работы, когда бушевали зимние штормы и на палубе становилось невмоготу.

«Рошаль» возил пассажиров. Я всегда с нетерпением ожидал посадки. Люди в Советский Союз ехали разные. Артисты, делегаты на всякие съезды и конференции, работники наших торгпредств и посольств. Они знали уйму интересного и постоянно, в течение рейса, устраивали встречи с командой. Рассказывали о международном положении, о быте и обычаях тех стран, где они жили или работали, артисты показывали свое искусство. А однажды в Гамбурге на борт «Рошаля» ступил человек, которого все сразу узнали. Это был Эрнст Тельман. Молодой, крепкий, улыбающийся, в синей суконной фуражке. Таким мы видели его на многочисленных фотографиях. На судне Тельман сразу почувствовал себя как дома. Он заходил к нам в кубрики, стоял на мостике, спускался в кочегарку. Много и весело смеялся, хлопал нас по спинам, поднимал сжатый кулак в знак приветствия… Он находился в своей среде, тут его понимали и уважали, я ему было хорошо. Наверное, он отдыхал от нервной, напряженной работы, которую вел у себя в Германии. Фашисты уже начали поднимать голову. Кровавые стычки происходили между ними и рабочими.

В один из дней плавания мы были очень удивлены, увидев

Тельмана на камбузе в высоком поварском колпаке и белом фартуке. Он лихо орудовал ножом, резал мясо. Рядом, подбоченясь, стоял наш шеф-повар дядя Вася Петрушков, кулинарный ас, работавший до революции в самом фешенебельном петербургском ресторане «Вилла Родэ». Он одобрительно поглядывал на Тельмана и время от времени повторял два известных ему немецких слова: «Зер гут!»

Тельман смеялся и, произведя с мясом какую-нибудь новую операцию, спрашивал повара:

— Но? Корошо? Как?

В ответ счастливый дядя Вася одобрительно кивал головой:

— Зер гут, товарищ Тельман.

Оказывается, Тельман поспорил с нашим капитаном, что приготовит самостоятельно какие-то особенные бифштексы. Пари, как рассказывал дядя Вася, он выиграл.

Когда «Рошаль» ошвартовался в Ленинграде, Тельман дружески попрощался с экипажем. Он оставил на память судну свою книгу с автографом. Мы провожали его как родного, просили, чтобы он снова, когда будет возвращаться, взял билеты на «Рошаль». Команда стояла на борту с поднятыми кулаками и кричала: «Рот фронт! Рот фронт! Рот фронт!» Тельман повернулся, тоже поднял кулак и сел в машину.

Летом мы покидали Ленинград в светлые белые ночи, когда розовел горизонт и все предметы: дома, краны, склады — так четко выделялись на прозрачном небе. А в городе было тихо и пустынно. И потому всегда становилось немного грустно. Гамбург встречал весельем Репербана, музыкой баров и ресторанов, огненным хаосом рекламы, шутками знакомых, постоянно работающих на наших судах грузчиков и никогда не умолкающими гудками пароходов и скрежетом кранов.

Зимние рейсы были тяжелыми. Ленинград замерзал, и «Рошаль» ходил в Ригу, Гамбург, Лондон и Гулль. Зимой Северное море и Балтика свирепы. Нам доставалось здорово. Низкобортный «Рошаль» обмерзал так же, как и ящики, погруженные на его палубу. Это становилось опасным. Можно было потерять остойчивость. Тогда объявляли авралы, и мы часами скалывали лед, мокрые от злых, холодных волн, набрасывающихся на судно. А потом, когда прекращался шторм, шли в кубрик, скидывали мокрую одежду и грелись на койках, забившись под теплые одеяла. Каким раем казалась тогда наша каюта-люкс, каким нектаром была кружка горячего кофе, заботливо приготовленная уборщицей!

Когда выпадали хорошие, спокойные дни, на палубе оставались только два матроса. Остальные сидели в кубрике,

играли в «козла», читали или вели длинные беседы «за жизнь». Про неверных жен, морские семьи, гибель судов… О чем только не говорили…

Но больше всего мы любили слушать Сашу Сергеева. Он великолепно играл на мандолине. Когда матрос брал старенький, потрепанный инструмент, все находящиеся в кубрике рассаживались по своим койкам и ждали. Тоненькие, рассыпчатые, как бисер, звуки смешивались с монотонным шипением воды у штевня. Грустные мелодии сменялись веселыми и снова грустными. Сергеев играл все, что приходило в голову. Мы слушали его молча. Музыка захватывала нас, и каждый думал о своем. Саша играл, наклонив голову, сдвинув густые сросшиеся брови, глядел куда-то вдаль. Пела мандолина, переливалась трелями, а мы сидели завороженные. Наконец Сашка кончал играть. Мы вскакивали, бурно аплодировали ему и кричали:

— Давай еще! Еще!

Но он никогда не брал мандолину второй раз.

— Хватит, — улыбался он, — хорошенького понемножку.

В один из очередных рейсов в Гамбург мы с Левой Гущиным встретили там своих приятелей с парохода «Карл Маркс». И на радостях кутнули. Кутнули здорово, в ресторанчике на Сант-Паули, носящем громкое название — бар «Индра».

Мы вернулись на судно с пустыми карманами, терзаемые угрызениями совести. У нас не осталось даже на табак. Настроение было паршивое. Каждый рейс я привозил домой какие-нибудь мелочи. Они всегда доставляли радость. «Неважно, что ты привез, важно, что ты о нас вспомнил», — любила говорить мать.

«Рошаль» быстро бежал по спокойной летней Балтике. Через полтора суток — дома. В кубрике оживление. Рассматривали покупки, чистили и гладили костюмы, кочегары ходили смотреть, что купили матросы, а мы ходили за тем же к ним. Мы с Левкой никуда не ходили и отворачивались, когда кто-нибудь показывал нам галстук или свитер, восхищенно крича:

— Видел, какую вещь я оторвал!

На вахте я стоял мрачным и неразговорчивым. За сутки до Ленинграда старпом насмешливо спросил у меня:

— Что жене везешь?

— Ничего, Михаил Петрович.

— Решил поддержать коммерцию «Китайского бара»?

— «Индры». — невесело отозвался я. — Так уж получилось…

— Плохо получилось, — фыркнул Панфилов. — Эх ты, молодожен! Внимания от тебя ждут, а ты.

Я вспомнил мать и промолчал. Михаил Петрович

нахохлившись ходил по мостику. В конце вахты он сказал:

— Сменишься — зайди ко мне.

После вахты, помытый и одетый в подвахтенную робу, гадая, чем вызвано такое приглашение, я постучал к старпому.

— Заходи. Садись.

Я опустился на краешек дивана. Михаил Петрович, выдвинув рундук из-под койки, стоял спиной ко мне и, напевая «Донну Клару», шуршал бумагой.

— Бери, — протянул он мне пакет. — Передашь это жене и матери.

— Что вы, Михаил Петрович, — растерялся я. — Не надо ничего. Спасибо большое. Не надо.

— Делай, что тебе говорят, — сердито проговорил старпом. — Я — то знаю, как болезненно переживают невнимание женщины. Не надо их обижать. И вообще… Бери.

— Я сам виноват…

— Знаю, знаю. Бери.

Он развернул бумагу. Я увидел две огромные подарочные красные плитки шоколада «Нестле», перевязанные желтой ленточкой, банку кофе «Сантос», до которого мама была большой охотницей (как он это угадал?), и шелковый голубой газовый платочек.

— Смотри… скажешь, что сам купил. Можешь идти, — и старпом открыл дверь.

Я сгреб подарки. Запинаясь, красный от смущения, с огромной благодарностью в сердце, я бормотал:

— Спасибо. Я все отдам в следующий рейс. Обязательно.

— Ладно, ладно. Отдашь.

Михаил Петрович не ошибся. Подарки доставили удовольствие. Мама нежно глядела на меня и удивлялась, какой я внимательный, вспомнил, что она любит кофе. А мне было неловко принимать ее похвалы.

И еще один урок преподал мне Михаил Петрович Панфилов. Урок добросовестности.

Как-то в Ленинграде я стоял утреннюю вахту. Вымыл гальюны, растопил камбуз, посмотрел на палубу и убедил себя, что она достаточно чистая. «Все равно через час придут грузчики и намусорят. Не буду подметать». Короче говоря — поленился.

Пошел в кубрик и «потравил» с неохотно поднимавшимися матросами. Посмотрел на часы: «Ого! Уже без трех минут нашего». Конец вахты. Я побежал к флагу. Его поднимали ровно в восемь. К моему удивлению, на кормовой палубе я увидел Михаила Петровича. В парадной форме, в тужурке с блестящими нашивками, крахмальном воротничке, надраенных ботинках и

выутюженных брюках, он голиком подметал палубу. Вокруг стояли ухмыляющиеся грузчики и отпускали колкие замечания вроде:

— Гальюны-то вымыл, чиф? [4]

— Иди вахтенного матроса буди. Время флаг поднимать.

— Чего-то тебя кок зовет, чиф. Плита плохо горит. Михаил Петрович невозмутимо продолжал свою работу. Я обалдел. Подбежал к старпому:

— Ну, зачем, что вы? Давайте я подмету. Панфилов не ответил.

— Дайте же мне, — умоляюще просил я.

— Ха-ха-ха! Проспал бедолага, — засмеялся пожилой грузчик. — С такими много не наработаешь. Правда, старпом? Ты отдай его нам. Мы его научим работать. Матрос — пуля!

Я стоял, не зная куда деваться от стыда, не зная, что мне делать дальше: то ли голик у старпома вырывать, то ли уйти. Выручил старпом.

— Иди отдыхай. Твоя вахта окончилась, — холодно проговорил он. — Я уж как-нибудь подмету. Иди, иди, — повторил он сердито, видя, что я не двигаюсь с места.

Старпом не сделал мне ни одного замечания, не учинил заслуженного разноса. Я как оплеванный потащился в кубрик.

Да, вот таким был Михаил Петрович Панфилов. Вскоре его перевели капитаном на пароход «Пролетарий». Мы жалели о его уходе.

К счастью, судьба еще несколько раз сталкивала меня с Михаилом Петровичем. За это я ей очень благодарен. Но об этом позже…

Лонг Алек

Я нес вахту у трапа, когда он поднялся на палубу. Высокого роста, сутулый, в сером просторном пиджаке, он чем-то напоминал Маяковского. Но его лицо мне не понравилось. Приплюснутый нос, небольшие черные, очень острые глаза, твердо сжатые губы…

Он хозяином встал на мохнатый матик, положенный у трапа, пошаркал по нему ногами и глуховатым голосом спросил:

— Капитан дома? Мне к нему.

— У себя. Проводить? Он кольнул меня глазами.

— Не надо. Найду сам. — И уверенно поднялся на бот-дек, где помещалась капитанская каюта.

Сашка Сергеев, проходивший по палубе, остановился. Он с нескрываемым интересом уставился на незнакомца. Когда тот скрылся наверху, Сашка спросил меня:

— Знаешь, кто это?

— Понятия не имею.

— Зузенко. Пришел сменять нашего капитана. Он в отпуск уходит.

Зузенко? О нем я кое-что слышал. Говорили, что Зузенко очень строг к команде и достаточно одного его слова, чтобы человек вылетел из пароходства навсегда, что он упрям и никого и ничего не боится. Рассказывали даже, что, когда Зузенко несправедливо сняли с какого-то судна, он запер каюту со всеми документами и кассой, положил ключ в карман и уехал в Москву доказывать свою правоту. Пароход простоял двое суток — не будешь же ломать каюту и сейф, — а через два дня Зузенко вернулся, как ни в чем не бывало поднялся на мостик, и пароход снялся в рейс.

Через три дня «Рошаль» пошел в Гамбург под командованием нового капитана. Василий Федорович Федотов, или, как мы называли его за глаза, дядя Вася, наконец получил отпуск.

Я с некоторым беспокойством встал на руль. Вахту нес третий помощник Коля Комолов. Мы с ним дружили, и поэтому, несмотря на то что помощнику не положено с матросом рассуждать о капитане, я рискнул спросить:

— Как кэп?

Комолов пожал плечами, ничего не ответил. По этому молчаливому жесту я понял, что штурману не нравится новый капитан. Меня это не удивило. К Василию Федоровичу привыкли, полюбили за шутку, веселый характер, простое обращение. А тут «сложный» Зузенко.

Капитан поднялся на мостик через полчаса. Я услышал тяжелые шаги на трапе, потом открылась дверь. Зузенко вошел в рулевую, наклонив голову. Подволок в рубке для него был низковат. У штурманского стола он остановился и взглянул на карту.

— Последнее определение в двадцать пятнадцать по Гогланду и Родшеру, — доложил Комолов.

Капитан кивнул головой. Он подошел к окну рубки, прижался лбом к стеклу и простоял так минут десять, разглядывая море. Тишина угнетала. Отчетлива слышались только шаги помощника на мостике и постукивание рулевой машины. Наконец капитан отлепился от стекла и сказал Комолову:

— Возьмите три градуса на дрейф в двадцать один тридцать.

Зузенко повернулся и, не сказав больше ни слова, пошел к себе в каюту. Штурман облегченно вздохнул.

Да, новый капитан был полной противоположностью нашему дяде Васе. Обычно он приходил на мостик, задумчиво рассматривал карту, глядел на море и спускался к себе. Уходил, бросив два-три слова помощнику.

В Гамбурге после выгрузки «Рошаль» поставили в бассейн под названием «Африка-хафен». Сказали, что груз еще не прибыл. Придется подождать сутки. Вечером все свободные от вахты отправились в город. Я остался на судне. Пароход стоял в отдаленном углу гавани, непривычно тихий и темный. У трапа светила переноска, да иллюминаторы бросали на причал круглые желтые лучи. Ночь выдалась теплая, звездная. Я вышел на палубу. Гамбург полыхал разноцветной неоновой рекламой. Мое внимание привлекли нежные звуки музыки, льющиеся откуда-то сверху. Я поднялся на бот-дек. Музыка доносилась из открытого иллюминатора капитанской каюты. Играла гавайская гитара. Я прислонился к надстройке, принялся слушать. Неожиданно передо мной появился капитан. Я отпрянул от иллюминатора. Было страшно неловко. Еще подумает, что я подсматривал или подслушивал. Но Зузенко спросил:

— Л-любишь м-музыку? — Капитан немного заикался.

— Очень.

— Я т-тоже. Пойдем. У меня самые последние пластинки.

Это было так неожиданно: Зузенко приглашает к себе в гости матроса! Смущенный, я последовал за капитаном. На столике стоял патефон, рядом на кресле лежала стопка пластинок в бумажных чехлах.

Он завел патефон, поставил пластинку «Голубые Гавайи», уселся в кресло. Капитан сидел ко мне в профиль, и я хорошо видел его лицо. Суровое выражение исчезло, черты смягчились,

губы улыбались, а глаза смотрели совсем не так пронзительно, как показалось мне в первый раз. Эти глаза принадлежали человеку, много знавшему, мудрому, наделенному недюжинным умом и волей. Казалось, что он совсем не замечает меня, так захватила его музыка.

Мы просидели с ним довольно долго. Наконец капитан опустил крышку патефона.

— Все. Хватит на сегодня.

Я поблагодарил и вышел на палубу. Ну и ну! Побывал в гостях у Зузенко. Никто не поверит.

Из Гамбурга «Рошаль» пошел в Англию. Наступила зима, Финский залив покрылся толстым льдом, и Ленинградский порт на некоторое время перестал принимать суда.

В Лондоне Зузенко еще больше удивил меня. Увидев, что я собираюсь на берег — я был одет в выходной костюм, — он позвал меня к себе:

— Т-ты на берег идешь?

— Да, Александр Михайлович.

— Маленькая просьба к тебе есть. К-купи мне морские сапоги на деревянной подошве. В-вот деньги.

Его просьба вызвала у меня растерянность, и Зузенко, заметив это, добавил:

— Н-ну, знаешь, такие морские сапоги? У них внутри войлок. Стоят семь шиллингов. Знаешь?

Я кивнул головой. Такие сапоги были у Сашки Сергеева.

— Вот и купи. Размер сорок четвертый.

— Так вам самому лучше было бы пойти, Александр Михайлович, — промямлил я, — а то купишь что-нибудь не то. Ведь примерять надо. Идемте вместе.

— Н-не могу. Меня король здесь на берег не пускает.

— Какой король?

— А вот такой. Давай иди. Бери деньги.

Он протянул мне десятишиллинговую бумажку.

Через несколько часов я принес капитану сапоги. Он был очень доволен. Сразу натянул их, походил по каюте, потопал и сказал:

— Теперь на мостике с-сырость не с-страшна. Я одну такую пару уже с-сносил. Хорошие сапоги и дешевые. С-спасибо.

— Александр Михайлович, вы мне про короля расскажите, — решился попросить я. Любопытство так и выпирало из меня.

— Про какого короля?

— Почему вас на берег здесь не выпускают?

— Не любит меня король. Обидел я его кровно, когда сидел у них в тюрьме. Меня камеру заставили чистить, а я давай и

спроси: «Кому принадлежит эта тюрьма?» Ну, надзиратель и ответил, что его величеству королю Англии. Тогда я сказал: «Пусть его величество камеру и чистит. Он хозяин, а я гость».

Я засмеялся:

— Только за это и не выпускают?

— Ну, если честно, то не только за это.

— Расскажите, Александр Михайлович!

— Длинная история. Как-нибудь в другой раз…

Я пришел в кубрик заинтригованный. Тюрьма, король, запрет сходить на берег… В чем дело? Сашка Сергеев тихонько наигрывал на мандолине, Тамбе чинил кожаную рукавицу. Больше в кубрике никого не было.

— Ребята, вы не знаете, почему наш кэп в Англии на берег не сходит?

Тамбе поднял голову:

— Ты сам спроси у него, может быть он и расскажет.

— Спрашивал. Все шуточками отделывается. Про какую-то тюрьму, про английского короля травил. Я ему сапоги ходил сейчас покупать. Говорит, что сам не может.

— Александру Михайловичу здесь на берег нельзя, — серьезно сказал Тамбе. — Ты что, в самом деле не слыхал про Зузенко? Все пароходство знает.

— Кое-что слышал, а вот про короля и тюрьму не знаю.

Тамбе отложил свою рукавицу.

— Тогда слушай, матрос. Прочувствуй, с каким капитаном плаваешь. Не было у нас такого кэпа и не будет. Легендарный человек.

Тамбе набил трубку, закурил. Сергеев перестал играть, подвинулся к нам.

— Так вот… Я всю эту историю подробно знаю. Слышал, как Зузенко отчитывался на парткоме. Можете мне верить. Его из рижской Мореходки выставили за распространение большевистских листовок. Он уже тогда большевиком был. Ну, куда податься? Рванул в Херсон. Там тоже Мореходка была. Закончил ее, получил диплом и поступил матросом на какой-то парусный «дубок». Сами понимаете, для штурмана это не плавание. Заскучал Зузенко и решил вернуться снова в Ригу. Понятно, ведь все корни там.

Приехал. Встретился со старыми товарищами. А в Риге волнения. 1905 год. Ну и опять колесо закрутилось. Митинги, стачки, листовки. Тут уж нашего Сашу фараоны схватили и в тюрягу… — Тамбе сложил пальцы решеткой и продолжал: — Просидел голубчик несколько месяцев. Выпустили его, а на работу нигде не берут: неблагонадежный. Бедствовал он здорово,

случайной работой в порту пробавлялся, ну и товарищи помогали кое-чем. С трудом устроился матросом на норвежский пароход. Сволочи! Александр Михайлович рассказывал, что взяли его на половинную зарплату. Вторую половину старпом себе брал. А что делать, если такие документы? Там ведь наплевать на убеждения. Работал бы человек, да поменьше спрашивал.

Вот отсюда и начались его скитания. Где только он не побывал, где только не работал! И в Англии шахтером, и в Африке на алмазных копях, и плавал на пароходах под разными флагами… Даже на парусно-моторной шхуне, перевозящей фрукты с островов Фиджи, плавал боцманом. Там ему не повезло. Дал по роже шкиперу, заступился за какого-то матроса-метиса. Ну, шкипер его и выбросил на берег в Австралии, как в порт пришли. В Сиднее это было.

Зузенко надеялся, что здесь ему подфартит. Вроде бы работы побольше. Говорили, что Австралия — земной рай, свободная страна. Оказалось все липой. На самом деле нажим на рабочих невероятный, эксплуатация, как и везде. Понятно? Но работать все равно надо. Зузенко все пробовал. Стриг овец, строил дороги, рубил сахарный тростник. Везде одно и то же. Рабочие ропщут, волнуются.

Где вспыхивал протест против хозяев, против каторжного труда, там и Лонг Алек, так его прозвали за высокий рост. Такой уж у него характер был. Конечно, полиция его и тут заметила. Пришлось удирать.

Попал он в Брисбен и здесь женился. Встретил русскую девушку. Ее семья приехала в Австралию из России в поисках счастья. В Брисбене Зузенко познакомился с Артемом. Он всей революционной работой заворачивал среди русских рабочих. Их там уйма была…

— Кто это Артем? — спросил Сашка.

— Не знаешь? Эх, темнота! Артем — Сергеев, твой однофамилец, знаменитый революционер, большевик. Гордиться этим должен. Зузенко стал ему помогать. В общем, скоро сделался его правой рукой. Выступал на митингах, стачки организовывал. А тут революция в России. Артем передал Александру Михайловичу все дела «Федерации русских рабочих», так их организация называлась, и уехал в Россию.

Лонг Алек издавал газету «Девятый вал», призывал к демонстрациям, участвовал в забастовках. Брисбен кипел. Рабочие голову подняли. В России революция, Советская власть. Думали, что неплохо бы и у них так же сделать.

Австралийские полицейские больше не могли терпеть Зузенко. Газету закрыли, его арестовали и решили передать в

руки «законного русского правительства», другими словами, белогвардейцам Деникина. Англичане народ известный! Все отработано. В кандалы, на пароход, и повезли в Одессу.

— А жена как? — спросил я.

— Жена — за ним, на другом пароходе, конечно. Товарищи ей денег на дорогу собрали. Встретились они только в Константинополе. Его там с парохода сняли и в тюрьму опять бросили в ожидании оказии в Россию. А тут жена заболела, беременна была. Зузенко подал прошение, чтобы его временно освободили из-под стражи за ней ухаживать. Выпустили его под надзор полиции. Ясно, в тюрьму он больше не вернулся.

С помощью местных революционеров им удалось достать голландские паспорта, и под видом коммерсанта Зузенко на белогвардейском пароходе «Россия» попал в Одессу. С трудом ускользнули от контрразведчиков. Началось подполье.

Наконец Одессу освободили, и Александр Михайлович поехал в Москву. Там он выступил на Втором конгрессе Коминтерна делегатом от Австралии. Во как! Он работал в Коминтерне, сотрудничал в газете «На вахте». Потом снова попал за границу. Появлялся в Сан-Франциско, Антверпене, Гамбурге, Лондоне. Но в Англии полиция снова арестовала Зузенко. Его судили и приговорили к повешению. Насолил он им здорово. Сидит он в тюрьме, но надежды не теряет. И не напрасно. Наше правительство обменяло Зузенко на английских военнопленных интервентов.

Александр Михайлович вернулся домой и начал плавать. Но сходить на берег в Англии и колониях ему запрещено. Вот тебе и английский король. Понял?

Тамбе снова принялся за свою рукавицу.

— С Джоном Ридом был знаком, английский язык знает как родной, — добавил он, вдевая нитку в иглу. — Весь мир видел…

Я слушал Альку затаив дыхание. Действительно, не человек, а роман.

Несколько лет спустя, когда я уже имел диплом штурмана, меня послали третьим помощником капитана на теплоход «Смольный». Им командовал Александр Михайлович Зузенко. Долго плавая на линии Ленинград — Лондон, капитан так хорошо изучил этот путь, что поднимался на мостик только для того, что- бы проконтролировать работу штурманов, да при подходе к портам и швартовках. Мне даже казалось, что Зузенко не проявляет большого интереса к морю. Он был как — то выше своей специальности.

Каюта капитана напоминала библиотеку, набитую книгами

на разных языках. Капитан много читал. В Лондоне к нему часто приезжал Уильям Галлахер, член парламента от коммунистов, и секретарь Коммунистической партии Англии Гарри Поллит. Они были друзьями. «Старики» часами просиживали за кофе в капитанской каюте, в то время как мы, молодые помощники, развлекали дочку Галлахера, кажется Мери. Танцевали с ней, болтали, совершенствуя свой английский язык.

Зузенко по-прежнему в Лондоне на берег не сходил. Его друзья, Беатриса и Сидней Вебб, английские прогрессивные общественные деятели, даже сделали запрос в парламенте: «Почему советского капитана Зузенко, такого почтенного человека и джентльмена, не выпускают на берега Соединенного Королевства?» — но запрос остался без ответа.

Правда, однажды на судно приехал английский чиновник и торжественно протянул капитану свиток с сургучной печатью. Это был указ короля об амнистии и разрешении сходить на берег. Александр Михайлович развернул бумагу, внимательно прочел ее и возвратил чиновнику. Как всегда немного заикаясь, он сказал:

— П-передайте мою благодарность его величеству. Я сойду на берег, когда в Англии установится Советская власть.

Может быть, это было не совсем вежливо. Может быть… Но звучало это здорово.

Все, что я знал об Александре Михайловиче Зузенко, поражало меня. Он так не походил на остальных моряков, с которыми мне приходилось встречаться. Это был человек из другого мира. Капитаны, с которыми я плавал, были разными людьми, с разными характерами, привычками, иногда странностями, но все они находились в плену своей профессии. Они были моряками, и вся их жизнь подчинялась одному — морю. Все они достигли высокого морского мастерства, плавали безаварийно, добивались «голубого вымпела наркомата», стремились получить звание лучшего капитана пароходства. Они ревниво относились к успехам товарищей и не прощали им морских оплошностей.

И дома у них обычно говорили главным образом о плаваниях, службе, пароходстве, критиковали кого-нибудь из моряков, искали путей к перевыполнению плана. Они были влюблены в свою профессию, ставили ее выше других, гордились ею. Все остальное — книги, театр, наука — составляло лишь маленькую часть их жизни.

У Зузенко все было не так.

Я внимательно наблюдал за ним. Он тоже был моряком, капитаном, но, в отличие от других, в центре его внимания было не судно и навигация, а люди, с которыми он работал. Он любил

свою команду, охотно спускался в столовую экипажа, любил подолгу беседовать на разные темы. Меня поражало богатство его знаний. Кажется, не было такого вопроса, на который не мог бы ответить капитан, не было незнакомой ему области. Но я никогда не видел Зузенко с секстаном в руках. Когда он приходил на мостик в своем сером, таком штатском пиджаке, с непокрытой головой, бросал беглый взгляд на карту, свертывая самокрутку, и, закурив, молча становился в крыле мостика, мне всегда казалось, что мысли его далеко от «Смольного», что ему совсем неинтересно, что делают его помощники, и ему скучно. О чем он думал? Может быть, вспоминал свою жизнь. Не знаю… Мне в то время это было непонятно и казалось кощунством. Нет, как моряк Зузенко отнюдь не вызывал моего восхищения. Мне больше нравился капитан нашего «систер шипа» «Сибирь». Блестящий, веселый, лихой швартовщик.

Но зато никто не пробудил у меня таких раздумий о жизни, такого уважения к людям, как Александр Михайлович Зузенко. Впервые я встретил человека, который был абсолютно чужд тщеславия, а ведь про него можно было написать книгу. Приключения и опасности сопутствовали всей его жизни. Но он не делал из себя героя. Своим примером капитан доказал мне, что «не хлебом единым жив человек», что есть что-то большее, чем личные интересы, большее, чем собственная жизнь и все, с нею связанное, что можно ею пожертвовать, если ты борешься за идею, если ты в нее веришь. Он не думал о богатстве, о славе, не добивался высоких постов. Он был рядовым бойцом-коммунистом. Именно бойцом, рисковавшим своей свободой, а иногда и жизнью за дело рабочего класса и ничего не требовавшим взамен.

Конечно, я читал о таких людях. Он был не единственный, Александр Михайлович Зузенко, но я его видел реального, стоящего передо мной в крыле мостика. Такого обычного, ординарного, в неуклюжем пиджаке, свертывающего желтыми прокуренными пальцами сигарету. И может быть, именно в то время, когда я плавал с ним, я лучше понял, что человек может сделать многое, оставаясь скромным, неброским и некрасноречивым.

Я недолго был помощником у Александра Михайловича, но это плавание оставило неизгладимый след в моем сердце. Ни до, ни после мне не приходилось встречать людей, похожих на этого капитана. Прошло столько лет, а я вижу его как живого, высокого, немного сутулого, с серьезным лицом и улыбающимися глазами, слышу его хрипловатый, слегка заикающийся голос: «Не с-сомневайтесь, р-рабочие везде придут к власти. Я э-это твердо

знаю».

…В 1941 году, очутившись в фашистской тюрьме Вюльцбург, я вспомнил Зузенко. Вспомнил, и только тогда по-настоящему осознал, каким мужеством, стойкостью и верой в дело коммунизма должен был обладать он, одиноко скитаясь по тюремным камерам мира.

Я не встречал судна с именем капитана Зузенко. Но такое судно должно быть. Нет лучшего памятника моряку, чем корабль, названный его именем. Всей своей жизнью Александр Михайлович Зузенко заслужил такую память.

Диплом

Прошло более двух лет с тех пор, как я покинул кабинет Лухманова и отправился на Биржу труда. Надо было возвращаться в техникум. В кармане лежали характеристики, полученные от капитанов и судкомов.

Я пришел на первое занятие немного пораньше, чтобы познакомиться с обстановкой.

В третьем «а» почти все места были заняты. Пустовал лишь передний ряд. Только за столом, стоящим встык с преподавательским, одиноко сидел очень аккуратный молодой человек. Он был такой аккуратный, что походил на манекен. Идеальный пробор, выстиранная до голубизны и отглаженная старенькая роба, надраенные до солнечного блеска ботинки, белый целлулоидовый воротничок, обручальное кольцо на пальце, тетради, обернутые в газету… Образец слушателя, да и только! Я поискал себе места где-нибудь подальше, но таковых не оказалось.

«Сяду к этому чистюле», — решил я и спросил, отодвигая стул:

— Не возражаешь?

— Садись, пожалуйста, — дружелюбно ответил парень.

Я скосил глаза и прочитал на обложке тетради: «Степанов Г. В. Третий «а». Судоводительское отделение».

Лицо соседа показалось мне знакомым. «Где же я его видел? Определенно видел», — вспоминал я, напрягая память, но вспомнить не смог.

— Где ты плавал? — спросил я.

— На «Церели». Знаешь? А раньше на «Красной Звезде» у Лухманова.

«Церель» — портовый буксир. Он часто помогал «Рошалю» при швартовках. Вот, значит, где я видел Степанова. Для нас, «заграничников», это была вторая категория моряков. Портофлотец. Не то… Не настоящий моряк. Я сразу же принял покровительственный тон.

— Меня со второго дневного выкинули два года назад, — с глупой хвастливостью проговорил я, желая произвести впечатление этакого бывалого парня. — Я тебе помогу, если будет затирать. Кое-что помню.

— А мне помогать не надо, — спокойно сказал Степанов. — Жаль, что ты два года потерял. Был бы уже в четвертом классе.

Прозвенел звонок, и почти тотчас же в класс вбежал молодой, очень высокий преподаватель. Он быстро оглядел учеников,

улыбнулся и сказал:

— Знакомые все лица! Новых как будто нет? Нет, есть, — он взглянул на меня. — Ну, здравствуйте, моряки! Как плавалось?

— Здравствуйте, Владимир Владимирович! — хором ответил класс. — Плавали хорошо, по меридианам и параллелям. Как вы учили.

— Александровский. Преподает астрономию. Наш декан, — шепнул мне Степанов.

Владимир Владимирович еще раз оглядел класс и остановил свой взгляд на Степанове.

— Давайте, по старой памяти, к доске. Поди, все забыли за лето?

— Не знаю, — пожал плечами Степанов, выходя из-за стола.

— Итак… — Александровский прищурил глаза и дал задачу по космографии.

Ученики зашуршали листами. Задача была трудная. Я чертил, перечеркивал решение, снова чертил. Ничего не получалось.

— Все, Владимир Владимирович, — вдруг сказал Степанов, кладя мел.

Александровский мельком взглянул на доску.

— Отлично, Степанов. Ставлю вам первую пятерку. Садитесь.

— Степанида силен. На Степаниду можно положиться. Степанида в астрономии собаку съел, — загудели со всех сторон. — Степанида…

К третьему уроку в классе появился еще один новичок. Он сразу привлек всеобщее внимание. Высокий, ростом, пожалуй, не меньше Александровского, розовощекий, голубоглазый, с копной светлых волос. На нем была черная гимнастерка, подпоясанная тонким ремешком, черные галифе и шикарные белые бурки, обшитые кожей. И это среди кителей, форменных тужурок и американских роб!

Парень вошел, поискал глазами место в задних рядах и, не найдя его, плюхнулся на третий свободный стул за нашим столом.

«Береговой. И нахальный. Даже разрешения не спросил», — сердито подумал я, найдя в таком поведении неуважение к настоящим морякам и умаление их достоинства. Но, видимо, парню было наплевать на мой надутый вид. Он вытащил из портфеля хиленькую тетрадочку, бросил ее на стол и протянул мне руку:

— Будем знакомы. Мартынцев Евгений, — и он так стиснул мне ладонь, что я чуть не заорал. Степанида даже подул на пальцы после того, как новичок представился и ему.

— Ты где раньше плавал? — ворчливо спросил я, желая сразу поставить точки над і и дать почувствовать этому Евгению, что он ничто в обществе морских волков.

— Нигде не плавал, — весело и без всякого огорчения ответил Мартынцев. — А что такое?

— Как же ты тогда на вечерний попал? — в один голос спросили мы со Степанидой. — Сюда только моряков берут со стажем.

— А вот так и попал. По блату. Работал шофером в Сочи, познакомился там с одним совторгфлотцем, он меня и устроил. Подумаешь, не все ли равно, где учиться — на дневном или на вечернем?

— Как ты вообще-то будешь учиться, когда не можешь отличить корму от носа, — презрительно фыркнул я. — Никогда в море не был.

— Да ладно тебе, не запугивай. Ну, чего тут особенного? На первом курсе у вас в основном общеобразовательные идут, за второй курс по специальным предметам я экзамены сдавал, все лето готовился, а на третьем сам буду учиться. Вот и все. Подумаешь!

Этот Женька не «ложился в дрейф», хотя и носил галифе.

— Ладно, мы тебя на буксир возьмем, если будешь отставать, — сказал Степанида. — Не боги горшки обжигают.

— Поможете? — обрадовался Мартынцев. — Я в долгу не останусь, марсофлоты.

Марсофлоты! Какая фамильярность! Кто бы сказал другой, а тут какое — то «галифе», не нюхавшее моря.

— Ты зачем в Мореходку пошел, марсофлот? Шел бы в Автодорожный, — насмешливо сказал я.

— А ты зачем пошел? — наскочил на меня Мартынцев. — Что — тебе одному только можно?

— Это моя профессия, — с гордостью ответил я.

— Ну, будет и моей профессией. Или, может, ты возражаешь?

— Да хватит вам заедаться, ребята, — повернулся нам Степанида. — Тихо!

В класс входил преподаватель навигации Иван Алексеевич Хабалов.

Через несколько дней Степанида, Мартынцев и я представляли собой дружную компанию «не разлей водой». Мы были очень разными людьми, но сблизила нас общность интересов. Все любили море, хотели стать хорошими моряками, получали маленькую стипендию и потому жили трудно, так как уже были женатыми. Нам необходимо было работать.

Женька служил каким-то маленьким начальником в

хозяйственном отделе Академии наук. Вскоре он устроил туда диспетчером гаража Степаниду. А я нашел себе место во Внешторгтрансе в порту и работал в ночную смену инспектором по погрузке судов.

Тогда о полном обеспечении учеников, как это делается сейчас — учат, кормят, одевают, — думать не приходилось. У страны еще не хватало на это средств.

Вот так и жили. Мы со Степанидой ночью работали, днем спали, а вечером учились. Женька прямо со службы ехал в Мореходку. Доставалось нам здорово, но желание поскорее встать на мостик было таким сильным, что мы старались не замечать трудностей нашего бытия.

Самым солидным из нас был Степанида. Он никогда не совершал необдуманных поступков, отличался выдержкой, спокойствием, доброжелательностью. Да же в жарких спорах он не повышал голоса и уничтожал своего противника неопровержимыми логическими доказательствами. Учился Степанида отлично. Свободное время он посвящал учению. Накупал книг по мореходным наукам и, обложившись ими, изучал астрономию, навигацию, морскую практику. Это было его отдыхом. Морское дело он любил и знал его глубоко, по-настоящему. Мы с Женькой назвали его «положительным типом» и подтрунивали над его чрезмерной аккуратностью. Все конспекты завернуты в газетки, чертежи раскрашены цветными карандашами, на каждый предмет отдельно! И это, когда мы с Мартыном имели по одной, не очень опрятной общей тетради!

Женька учился хуже, чем я и Степанида. Все-таки сказывалось отсутствие практики. Потом он много пропускал. У него всегда находились какие-то важные, неотложные дела. Женька любил вечерком расчертить «пульку», и это отвлекало его от занятий. У Мартына была куча всяких родственников, к которым он регулярно ходил обедать. То к одним, то к другим. По очереди. К морскому делу он относился спокойно. Профессия как профессия. Не хуже и не лучше других. Интересно, конечно, но считать только моряков людьми— это уж слишком! Так будете смотреть — останетесь узкими, необразованными профессионалами. Надо найти время и для театра, и для «пульки», и для художественной литературы. Такой была его точка зрения. Тогда она нам не подходила. И если возникал спор о профессиях, мы со Степанидой яростно набрасывались на Женьку:

— Зачем пошел в Мореходку? Не хочешь быть хорошим моряком? Не любишь моря? Оно не терпит гастролеров…

На что Женька, улыбаясь до ушей, обычно отвечал:

— Заныли, марсофлоты! Я вам раз и навсегда сказал:

штурманом буду, море уважаю, работа морская хорошая, но быть, как вы, в шорах и ничего не видеть вокруг не желаю. Все. И отстаньте от меня, не то… — Женька вскакивал со стула и, пользуясь своим огромным ростом и силой, хватал нас со Степанидой за шкирку, пытаясь столкнуть лбами. Начиналась возня. Мы с Юркой тоже были не слабенькими ребятами.

— Ну, хватит! — наконец говорил Степанида. — Садитесь заниматься. Завтра контрольная.

Несмотря на Женькины «еретические» взгляды, мы искренне любили его. Был он отзывчивым, добрым, всегда готовым помочь и неунывающим веселым парнем. Жил Женька на Малой Московской улице, и мы часто собирались там для занятий. Правда, занимались мы и у Степаниды, и у меня, и жены угощали нас всегда одним и тем же блюдом: кислой капустой с отварной картошкой, обильно политой подсолнечным маслом. Другого ничего не было, но каким вкусным это казалось!

Наш класс был дружным и спаянным, настоящим «морским» классом. Володя Александровский всегда ставил его в пример, когда сравнивал с такими же параллельными. Успеваемость мы имели самую высокую.

Трудно давался нам английский язык. Ученики должны были только уметь читать лоции и карты, разбирать тексты коносаментов и договоров на перевозку грузов. А мы хотели говорить.

Среди своих знакомых я нашел двух милых студентов, мужа и жену Потаповых. Оба учились на филологическом факультете университета, на английском отделении, и согласились за мизерную плату два раза в неделю давать нам уроки разговорного языка. Мы создали группу. В нее вошли: Степанида, Юрка Мартынов, Кобцев и я. Женька отказался. У него не хватало времени.

Теперь каждую среду и пятницу мы собирались на Седьмой линии Васильевского острова в маленькой комнате Потаповых. Это были такие славные, душевные ребята, что после окончания урока мы еще долго засиживались у хозяев, пили чай и говорили, говорили обо всем, что лежало на сердце. Особенно любили Галочку Потапову. Стройная, как девочка, мягкая, деликатная, она обладала удивительной способностью вовремя помочь, успокоить в трудную минуту. С ней делились своими радостями и горестями. Учили они нас добросовестно. К концу года мы уже довольно сносно могли объясняться с лоцманом, со стивидором, с таможенником и вести простенькие морские разговоры.

Зима проходила в трудах и заботах. Работа во Внешторгтрансе, Мореходка, английский заполняли все время. Я

очень уставал, не высыпался, но бодрости духа не терял.

В марте в моей семье произошло большое событие. Родился сын. Мальчишку назвали Игорем. Я ходил важный.

Наконец наступил долгожданный момент. В мае начались государственные экзамены. Так они назывались в Мореходке. Если экзамены оканчивались успешно, мы получали свидетельства штурманов малого плавания, которые тут же могли менять на дипломы. Стаж у всех был. А там — прощай матросский кубрик. Ты становился четвертым или даже третьим помощником. Но до этого все-таки было еще далеко. Надо сначала сдать экзамены, а одно название их — государственные— указывало на то, что дело это серьезное. Но все кончилось благополучно. Ребята выдержали испытания успешно, играл джаз на традиционном выпускном балу, в нашем классе накрыли столы, и мы с чувством произносили тосты в честь преподавателей. Благодарили их за учение. Рядом сидели наши принаряженные жены и девушки. Они с восторгом смотрели на будущих штурманов и, наверное, думали: «Ну, теперь жизнь будет полегче!»

Нас пригласили в зал, где торжественно вручили свидетельства штурманов малого плавания. Начальник техникума пожал каждому руку, пожелал семь футов под килем, прогремел туш. Счастливые, мы расходились по домам. Как ни трудно было, а все-таки дипломы мы получим.

На следующий день я уже обменял свидетельство на диплом. Он в красивой синей коленкоровой обложке, на которой вытиснено золотом: «Диплом». Прыгаю через ступеньки, бегу с третьего этажа на первый, в отдел кадров пароходства, и нетерпеливо стучу в окошечко комплектатора. Створка открывается, и я вижу голову дяди Васи.

— За назначением, — говорю я и с гордостью протягиваю ему мореходную книжку и диплом.

Елизаров принимает документы, разворачивает диплом, читает.

— Штурманом стал. Молодец! — говорит он и отдает мне диплом обратно. — Только придется эту навигацию еще матросом поплавать. Судов мало, свободных ваканций нет. Вот так…

А я-то думал, что меня сейчас же пошлют помощником капитана… Мое праздничное настроение омрачено, но ненадолго. Пока Елизаров роется в документах, я думаю: «Ничего. Попаду на пароход, а там, может быть, и должность откроется. Такие случаи часто бывают. Кто-нибудь заболеет или в отпуск пойдет… Ничего».

— На «Мироныч», — говорит комплектатор и протягивает

мне приказ. — Счастливого плавания!

Дверца захлопывается. Вот это да! Я попадаю на «Мироныч», мой первый пароход загранплаваний. Как-то там теперь? Наверное, многое изменилось и люди новые? Ведь три года прошло! Ну, посмотрим.

КЭБ

Я не ошибся. Команда на «Мироныче» сменилась полностью. Пароход передали Балтийскому пароходству, и теперь на нем плавали ленинградцы. Приняв мои документы, старпом отпустил меня, сказав на прощание:

— Вахту будете стоять с Богдановым, жить во второй каюте, заступите с восьми утра.

Я шел по коридору, придирчиво оглядывая подволоки, переборки, палубу. Все сверкало чистотой. Хорошие традиции Августа Нугиса не забыли. За судном ухаживали.

В каюте, у столика, на брезентовой раскладушке сидел матрос и что-то писал. Когда я вошел, он бросил перо, перевернул тетрадь и уставился на меня. Первое, на что я обратил внимание, были его брови. Необычайно кустистые, какие-то белые, густые брови. Уже потом я разглядел все остальное. Голубые с хитрецой глаза, высокий лоб, рыжеватые волосы. В общем его лицо мне понравилось.

— Богданов? — спросил я.

— Угадал. Богданов Виктор Демьянович. А ты, вероятно, мой новый напарник?

— Точно.

— Ну, давай располагайся. Ты с какого парохода сюда пришел?

Я рассказал о своих предыдущих плаваниях, не преминув многозначительно заметить, что кончил Мореходку и ношу диплом в кармане. Богданов засмеялся:

— «Аналогичный случай был с нашей коровой в Тифлисе». Знаешь такой анекдот? Я тоже штурман и тоже ношу диплом в кармане. С прошлого года ношу. Мест нет.

Я обрадовался. Партнер мне попался подходящий. Два штурмана найдут о чем поговорить. Скучно не будет.

— Ты давно на «Мироныче»? — спросил я Виктора.

— Второй рейс пойду.

— Как тут теперь? Я ведь на нем уж плавал…

— Пароход подходящий. Тихоход. Больше днев, больше рублев, как говорят. Ребята отличные, администрация чудесная… Слушай, тебе когда на вахту заступать?

— Завтра с утра.

Виктор нахмурился, глаза у него стали грустными.

— А мне сегодня с шестнадцати. Через два часа. Слушай, у меня к тебе огромная просьба. Выполнишь, а? — вдруг оживился мой партнер по вахте. — Я тебе этого не забуду. Выполнишь?

— Смотря что, — осторожно сказал я.

— Отстой за меня вахту, а? Понимаешь, — он доверительно склонился ко мне, — одно дело есть. Не приду сегодня — все пропало!

— Какое дело?

Виктор укоризненно покачал головой:

— Не догадываешься? Девушка… Ясно?

— Понятно.

— Так отстоишь?

— Да не знаю… Мне домой надо, вещи собрать, жена будет беспокоиться…

— Жена! — презрительно фыркнул Виктор. — Никуда она не денется. Знает же, что ты на судно пошел. Вещи успеешь собрать. Нам здесь стоять и стоять. Отстой, ну что тебе… Я потом за тебя отстою, когда тебе будет надо. Ладно?

— Ладно, — кисло согласился я.

Мне совсем не хотелось сразу заступать на вахту. Лидочка ждала меня, мы хотели вечером пойти в кино, а тут…

— Спасибо. Выручил. Я тебе этого не забуду. Виктор вскочил, ринулся к шкафу, вытащил из него костюм, ботинки, рубашку и лихорадочно принялся стягивать с себя рабочие штаны. Минут через пятнадцать он предстал передо мной свежевыбритый, надушенный, в белой рубашке и в английской пестрой кепочке, согласно тогдашней совторгфлотской моде.

— Готов, — удовлетворенно сказал он, оглядывая себя в зеркало. — Ты тут сиди, а я сейчас слетаю к старпому, спрошу разрешения на подмену, приду тебе скажу. Чиф разрешит. Не беспокойся.

А я и не беспокоился. Лучше бы он не разрешил, тогда я пошел бы домой. Но старпом разрешил. Вить ка помахал мне на прощание рукой через иллюминатор и скрылся. Заступать на вахту было еще рано. Я осмотрел полку с книгами. Стихи Есенина, Маяковского, астрономия Хлюстина, учебник навигации… Я полистал справочник штурмана, прилег на голую, не застеленную еще койку. «Черт меня дернул согласиться, надо было…» — подумал я, но тут дверь распахнулась и в каюту влетел парень с развевающимся полосатым галстуком, в шляпе на затылке.

— Витька где? — не здороваясь, спросил он.

— На берег ушел.

— Как на берег? Ему же на вахту с шестнадцати.

— Я за него буду стоять.

— Ты что, новый матрос?

— Ага.

— Мое фамилие Экстерович. Слышал, наверное? Женька Экстерович?

Я поглядел на его оттопыренные уши и круглые серые глаза.

— Чапаева вот знаю, а Экстеровича, извини, нет, — сказал я.

— Плохо знаешь кадры пароходства, друг. Ну, это не важно. Ты меня должен выручить. Кровь с носа, в Одессе так говорят. Станешь за меня на вахту с ноля. Понял? А я за тебя следующую отстою. Договорились? Вопрос жизни. Понял?

— Девушка? — насмешливо спросил я. Но он не уловил моей иронии.

— Провидец! Верно. Понимаешь, вчера в Саду отдыха… спас ее. Пристала к ней какая-то шпана, ну, я вступился. Тут еще несколько человек за меня. Одним словом, Лерочка, так ее зовут, со мной осталась.

Плачет. Ну, поужинали вместе, проводил ее… Сегодня обещал с ней за город поехать. Понял? Ты бы только видел! Богиня! Блондиночка, ножки точеные, фигура… Может быть, даже женюсь.

— Что? — я обалдело поглядел на Женьку. — Женишься?

— А что ты думаешь? — мечтательно сказал Женька, он весь лучился, сиял. — Такие женщины встречаются раз в жизни. Человек проходит мимо своего счастья… Прошел, не заметил — и все… Какая у нее душа! Судьба трагическая… Тебе только рассказать— не поверишь. Ну, ладно. Я побегу к старпому, скажу ему, что ты за меня встанешь с ноля…

Я возмутился бесцеремонностью этого парня и сердито сказал:

— Можешь не ходить. Стоять за тебя не буду. Ты, вообще, соображаешь что-нибудь? Кто же три вахты подряд разрешит стоять? Да и с какой стати? Что я вам — козел отпущения?

Женька сразу погас. Он швырнул шляпу на койку, сел на раскладушку.

— Это ты прав. Три вахты не разрешат. Я как-то не учел. Как же быть? Эх… — Он с яростью потер свой нос. — Витька опередил меня. Приди я к обеду, ты бы меня подменил. Не везет.

— А ты бы своего напарника попросил.

— Своего напарника? Он не встанет. Я ему уже и так две вахты должен… — Женька осекся, поняв, что сказал лишнее. — Ладно, ничего не поделаешь. Поедем за город в следующий раз. Побегу. Должен все ей сказать. Пока. Я тебя сменяю. Буду как штык в ноль часов, — и, схватив шляпу, Женька выбежал из каюты.

Конечно, в ноль часов он на вахту не пришел. Я топтался у трапа, наверное, не меньше часа, проклиная в душе и Женьку и

его Лерочку. Женька подкатил к судну на такси. Он пронесся мимо меня, срывая на ходу галстук, воротничок, пиджак. И через пять минут появился на палубе, волоча за собой плохо натянутый сапог, в ватнике и шапке.

— Можешь быть свободным. Все в порядке? О'кей. Ты меня извини. Так получилось. Понимаешь, Лерочка…

Вероятно, он рассказывал бы мне о своих приключениях всю вахту, да я не стал его слушать. Надо было выспаться.

Дней через пять «Мироныч», нагрузившись по самый мостик досками, отплыл в голландский порт Дельфзиль.

Первое впечатление о Витьке у меня сложилось такое: «Простой, хороший парень». Но такая примитивная характеристика не подходила этому человеку. Он был хорошим, но далеко не простым. Витька любил посмеяться, понимал юмор, участвовал во всех наших начинаниях, но часто вдруг становился молчаливым, замыкался. Он вообще мало рассказывал о себе, о своей семье, о девушках. Со всеми он держался ровно, никогда не ссорился, ко всему подходил с шуточкой. С администрацией судна, в частности со старпомом, нашим непосредственным начальником, у Витьки были прекрасные отношения, и потому он как-то очень ловко обделывал свои «делишки» — получал выходные дни, когда их никому другому не давали, подменялся на вахте, позже стал артельщиком, что тоже имело некоторые преимущества: выдал продукты, убрал кладовые и, если не надо ехать в магазин, — свободен. Он умел быстро улаживать бурные споры, грозящие перейти во взаимные оскорбления.

— Товарищи, товарищи! Ну что это, в самом деле? Я согласен — в споре рождается истина. Но не в такой форме. Вы должны научиться спорить красиво. Вот я вам расскажу случай… — говорил Витька и начинал какую-нибудь длиннейшую историю, которая начисто отвлекала спорщиков от предмета их спора. В команде за ним укрепился эпитет — «хитрован», но звучало это скорее ласково, чем осуждающе. Матросы его любили.

Иногда Витька присаживался к столику и доставал тетрадь в клеенчатом переплете. Тихонько поскрипывали переборки, судно покачивало, булькало в трубах парового отопления, уютно горела над столом лампа под зеленым абажуром. Витька поглядывал на меня, а я делал вид, что сплю крепким сном. И тогда он начинал писать. Я не мешал ему, хотя любопытство одолевало меня. Но живя вместе в одной маленькой каюте, трудно что-нибудь держать в тайне. Скоро я узнал, что пишет Витька. Он писал стихи. Лирические стихи о любви и море. Я, конечно, не удержался и рассказал об этом Женьке. Мы решили попросить Витьку почитать нам свои произведения.

— Значит, ты, поэт, нам ни слова, а стихи пишешь? Нехорошо, друг Тряпичкин. Читай, — наступал на Виктора Женька.

— Да кто вам сказал? Никакой я не поэт, ничего не пишу, — отнекивался Витька. — Пушкина могу вам прочитать. Хотите?

— А тетрадочка в клееночке? Пушкин? — ввернул я. — Не обманешь.

— Тетрадочка в клееночке? В Шерлоки Холмсы ты не годишься. Это книга учета продуктов.

Но мы не успокоились, пока Витька не прочел нам несколько «морских» стихотворений. Они нам понравились, и Витька стал у нас признанным поэтом.

Витька, Женька и я крепко дружили. Вместе проводили время, ходили в Интерклуб, на берег за границей. Витька бывал у. меня дома, у Женьки, но никогда никто из нас не попал к нему в гости. Витька резко разграничил свою жизнь на судовую и береговую и в эту вторую половину своей жизни вторгаться никому не позволял. Так было и впоследствии, когда Витька женился. Мы не получили приглашения познакомиться с его женой. Кажется, брак был не очень удачным. Но это мы знали понаслышке. А мы ведь были его ближайшими товарищами…

Женька представлял собою полную противоположность Витьке. Очень экспансивная натура, он постоянно находился в легком возбуждении. Голова его была заполнена всевозможными, чаще всего нереальными, проектами, вечно он попадал в какие-то удивительные истории, всегда ему встречались необыкновенные женщины, которых он спасал, наставлял на путь истины помогал найти свою дорогу в жизни. Он кормил их обедами, покупал вещи, одалживал деньги. Он искренне влюблялся в них. Ему казалось, что именно она, его последняя знакомая, и есть то совершенство, которое он искал. Он готов был отдать все. Его часто обманывали, но он горевал недолго. Всегда находилась более прекрасная.

Ему до всего было дело. Если Женька где-нибудь встречал несправедливость или ему казалось, что совершена несправедливость, то он непременно влезал в «историю»: вставал на защиту обиженного, лез на рожон. Поэтому часто попадал впросак. Доброты и широты он был необычайной. Спросишь у него денег — отдаст все, захочешь что-нибудь из вещей — пожалуйста, бери что надо. Долги можно было ему не отдавать. Он редко их спрашивал. Правда, и от него получить долг было делом безнадежным.

Женька отличался крайней беспечностью. Ему ничего не стоило не прийти на вахту и в оправдание выдумать

душещипательную историю о внезапной болезни кого-нибудь из родственников, он мог обещать и не выполнить, мог получить выговор старпома за небрежность и завтра же повторить то же самое. Эта беспечность мешала его службе.

Женька учился в Мореходке, потом бросил ее, ушел плавать матросом и теперь снова собирался туда поступать.

Когда он возвращался с берега, будь то ночь или день, он врывался к нам в каюту и, если мы спали, начинал тормошить и кричал:

— Слушайте, вы, пижоны! Да будет вам дрыхнуть. Выспитесь еще. Слушайте, что я вам расскажу…

Не помогали никакие протесты. Мы должны были выслушать его очередную историю, сказать свое мнение.

— Глупость какая, — говорил сонным голосом Витька. — Поступаешь, как пятилетний ребенок…

— Глупость? Ничего — то ты не понимаешь, сухарь несчастный, — сердился Женька. — Правильно тебя артельщиком выбрали. Ты только банки с консервами можешь считать.

Он хлопал дверью и, возмущенный нашей черствостью, уходил к себе.

Во время рейсов, в свободное от вахт время, мы собирались у нас в каюте. Говорили о том, как будем плавать штурманами, какой должна быть служба, кто может называться настоящим хорошим помощником капитана. Мы много читали и всегда спорили о прочитанном — вкусы у нас были разные. Помню, какое восхищение вызвал у нас только что появившийся роман Леонида Соболева «Капитальный ремонт». Тут уж мнения сошлись. Отдельные главы романа мы читали вслух. Женька даже выучил наизусть некоторые особенно понравившиеся ему отрывки. Очень пришелся нам по душе старший Левитин, умный и беззаветно любящий флот и матросов офицер. Мы с нетерпением ждали выхода в свет продолжения, гадали, как сложатся судьбы героев во второй книге.

Сделав два рейса в европейские порты, «Мироныч» пришел в Ленинград для того, чтобы взять доски для Франции. Раньше никто из нас в этой стране не бывал, а потому мы очень радовались предстоящему плаванию. Но нас ждало горькое разочарование. Первым печальную новость принес Женька. Он прибежал на судно с берега и, обнаружив нас с Витькой работающими на палубе, закричал:

— Срочно идите сюда! Важное сообщение!

Мы пришли в каюту, Женька закрыл дверь и прошептал:

— «Мироныч» посылают в Карскую экспедицию. Поняли, лопухи?

— Кто тебе сказал? Бросил бы трепаться. Во Францию идем, трюма под лес готовим, а он — в Карскую!

— Ну, дело твое. Можешь не верить, а я собираю мешок. Немедленно ухожу на берег, тем более что у меня причины уважительные…

— Опять заболел кто-нибудь? Не с кем оставить, требуется твое присутствие и уход за больным. Так? — съехидничал Витька.

— Да. именно так. Могу справку принести. Женька ушел, и мы слышали, как хлопают дверцы шкафа в соседней каюте, выдвигаются ящики. Видимо, он действительно собирал свои вещи.

Такие действия нас обеспокоили, и мы решили проверить Женькино сообщение. За выяснение взялся Витька. У него был знакомый в отделе эксплуатации. Сведения подтвердились. Пароход посылали на Диксон, а потом на Обь в Новый порт за досками для Англии. Мы были опечалены — уже настроились на Францию, в каботажном плавании платили меньше, и надо было самим выгружать судно. Пропадало лето — в Арктике всегда холодно. Энтузиастов оказалось мало. Большинство ребят под разными предлогами попытались удрать с парохода. Но никого не отпустили. Был издан строгий приказ: «Команда на «Мироныче» должна остаться полностью. Задание важное». В то время такие плавания для торговых судов были редкостью и назывались экспедициями. Женька осаждал старпома, отдел кадров, носился с какими-то бумажками, но освободиться от «Мироныча» не сумел. В конце концов все успокоились и теперь, обсуждая предстоящее плавание, находили его даже интересным.

— Я лично не прочь познакомиться с Арктикой, — говорил Витька. — Штурману это необходимо. Надо иметь представление, что это такое.

— А мне рассказывали, что Арктика привлекает к себе людей своим величием, суровостью природы, какой-то особенной тишиной. Арктика околдовывает людей. Человек, побывавший там один раз, уже не может с ней расстаться. Может быть, и я останусь там… года на три, — фантазировал Женька, и сам начинал верить своим словам, загорался и говорил — Там люди на вес золота. Буду работать такелажником или кем-нибудь другим…

— А как же больная тетя? Ведь она должна быть под твоим присмотром? А ты на три года?

Женька не удостаивал нас ответом. Фокус не удался, что уж о нем говорить.

Пароходство стало оказывать нашему судну заметное внимание. Обновили и пополнили снабжение и инвентарь,

поставили на три дня в ремонт, каждый день приходили представители разных отделов — проверяли готовность «Мироныча» к арктическому плаванию.

В пароходстве выходила газета «Советская Балтика». Главным ее редактором был Ефим Береговой. Каждый номер газеты кончался словами: «Привет морякам!» и подписью: «Ефим Береговой». Эта фраза стала такой популярной, что при встрече или расставании мы всегда говорили: «Привет морякам, Ефим Береговой!»

Худенький, маленького роста, Ефим неожиданно появился у нас в каюте и сразу взял быка за рога. Он бросил на столик свой огромный портфель, кепку, поправил круглые очки на большом носу и начал:

— В чем дело? Почему вы не даете материал? Это же преступление!

Мы опешили.

— Да-да, преступление, — глядя на наши удивленные лица, повторил Ефим. — Пароход отправляется в арктическую экспедицию, а они ни слова. Ни о подготовке, ни о людях, ни об энтузиазме моряков. Нехорошо, братцы.

— Но почему материал должны давать именно мы? На судне еще тридцать человек.

— Если вы хотите меня обмануть, — Ефим укоризненно покачал головой, — то это вам не удастся. Вы культурные, интеллигентные ребята. Готовые штурманы. Я же все знаю… Кому, как не вам, давать материал в газету? Меня направил к вам судком.

В каюту вошел Женька, поздоровался и сел на краешек койки.

— Вот наиболее интеллигентный человек, — показал на Женьку Виктор, — имеет склонность к журналистике, прекрасный рассказчик.

— Как же, знаю, — не растерялся Ефим, — на него я тоже рассчитываю. В общем, слушайте сюда. Во время рейса вы трое должны вести путевые заметки. Все видеть, все записывать. Больше о людях, об их делах, мечтах, быте. Необычная природа. Вы встретитесь со многими интересными людьми, там, на Севере. Зимовщики, полярные летчики, строители порта на Диксоне… Пусть — это даже лучше — будет одна целая вещь, большой очерк… Вы возвращаетесь из рейса, сдаете рукопись мне. Я ее отдаю на машинку и начинаю печатать в «Советской Балтике» с продолжением… Потом мы выпускаем отдельную книгу. Я это беру на себя. В издательстве «Водный транспорт» нас поддержат. Ваши фамилии станут известными в морских кругах.

Ефим говорил так убежденно, с таким жаром, что

охвативший нас сначала скептицизм исчез бесследно. Мы были потрясены открывшимися перед нами горизонтами. Нам предстояло стать настоящими журналистами! И потом так хотелось, чтобы наши фамилии были известны в морских кругах.

— А как же мы будем писать втроем? — спросил Женька.

— Очень просто. Рейс большой, разделите его на три части. Каждый будет писать свою часть. Потом соедините какими-нибудь связующими фразами. Имейте в виду, газета рассчитывает на ваш материал. Других просить не буду. Не подведите.

— Подписываться нам как?

— Можете ставить все фамилии подряд, можете придумать себе псевдоним.

Псевдоним! Вот это здорово. Кажется, только известные писатели подписывали свои произведения псевдонимом.

Ефим Береговой пожал каждому из нас руку, сказал на прощание «привет!» и ушел, а мы остались в каюте обсуждать предстоящую журналистскую работу.

— Прежде всего надо придумать название. Такое название, чтобы дух у читателей захватывало, — сказал Витька. — Вот, может быть, так… «Полярные дали».. Или «Сквозь льды и туманы»?

— А может быть, туманов и льдов не будет, — хихикнул Женька. — Тогда как? Предлагаю «Вторая Карская». Солидно и убедительно. Первая Карская уже была. Принимаете?

Мы еще некоторое время придумывали название нашей будущей книге, но все-таки приняли предложение Женьки. Пусть книга называется «Вторая Карская». Звучит!

— А как будем подписываться? Своими фамилия ми или возьмем псевдоним? — спросил я. Мне очень хотелось, чтобы у нас был псевдоним. Какой-нибудь звонкий, впечатляющий… Ну, скажем, «Морские братья».

— Конечно своими фамилиями, — безапелляционно заявил Женька. — Иначе никто и не узнает, кто писал.

— А я думаю, что на первое время псевдоним нужен, — осторожно сказал Витька. — В «Советской Балтике» подпишемся псевдонимом, а уж если, будет книга, то поставим свои фамилии. Это на случай неудачи.

— Ну, ладно, — согласился Женька. — Помните? Козьма Прутков — псевдоним трех писателей. Мы можем что-нибудь в таком же духе… Владимир Шторм!

— Есть уже Шторм, — отмахнулся Витька. — Где- то встречал. И почему Владимир?

Вдруг меня осенило:

— Давайте назовемся КЭБ!

— Ну, ты и даешь! КЭБ! Почему не дилижанс, не фаэтон, не бричка? — язвительно спросил Женька, обиженный, что не приняли его «Владимира». До него еще не дошел весь глубокий смысл псевдонима КЭБ.

— Первые буквы наших фамилий, — объяснил я. — Как братья Тур, знаете?

— Нет, не подойдет. Смеяться будут. КЭБ! Сразу вспоминается что-то на четырех колесах. Давайте другое.

— А мне нравится, — поддержал меня Витька. — Давайте, правда, КЭБ. Коротко и звучно.

Пришлось Женьке согласиться. Так возникло литературное объединение КЭБ. Оставалось разделить сферы влияния. Особенных споров это не вызвало. Женька захотел взять себе «обратный путь и Англию», я получил «Обь и Диксон», Витька «плавание на Севере, жизнь на «Мироныче», людей». Теперь надо было писать книгу. И бог свидетель, мы писали ее честно и самозабвенно.

Первым начал писать Витька. Каждый вечер после работы он проводил за столом. Он писал о «симфонии порта», «журавлиных шеях кранов», «мужественных советских моряках», об Архангельске, «напоенном терпким запахом сосны», и о нас с Женькой. У Витьки мы получались ловкими, остроумными парнями, «не боящимися никаких трудностей», которым по плечу любая работа.

Мы хвалили его и удивлялись, как верно Витька дает характеристики людям! Все замечает. Не терпелось испробовать свои силы на журналистском поприще, но пока «Мироныч» находился в Витькиной сфере влияния.

Когда же наконец пароход пришел на Диксон, я с жаром взялся за перо. Сначала дело шло плохо, но потом я расписался. Суровая природа островов вдохновила меня. Скалы, покрытые мхом, снег на побережье в августе, серое небо, унылый вой ветра, несколько жалких деревянных домиков, льдины, заплывающие в бухту…

И в этом убогом месте по плану должен быть большой порт. Его уже начинали строить. Молодые, веселые люди, в ватниках, меховых шапках, в высоких рыбацких сапогах, приезжали к нам на судно, разыскивали свои ящики, ругались со вторым помощником, требуя выгрузки вне всякой очереди. Они — радисты, монтируют радиостанцию. Ждать не могут. Вслед за ними на борт поднимались такие же напористые ребята-строители и кричали, чтобы первыми выгружали разборные дома, потому что рабочие все еще живут в палатках и им надо создать условия. Появлялись и летчики, неуклюжие, в собачьих унтах и

меховых, кожаных регланах. Просили, чтобы скорее сняли с палубы бочки с горючим. Все торопились, все хотели успеть побольше до наступления холодов.

День и ночь к борту нашего судна подтаскивали баржи. Работа не останавливалась ни на час. Мы сами стояли на лебедках, сами застропливали подъемы и старались делать все как можно быстрее. Темп Диксона захватил нас.

Ефим Береговой оказался прав. Нас удивил и поразил Север. Женька, наслушавшись полярников, загорался и серьезно объявлял:

— Иду к Святокову. Попрошу, чтобы оставил меня на зимовке.

Святоков был новым начальником острова и прибыл на Диксон из Архангельска на «Мироныче». Он как-то в шутку говорил, что найдет работу всем желающим остаться с ним морякам.

Мы с Витькой не одобряли такой план. Сначала Женьке надо окончить Мореходку, а потом уж зимовать, если он хочет. Сейчас не стоит терять три года. Кажется, наши доводы его убедили.

Как-то к «Миронычу» подвели громадную деревянную баржу. Посередине палубы стоял смешной домик, настоящая деревенская изба-сруб, из кирпичной трубы вился голубоватый дымок. На протянутой между двумя шестами веревке сушилось белье. Мирная картина, совсем не подходящая к ландшафту Крайнего севера, к неспокойному рейду Диксона.

Мы с Витькой работали на лебедках третьего трюма, Женька считал груз. Вдруг я заметил, что шкентель Витькиной лебедки ослаб, лебедка не работала. Я застопорил свою, повернулся к Витьке. Он глядел на баржу. На палубе стояла девушка… Красавица? Может быть. Тогда она показалась нам красавицей. Она стояла и молча разглядывала нас дружелюбными синими глазами. И что было удивительным — одета девушка была не в ватник, штаны и теплую шапку, а в яркое платье и городские туфли. Ее светлые волосы были аккуратно уложены в модную тогда прическу «королева».

— «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты…» — пропел довольно громко Женька. Он забыл про свою счетную книжку и не отрывал глаз от незнакомки. Девушка улыбнулась и ушла к себе в избу.

— Вот это да! — закричал нам Женька. — Совершенно невероятное явление в этих широтах. Надо будет срочно… — но он не успел закончить фразы.

На палубе баржи появился молодой человек. Он вышел из той же избы, куда ушла девушка. Вид его тоже был необычным.

Нет, таких баржевиков мы раньше не видели. На нем были высоченные английские резиновые сапоги на красной «зубатой» подошве, синий свитер, морская фуражка с «крабом». Лицо с тонкими чертами, типично грузинское, большие, черные, восточные глаза, «шкиперская» бородка, трубка в зубах. Нет, этот человек никак не походил на баржевика.

— Привет, генацвале! — заорал Женька. — Привет от тружеников моря! Откуда ты, прелестное дитя?

— Привет, кацо, — улыбнулся бородатый молодой человек. — Из Красноярска. Груз привезли для Диксона. А вы откуда?

— Из Архангельска. Продовольствие на твое корыто перегружать будем. Ты что, здесь капитаном?

— Шкипером, — усмехнулся бородатый. — Это то же самое.

— Понятно. Приходи к нам после шестнадцати, поговорим. Можешь прихватить кого-нибудь с собой… — дипломатично намекнул на девушку Женька.

— Ладно, — поднял руку парень. — Приду. Почему-то мы решили, что он обязательно придет с девушкой, которую мы видели на палубе. Надо было не ударить лицом в грязь. Витька владел бутылкой хорошего портвейна. Ее подарил кто-то из экспедиционников, когда уходил с «Мироныча». После вахты мы взяли на камбузе оставшиеся от обеда котлеты, «сервировали» столик у нас в каюте и стали ждать.

К нашему большому разочарованию, шкипер появился один. Но скоро мы забыли о девушке. Гость был интересным человеком. Выяснилось, что он действительно грузин из Сухуми, но кончил Мореходку во Владивостоке и последнее время плавал вторым штурманом на судах Дальневосточного пароходства. Звали его Анатолием Качарава. Обстоятельства сложились так, что он попал в Красноярск, и там ему предложили перегнать баржу на Диксон.

— Ну, я согласился. Никогда прежде по рекам не ходил. Природу захотелось посмотреть. Платят здесь не меньше. В этом смысле ничего не потерял. Вот вернусь в Красноярск, сдам баржу и снова поеду на Дальний Восток. Люблю этот край.

— Значит, не жалеешь, что стал шкипером?

— А чего жалеть? Наоборот. Очень доволен. Может быть, в жизни и не придется того посмотреть, что сейчас видел. Енисей такой красивый, рассказать невозможно.

— Сколько же у тебя команды? — спросил Женька. Я сразу понял, что он снова подбирается к девушке.

— Еще два человека.

— Кто же?

— Два матроса.

— Да… А женщина на борту тоже матрос?

Толя усмехнулся:

— Это моя жена.

— Жена? — Лицо у Женьки вытянулось.

— Ну да, жена, — повторил Толя.

— Как же она согласилась идти с тобой в плавание на таком судне? — спросил Витька.

— А вот так и согласилась. Не захотела расставаться. Любит, значит, — весело подмигнул нам Толя. — Тут на нее многие заглядывались. Золотые горы предлагали. Север, сами понимаете. Женщин мало, да?

Шкипер разгадал наши мысли. Темнить не имело смысла.

— Женщин мало, это ты прав. Но ты себе такую красавицу отхватил!.. — восхищенно воскликнул Витька. — Мне, например, страшно было бы. А вдруг похитят?

— Мне не страшно. Милочка сама не уйдет, а для похитителей вот что есть. — Толя поднял сжатый кулак и засмеялся. — Имейте это в виду.

— Да что ты в самом деле? За кого ты нас принимаешь? Мы-то тут при чем? — заверещал Женька. — Какие мы похитители? Я даже и не видел твою Милочку…

— Я тэбя рэзать буду, генацвале, — с нарочитым грузинским акцентом пробасил Качарава и скроил зверскую физиономию.

Мы сидели долго. Толя нам понравился. Наверное, мы ему тоже. Он рассказывал нам о Дальнем Востоке, советовал бросить Балтийское пароходство и ехать прямо во Владивосток. Там уж с дипломами штурманов матросами плавать не придется. Людей не хватает. Окончившие техникум штурмана через два-три года становятся старпомами.

— И чего вы держитесь за свое пароходство? Непонятно! Время теряете. Все перезабудете, пока до капитанского мостика доберетесь. А у нас перспектива. Посмотрите на наши суда. Есть в вашем пароходстве такие молодые капитаны? Нет. Приезжайте к нам, я вам говорю…

Все это выглядело очень заманчиво. Дальний Восток! Неизведанный, романтический край.

Уходя к себе на баржу, Толя сказал:

— Спасибо, ребята. Посидели знатно. Соскучился по обществу. Приходите завтра к нам. Ужинать. Мы будем рады вас видеть.

На следующий день в костюмах, белых рубашках и галстуках мы отправились в гости к Качараве. Нас приняли с поистине грузинским радушием. Милочка напекла пирогов, нажарила мяса,

Толя достал заветное сухое вино, привезенное им еще из Сухуми. Видно было, что хозяева действительно рады нашему приходу.

Сначала мы смотрели только на Милочку. Все было прекрасно в этой женщине. И улыбка, и веселый взгляд, и манера говорить неторопливо, немного растягивая слова, и легкая походка. Милочка удивительно ловко, ни за что не задевая, передвигалась по своей тесной избушке. Казалось, что она находится в просторной комнате.

Потом, когда мы немного пришли в себя, привыкли к хозяйке, перестали пялить на нее глаза, поняв наконец, что такое внимание просто неприлично, завязался общий разговор.

Милочка и Толя оказались простыми, веселыми, добрыми людьми. После чая Милочка спела нам под гитару несколько песен. Теплом веяло от остывающей плиты. На столе потрескивала керосиновая лампа «трехлинейка», тихонько перебирала струны хозяйка. А за окном холодная серая волна била в борт, надоедливо скрипели швартовы, шел злой колючий снег и подвывал ветер. И так нам было хорошо и уютно в этой избушке, что мы готовы были остаться там навсегда и не возвращаться на свой «Мироныч».

Женька подарил Толе учебник «Мореходные инструменты». Книга только что вышла в свет, и Толе очень хотелось ее иметь. Мы с Витькой преподнесли хозяйке маленькую немецкую пивную кружечку. Другого у нас ничего не оказалось. Попрощались, обещали писать друг другу… Ночью баржу отвели от борта «Мироныча». Мы вышли на вахту к лебедкам и сразу почувствовали, что чего-то не хватает, что-то у нас отняли… Так и осталась в памяти эта встреча на барже, в избушке, с милыми людьми. Осталась на всю жизнь. Теплое пятнышко на фоне холодного Диксона.

Много лет спустя, сидя в огромной каюте капитана ледокольного парохода «Левоневский» Анатолия Алексеевича Качаравы, на том же Диксоне, на том же холодном рейде, мы вспоминали молодость.

— Тут мы с тобой познакомились, — сказал Качарава, поднимаясь с дивана и подходя к иллюминатору. — Ведь тут это было. Диксон-то какой стал, смотри, не тому чета…

Да, Диксон стал другим. Построен целый полярный город. Управление порта, больница, клуб, столовая, детский сад, парники, аэродром, пирсы, краны… На рейде стояли океанские суда, сновали катера по бухте, танкер сливал топливо в серебряные баки… Полярный город, а тогда было несколько избушек.

— Помнишь свою баржу?

— Как же не помнить. Помню. Прекрасное было плавание. Единственное в жизни…

Я все ждал, когда он расскажет мне про Милочку, но Качарава молчал. Тогда я спросил его сам:

— А где Милочка?

Анатолий Алексеевич нахмурился.

— Милочки со мною давно нет, — неохотно сказал он. — Давно.

— Похитили? — попробовал пошутить я.

— Нет… Так уж получилось…

Мне стало грустно. Перед глазами встал бревенчатый домик, керосиновая лампа на столе и светловолосая женщина, перебирающая струны гитары. Тогда казалось, что счастье навсегда поселилось на этой барже…

«Мироныч» пошел на Обь за лесом. Я исправно описывал свои впечатления. Нового порта мы не увидели и не почувствовали. Пароход стоял посреди Обской губы на якоре. Подойти ближе не позволяли глубины. Где-то очень далеко справа угадывалась темная полоска берега с несколькими черными точками изб. Это был Новый порт. Старенький буксир подводил плашкоуты, нагруженные досками. На них приезжали и грузчики. Когда усиливался ветер, в губе поднималась толчея — неправильное волнение, плашкоуты начинало бить о борта парохода, погрузка прекращалась. Грузчики вылезали, шли греться к нам в столовую. Потом, попив горячего чая, они ложились на палубу в коридоре или забирались на котельные решетки — там было самое теплое место — и дремали до тех пор, пока снова не появлялась возможность начать работу. Мы были разочарованы. Ну какой же это порт? На берег даже сходить нельзя!

Грузили нас долго. Мешала погода. Все изнывали от нудной стоянки и ждали с нетерпением команды: «Вира якорь». Пожалуй, единственным, что осталось в памяти от пребывания в Новом порту, была обская вода. Желтая, мутная, она мощным потоком катилась к морю. Даже там, где губа уже соединилась с океаном, на много миль цвет воды оставался желтым, а вкус пресным.

Я как можно красивее написал про воду цвета охры и золотистые отмели, на которых «статуэтками сидели сотни белоснежных гусей», про «грузчиков, обветренных, с медально-медными профилями», и «янтарно-смолистые, сахарные доски». Правда, гуси были серыми, лица грузчиков обычными, доски белыми с желтизной, но хотелось показать Витьке и Женьке, на что я способен как журналист.

Поразить ребят мне не удалось. Пальму первенства, по общему нашему признанию, завоевал Женька, когда после

выгрузки досок в Лондоне он прочел нам свой кусок «Второй Карской». Это был шедевр! Я до сих пор помню некоторые особенно восхитившие меня отрывочки.

«В темном бархате английской ночи под воткнутыми в небо, как булавки, звездами движутся тени… Это женщины, подстерегающие моряков. Берегись! Ведь это не любовь, а всего лишь кривая гримаса цивилизации… Открылась дверь в кабачке «Чарли Браун». Острая, узкая, как лезвие ножа, полоска света на секунду врезалась в ночь. И снова все темно. Вышел моряк, не ступавший на твердую землю много месяцев. Он ищет забвения. Берегись, товарищ! Это предупреждаю тебя я, знающий жизнь. Шорох. Чу!..»

К приходу в Ленинград мы закончили «Вторую Карскую». Рукопись была объемистая, написанная от руки и, конечно, в одном экземпляре. Мы торжественно понесли ее в «Советскую Балтику». Ефим встретил нас с распростертыми объятиями.

— Неужели написали?! Молодцы! Сережа, ты посмотри на этих ребят! — крикнул он своему заместителю. — Ты понимаешь, что важно? Мы вырастили своих спецкоров. Они будут давать нам интереснейший материал. Значит, так. Я просмотрю вашу рукопись и сразу же начну печатать в нашей газете с продолжением, потом свяжусь с «Водным транспортом». Книга будет. Вы когда уходите? Через неделю? Еще успеете прочитать первый отрывок в газете. Спасибо, товарищи!

Через три дня в «Советской Балтике» появилось начало «Второй Карской». Художник сделал заставку — пароход идет среди льдов, и под ней петитом было набрано: «Путевые заметки КЭБ». Внизу стояло: «Продолжение следует». Мы страшно гордились. Накупили по нескольку экземпляров и раздавали своим знакомым со скромным замечанием: «Пришли из Карской экспедиции. Это наши очерки. Скоро будет отдельная книга..» Мы просили всех сохранить для нас газету, пока мы будем в плавании.

«Мироныч» пошел снова в Англию и вернулся только через месяц. К нашему величайшему удивлению и негодованию, ни в одном номере газеты продолжения «Второй Карской» не было. Мы ринулись в редакцию. Ефим выглядел смущенным:

— Вы извините, ребята. Никак не мог поместить продолжения. Знаете, текучка заела, новые материалы, тут профсоюзная конференция, там актив… Ну, понимаете, не мог. Вот немного разрядится, тогда уж начнем…

Мы вышли от него разочарованными, уселись в садике у красного здания пароходства и принялись совещаться.

— Я считаю, что надо забрать рукопись, — сказал Витька. —

Сами снесем в журнал «Смена» или «Резец». Подумаешь, «Советская Балтика»! А Ефим мне не понравился. Темнит что-то. За целый месяц не мог пи одного отрывка напечатать!

— А как же отдельная книга? Тогда тю-тю! Кто нам поможет ее продвинуть? — спросил я.

— Хорошей книге не надо помогать, — важно проговорил Женька. — Не беспокойся. Принесем, прочтут и напечатают. Ведь материал какой! Прима. Забираем рукопись.

Мы вернулись в «Советскую Балтику» и попросили вернуть наши путевые заметки. Ефим смутился еще больше, уговаривал нас не торопиться, потом долго рылся в шкафах, выходил в другую комнату и наконец сказал нам упавшим, виноватым голосом:

— Режьте меня на куски, пейте мою кровь, делайте со мною что хотите, — не могу найти вашей рукописи. Все перерыли. Нет.

— Так она в одном экземпляре! — заорали мы в три глотки. — Безобразие! Кавардак! Мы на вас в суд подадим! Невиданное безобразие!

Ефим развел руками, опустил голову. Его поза указывала, что он вполне согласен с нами, готов предстать перед судом и принять любое наказание. Но нас это не смягчило. Мы страшно ругались, наговорили ему уйму неприятных слов и в конце концов возмущенные и неутешенные покинули редакцию. Мы слышали, как Ефим крикнул нам вдогонку:

— Я еще поищу, ребята! Может быть…

Мы посидели в том же садике, всласть поругали Берегового, потом Женька сказал скучным голосом:

— Я, пожалуй, поеду домой, ребята.

Вскоре, сославшись на неотложные дела, ушел Витька, а я поплелся на пароход. Через час надо было заступать на вахту.

Литературное объединение КЭБ распалось. Рукопись так и не нашли. А жаль. Сейчас она доставила бы нам много веселых минут. И все-таки я признателен Ефиму Береговому, подтолкнувшему меня взяться за перо. «Вторую Карскую» я рассматриваю как начало своей литературной деятельности.

Корабль несчастий

Помощником капитана меня послали только в следующую навигацию, когда я окончил четвертый класс Мореходки и получил свидетельство штурмана дальнего плавания. Первым моим пароходом, на который я вступил как штурман, была «Кола». Он плавал между черноморскими и ближневосточными портами, заходил в Марсель, Геную, Неаполь… Рейсы интересные и не очень тяжелые. С плаванием на Севере сравниться не могут.

Прослужив на «Коле» одиннадцать месяцев, я уехал в отпуск в Ленинград. Не успел я оглянуться, как надо было уже идти в пароходство за новым назначением. Отпуск кончился.

Меня послали на пароход «Эльтон», третьим помощником капитана. Прежде я об этом судне ничего не слыхал. То, что удалось узнать о нем, повергло меня в уныние.

«Эльтон» только что купили у англичан. Пароход был старый, маленький, требующий капитального ремонта. Зимой его предполагали поставить на перевозку апатитовой руды из Мурманска. А я-то думал о новом современном теплоходе и тропических рейсах!

Лидочка с нетерпением ждала моего возвращения из пароходства. Как только я появился, она спросила:

— Ну, куда тебя назначили? Ничего пароходик? Надежный?

Она больше всего боялась, что «пароходик», на котором мне придется плавать, будет «ненадежным». Но сейчас я не мог сказать ей правды. Во-первых, чтобы не тревожить ее напрасно, во-вторых, не мог же я объяснить, что меня, способного и перспективного штурмана, послали на такой дерьмовый пароход? Очень уж не хотелось в этом признаваться. Поэтому я как можно убедительнее ответил:

— Пароход прекрасный. Его только недавно купили у англичан. Правда, он небольшой, но крепкий, чистенький и достаточно удобный. Каюты для штурманов неплохие…

— Тогда я спокойна. Хочешь, я приеду к тебе с сынишкой, когда вы придете в советский порт? — И она улыбнулась.

Ну разве я мог не хотеть? Конечно, хотел. Я даже взял с нее обещание, что она непременно приедет. Это было очень легкомысленно с моей стороны, но тогда мне казалось, что никаких затруднений не встретится. Как я ошибался!

Кончался декабрь. Погода в Ленинграде стояла отвратительная. Шел снег, дождь, завывали ветры. На улицах слякоть. Небо хмурое, серое. В море не переставая штормило.

«Эльтон», ошвартованный в Угольной гавани, принимал

бункер [5]. Я добрался до парохода поздно вечером, когда стало совсем темно, проклиная все на свете, плюхая по жирным угольным лужам, то и дело спотыкаясь об обломки досок.

В темноте я не мог разглядеть очертаний парохода. На форштаге раскачивался на ветру желтый якорный огонь. У трапа в закопченной «летучке» метался маленький язычок пламени.

«Неужели электрической переноски у них не нашлось?»— подумал я, уже испытывая неприязнь к пароходу. Вахтенного не было. Я толкнул первую попавшуюся в надстройке дверь и очутился в кают-компании. За столом сидели два человека. При свете тусклой, без всякого абажура лампочки я сначала не мог разглядеть их лиц.

«Такие лампочки обычно ввинчивают в общественных уборных. Ради экономии. Напряжение-то не больше сорока вольт», — опять со злостью подумал я и поставил чемодан на палубу. Сидевшие за столом люди повернули ко мне головы.

— Мне бы капитана повидать, — сказал я.

Тот, что сидел в углу на диване, сказал глуховатым голосом:

— Пожалуйста. Я капитан Павлов. Зовут меня Михаил Иванович.

Вот уж не думал, что это капитан! Наверное, все у них тут такое… замшелое. Михаил Иванович был одет в старенький черный пиджак без нашивок, с помятыми лацканами, синий пупырчатый свитер — такие всегда покупали матросы в Лондоне у «знаменитого Когана» — и в высокие меховые сапоги. Совсем он не походил на капитана. Второй человек не проявил к моему появлению ни малейшего интереса. Он опустил голову на руки и так сидел все время, пока мы разговаривали с капитаном. Лица я его не видел, только заметил седые прокуренные хохлацкие усы. Я достал приказ-назначение, протянул Михаилу Ивановичу. Он мельком взглянул на бумажку, положил ее на стол и приветливо сказал:

— Ну что ж. Меняйте Гиршева. Он вас ждет не дождется. Уже неделю назад кадры обещали ему замену прислать, да никто сюда не идет. Как услышат: «Эльтон», — отказываются. Вплоть до увольнения. Как это вы согласились?

— Что же здесь так плохо? — с испугом спросил я.

— Хорошего мало. Сами увидите, — невесело проговорил Павлов, но потом неожиданно взорвался: — Этот пароход на прикол ставить надо, а не в рейс посылать! Не понимают там, что ли? Регистр тоже на поводу у начальника пароходства идет. Что он скажет, то и делают. А тому план выполнять надо, конец года, видите ли… Безобразие!

— Питательные средства ни к черту, скоро в котлы воду

подавать будет нечем, — встрепенулся второй человек, и я увидел, что это старик с водянистыми голубыми глазами, морщинистый и какой-то серый, вероятно от усталости. — Динамо на последнем издыхании… Видите, какой свет?

— Это наш «дед», — представил мне старика капитан.

Старший механик протянул мне твердую, как мозоль, руку. Под ногтями чернели ободки угольной пыли. Видно, «дед» сам работал вместе с другими механиками.

— А вы не пробовали протестовать, Михаил Иванович? — осторожно спросил я. — Или обратиться куда-нибудь повыше?

— Наивный вы человек! Пробовал. Только все это напрасно. Начальник пароходства — лицо влиятельное. Вызвал меня и сказал, что если я не желаю идти в рейс, то могу увольняться. Он найдет другого капитана. Регистр выпускает, значит, пойдем, — горько закончил Павлов и принялся сворачивать самокрутку из «Добельмана».

Этот разговор как-то сразу сблизил меня с Михаилом Ивановичем и «дедом». Не всякий капитан станет откровенничать с третьим помощником, да еще с тем, которого видит впервые. Видно, наболело на душе, за хотелось высказать свои обиды кому-нибудь… Теперь эльтоновские болезни становились и моими тоже.

Третьего помощника Симку Гиршева я знал еще по яхт-клубу. Когда я открыл дверь в его каюту, он валялся в койке. Увидя меня, Симка вскочил и бросился мне на шею.

— Наконец! Пришел меня сменять? Все готово! Касса, документы, карты, приборы. — Он распахнул дверцу шкафа, выдернул оттуда бутылку рома, две рюмки, лихорадочно начал наполнять их, потом, не до- див до половины, поставил все на умывальник. — Лад- но. это успеем. Давай смотри, что хочешь, а я тем временем актик накидаю. Чтобы времени не терять. Может быть, я на последний трамвай попаду.

Я проверил кассу, приходо-расходную книгу. Все было «в ажуре». Симка, примостившись на койке, писал акт. Каюта была маленькая, грязная, с коротеньким диванчиком, на котором можно только сидеть, и деревянным умывальником с треснувшей раковиной. По белой, а теперь серой от грязи переборке медленно полз жирный клоп.

— Ну вот. Акт готов. Теперь пойдем в рубку, посмотришь там и можешь подписывать.

Мы поднялись в штурманскую рубку, тоже маленькую и тесную. Гиршев торопливо показывал свое хозяйство. Он боялся, чтобы я не передумал и в последний момент не убежал с «Эльтона», послав ко всем чертям этот пароход и его, Симку. Но

мною овладело полное безразличие. Ничего не хотелось проверять, и я задавал в опросы только ради проформы. Рулевая, наскоро сколоченная из вагонки, больше походила на голубятню, чем на рубку. Заметив мой удивленный взгляд, Симка виновато объяснил:

— Понимаешь, в прошлый рейс «Эльтону» дали три дня на ремонт. Так эту рубку нам на Канонерке сварганили, чтобы потеплее вахту было стоять. А то ведь совсем открытый мостик был.

Мы спустились в каюту, и я подписал акт. Симка облегченно вздохнул, поставил передо мной рюмку.

— Давай быстро. За счастливое плавание! Куда это я свою белую рубашку засунул? Капитан здесь замечательный. Будешь доволен. Конечно, коробочка неважная. Ну, ничего, рейсик сделаешь, перейдешь на другой, — утешал меня Симка. Он очень торопился. Кидал свои вещички в чемодан не складывая.

— Все. Будь здоров. Надо еще забежать с Михаилом Ивановичем проститься да приемо-сдаточный акт ему передать.

Схватив чемодан, Симка убежал. Я остался один. Тяжело было у меня на душе. Я взглянул на переборку. Клоп исчез. Наверное, «встал на якорь» в удобном для него месте. У иллюминаторов образовались ледяные корочки. В каюте было холодно. Я посидел так несколько минут, ни о чем не думая. Неожиданно погас свет. Наверное, остановили динамо. Я как был в одежде залез на койку, ощупью нашел висевший на крючке, источавший кисловато-противный запах полушубок и, натянув его на голову, заснул.

Разбудил меня веселый голос:

— Вставайте, третий, сейчас отходим. Капитан просил на мостик.

Я открыл глаза и увидел плотного, коренастого, по-видимому очень сильного человека. Он улыбался.

— Вставайте, вставайте. В море выспитесь.

Я вскочил с койки, сунул руки под кран умывальника. Воды не было.

— Вечно этот Задорин забывает воду наливать. Один момент. Я сейчас принесу, — сказал парень, схватил кувшин и исчез. Он говорил северодвинским говорком, и я сразу признал в нем архангелогородца. Скоро парень вернулся, налил воды в умывальник.

— Вы кем здесь работаете? — спросил я.

— Боцманом.

— Архангелец?

— Ага. Сергей Козьмин. А вас как зовут?

Я назвался.

— Ладно. Будем знать.

Боцман ушел, а я оделся потеплее и пошел на мостик. Козьмин мне понравился. Молодой, архангелец, веселый — значит, наверное, хороший боцман. К своей большой радости, первым, кого я встретил на палубе, был мой соученик по Мореходке, Георгий Шадцкий. Мы кончали с ним на штурмана дальнего. Он очень удивился, увидев меня.

— Ты как сюда попал?

— Третьим.

— Ах, верно! Михаил Иванович говорил, что пришла замена Гиршеву, но фамилии твоей не назвал.

— А ты кем здесь? — поинтересовался я.

— Старпомом.

Значит, теперь он мой непосредственный начальник. На «ты» называть нельзя, и я сказал:

— Это хорошо, Георгий Степанович. Поплаваем вместе. Вы меня в курс дела введете.

— Субординация только на людях. С глазу на глаз можешь называть меня на «ты» и по имени.

Шадцкий, маленький, кругленький, с карими, немного выпученными глазами, излучал добродушие. Он был старше меня, и в Мореходку пришел, имея солидный стаж второго помощника. Родился он где-то в Керчи или Анапе и начал свое плавание в детском возрасте, на парусных «дубках». Поэтому морское дело Георгий Степанович знал отлично.

— Ладно, потом поговорим. Иди на мостик. Сейчас отходить будем.

Погода еще ухудшилась. С неба падали мокрые хлопья снега, превращаясь на палубе в грязноватую жидкую кашицу. Все кругом было неприветливым, серым, холодным. Ветер то усиливался, то ослабевал. По мостику прохаживался Михаил Иванович в короткой брезентовой канадочке с меховым воротником. Заметив мое появление, он спросил:

— Ну как, выспались? Сейчас пойдем. Проверьте карты, пожалуйста.

Теперь я хорошо разглядел капитана. Ему было лет сорок пять. Высокий, худощавый, под серыми спокойными глазами набрякшие мешки, какие бывают у людей с больным сердцем. Волосы светлые, с проседью. На лбу три глубокие морщины.

Симка говорил мне, что «Эльтон» идет с грузом зерна в Стокгольм. Я проверил карты на переход. Все было подобрано, на столе лежала первая ходовая карта. Я доложил капитану о том, что все готово. Он кивнул, взял мегафон и приказал отдать

швартовы. На баке засуетились Шадцкий и боцман. Концы поползли на палубу.

— Дайте малый ход вперед, — сказал мне капитан, и я переставил медную ручку телеграфа.

«Эльтон» тяжело вздохнул, под ногами чуть-чуть задрожало. Это заработала машина и закрутился винт. Судно отходило от пирса. Налетел маленький шквал. Корму начало валить под ветер. Я забеспокоился. Мы могли задеть за пирс.

— Полный вперед! — скомандовал капитан, перегибаясь через планширь и наблюдая, как проходит корма. — Дали полный? Повторите еще, не то навалим…

Я прозвонил несколько раз «полный». Но мне показалось, что ход не увеличился.

На мостик прибежал «дед». У него были испуганные глаза.

— Михаил Иванович! — закричал он. — Ходу прибавить сейчас не можем. Пар не стоит. Через несколько минут поднимем… А пока так придется…

Капитан повернулся к «деду». Он был совершенно спокоен.

— «Пока» мы чуть не навалили. Прошли чудом чисто. Что же вы пар на стоянке не подняли? Ведь знали, что будем отходить?

«Дед» смущенно развел руками:

— Кочегары неопытные. Сейчас механики помогают. Поднимем.

Капитан ничего не ответил. «Дед» спустился вниз. Освободившись после швартовки на корме, на мостик пришел второй помощник. Была его вахта.

— Могу быть свободен? — спросил я капитана.

— Да-да, пожалуйста, идите.

Я решил поближе познакомиться с судном. Пошел на нос. Отсюда хорошо, была видна вся его передняя часть. Две высокие, тонкие колонки прижимались вплотную к надстройке, стрелы опускались прямо на люка, мачта стояла у самого носа, и этот необычный дополнял нелепый, выше человеческого роста, фальшборт. Все указывало на то, что «Эльтон» — чистый лесовоз и с апатитовой рудой он будет кувыркаться, как ванька-встанька. На белой надстройке, палевых колонках, стрелах, фальшборте, как проказа, лежали неопрятные ржавые пятна и подтеки. Такого запущенного парохода я еще не встречал.

На кормовой палубе боцман Козьмин с вахтенным матросом сильной струей из шланга смывали угольную пыль, облепившую все судно во время бункеровки. Заметив меня, Сергей сунул ствол шланга за борт и хмуро сказал:

— Пароплав наш осматриваете? Дрянь коробка. Вы на корму пройдите, посмотрите, как мы живем. Вот где гадюшник!

Начальника бы пароходства туда — пожить на недельку. Сразу бы в ремонт поставил. И кто такому самодуру пароходство доверил? Ведь здесь люди тоже… — Боцман сплюнул и принялся за прерванную работу. Я отправился в жилые помещения команды. То, что я увидел, превзошло образную Серегину характеристику.

В полукруглой темной столовой за сколоченным из грубых досок столом в ватниках и шапках сидело несколько человек из команды. В мутные, запыленные иллюминаторы дневной свет почти не проникал. Посредине подволока так же, как и в кают-компании, вполнакала теплилась тусклая, голая лампочка. Под ногами, на грязном линолеумовом полу чавкала черная жижица. По бортам тянулись ржавые трубы и батареи парового отопления. Из всех соединений вырывались тонкие струйки пара. От этого воздух в столовой был тяжелый, влажный, переборки покрывали мелкие капельки воды. Казалось, что ты попал в предбанник.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал я.

— Здравствуйте, если не шутите, — отозвался молодой человек в ватнике, не меняя позы.

— Я третий помощник. Вместо Гиршева.

— Очень приятно. Деньжонки нам будете платить, значит? За такую жизнь двойная зарплата полагается. Учтите это, — невесело пошутил один из сидящих. — Посмотрите, как живем…

Человек встал, распахнул одну из дверей, выходящих в столовую:

— Любуйтесь. Это наши каюты.

Маленькая, узкая, с двухъярусными койками, с таким же спертым воздухом и парящей грелкой, как и в столовой, она мало напоминала каюту на советских судах.

— Да уж… — сочувственно проговорил я, закрывая дверь.

— Вы посидите с нами, третий, — пригласил меня моряк. — Расскажите что-нибудь.

Я уселся за стол. Заговорили все сразу.

— Вы нам не можете объяснить, почему такую дрянь в море выпустили?

— В машине все разваливается…

— В таких условиях разве жить можно? Робу негде посушить. Все время сырые ходим…

— Как только придем в Мурманск, срываюсь с этой коробки и жалобу в профсоюз напишу…

— Да кто тут останется? Все уйдут… Пусть начальник сам плавает!

— Каждый рейс обещали в ремонт поставить, а тут обманом на всю зиму выпихнули. Знаете, здесь раньше общий кубрик был. Профсоюз потребовал каюты отдельные сделать. На Канонерском

заводе за три дня эти стойла построили. Видите, даже покрасить не успели, торопились… Требование выполнили, а что плохо — так сказали: временно, мол. Капитан протестовал. Не помогло. Вот какое оно дело. Ну ладно, придем в Мурманск, найдем кому пожаловаться…

— Как еще дойдешь… Загнешься где-нибудь по дороге.

— Ну, хватил. Дойдем. Чувствовалось, что моряки возмущены.

— Конец месяца и года. Вот и послали, чтобы план вытянуть, — сказал я.

— Так что ж, по-вашему? Можно суда посылать с опасностью для их плавания? Кто поумнее был, убежал с парохода. Набрали молодых, необстрелянных, и мы, старики, поверили и остались. Не привыкли бросать корабли в тяжелый момент. Думали, ремонт отстоим, потом плавать будем как люди, — проговорил седой, грузный человек. — Не тут-то было. Ладно, теперь поздно ахать, вкалывать надо до седьмого пота. Пар совсем не стоит. Уголь еще дрянной попался вдобавок. Давай, Морозов, собирайся. Скоро уродоваться пойдем, — повернулся он к совсем молодому парень-ку. Во время всего разговора тот молчал, испуганно глядя на седого. Я понял, что это новичок.

Я ушел из столовой с тяжелым чувством. Мне было жаль капитана, команду, самого себя и этот старенький, выбивавшийся из сил, чтобы выполнить план, неухоженный пароход.

Я принял вахту у Георгия Степановича, когда «Эльтон» уже шел в Финском заливе. По бортам шуршало сало. Начиналось ледообразование. Впереди мигал желтый огонек маяка.

— Нерва, — сказал Шадцкий. — Ход адмиральский— семь миль. Пароход Фультона, наверно, так ходил. Ветер утих. Дрейф я снял. Свистнешь капитану, когда будем подходить к Гогланду. Счастливой вахты!

Шадцкий ушел. Я взял пеленги, проверил точку, заглянул в компас. Теперь, принимая вахту, я всегда все проверял. Это значило, что я становился настоящим штурманом.

Я вошел в «голубятню». За моей спиной рулевой изредка поворачивал штурвал. «Видимо, опытный парень стоит. Мало гоняет руль», — машинально подумал я и тут же спросил:

— Как ваша фамилия?

— Никитин Мстислав.

— Где раньше плавали?

— На разных судах. Последний год учился в херсонской Мореходке, да по семейным обстоятельствам пришлось уйти со второго курса.

— А другие ребята что собой представляют?

— Сашка Горбулин с «Карла Маркса» сюда попал, Задорин с буксира, Петя Коган начинающий. Остальные матросы — новички. Ничего, в общем, ребята.

Ветер затих. «Эльтон» неслышно полз по присмиревшему морю. Хода совсем не ощущалось. Казалось, что Гогландский маяк не приближается. Капитан поднялся на мостик, не дожидаясь моего вызова. Я заметил красную, светящуюся точку в правом крыле и перешел туда. Капитан молча курил. Я встал рядом.

— Ну, как идем? — услышал я глуховатый голос. Капитан швырнул окурок за борт. — Плохо?

— Семь миль.

— Это еще ничего. Сильного ветра не будет — послезавтра придем. — Михаил Иванович помолчал, вытащил новую папиросу, закурил и каким-то другим, потеплевшим тоном продолжал: — Мне жаль этот пароход. Знаете, встречаются в жизни такие дома, предметы, животные… Смотреть на них не хочется, кажется, только на свалку им дорога. Ан нет! Найдется человек, приложит к ним руки, поработает — и все сразу переменится. Засверкает, заблестит вещь и еще долго служит человеку верой и правдой, как говорят.

Мне стало приятно, что и капитан испытывает к пароходу такие же чувства, как я.

— «Эльтон» неплохое суденышко. Мореход прекрасный. Норвежцы умеют строить. Запущен только страшно. Продали его хозяева итальянцам, те англичанам, англичане нам. А ремонта настоящего не давали, эксплуатировали на износ. Там так принято. Ну, и мы по тому же пути пошли… Неверно это… Дать ему капитальный ремонт, еще много лет поработает. А как на нем лес удобно возить! Заметили? Ну, вот и траверз Гогланда. Давайте менять курс.

Михаил Иванович скомандовал рулевому поворот, дал новый курс и, пожелав мне счастливой вахты, спустился к себе в каюту.

— Мировой чудак Павлов, — услышал я из темноты голос Никитина. — Поверите ли, я вот с ним второй рейс делаю, всякое бывало, но чтобы я слышал раздолб какой-нибудь на высоких тонах или психование при швартовках — никогда. Стальной выдержки человек. Команда за него горой. К нему никаких претензий. Любят, хотя он с нами и не разговаривает почти. Хороший человек и моряк прекрасный, — закончил матрос.

Хороший человек! Какая высокая оценка.

Мы пришли в Стокгольм, как и рассчитывал Михаил Иванович, через сутки, в полдень. Стоял легкий, приятный морозец. Ветра совсем не было. Улицы, крыши домов, деревья

покрывал толстый слой пушистого, белого, какого-то теплого снега.

Вечером я отправился на берег. Шведы готовились к рождеству. Принаряженный город сверкал разноцветными огнями витрин, реклам, протянутыми через улицы гирляндами электрических лампочек. На пути то и дело попадались седобородые Санта-Клаусы, раздававшие приглашения посетить кафе и рестораны.

У окон больших универсальных магазинов толпилась восторженная детвора. Да и было чему восторгаться. Я сам долго простоял у одной такой витрины. За стеклом механические гномики и Белоснежка разыгрывали смешную пантомиму. Здорово это было сделано! Улицы наполняли веселые, улыбающиеся, нагруженные покупками люди. Чувствовалось приближение праздника. Я вспомнил предновогодний Ленинград, сверкающий Невский, такие же веселые толпы людей, выливающиеся из «Пассажа», Гостиного двора, ДЛТ…

Стокгольм предвкушал обильные рождественские столы, традиционных жареных гусей, уютные зажженные елочки… А в это время на «Эльтоне» при сиротском свете мутных лампочек вконец измученная машинная команда, начавшая работу сразу же, как пароход подал швартовы, и не сходившая на берег, ремонтировала питательный насос, глушила потекшие дымогарные трубки в котле, заменяла эжектор… Механики, машинисты, кочегары не спали всю ночь. Они ругали «Эльтон», начальника пароходства, короткую стоянку, ко работали. Отход был назначен на завтра. Мощные элеваторные трубы уже заканчивали высасывание зерна из трюмов. Все понимали, что из-за ремонта в порту стоять нельзя. К чертям собачьим полетит весь план, если таковой все же удастся выполнить. «Дед» совсем осунулся и походил на исхудавшего моржа. Усы его повисли, он смотрел на мир воспаленными от усталости и бессонницы глазами, в глубине которых затаился страх: стармех боялся новых подвохов, которые ему все время преподносил «Эльтон». Начнут ремонтировать одно, сейчас же выявляются новые дефекты.

— Прямо и не знаю, что делать. Руки опускаются. Конца края нет работе, будь она неладна, — жаловался вчера «дед» за ужином. — Лучше за борт выброситься, чем на таком пароходе плавать.

На следующий день в двенадцать часов «Эльтон» все же ушел из Стокгольма. Подлатали. Балтика встретила ласково. Тихим, сереньким, безветренным морем. Но на вахте старпома «Эльтон» выкинул фортель. Отказал руль. Меня вызвали на мостик, потому что старпом и «дед» метались по палубе в поисках повреждения.

Капитан стоял в крыле и мрачно курил. Я боялся что-нибудь у него спрашивать, но Михаил Иванович сам сказал:

— Следовало ожидать. Хорошо, что случилось в пустынном месте, судов поблизости нет, а то могла быть неприятность… «Дед» здесь ни при чем. Валится все.

На мостик прибежали красный от гнева Шадцкий и совершенно разнервничавшийся «дед». Оба они жестикулировали и кричали.

— У меня на палубе все в порядке. Неисправность только в рулевой машинке! — орал старпом. — Я все проверил!

— Я тоже все проверил! Смотри у себя в валиковой передаче! Я за свои слова отвечаю, не мальчишка какой-нибудь, — задыхаясь, шипел «дед».

Капитан послушал с минуту эти препирательства и спокойно сказал:

— Вы, товарищи, не спорьте. Георгий Степанович, поставьте двух матросов на ручной привод, пойдем потихоньку, пока погода тихая. А тем временем вы найдете и устраните повреждение. Вот так.

С час шли на ручном. Нашли неисправность в рулевой машинке. «Дед» был посрамлен, ругался, сам занялся исправлением. Исправил и заявил:

— Я ни за что не отвечаю. Все держится на соплях. Каждую минуту может повториться.

Михаил Иванович сощурил глаза и негромко проговорил:

— Будем проходить Зунд, сами станете наблюдать за рулевой машинкой и отойдете от нее, когда пролив останется позади. Там руль должен работать.

Стармех пробурчал себе под нос: «Я тоже не бог…» — и удалился.

Пролив прошли благополучно. Пока двигались по узкому фарватеру Дрогден-канала, «дед» бессменно дежурил у рулевки, В Северном море опять начались неполадки. То грелся мотылевой подшипник, то вода сочилась через дейдвуд, то совсем не горел уголь…

Теперь мы со страхом ожидали появления «деда» в кают-компании. Он приходил, забивался в свой любимый угол на диване, маленький, жалкий, измученный, и высыпал свои неприятности. «Дед» был вестником зла, тревог и беспокойства. Я заметил, что, когда открывалась дверь и капитан видел входящего стармеха, он крепко сжимал мельхиоровое кольцо от салфетки и держал его так, пока механик не кончал докладывать о том, что еще случилось… Пожалуй, это было единственным проявлением его чувств. Во всем остальном капитан сохранял

олимпийское спокойствие. Он молча выслушивал «деда», потом, как всегда негромким глуховатым голосом, отдавал приказание: надо делать то-то…

Из разговоров остальных механиков я понял, что наш «дед» не на высоте. Он был слишком стар, боязлив и недостаточно грамотен. Он принадлежал к славной плеяде механиков-практиков, но, вероятно, бесконечные «траблсы» [6] в машине довели его до состояния полной растерянности. «Дед» не слушал советов более молодых механиков, считая, что, приняв их, он потеряет свой авторитет, и подчас делал не то, что надо. Механики потихоньку ворчали, но старший механик — это старший механик, и скрепя сердце выполняли его распоряжения.

Наверное, капитан Павлов тоже знал, что «дед» не очень-то подходит- к этому трудному судну, но ни одним словом, ни одним жестом не дал ему этого почувствовать. Я же все ждал, когда кончится его долготерпение, он взорвется, «психанет» и, может быть, переведет второго механика в старшие. Однажды я даже спросил капитана:

— Михаил Иванович, почему вы так спокойно относитесь к тому, что происходит в машине? Собрали бы всех механиков, послушали, что говорят, может быть раздолбали…

— Не надо напрасно нервировать людей. Я знаю, что они делают все, что могут. Какой толк, если я буду кричать на них, требовать невозможного? Не надо…

— Как же напрасно? А вы знаете, что «дед» в последний раз…

— А что «дед»? — прервал меня капитан и так холодно взглянул, что я уже не рад был, что завел этот разговор. — «Дед» в порядке.

Я понял, капитан все знает, но жалеет старика и ничего ему не скажет.

Мы прошли маяк Линдеснес и с нетерпением ожидали, когда пароход зайдет в спокойные норвежские шхеры. Всем казалось, что там идти нам будет легче, но в последний момент Михаил Иванович решил иначе:

— Пойдем морем, с внешней стороны полуострова. Для нас этот путь безопаснее.

Начали огибать Норвегию. В машине продолжались мелкие неполадки, но так или иначе «Эльтон» приближался к Мурманску. На траверзе Вест-фиорда случилось непоправимое. Во время обеда в кают-компанию вошел «дед». По его виду все сразу поняли: случилось что-то серьезное. Капитан сжал кольцо от салфетки.

— Трубки в котле потекли, — сказал «дед» таким тоном, как будто бы он сам испортил эти проклятые трубки. На него было

жалко смотреть.

— Новые потекли или те, что вы вальцевали в Стокгольме? — спросил капитан.

— Новые.

— Много?

— Много. — «Дед» безнадежно махнул рукой.

— Придется глушить.

— Пару не будет.

— А что вы предлагаете иное? Стармех пожал плечами.

— Берите людей с палубы. Пусть помогают в кочегарке. Георгий Степанович, дайте стармеху пока трех человек. Мы сами постоим на руле, — сказал капитан, вставая.

Мрачные, мы разошлись по каютам.

Кочегары выбивались из сил. Пар садился. Судно уже шло со скоростью шесть миль. К каждой кочегарской вахте добавили по одному матросу. Помощники стояли на руле. Капитан сам лазил на главный мостик брать пеленги. И тут нам окончательно не повезло.

Подул крепкий встречный норд-остовый шторм. «Эльтон» мужественно подставлял ему свою слабенькую грудь, а ветер все давил и давил, неистово рычал, бросая на переднюю надстройку тонны воды. Ход сбавился до четырех миль, потом до трех, и вскоре пароход почти остановился. В вахтенном журнале я записал: «За вахту прошли три мили». Это за четыре часа невероятных усилий в кочегарке!

К ночи усилился мороз, началось обледенение. Капитан объявил аврал. При наших слабых силах это была неравная борьба. Но обледенение опасно, и мы, сменившись с вахты, с пешнями, ломами и лопатами отправлялись на переднюю палубу — кололи, рубили, выбрасывали лед за борт, а он снова намерзал и намерзал, не давая передохнуть. Роба покрылась сплошной ледяной коркой. Нас все время накрывало водой, и она замерзала.

Сколько капитан простоял на мостике, я не знаю. Мы сменялись, немного отдыхали, снова выходили на околку льда, а он, завернувшись в полушубок, поверх которого топорщился дворницкий зеленый плащ, монументом стоял в крыле мостика, наблюдая за морем и нами. Он один отвечал за все…

К счастью, шторм продолжался недолго. К полудню следующего дня ветер заметно утих, море начало успокаиваться, обледенение прекратилось. Судно пошло быстрее. Сбросили остатки льда за борт, объявили отбой авралу. Но на брашпиле, вантах, стрелах висели и лежали огромные глыбы льда, делающие наш пароход похожим на фантастическое полярное чудовище. С

колоссальным напряжением сил всего экипажа «Эльтон» дошел до Кольского залива. Мурманск был совсем близко. Все с облегчением вздохнули: «Ну, уж теперь нам ничего не страшно. Дома». Но пароход, как бы мстя людям за такие преждевременные мысли, отколол последний номер. «Дед» доложил капитану:

— Уголь кончается. До Мурманска не хватит. Что делать будем?

Этот разговор происходил в штурманской рубке, но я слышал его дословно. В рубке наступило молчание. Потом «дед» всхлипнул, и я услышал его истерический шепот:

— Не могу я больше! Понимаете, не могу! Списывайте меня сейчас же, отправляйте в Ленинград или куда хотите. Освобождайте от должности немедленно, Я рапорт напишу…

— Федор Тихонович, зачем такие слова? — тихо проговорил капитан. — Не волнуйтесь, успокойтесь. Дойдем как-нибудь. Я сейчас в Мурманск радиограмму дам, чтобы буксир держали наготове, в крайнем случае у нас запасные лючины есть, их сожжем, все дерево на судне может в котел пойти, если потребуется. Дойдем, это не в открытом море. Сколько осталось угля?

— Тонн семь.

— Ну вот, видите! Почти достаточно. А если вы прикажете кочегарам все бункера под метелку зачистить, то должно хватить.

Механик хлюпнул носом и молча вышел из рулевой рубки. За ним на мостике появился Михаил Иванович. Такой же, как обычно. Как будто бы в бункерах его судна было полно угля.

— Понимаете, уголь кончается. Такая неприятность! Перед самым портом — и обезуглиться! Ну, ничего… Из-за потекших трубок и этого шторма получился пережог.

Я ничего не ответил. Мне казалось, что большей подлости пароход не мог нам подстроить. Ведь в порту смеяться будут… Это был апофеоз нашего рейса. Но я ошибался. Апофеоз наступил позднее.

Лючины и шлюпки жечь не пришлось. Не потребовался и буксир. «Эльтон», еле ворочая винтом — пар уже почти сел, — подполз к угольному причалу. Подали швартовы, и через несколько минут над люком бункера открылся первый ковш с углем.

После бункеровки нас перетянули к Лесному причалу. За обедом Михаил Иванович сказал:

— Спасибо вам, товарищи, за все. Я понимаю, как было трудно. Такие рейсы выпадают раз в жизни. Больше этот пароход никуда не поплывет. Сейчас иду на телефон, буду звонить в политотдел, начальнику пароходства, в обком, до Москвы дойду,

пусть делают что хотят, но судно в море идти не может.

Капитан отсутствовал долго. Он вернулся только к вечеру. Грея озябшие руки о стакан с горячим чаем, Михаил Иванович рассказывал;

— Новостей полно, товарищи. Прежде всего, пока мы с вами плавали, «друга» моего, начальника пароходства, за всякие художества сняли. Раскусили, что это за птица. Говорил с Войханским, главным инженером, доложил о состоянии судна и о том, как мы шли. Он приказал немедленно ставить «Эльтон» в ремонт, тут, в Мурманске. Сделать все, что необходимо, для возвращения в Ленинград, а там поставят в капитальный. Так что будем ремонтировать пароход.

Казалось, что таким решением подводится черта под всеми нашими неприятностями. Но «Эльтон» не успокоился. Он преподнес нам напоследок еще один сюрприз.

Утром пришел вконец убитый «дед» и объявил:

— Все питательные средства отказали. Выгребаем жар из топок. Через несколько часов на судне будет холодно.

Вот этого никто не ожидал! Снаружи минус двадцать. Жить на пароходе будет невозможно.

— Позаботьтесь о том, чтобы переселить команду в общежитие, — приказал капитан Шадцкому, — пока на судне не будет пара. А вы, Федор Тихонович, договоритесь с мастерскими о срочном ремонте питательного насоса. Это в первую очередь.

Вечером команда ушла с судна. На пароходе остались капитан, старпом, «дед» и я. Не захотели переходить в общежитие. Собрали все теплое — тулупы, полушубки, одеяла — и устроили себе «берлоги».

«Эльтон» замерзал. На переборках появился иней, у иллюминаторов — лед. Температура в кают-компании понизилась до минус пятнадцати градусов. С воды туман. Мороз усиливался. Вахтенный матрос Горбулин пригласил нас на камбуз попить чайку. Камбуз был единственным теплым местом на судне. Попили чаю, поели разогретых консервов и мрачные залезли в свои берлоги. Будущее не сулило ничего хорошего. Стармех сказал, что мастерские перегружены и насос скоро не сделают. Сколько же нам еще жить в таких условиях?

Не успел я как следует устроиться в своей берлоге, скрипнула замерзшая палубная дверь и кто-то хриплым, простуженным голосом закричал:

— Есть тут кто, ай нет?

Я отозвался. В кают-компанию, стуча заледеневшими валенками, вошел парень в полушубке и завязанной под подбородком ушанке.

— Телеграмма вам.

— Кому?

— Не знаю. На ваш пароход. Давай распишись. Ну, и савурьян же у вас, ай-ай. Передохнете все от мороза, матросик.

Я включил фонарик, расписался. Почтальон не задерживаясь ушел. Телеграмма, как ни удивительно, была адресована мне. Смутная тревога вспыхнула в сердце. Я прочел: «Выехала семнадцатого вагон четыре встречай целую Лидуся».

Волосы зашевелились у меня на голове. Роковой смысл слова «выехала» постепенно доходил до сознания. Выехала! Остановить ее теперь уже нельзя. Так… Какое сегодня число? Семнадцатое. Девятнадцатого утром Лидочка приедет в Мурманск. Где она будет жить с ребенком? Нельзя же ей поместиться на «Эльтоне», в этой холодильной камере?! В общежитие ее не примут, да если бы приняли — обстановка там неподходящая. Многоместные мужские комнаты в бараке. Что же делать? Попробовать поискать жилье на берегу? Остается только это. Но надежды на успех мало. Сегодня об этом говорил один из портовых рабочих. Жаловался, что вот уже несколько месяцев с большой семьей ютится в углу у своего земляка. И ни за какие деньги не может найти ничего иного.

«В крайнем случае куплю билет и посажу их на обратный поезд. Ну что же будешь делать? Ведь я не виноват…» С этой невеселой мыслью я заснул.

Утром, нещадно паря в морозном воздухе, два прокопченных буксирчика подтащили к борту «Эльтона» такой же старый, но живой и теплый пароход «Спартак». На мостике, к своей радости, я узнал Ивана Васильевича Трескина, того самого дядю Ваню, который плавал старпомом на «Товарище». Это было мое спасение. Как только судно ошвартовали, я побежал на «Спартак». Узнав, что Трескин действительно капитан этого парохода, я постучал к нему в каюту. Первое, что я его спросил после взаимных приветствий, надолго ли он сюда пришел, и, когда услышал, что дней на десять-двенадцать, рассказал ему о своем безвыходном положении.

— Понимаешь, нет у меня свободных мест. Ко всем жены приезжают, и ко мне тоже. Да ты не огорчайся. Что-нибудь придумаем. Знаешь, вы можете расположиться в штурманской рубке. Там тепло, светло, стол большой. На диванчике мальчишка может спать. Одеял, матрасов у меня навалом. Бери сколько надо. Ну, порядок?

Я с радостью принял предложение. Вечером я занялся устройством. Притащил в рубку несколько матрасов, подушек, одеял. Сделал из стола что-то наподобие тахты, на диванчике

укрепил сетку, чтобы мальчик не упал во время сна, помыл палубу. Все было готово, можно принимать гостью. Я успокоился. Конечно, это была не каюта люкс, и даже не каюта третьего помощника капитана на приличном судне, но жить в рубке все-таки было можно.

Девятнадцатого утром я отправился на вокзал. Когда я увидел жену и сына, все мои опасения и тревоги улетучились. Я так обрадовался, что они приехали. По дороге в порт я спокойно объяснил Лидочке, что у нас случилась авария с котлом и сейчас судно стоит без паров, но пусть она не беспокоится, нам любезно предложил каюту мой приятель капитан, ну, помнишь, тот самый дядя Ваня, что плавал старпомом на «Товарище»…

— Тот самый, который отпускал тебя так часто на берег в Одессе? — лукаво спросила Лидочка, и мы оба засмеялись. Ведь это было прошлое, а теперь я на правильном пути, плаваю штурманом на хорошем пароходе.

По мере нашего приближения к «Эльтону» настроение мое начало портиться. И не напрасно. Когда мы поднялись по обледенелому трапу на борт и Лидочка увидела грязные, все в ржавых подтеках надстройки, захламленную обломками досок, старыми котельными связями палубу, тонкую обшарпанную трубу, в глазах у нее что-то изменилось.

— Это твой пароход? Надежный, маленький, чистенький?

— Да, мой, — как можно развязнее ответил я. — Что особенного? Ремонт. Все суда так выглядят, когда стоят в ремонте. И нечего тебе расстраиваться. Глупая фанаберия! Всем женам лайнеры подавай. А кто же на этих будет плавать?

— Я не расстраиваюсь, и это не фанаберия, — печально сказала Лидочка. — Мне не нужны лайнеры. Мне тебя жалко и боязно за тебя…

Я уже проклинал себя за то, что сказал ей про эту фанаберию. Она никогда не хотела, чтобы я плавал на лайнерах, она требовала только надежного парохода.

— …Ведь он же старый как мир, твой пароход, и может развалиться в хороший шторм, — продолжала Лидочка. — Я не могу быть спокойной, пока ты плаваешь на таком… По-моему, сюда только в наказание посылают.

— Ничего подобного. Спроси у капитана, я тебя с ним познакомлю, вот отремонтируем, и будет не хуже других. Пойдем на «Спартак» в нашу каюту.

Как только мы пришли в рубку, сынишка начал теребить меня. Требовал, чтобы я показал ему руль. Пришлось выполнить его желание, благо штурвал находился рядом с нашей «каютой». Потом я дал ему мегафон, и он с восторгом принялся гудеть и

командовать. Мое присутствие больше не было нужным. Молодой «капитан» стоял на мостике. Лидочка распаковала чемоданы, и рубка вдруг приняла жилой и уютный вид.

— Знаешь, здесь очень мило, — сказала жена, присаживаясь на диванчик. — Я не жалею, что приехала. Посмотрю, как ты живешь, и тебе будет веселее. Правда?

Я был так ей благодарен за эти слова.

Спустя несколько дней «дед» заболел воспалением легких, за ним свалился второй помощник. Их отправили в Ленинград. Один за другим под разными предлогами начали уходить матросы и кочегары. Капитан никого не задерживал. Приказом по судну Михаил Иванович перевел меня во вторые помощники.

Приехал новый старший механик. Это был человек лет тридцати пяти, высокий, с большой лысой головой, пухлыми губами, широким носом и светлыми голубыми глазами. По его выговору мы поняли, что это архангелец. Звали его Александром Алексеевичем Терентьевым.

Он долго бродил по замерзшему судну, облазил всю машину, кочегарку, жилые помещения, и когда мы собрались на камбузе, — теперь днем он был нашим постоянным местом пребывания, — посиневшими от холода губами сказал капитану:

— Хороший пароходик. Вот дадим ремонт и еще как плавать-то будем.

Михаил Иванович улыбнулся. Кажется, это была его первая улыбка за недели нашего совместного плавания.

— Вот и я говорю, что пароход хороший. Руки надо приложить.

— Приложим руки, — спокойно сказал Терентьев, и я сразу поверил ему. Пароход будет плавать.

Морозы ослабели, и мастерские прислали на судно рабочих. Александр Алексеевич действовал энергично. Вскоре после его приезда привели в порядок питательный насос, и новый «дед» с оставшейся командой установили его на место, заложили огни в топки. Через сутки в грелках парового отопления забулькала вода. Команда могла возвращаться на судно. Начался настоящий ремонт.

Забегу несколько вперед… В конце сентября 1936 года я встретил Михаила Ивановича на причале Ленинградского порта. Капитан сверкал золотыми нашивками, блестящими пуговицами, ослепительным крахмальным воротничком. Новый с иголочки форменный костюм отлично сидел на его сухощавой фигуре. Он посвежел, помолодел и никак не походил на того капитана Павлова, с которым я познакомился на «Эльтоне».

— Ну как плавается? — спросил он, пожимая мне руку. — Ушли с «Эльтона»?

— Ушел. А как вы? Где?

— «Турксибом» командую. Сегодня в рейс ухожу, в Испанию. Сейчас тороплюсь на судно. Там должен быть митинг. Пойдемте?

Я знал, что экипажу парохода «Турксиб» было оказано большое доверие — доставить собранное в Советском Союзе продовольствие и подарки для женщин и детей сражающейся с фашистами Испании. Значит, капитаном там Павлов. И в этот трудный, опасный рейс послали именно Михаила Ивановича. Спокойного, выдержанного, невозмутимого. Хорошего человека.

«Турксиб» стоял расцвеченный флагами. На грот-мачте под отходным флагом развевался флаг Испанской республики. Сотни провожающих толпились на причале. Михаил Иванович извинился и поднялся на судно. Начался митинг. С напутственными словами к морякам обратилась народная артистка Корчагина-Александровская. Я узнал ее. Говорили знатные рабочие, академики, служащие разных учреждений. Последнее, заключительное слово предоставили капитану. Он сказал очень коротко:

— Мы оправдаем доверие ленинградцев.

Под торжественные звуки «Интернационала» пароход отошел от причала. Тяжелым был этот рейс. Фашистские военные корабли подстерегали, ловили «Турксиб», но капитан Павлов привел его в испанский порт Сантандер благополучно. За смелость, находчивость, за отличное выполнение задания Советское правительство наградило Михаила Ивановича орденом. Тогда это было большой редкостью. А позже, во время Великой Отечественной войны, за плавание в северных конвоях в дополнение к нашим наградам капитан получил от английской королевы белый крест Виктории. Так высоко было оценено его мужество даже союзниками.

Встретился я и с «Эльтоном». Он грузил доски в Механизированной гавани. Чистенький, с зеленой подводной частью, только что выкрашенный свежими красками, пароход походил на игрушку. Я поднялся по трапу, зашел в кают-компанию. Она сверкала чистотой и порядком. Походил по палубе, спустился в помещения команды. Все было неузнаваемым. Каюты перестроили, увеличили, столовую перенесли в среднюю надстройку, установили хорошую вентиляцию. Я встретил боцмана Козьмина. Он все еще плавал на «Эльтоне». Серега обрадовался моему появлению. С гордостью водил меня по судну, спрашивал:

— Ну, как мы выглядим после капитального? Ничего

похожего, правда? «Дед» мировой попался. В машине такой порядок навел, я тебе скажу! Ходить стали по десять миль, живем по-человечески, план меньше чем на сто десять процентов не выполняем. Денег кучу зарабатываем. Напрасно вы ушли. Пароход легкий, работать одно удовольствие. Кое-кто из старых еще остался. Теперь не выгонишь. А помните Мурманск? Жуть!

Я порадовался за судно и людей. Тогда я не знал, что вернусь на «Эльтон» и этот маленький пароход сыграет трагическую роль в моей жизни.

А пока мы ремонтировали пароход в Мурманске.

Выговор

«Эльтон» простоял в Мурманске долго. Мы успели сделать только один рейс в Англию, и уже надо было возвращаться в Ленинград. Началась весна. По Финскому заливу плыл пористый, с грязными краями, неопрятный лед. Вдалеке в лучах солнца сверкал купол Исаакия, дымили фабричные трубы, буквой «Т» чернел огромный кран Северной верфи. Знакомый пейзаж. Мы пришли домой.

В Ленинграде Михаила Ивановича Павлова сразу же отозвали с судна. На «Эльтон» назначили другого капитана — И. И. Филиппова, и мы после недолгой стоянки пошли в Гамбург за грузом.

Чего только мы не положили там в четыре глубоких трюма! Какао-бобы, кофе, костяная мука, муравьиная кислота, пишущие машинки, точные продуктовые весы, запасные части к турбинам, стальные трубы… Одним словом — генеральный груз. Так моряки называют всю эту кашу из различных наименований.

На торговых судах грузом ведает второй помощник капитана. Поэтому я совсем запарился. Не простое дело принимать генеральный груз. Какао-бобы не должны пропитаться запахом кофе, костяная мука просыпаться на пишущие машинки, бутыли с кислотой разбиться, сахар отсыреть… Кроме того, все надо уложить так плотно, чтобы не пошевелилось даже в самую сильную качку. Иначе беда! Привезешь одни обломки.

Я метался из трюма в трюм, ругался с грузчиками, которые, как мне казалось, плохо укладывали ящики, показывал, как нужно, хватался за мешки, трубы, тюки. К концу погрузки совершенно охрип, ноги дрожали от беспрерывного лазания по отвесным скоб-трапам. Я мечтал о выходе в море. Там уже будет отдых. Отстоял вахту — и спать.

Капитан вернулся с берега в хорошем настроении. Шляпа у него была сдвинута на затылок, он улыбался. Увидя меня, устало присевшего на кнехт, он еще с трапа закричал:

— Жорж, выше голову! Достал дополнительный палубный груз. Высокий фрахт[7]. Выполнение плана обеспечено. Премия в кармане!

Капитан, когда бывал в благодушном настроении, имел дурную привычку называть меня на французский манер — Жорж. Мне это не нравилось, но делать замечание капитану я не решался. Услышав сообщение о палубном грузе, я тяжело вздохнул:

— Какой груз?

— Дикие звери. Вы имеете возможность за короткое время стать дрессировщиком.

Какой юморист нашелся! Дикие звери! Только их мне не хватало. Я с надеждой спросил:

— Какие звери? Может быть, морские свинки? Мне говорили, что из Гамбурга часто отправляют морских свинок для каких-то научных опытов. Капитан захохотал:

— Слушайте, Жорж, можно ли морских свинок причислять к диким зверям? Слоны, пантеры, человекообразные обезьяны, мартышки, морские львы, удавы, попугаи…

— Дикие, кровожадные попугаи? — усмехнулся я. Капитан сделался серьезным:

— Попугаи как дополнение. Не дикие, а говорящие. Короче говоря, надо будет подготовить место для всех животных. На судне пойдет сопровождающий — немец, зоолог, профессор из Гамбургского зоологического сада Гагенбека. Вот так. Но какой фрахт! — Лицо у капитана снова посветлело.

Где разместить всех необычных пассажиров? Это было потруднее, чем погрузить в один трюм кофе, чай и кислоту. Я знал, что обезьяны не переносят слонов, а слоны пантер, морские львы страшно ревут, удавы… Куда же положить удавов? Надо бы устроить их к капитану в каюту, чтобы в следующий раз был осмотрительнее в подыскании груза…

Я ломал себе голову, решая головоломку, похожую на задачу, «как перевезти через реку по одному в лодке волка, козу и капусту», много раз чертил схему расположения клеток на палубе — пантеру сюда, слона туда, обезьян тоже сюда…

В это время на пароход пришел профессор Зауфер, сопровождающий животных. Все оказалось значительно проще, чем я предполагал. Слон был один, да и то не взрослый, а слоненок по имени Киви, пантера Ванда, два шимпанзе, Макс и Фрида, десяток мартышек, морской лев Айс, говорящий попугай Али-Баба и два удава. Я расспрашивал профессора Зауфера о том, как же упакованы звери.

— Киви мы погрузим в ящике. Ящик окован железными полосами, задняя стенка есть, переднюю заменяют металлические полосы, достаточно прочные, в верхних досках ящика набиты гвозди на случай, если слоненок начнет сердиться и выгибать спину. Иначе он выдавит крышку. Пантера в большой крепкой клетке с решеткой, морской лев тоже, одним словом, все пассажиры имеют свою специально приспособленную для перевозки тару.

— А удавы?

— Удавов только что накормили, и они спокойно спят в

ящиках с дырками. Змеи доставят вам меньше всего хлопот. Мы их положим сверху, в трюм.

— А ящики заколочены? — с опаской спросил я.

— Обязательно. Удавы могут спать долго, если они сыты. Воздуха для них, полагаю, хватит.

Профессор Зауфер дал мне размеры всех клеток и на прощание сказал:

— Еще будет несколько мешков и ящиков с провизией для моих питомцев. У каждого свое меню. Кому надо давать мясо, кому рыбу, а кому семя и орехи.

Я прошу, чтобы кто-нибудь из команды взялся ухаживать за животными — кормить, поить, чистить клетки. Это необходимо. Конечно, за отдельную плату. Завтра, вероятно, начнем погрузку.

Первым на причале появился Киви. Его привезли в большом ящике, окованном железом, такой конструкции, как говорил Зауфер. Я пошел познакомиться со слоненком на берег. Киви был прелестным существом с большими, как лопухи, морщинистыми ушами и умными веселыми маленькими глазками. Я похлопал его по хоботу. Он хотел обнять меня за шею, но я уклонился от его ласки. Киви не обиделся. Я дал ему кусок булки. Только когда кран поднял ящик в воздух, слоненок заволновался. Он как-то странно завизжал или затрубил, но не успел опомниться, как ящик поставили на палубу. К слону подошел Зауфер и начал ему что-то ласково говорить, гладить, щекотать за ушами. Он попросил принести воды. Киви сунул хобот в ведро и устроил себе душ. Видимо, ему это очень нравилось. Он сразу пришел в хорошее настроение.

За зверями охотно взялся ухаживать наш боцман, Сережа Козьмин. Он любил животных.

Макса и Фриду привезли одновременно. Они сидели в разных клетках, но Зауфер просил поставить их в одно помещение, чтобы обезьяны не скучали. Так и сделали. Макс удивительно походил на человека. Он пожимал всем желающим руки, брал папиросу, чиркал спичкой, закуривал, чихал, кашлял, ходил с тросточкой, садился на ящик. Его подруга Фрида была менее общительна. Она пугливо жалась к дальнему углу клетки и больше бегала на четвереньках. Иногда шимпанзе разговаривали между собой, обмениваясь каким-то писком. Обе клетки поставили в плотницкой, под полубаком, одну против другой.

С появлением обезьян на судне свободные от вахт матросы и кочегары все время торчали около клеток, кормили сахаром Макса и Фриду, которая быстро привыкла к новой обстановке и оказалась очень ласковой обезьяной.

Вскоре привезли красавицу Ванду. Пантера лежала в клетке, с

ненавистью посматривая на людей. Достаточно было кому-нибудь приблизиться, Ванда бросалась на решетку, рычала, показывая свои острые клыки. Ее клетку устроили на палубе у входа в баню.

Мартышек, маленьких и веселых, оказалось двенадцать. Они помещались в одной клетке. Вели себя шумно. Пищали, бросались орехами, дрались, кувыркались на кольцах, вырывали друг у друга бананы, которые давал им Зауфер, — одним словом, хулиганили. Морской лев Айс был симпатичным и красивым животным. Гладкий, черный, как лакированный, с добродушной длинной мордой. Когда он хотел есть, то неприятно ревел, напоминая наутофон в тумане. Кормили его свежей рыбой.

Попугай Али-Баба мне не понравился. Он жил в просторной золоченой клетке. Зауфер говорил, что это очень редкий экземпляр. Клетку поставили в подшкиперскую кладовку, среди боцманского инвентаря. Впервые я увидел Али-Бабу, когда попугай висел вниз головой, уцепившись одной лапкой за жердочку. Он злобно смотрел на меня одним глазом, полуприкрытым синеватым веком. Второй глаз у него был закрыт. Птица имела крепкий сомкнутый кривой клюв, белое красивое оперение и залихватский хохолок на голове. Так мы смотрели друг на друга с минуту. Я сунул палец в клетку. Попугай немедленно выпустил жердочку, подскочил и больно меня клюнул. Потом противным, деревянным голосом он прощелкал что-то вроде немецкого ругательства «ферфлюхтунг!» и принялся скакать по клетке, лущить семя, изредка посматривая на меня своими круглыми глазами. В подшкиперскую пришел боцман.

— Познакомились? — спросил он, показывая на клетку. — Ну и птичка. Драчун и сквернослов. По-немецки шпарит. Вон палец мне прокусил. Настоящий разбойник…

Боцман подсыпал в кормушку семени, сменил воду. Пока Сергей чистил клетку, попугай несколько раз бросался клевать ему руки.

Оставалось погрузить удавов. Для них во втором трюме приготовили место. Когда привезли длинные, хорошо оструганные ящики, я никак не ожидал, что это и есть жилище змей. Самые обыкновенные ящики. Только отверстия наводили на размышления.

Балтика встретила нас неприветливо. Как только судно вышло из Кильского канала, подул свежий встречный ветер. Он развил крупную волну. Гребни заплескивались на палубу, катились мутными потоками от носа до надстройки. Небо обложили черные дождевые тучи. Скоро пошел дождь. Судно стало покачивать. Сначала еле заметно, потом все сильнее и сильнее. Я записывал вахтенный журнал, когда услышал какой-то

треск и крик рулевого: «Слон!» Выскочив на мостик, я увидел, что верхняя крышка ящика, где помещался Киви, вспучилась, железные шины выгнулись в дугу. Я ринулся на палубу. Слоненок, несмотря на боль от впившихся ему в тело гвоздей, выгибал спину, пытаясь выдавить крышку. Увидя меня, он заревел, затопал ногой, круша деревянный настил ящика. К нам уже бежал боцман с ведром воды, надеясь успокоить Киви душем. Но как только Сергей поставил ведро, слоненок наступил на него ногой, превратив в жестяной блин. Он продолжал реветь, высовывать хобот и выгибать спину. Казалось, ящик вот-вот развалится и Киви окажется на свободе. Я бросился в каюту к профессору Зауферу. Он лежал на койке с зеленым лицом, свесив голову в таз. Его тошнило. Услышав, что кто-то вошел, он приоткрыл глаза.

— Профессор, слон вырывается из клетки! Что делать? — закричал я.

Зауфер посмотрел на меня мутным взглядом:

— Умираю. Делайте что хотите…

Он снова сунул голову в таз. Я понял, что от сопровождающего помощи ждать не приходится. В таком состоянии Зауфер был бесполезен. Наверное, рев Киви послужил сигналом, и, когда я снова оказался на палубе, ревели все наши «пассажиры».

В плотницкой боцман пытался почистить клетку Фриды, в которой был полный беспорядок. Обезьяна жалобно стонала, забившись в угол. Макс чувствовал себя бодрее. Он носился по клетке, дергал за железные прутья, пытался их выдернуть, угрожающе ворчал. Наверное, ему казалось, что боцман причиняет какое-то зло его подружке. Вдруг он просунул между прутьями палку, с которой обычно играл, и, изловчившись, сильно ударил по голове сидевшего спиной к нему на корточках Сережу. Боцман охнул и возмущенно посмотрел на меня.

— Это Макс! — заорал я. — Брось заниматься ерундой! Не время! Идем на палубу.

У входа в баню стояли четыре кочегара. Увидя меня, один из них закричал:

— Слушайте, второй, это безобразие! Куда поставили эту проклятую пантеру? Попробуйте пройти в баню! А нам надо мыться. Идите, идите сюда!

Я подошел к пантере и тотчас же отпрянул назад. Ванда металась по клетке, рычала, ударяла лапами по прутьям. Она бросалась на решетку, пена пузырилась на оскаленной пасти, клетка содрогалась от сильные ударов звериных лап. Действительно, в баню было страшно идти. «А что, если клетка не

выдержит и пантера вырвется на свободу?» — со страхом подумал я.

— Ладно, ребята, — обернулся я к кочегарам, — сегодня помойтесь в ванне на спардеке, а когда кончится шторм, мы переставим клетку.

Кочегары, ворча, повернули к центральной надстройке. Они остались недовольны. Какое это мытье в ванне после вахты у котлов?

Мы с боцманом отправились дальше осматривать наше хозяйство. Под брезентом взволнованно верещали, сбившись в кучу, мартышки. К еде они не притронулись. Только Айс победно крякал. Ему нравились потоки соленой воды, попадавшие в его незакрытую брезентом клетку. Он очутился в своей стихии. Наконец мы добрались до попугая. Али-Баба сидел с закрытыми глазами, нахохлившись, чем-то похожий на профессора Зауфера. Я просунул в клетку палочку, пощекотал клюв, потом спинку. Попугай не шелохнулся.

— Сдохнет, — решил боцман. — Такой агрессор, а здесь… Что делать будем? — спросил меня Серега, когда мы снова подошли к Киви. Теперь на него было жалко смотреть. По спине текли струйки крови. В глазах страдание. Он устал от борьбы с ящиком, от качки, от соленой воды, которая обрушивалась на него, от всей этой неприятной для него обстановки. Он уже смирился и посматривал на нас с надеждой. Может быть, облегчим его мучения?

— Что делать? — пожал я плечами. — Ожидать прекращения качки. Только бы клетки выдержали.

На мостике меня встретил капитан. Лицо его было озабоченным.

— Ну, как там?

— Как? Слон вырывается на свободу, пантера чуть кочегаров не загрызла, попугай дохнет, профессор укачался, лежит трупом, а в остальном, прекрасная маркиза, как поется, все хорошо, все хорошо…

— Проклятый груз… — проворчал капитан, отворачиваясь от меня.

— Зато фрахт высокий, — злорадно заметил я. Ветер крепчал. Он уже гудел в вантах и антенне.

Качка сделалась сильнее. С наступлением темноты звери стали беспокоиться больше. Их рев, одно время как-то затихший, опять начал проникать во все уголки судна. Вместе с воем ветра он производил жуткое впечатление, и вряд ли кто-нибудь из команды спал в эту ночь. Все ругали капитана, в душе побаиваясь за прочность клеток, жалели животных, но помочь им ничем не

могли.

К счастью, все обошлось благополучно. Клетки выдержали. К утру ветер начал стихать. После двенадцати сквозь тучи прорвалось солнце, а вечером море совершенно успокоилось. На палубу вышел профессор Зауфер. Вид у него был не блестящий, но все же он уже мог двигаться и навестить своих подопечных. Звери успокоились, но выглядели измученными и вялыми. Зауфер обошел всех, смазал спину Киви мазью и сказал, что все в общем в порядке, но больше такого ужаса он не хотел бы испытать. Я постарался его утешить, сказав, что до порта осталось всего двое суток, предложил ему папиросу, которую профессор храбро закурил. Сделав две затяжки, он с отвращением выбросил папиросу за борт.

— Неважный табак, — промямлил Зауфер и тотчас же перевесился через фальшборт. У него опять начался приступ морской болезни.

До Ленинграда доплыли без каких-либо особых происшествий. Как только мы ошвартовались, началась выгрузка. На причале у судна выстроилась вереница автомашин. Лязгали буфера железнодорожных вагонов, поданных к борту. Выли краны, грохотали судовые лебедки, гудели маневровые паровозы, скрежетали автопогрузчики. Я совершенно ошалел от шума, меня беспрерывно теребили, требовали грузовые документы, планы выгрузки, манифесты, расписки…

На причале я заметил большие автомашины, прибывшие за животными. Заведующий Ленинградским зоосадом и профессор Зауфер ходили по палубе между клетками, оживленно беседуя. Мне захотелось попрощаться с моим необычным грузом. Я подошел к слоненку, погладил Киви по хоботу, пощекотал за ушами, потом отправился пожать руку Максу, похлопал Айса по гладкой спине, кинул мартышкам горсть орехов. Только к Ванде я не решился подойти. Пантера по-прежнему волновалась, когда близко от нее проходили люди. Я зашел и к Али-Бабе в подшкиперскую. Попугай лущил зерна. Увидя мой палец, сунутый в клетку, он оставил свое мирное занятие и хотел броситься на меня, но я вовремя отдернул руку.

— Прощай, — сказал я. — Учись говорить по — русски.

Али-Баба прощелкал свое любимое «ферфлюхтунг», и мы расстались.

Я видел, как кран подцепил ящик со слоненком и бережно перенес его к автомашине. «Гости» разъехались.

Гастроном № 17 готовился к торжественному событию. Завмаг только что привез из порта точнейшие немецкие весы. Еще

ни один гастроном в городе не владел такими. На дверях магазина болтался плакатик: «Закрыто». Ящики стояли посреди колбасного зала. Продавцы из всех отделов томились вокруг. Наконец заведующий скомандовал:

— Ну, вскрываем. Вася из мясного, с топором — ко мне. И осторожно. Это ведь нежнейший прибор.

Краснолицый Вася аккуратно подсунул край топора под верхнюю доску. Раздался легкий треск. Вася взял доску руками и оторвал вместе с гвоздями. Те, кто стоял против него, увидели, как побледнело лицо мясника, услышали звон упавшего на кафельные пли ты топора и дикий Васин крик:

— Змеи!

Он ринулся к открытой двери. Кто был посмелее, заглянул в ящик. Там, свернувшись, спокойно лежал огромный черно-желтый питон в руку толщиной. Продавцов охватила паника. С криком: «Змеи!» — они, толкая друг друга, выбегали во двор. Когда заведующий убедился, что в колбасном зале людей не осталось, он закрыл дверь на замок. Отирая со лба пот, завмаг сказал:

— Ну, я в порт. Наблюдайте за помещением. Если что — звоните в милицию. Не дай бог, выползет откуда-нибудь. Но, кажется, там у нас отверстий нет.

В середине дня меня поймал человек с перекошенным от волнения и злости лицом. Он был красен и, брызгая слюной, орал:

— Вы ведаете грузом? Я буду жаловаться. В тюрьму вас надо посадить. Черт знает что! Что вы дали в Гастроном № 17 вместо весов? Что, я вас спрашиваю? Змей дали, змей. Подвергли весь персонал смертельной опасности. Люди в обмороке лежат.

Сначала я ничего не понимал, но вскоре до меня дошло. В горячке я перепутал и вручил представителю Гастронома документы на удавов, а Зоосаду документ на весы. Таким образом, удавы попали в Гастроном, а весы в Зоосад. Надо было срочно выправлять положение. А завмаг не унимался:

— Доставьте мне мои весы, немедленно заберите ваших змей. О, я буду жаловаться, я вам покажу…

Я попросил Зауфера поехать со мной, и мы с грузовиком отправились в магазин. Зауфер смело вошел в помещение. Из-за его спины выглядывали продавцы, готовые каждую секунду захлопнуть дверь. Немец подошел к ящику, наклонился, погладил удава, приладил на старое место доску и принялся заколачивать. Закончив, он отряхнул руки и сказал:

— Не надо было бояться. Он совершенно безопасен. Повезем ящик в Зоологический сад, все-таки там для змей более

подходящее место, чем колбасная.

Часа через три спокойствие было восстановлено. Удавы попали в Зоосад, магазин получил свои весы. На следующий день, вместо того чтобы пойти домой, я отправился в пароходство. Меня вызывал начальник эксплуатации. Завмаг пожаловался. Начальник долго читал мне нотации об отношении к службе, об опасности, которой могли быть подвергнуты продавцы… Я не оправдывался. Чего уж там… Виноват так виноват. Наконец начальник эксплуатации отпустил меня, пообещав, что для воспитания других помощников будет издан приказ по пароходству. Он не заставил себя ждать. Я получил выговор за «халатное отношение к своим обязанностям». После этого капитана вызвали в моринспекцию.

Голубчик

— Вот что, — сказал мне капитан, — вернувшись из пароходства, — придется вам сдавать техминимум. В инспекции требуют. На высшую должность вас перевели, техминимум вы не сдавали, выговор получили. Порядок знаете? Зайдите в моринспекцию, там назначат, когда явиться. Не боитесь?

— А, пустяки. Подчитаю и сдам, — небрежно бросил я, но в душе сильно забеспокоился. Во-первых, кому хочется сдавать техминимум после того, как ты уже жало двух лет нес самостоятельную вахту и считал себя специалистом высокой квалификации? Во-вторых, надо готовиться. В-третьих, спрашивать всегда легче, чем отвечать, и «завалить» тебя, «специалиста высокой квалификации, при желании всегда могут. Так? Но главное, чего я опасался, это присутствия в моринспекции Александра Петровича Смирнова, «Голубчика», как называли все знаменитого балтийского капитана.

В недалеком прошлом он командовал «Декабристом» — самым большим судном пароходства. Болезни и годы заставили капитана перейти на берег, и теперь он работал морским инспектором, наводя ужас на молодых штурманов, да и не только на них. Маститые капитаны испытывали неприятное чувство, когда Голубчик на своих тоненьких, кривоватых ножках поднимался по трапам их судов.

— Тэк — с, тэк-с. Здравствуйте, голубчик. Ну, показывайте, показывайте…

И начиналось… Александр Петрович был мелочно придирчив. Он не пропускал и не прощал ни одного упущения, когда производил осмотр судна. Его интересовало все: как хранятся навигационные карты, произведена ли им последняя корректура, почему беспорядок в малярной кладовке и плохо застланы койки у команды. Безобразие! Третий помощник пропустил день и не взял поправку хронометра.

Горе было тому капитану или штурману, у которых Голубчик находил неполадки. Он ругался, делал записи в журнале замечаний, докладывал о них начальству. За обнаруженный на палубе окурок он мог устроить грандиозный разнос.

Рассказывали, что однажды на судне, которым командовал Голубчик, лоцман бросил на палубу окурок. Александр Петрович вытащил из кармана белоснежный платок, взял окурок и брезгливо выбросил с платком за борт. Лоцман сконфузился, извинился, а капитан проворчал что-то вроде:

— Ничего-ничего… Дома вы, наверное, окурки на пол не

бросаете?

Внешность Александра Петровича тоже не вызывала симпатии. Маленького роста, на тонких ногах, с большой лысой головой, усиками на верхней губе и чуть раскосыми глазами, он чем-то походил на японца. Поэтому его иногда называли «Микадо». Он же, независимо от возраста и звания, всех величал «голубчиками», но такое обращение отнюдь не означало доброго расположения Александра Петровича к своему собеседнику. Чаще всего оно звучало угрожающе, иронически и уж во всяком случае не ласково.

Он не терпел неуклюжих, нерасторопных матросов и штурманов. Если случалась заминка при швартовке, капитан в гневе срывал с головы фуражку, топтал ее ногами и витиевато ругался, приводя в невероятное смущение людей на берегу. При такой невоздержанности на судне, капитан был приторно вежлив с начальством. Он выходил из кабинетов спиной, кланяясь и расточая сладкие улыбки. Старик явно паясничал, это понимали все.

Своих помощников Александр Петрович держал в черном теле. Во время вахты не позволял штурманам заходить в рубку, курить на мостике, облокачиваться на планширь. Помощники трепетали перед ним. Однажды «Декабрист» стоял в шлюзе Кильского канала Гольтенау. Его набережная служила местом прогулок. По ней взад и вперед прохаживались нарядно одетые девушки, дамы и мужчины. Молодой третий помощник с «Декабриста» в щегольском форменном костюме красовался на мостике, принимал эффектные позы, курил и рассматривал женщин в бинокль. Он так увлекся этим занятием, что не услышал, как Голубчик поднялся на мостик, а когда обернулся, то очень перепугался и вместо окурка выбросил за борт бинокль. Капитан предъявлял к помощникам такие высокие требования, что редко кто выдерживал плавание с ним в течение года. Но зато тот, кто оставался с капитаном Смирновым, выходил из его рук отличным штурманом.

Вообще за Александром Петровичем чудачеств водилось достаточно. Но он был великолепным моряком, за ним укрепилась слава замечательного швартовщика, блестящего навигатора, морского юриста, и потому желающие посмеяться или позлословить делали это за его спиной.

Когда же он надевал свой выгоревший на солнце зелененький английский макинтош, натягивал на лысую голову кепочку, то совсем переставал быть похожим на грозного капитана Смирнова. В трамвае или на улице его можно было принять за обыкновенного служащего какого-нибудь из многочисленных

ленинградских учреждений.

Став морским инспектором, Александр Петрович взялся за дело с энтузиазмом. Он проверял вахтенных, любил нагрянуть неожиданно или прокрасться ночью незаметно мимо задремавшего матроса, отвернуть рынду, спрятать ее и потом наслаждаться растерянностью и смущением вахтенного штурмана. Но страшнее всего были техминимумы, их он принимал у штурманов и являлся бессменным председателем проверочной комиссии. Он выкапывал такие вопросы, над которыми часто ломали голову и опытные капитаны. Откуда только он их брал? Впрочем, на все эти вопросы находились ответы, и они показывали, насколько глубоко знает морское дело Александр Петрович Смирнов. Вот с этим человеком мне предстояло встретиться на экзамене в ближайшие дни. Перспектива не из приятных!

В инспекции мне сказали, что сдавать экзамен я могу когда захочу. Три дня я честно готовился. На четвертый пришел в пароходство, заглянул в инспекцию, тихо закрыл дверь и поплелся обратно на судно. Александр Петрович принимал экзамен.

«Ну его к черту! Не пойду. Подожду, когда его его будет. Выпадет же такой случай».

Я потолкался в коридоре, послушал, что говорят мои коллеги. Они тоже должны были сдавать техминимум. Утешительного было мало. Рассказывали страсти.

— До чего дошел Голубчик! Одного спрашивает: «Что значит цифра 273 001 на ящике с грузом?» Тот, конечно, молчит. Голубчик его больше и спрашивать не стал…

— Это пустяки, вот он Степке Клименову задал…

Я понял, что поступил правильно. Надо было переждать, момент был удобный: «Эльтон» вставал на капитальный ремонт. Каждый день я приходил в инспекцию, заглядывал в комнату и, если видел Александра Петровича, уходил. Наконец мне повезло. В инспекции шел экзамен. Два капитана, члены комиссии, скучающе пытали молодого штурмана. Тот взволнованно, с красными ушами, объяснял им пользование английской книгой «Лист оф ляйтс». По капитанским лицам я увидел, что все это им смертельно надоело и думают они только об одном: скорее бы конец. Я послушал ответы штурмана, решил, что вопросы задают ему простые, бояться мне нечего, и скромно уселся в уголке, ожидая своей очереди. Через час меня пригласили к столу.

— Начнем с устава… — Седовласый капитан устало вздохнул. — Расскажите об обязанностях вахтенного помощника на ходу судна…

Не успел я открыть рта, как за спиной хлопнула дверь и в комнате появился Голубчик.

— Василий Васильевич, Михаил Александрович, — обратился он к капитанам, — попрошу вас срочно проехать на пароход «Ладога», он стоит у семнадцатого причала. Комиссия уже начала там работать, а с этим товарищем я займусь сам.

Капитаны весело поднялись, а я уставился на Александра Петровича, как кролик на змею. Все завертелось у меня перед глазами. Какой-то дурацкий страх наполнил сердце, все, что я знал и к чему готовился, улетучилось из головы, рот приоткрылся, и я думал только о том, как бы улизнуть с экзамена. Шутка ли! Остаться один на один с Голубчиком! Да он меня немедленно зарежет.

«Скажу ему, что мне стало плохо. Сердечный приступ… Или припадок инсценировать?..»

Пока я лихорадочно перебирал в уме возможные варианты отступления, Александр Петрович разделся, сел за стол, заглянул в опросный листок:

— Ну-с. На «Эльтоне» плаваете? Знаю… Не скажете ли вы мне, между прочим, как по-английски всадник?

Я, между прочим, ему этого не сказал. Александр Петрович повеселел. Посыпались вопросы:

— Как по прикладному часу порта определить высоту прилива? Не знаете? Тэк-с. А когда начинается ответственность судна за груз, если его выгружают стрелами? Тоже не знаете. А что такое «шорт» и «лонг» тонны? А почему…

Я что-то шамкал в ответ, но все это было так жалко, примитивно, а главное — неверно, что я сам себе поставил бы двойку.

— Неважно, голубчик, — наконец проговорил Александр Петрович. — Перейдем к правилам предупреждения столкновений судов в море. Их-то вы уж должны знать.

Он подвел меня к застекленному ящику. Это был тренажер. Для строгого экзаменатора прибор представлял неограниченные возможности проверить знания правил. Он мог зажигать судовые огни в любых сочетаниях и композициях, нажатием кнопки подавать туманные сигналы.

— Хорошо. Вы идете в море… — проскрипел Голубчик, — и видите… — Он включил три красных огня вертикально и три горизонтально. У меня зарябило в глазах.

«Что это такое? — мучительно думал я. — Три красных вертикально — судно не имеет возможности свободно управляться на ходу… Ну, а эти, черт бы их побрал, красные горизонтальные?»

Пауза тянулась долго. Голубчику надоело ждать.

— Это что?

Александр Петрович погасил красные. В ящике зажглись белые огни, как-то несуразно расположенные на разной высоте.

— Рыбаки с сетями, — неуверенно сказал я.

— Правильно, — хихикнул Голубчик. — А какие рыбаки? Длина? Чем ловят?

Я промолчал.

Теперь в ящике один за другим зажигались огни. Красные, белые, зеленые… Они мелькали в глазах. Я совсем растерялся.

— Так, так, — приговаривал Александр Петрович. — Ведь все это может встретиться в море, голубчик. Поздно будет решать, что это за огни, действовать надо. Хватит.

Он заглянул в экзаменационный листок, сделал какую-то пометку. Мне показалось, что капитан поставил двойку.

— Ну что ж, голубчик. Я бы на вашем месте поплавал еще некоторое время третьим помощником. Идите и приходите, когда будете знать все как следует. Ведь это элементарно.

Я комкал в руках платок. Мне хотелось сказать, что все знаю и сам не понимаю, отчего так плохо отвечал, но язык не поворачивался. Я боялся, что на мои объяснения последуют гневные реплики Голубчика. Я молча выслушал еще несколько замечаний о людях, которые пытаются занять высшую должность, не имея на то никаких данных, о том, что правила надо знать как «Отче наш», и наконец был отпущен.

Выйдя из инспекции, я сразу попал в толпу изнывающих от волнения штурманов. Мне задавали десятки вопросов. Как, что спрашивал, выдержал ли?

— Выдержал, — сердито ответил я, — на старпома. Александр Петрович обещал послать на лучшее судно пароходства.

Оставив изумленных товарищей обсуждать такой невероятный случай — сдавал на второго, а сдал на старшего, — я понуро поплелся на пароход.

— В порядке? — спросил капитан.

— Да нет… Не сдал, — смущенно ответил я. — Проклятый Голубчик зарезал. Не хотел я к нему идти и все же попал.

— Что-нибудь заумное спрашивал?

— Вот посмотрите сами, — заволновался я. — Ведь это черт знает что!

Я схватил бумажку и начертил расположение красных огней. Капитан мельком взглянул на листок.

— Очень просто. Буксир на ходу с тремя баржами потерял управление, — быстро ответил он. — Не очень сложно.

Действительно! До чего же просто! Вот шляпа…

— Что еще? — довольно спросил капитан.

— Много всяких вопросов было. По астрономии такое завернул, ой-ой!

— А что именно? — насторожился, как почуявший добычу пойнтер, капитан. Ему очень хотелось показать, что он может ответить на все вопросы Голубчика. Но я ему этой возможности не дал.

— По луне… Что теперь делать будем? Снова в третьи переходить?

Лицо у капитана сделалось кислым.

— Что делать, что делать! Оставлю вас в ремонте вторым. На свою ответственность. Не в море… Но имейте в виду… Техминимум должен быть сдан. Без него вам вторым плавать не дадут. Поняли?

— Понял. Да я бы сдал, если бы не Голубчик… — затянул я старую песню, но капитан так посмотрел на меня, что отпала всякая охота вспоминать о техминимуме.

Через три месяца я хорошо выдержал экзамен в комиссии при Моринспекции. К моему счастью, Голубчик в тот день отсутствовал. Он уехал в командировку. Теперь я с полным правом занимал должность второго помощника капитана. Но надо честно сказать, поработал я здорово! Переворошил много книг, все вспомнил и нашел ответы на вопросы Александра Петровича. Ничего заумного в них не было.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны Голубчик ушел из пароходства. Он был стар, болен, да и хлопотливая работа в Моринспекции взяла свое. Он перешел в Центральный научно-исследовательский институт морского флота. Там было спокойнее. Никто особенно не жалел об его уходе. Начальство освободилось от въедливого и чересчур принципиального подчиненного, подчиненные — от строгого, желчного и ворчливого начальника. Штурманская молодежь открыто радовалась. Можно будет наконец свободно вздохнуть, не надо дрожать каждую вахту в ожидания разноса Голубчика.

Может быть, память об Александре Петровиче Смирнове так бы и осталась в морских рассказах. Его вспоминали бы как знающего капитана, лихого швартовщика, вспоминали о его чудачествах, о вопросах, которые он задавал на техминимумах, может быть… но грянула война.

…Начальник Балтийского пароходства Никон Яковлевич Безруков сидел в своем кабинете и мучительно раздумывал о тяжелом положении в пароходстве, о том, что многих штурманов и капитанов мобилизовали на военный флот, и если дело пойдет

так, то скоро некому будет плавать на торговых судах. Вот и сейчас у Железной стенки стоит без капитана теплоход «Иван Папанин». Только вчера молодой капитан этого теплохода Дмитрий Адамович Глазко получил предписание немедленно явиться в военкомат и, не сдавая судна, сошел с борта. А рейс предстоял серьезный и опасный, любого туда не пошлешь. «Папанин», не задерживаясь, должен уходить в Таллин, эвакуировать раненых.

«Кого же все-таки назначить на «Папанина»?» — в который раз задал себе вопрос Безруков и закурил новую папиросу.

В дверь просунулась голова секретарши.

— К вам капитан Смирнов. Примете?

Безруков недовольно поморщился. Не до старика ему было. Но помня, каким авторитетом пользовался прежде капитан, вздохнул и сказал:

— Просите.

В кабинет, многократно кланяясь, вошел Голубчик.

— Садитесь, Александр Петрович. Чем могу быть полезен?

Старик пожевал синеватыми губами, кашлянул.

— Прошу дать мне судно, — коротко сказал он. Начальник пароходства не поверил своим ушам.

Капитану было шестьдесят семь лет, последнее время он сильно болел, врачи настойчиво предлагали ему оставить работу — и вдруг такая просьба…

— Боюсь, Александр Петрович, что вас не выпустит в рейс медицинская комиссия, — осторожно сказал Безруков, не желая обидеть капитана, и тут же в голове мелькнула мысль: «Вот такого бы на «Папанин». Лучшей кандидатуры не найти».

Александр Петрович с сожалением взглянул на начальника и ворчливо проговорил:

— Когда Родина в опасности, я не могу сидеть и перебирать бумажки. Потом, кто это вам сказал, что меня не выпустят врачи? Я чувствую себя как нельзя лучше, голубчик. Я сам себе врач. Прошу дать мне судно. Полагаю, что своей многолетней работой я заслужил такое доверие? Какие тут могут быть комиссии!

Начальник пароходства вышел из-за стола. Все анекдоты, связанные с именем Голубчика, все байки, истории, ходившие по пароходству, сейчас забылись. Безруков глядел на Александра Петровича с восхищением и уважением.

— Спасибо, Александр Петрович, — растроганно сказал Безруков. — Принимайте «Ивана Папанина». Вон у Железной стенки стоит. Если бы вы знали, как вы нас выручили. Спасибо.

— Премного благодарен за доверие. А вы говорите — комиссия! Знаю, что людей не хватает… Когда прикажете

принимать судно?

— Немедленно, если можете:

— Сейчас же иду. Счастливо оставаться. Александр Петрович встал и, как обычно, спиной, кланяясь, двинулся к выходу. Но сейчас это не вызвало улыбки у начальника. Он провожал старика до двери.

— О формальностях не беспокойтесь. Я сейчас позвоню в кадры, и все будет в порядке. Сегодня вы должны выйти в рейс, — сказал начальник на прощание. — Счастливого плавания!

Они обменялись крепким рукопожатием.

«Иван Папанин» ушел точно в назначенный час. Командовал им Голубчик.

«Иван Папанин» в пути подвергся обстрелу немецкого самолета. Масловский, старший помощник, с любопытством наблюдал за капитаном. Ведь для Голубчика это было первое боевое крещение. Но ничего необычного старпом заметить не смог. Ни страха, ни волнения, ни повышенной нервозности. Только, когда капитан отдавал команды рулевому, маневрируя судном, уклоняясь от пулеметных очередей, глаза у него сощурились, заблестели и голос зазвучал громко и молодо. Старпом чуть не подпрыгнул от удивления, когда сразу после налета он услышал недовольное замечание Голубчика:

— Да не облокачивайтесь вы на планширь. Запомните: я этого не терплю.

«Так. Значит, все в порядке, — подумал Масловский. — Капитан именно такой, какого я ожидал. Все точно, как мне о нем рассказывали».

В Таллине скопилось много судов. Грузили раненых. Город эвакуировался. Наконец пришла очередь «Папанина». Теплоход подвели к причалу, поставили широкие деревянные трапы, и поток людей полился на судно. Капитан вмешивался во все судовые мелочи, ссорился с представителями военного командования, ругался с санитарами, которые, по его мнению, недостаточно аккуратно несли носилки. Поднадоел старик всем здорово. Особенно досталось старпому. Взмокший Масловский бегал по судну, исполняя распоряжения капитана. На теплоход приняли двести автомашин и около трех тысяч бойцов. Среди них много раненых. Надо было позаботиться о том, как всех разместить, накормить и напоить.

К вечеру 28 августа в составе каравана «Папанин» вышел из Таллина на Кронштадт. Потянулись бесконечные тревожные часы. Александр Петрович не сходил с мостика. Он чувствовал себя неважно. Нервное напряжение, которое он испытывал, было ему не по силам. Голубчик еще больше пожелтел, все время что-то

ворчал себе под нос, но при посторонних старался держаться бодро и никому не жаловался на свои боли в печени, на страшную слабость и частые головокружения.

Он был капитаном и прекрасно знал, что даже от выражения его лица зависит настроение людей на судне. И он держался. Оставался тем же грозным Голубчиком, каким его привыкли видеть всегда. Только в глазах чувствовалась старческая усталость.

Немцы давно готовились к этому дню. В финских портах и на близлежащих аэродромах укрывались подводные лодки, торпедные катера, сотни самолетов. И вот этот день наступил. Советские суда покидают Таллин. Идут неуклюжие транспорты, вокруг них серые корпуса кораблей охранения. Крейсеры, эсминцы, морские охотники. Дымы, дымы… Куда ни взглянешь— везде поднимаются черные столбики судовых дымов… А погода, как назло, тихая, ясная, с голубым небом. Не верится, что в такую погоду может случиться что-нибудь плохое.

Но первые потери начались сразу же после восемнадцати часов, когда на мине подорвался и затонул пароход «Элла», а через пятнадцать минут раздался взрыв на ледоколе «Криш Вальдемарс». В это же время гитлеровские самолеты атаковали пароход «Вирония». Он потерял управление, но к нему подскочил спасатель «Сатурн» и взял на буксир…

— Смотрите — катера! Торпедные катера! Держат курс на нас, а наш лидер ведет по ним огонь! — кричит кто-то на палубе «Папанина».

Издалека на теплоход несутся маленькие черные точки. Но Голубчик уже заметил их и спокойно, как на учении, командует:

— Лево на борт! Малый!

Катера не успевают выпустить свои торпеды. Огонь эсминца накрывает их. Прямое попадание! Два катера пошли на дно, третий повернул обратно.

— Полный ход! На прежний курс! — командует капитан, и теплоход тяжело уваливает вправо.

Но это только начало. Слышится гул фашистских самолетов.

— Огонь!

Непрерывно стреляют зенитки «Папанина». Небо расцвечено белыми комочками разрывов. Самолеты улетают в сторону. Все облегченно вздыхают. Пронесло.

Идет «Папанин». Он где-то в центре каравана. Позади и впереди него движутся в кильватер суда. Сколько же их? Капитан насчитал более пятидесяти, но это только те, что видят глаза. Теперь, когда весь караван вытянулся в линию, надо ждать худшего. И оно наступает. Оно подстерегает теплоход повсюду.

Хорошо, что сигнальщики зорко следят за морем.

— Справа по борту, курсовой пятьдесят, мина! Вот она, «рогатая смерть», чуть покачивается на воде, показывает, как улитка, свои рожки и блестящее, жирное тело. Она ждет, чтобы судно прикоснулось к ней, и тогда…

— Слева, курсовой двадцать пять, мина!

— Полный назад! Право! Теперь лево!

Лавируя между двумя минами, Александр Петрович проводит теплоход.

— Самый малый! Судно еле движется.

— По носу мина!

Кажется, «Папанин» попал на минное поле. Сейчас бы остановиться, осмотреться… Но этого нельзя делать. Надо идти вперед. По вискам у капитана стекают струйки пота. Теперь от его умения, искусства маневрировать и хладнокровия зависит все. На борту три тысячи человек. Среди них много истекающих кровью красноармейцев, краснофлотцев и командиров. Они надеются только на него… Но необвехованный так называемый «фарватер» полон мин. Куда уйти от них? Справа и слева минные поля. Раздумывать нет времени. Вперед! Осторожно, но только вперед. Хоть черепашьим ходом…

Военные корабли отражают атаки самолетов и катеров. Прикрывают транспорты.

Мины попадаются реже. «Папанин» вырвался на чистую воду. Можно прибавить ход.

— Вы поели бы, Александр Петрович, — говорит помполит Новиков, он тут же на мостике. — Ослабеете совсем.

Капитан отрицательно качает головой.

— Ладно, — на лице помполита появляется что-то вроде улыбки, — пойду распоряжусь, чтобы принесли горячего чаю…

Но он не успевает спуститься на палубу.

— Самолеты! Справа!..

Его голос, как и все звуки на судне, заглушает вой самолетов. Они близко. Вот они уже пикируют на «Папанина». Летят бомбы… Кровь сворачивается в жилах от их пронизывающего свиста. Оглушительно стреляют зенитки «Папанина».

— Право руль!

Бомбы падают в море, в нескольких десятках метров от судна. Они взрываются, поднимая пенные столбы. Гул проносится по воде.

— Еще одну отбили, — отирает пот Новиков, у него подрагивают губы. — Пойду за чаем…

Как будто самолеты оставили «Папанина» в покое. Улетели и пикируют где-то позади. Слышны взрывы, видна поднимающаяся

кверху вода. Надолго ли?

Александр Петрович входит в рубку. Так хочется прилечь, и так устали ноги от непрерывного стояния… Сбросить бы десяток лет — не было бы этой страшной усталости, она парализует все тело и мозг… «Прилягу на десять минут. Только на десять минут», — думает капитан и говорит Новикову, тот уже снова в рубке:

— Скажите помощнику, пусть побудет у телеграфа, смотрит внимательно. Я немного отдохну. Если что… немедленно… Черт возьми, как болит голова…

Начинает смеркаться. Это уже лучше. Но летние ночи короткие…

— Александр Петрович! На мостик! — раздается взволнованный голос второго штурмана. — След торпеды! Скорее!

Капитан не успел прилечь. Он уже около рулевого. Старческие, но опытные и еще зоркие глаза сразу заметили белую полосу на спокойной сиренево-розоватой поверхности.

— На торпеду! — закричал он и сам повернул штурвал. Торпеда прошла по борту…

Будет ли конец этим атакам? И какой конец? Позади и впереди тонут суда, мечутся катера, подбирают людей из воды. Неужели и «Папанина» ждет такая же судьба? Если такая же, то погибнет много его пассажиров. Они не могут не только плыть, а даже двигаться самостоятельно. Нет! Надо приложить все силы, все уменье, чтобы спасти людей…

Ленинград все ближе и ближе… Повеселели раненые бойцы. Уже то там, то здесь можно услышать шутку. Утро двадцать девятого встретило караван туманной дымкой. Хорошо! Не видны суда вражеским самолетам. Только бы держалась она подольше. Но солнце нагрело воздух, и к полудню видимость стала отличной. И тут снова начались налеты.

…Александр Петрович у телеграфа.

— Четыре «Ю -88» пикируют с подсолнечной стороны! — докладывает Масловский.

Так. Капитан перебрасывает ручку на «полный вперед».

— Право на борт! Курс — на самолеты!

Взмывают пенные фонтаны с бортов и по корме. Но цел «Папанин». Еще раз спас капитан судно. Уже виден Гогланд. От него недалеко до Ленинграда. Налеты следуют один за другим. Право, лево, назад! Но вот еще три «юнкерса» пикируют на судно. Удар страшной силы сотрясает корпус. Что-то под ногами трещит и рушится. Все тонет в дыму. Взрыв! Огромное пламя поднимается над палубой. Замолкла машина. На минуту

становится очень тихо: «Папанин» дрейфует к минному полю.

…Александр Петрович еще не успел оценить обстановку, как что-то острое, причиняя нестерпимую боль, толкнуло его в грудь, и капитан потерял сознание. Зазубренный осколок вошел в худенькое тело Голубчика и остался там, разорвав правое легкое. Капитан потерял много крови, но все же пришел в себя.

— Что с судном? — прохрипел Александр Петрович склонившемуся над ним Масловскому.

— Повреждена машина. Пожар на корме. Дрейфуем на минное поле.

— Подайте буксир на тральщик охранения, пусть тянет к берегу. Выбрасывайтесь… — Александр Петрович выплюнул сгусток крови.

— Александр Петрович, давайте мы передадим вас на тральщик. Там помогут. Здесь опасно. Подумайте о себе. Я все сделаю, что возможно…

Глаза Голубчика сердито блеснули.

— Я еще не передал вам командования, Александр Григорьевич. Немедленно выполняйте мое распоряжение. Немедленно! Вы меня поняли? И не трогайте меня больше.

Масловский и Новиков побежали на бак. Взметнулся бросательный конец, за ним пополз стальной трос, и через несколько минут военный тральщик потащил горящее судно к острову Гогланд. Команда «Папанина» тушила пожар, заводила пластыри на разорванные борта. Все понимали, что сейчас только от решительных и быстрых действий моряков зависит спасение бойцов, находящихся на борту теплохода. И судно достигло берега. Оно выбросилось на каменистый Гогланд. Приказ капитана выполнили. Три тысячи солдат, эвакуированных из Таллина, за малым исключением, были спасены. Не спасся капитан «Папанина», Александр Петрович Смирнов.

Когда Новиков, обожженный, черный от копоти, прибежал на мостик, старпома Масловского ранило осколком. Голубчик был без сознания. Он лежал у телеграфа, похожий на подростка, в луже крови и глядел строгими, осуждающими глазами в голубое спокойное небо. Он выполнил свой долг человека и капитана.

Его бережно подняли и передали на один из кораблей охранения, идущий в Кронштадт.

Теплоход «Андрей Жданов», госпитальное судно, пришел туда для того, чтобы принять с военных кораблей раненых и отвезти их в Ленинград. По широкому трапу поднимали на борт носилки со стонущими людьми. К старшему помощнику капитана «Жданова» подошла измученная, усталая женщина.

— Я буфетчица с «Ивана Папанина». Там, в трюме, Александр

Петрович Смирнов, наш капитан, кончается… — сказала она и заплакала.

Старпом бросился вниз. В углу, на нарах, лежал Александр Петрович. Его вынесли на палубу. Молодая женщина-врач сменила промокшие от крови по вязки. Голубчик не приходил в сознание. Он умирал. Моряки стояли опустив головы. Все было кончено.

Однажды на Дальнем Востоке мне пришлось увидеть теплоход «Капитан Смирнов». Я сразу вспомнил Голубчика, техминимум, красные огни в тренажере, героическую судьбу капитана… И я подумал: «Как трудно бывает распознать человека».

Океан

В начале тридцать седьмого года меня перевели в старшие помощники. К этому времени я имел порядочный штурманский опыт, был влюблен в море, в морскую службу и, конечно, в свою персону. Молодой, знающий, энергичный штурман… Так я думал. Английская фуражка с лакированным козырьком, синий макинтош, форменный костюм и ослепительный воротничок укрепляли меня в таком мнении, когда я не без удовольствия видел свое отражение в зеркале.

Я ходил почти во все страны континента, побывал на Черном море, плавал зимой в Мурманск за апатитовой рудой, летом в Архангельск за лесом, на Шпицберген за углем. Поэтому мне казалось, что я готов к любым рейсам, на любых судах. Ошибка всех молодых и не очень умных помощников.

Как-то меня вызвал к себе наш морской инспектор — Александр Александрович Афанасьев.

— Пойдешь на перегон. Акционерное Камчатское общество — «АКО» — купило в США пароход. Его надо доставить из Америки во Владивосток. Капитан и старший помощник будут от Рыбпрома, остальная команда наша. Имей это в виду. Капитан там рыбак, старичок, так что вся работа ляжет на тебя. Смотри…

Когда я вышел из Моринспекции, то раздувался от важности и тщеславия. Как же! Поручили такое серьезное дело. Наконец я увижу океан, поживу в Лондоне, поплыву пассажиром в Нью-Йорк на английском лайнере, попаду в Америку, пройду Панамским каналом… Интересно! А самое главное, я иду почти капитаном… Сказал же Александр Александрович, что вся основная работа ляжет на меня?

— Куда? — спросили товарищи, стайкой бродившие по коридору.

— В Америку уезжаю. На приемку, — с деланным равнодушием бросил я. — Месяцев, на девять.

— Вот это да! — вырвался завистливый вздох. На следующий день я познакомился с капитаном.

Яков Алексеевич Богданов, старый северянин, плававший на траулерах Мурманского рыбтреста, только что получил орден Трудового Красного Знамени за безупречную службу и какие-то совершенно астрономические уловы трески. Он знал Баренцево море, как колхозник свое поле. Послали его на приемку судна в США в виде поощрения, вернее на «отдых» после суровых плаваний в холодных северных морях. К пальмам, тропикам, солнцу, фруктам. Маленький, с рыжеватыми волосами,

коренастый Яков Алексеевич, несмотря на свой возраст, был еще очень крепок, много курил из короткой прямой трубки. Поглядев на мой блестящий вид и выслушав пространный доклад о намеченных мною мероприятиях, он иронически хмыкнул:

— Ты давай делай. Там посмотрим…

Я развил бешеную деятельность. Каждый день встречался с командой, давал указания, сам бегал высунув язык, загонял совсем своих помощников. Надо было оформить документы, получить визы у консула США, специально приехавшего для этой цели из Москвы в Ленинград, захватить с собою кое-какой инвентарь и снабжение, позаботиться о проездных билетах в бюро путешествий «Дерутра»… Дел набралось порядочно.

Яков Алексеевич, попыхивая своей трубкой, на всю эту суетню смотрел иронически, вероятно считая, что, бегай не бегай, все рано или поздно утрясется. Так в итоге, конечно, и вышло.

Мы погрузились на «Смольный» и поплыли в Лондон, откуда должны были следовать дальше. Странное это чувство, когда человеку, привыкшему что-то делать на судне, делать ничего не надо. Пассажир! Ходи по палубе, гляди вокруг, любуйся морем. Ну, а когда, прожив две недели в Лондоне в ожидании подхода лайнера, мы наконец вышли на Нью-Йорк на огромном английском теплоходе «Джорджик», то совсем отрешились от реального, привычного для нас мира. Днем на расчерченной квадратами палубе гоняли клюшками деревянные шайбы, валялись в шезлонгах, а вечером танцевали в салоне с иностранками или азартно резались на «скачках», ставя свои шиллинги на фанерных лошадок.

В Нью-Йорке нас встретили представители «Ам-торга», любезно показали город, после чего, посадив в автобусы, отправили в Балтимору. Там стояло наше будущее судно. Сказали, что называется оно «Commercial Floridian». Поздно вечером мы прибыли на завод, где ремонтировался пароход.

Он не произвел должного впечатления. Это было старое небольшое судно типа «Лейк», времен первой империалистической войны, грузоподъемностью около трех с половиною тысяч тонн. У американцев оно ходило по побережью и в Мексиканский залив. Купили его недорого, перевозить грузы «АКО».

Перед уходом из Балтиморы мы приобрели навигационные пособия. Карты, лоции, книги. Особенно я гордился толстым томом в синем переплете — «Ocean World Passadges» — лоцией океанов, где широко освещались рекомендованные пути для судов всех типов. Книга стоила дорого, и капитан долго не соглашался на ее покупку, но я его убедил.

Закончив ремонт, погрузив полный груз белой жести для изготовления консервных банок, «Щорс» — так назвали пароход — вышел в океан.

Я сразу понял, что это совсем иное, чем море. И несмотря на то что мы были подготовлены к встрече с океаном — якорные клюза зацементированы, все закреплено намертво, трюма надежно задраены, — я испытывал беспокойство.

Океан явно хитрил. Он ласково подмигивал нам солнечными бликами с совершенно гладкой зеленовато-голубой воды. Ночью в черном небе зажигались такие яркие, крупные звезды, что они казались электрическими лампочками. Океан посылал нам светящихся медуз, косяки дельфинов, поднимавших вокруг судна огненные фонтанчики фосфоресцирующей воды, летучие рыбы падали на палубу, сталкиваясь с надстройкой.

Несмотря на безветренные солнечные дни, теплые тихие ночи, океан никогда не оставался спокойным. На невидимых волнах он поднимал и опускал судно медленно, неторопливо, с улыбкой, и наш пигмей, который сразу почувствовал свое ничтожество перед величием и беспредельностью океана, гневно шипел, пытаясь разрезать своим штевнем его величественную грудь.

Люди спрашивали друг друга:

— Что за черт? Вроде бы ветра нет, тишина, а нас качает все время?

Океан усыплял нашу бдительность.

Прошли Атлантику, Панамский канал, за кормой остался Лос-Анжелос, проложили курс на Гавайи. Всю дорогу нам сопутствовала хорошая погода, солнце, голубое небо, слабые ветры.

Океан продолжал отечески баюкать «Щорса», но тот почему-то все шипел и шипел, распуская сердитые усы под носом. Наверное, он не доверял океану. Старик пароход много испытал в своей жизни. Его было трудно обмануть. А мы совсем успокоились…

«Щорс» зашел в Гонолулу пополнить запасы пресной воды, продовольствия и топлива. Город благоухал цветами. Они росли даже на причалах. Большие разноцветные бабочки порхали в парках, бананы росли прямо на улицах, с плантаций долетал аромат ананасов. Стоило покинуть центр города, как ты слышал шум прибоя. Это океан приглашал порезвиться на фешенебельном пляже Вай-Кики-бич. Американцы в своих рекламных проспектах называли Гонолулу «земным раем», но это не помешало им почти полностью уничтожить коренное население. Его осталось не более десяти тысяч.

Из открытых дверей маленьких баров звучали гавайские гитары, и каждому, кто входил туда, на шею надевали венок из белых цветов. Таков был обычай.

Близился Новый год. В городе праздновали рождество, но температура не падала ниже двадцати градусов. Люди ходили в светлых костюмах, а то и совсем без пиджаков.

Нам предстояло простоять в Гонолулу четыре-пять дней.

В один из вечеров, закончив все судовые дела, Яков Алексеевич пригласил меня в город.

— Сходим на берег, чиф. Жарко. Пивка попьем.

Мы нашли уютный бар с видом на гавань, выбрали столик под открытым небом на веранде и с наслаждением принялись за пиво. Темнокожая девушка принесла его в жестяных запотевших банках. Было уже темно. Стоящие на рейде суда угадывались по желтым якорным огням.

— Замечательное пиво, — проговорил Яков Алексеевич, с удовольствием отпивая из бокала. — Нам бы в Мурманск такое. С пивом у нас плоховато.

— Вы можете мне сказать, — перескочил я на другую тему, — как вы рыбу находите?

Капитан хитро подмигнул мне:

— Не поймешь. Это тебе не курсы на карте прокладывать. Посложней, брат.

Я хотел обидеться, но не успел.

Высокий краснолицый толстяк, видимо услышав наш разговор, встал из-за соседнего столика и подошел к нам.

— Корошо. Здравствуй, — проговорил он, смешно коверкая слова, и уже по-английски спросил: — Русские? С того парохода, что стоит на рейде? Можно, я сяду с вами? Я капитан с американского танкера «Viking». Я видел вашего малыша.

Мы тоже видели «Viking». Он стоял недалеко от нас. Огромный, выкрашенный светло-шаровой краской, с зеленой подводной частью и кремовой надстройкой. Тысяч на пятнадцать. Для того времени — гигант.

— Куда идете? — спросил американец, наливая себе пива из банки, которую принес со своего стола.

— Во Владивосток.

— О! Далекий путь. — Капитан недовольно поджал губы. — Январь месяц. Плохое время. В океане свирепые норд-весты… Как предполагаете идти?

Желая показать, что мы прекрасно знаем, с «чем кушают океан» и как в нем плавают, я небрежно бросил:

— Как обычно. По дуге большого круга. Американец с любопытством взглянул на меня.

— Очень уж северно. На таком маленьком судне… Я бы не советовал идти так, капитан, — повернулся он к Якову Алексеевичу. — Я часто бываю во Владивостоке. В зимнее время года я прокладываю прямой курс из Гонолулу на Сангарский пролив. Это удлиняет путь миль на шестьсот-семьсот, зато я не встречаю штормов, которые дуют севернее моего курса, именно там, где проходит дуга большого круга.

Яков Алексеевич довольно хмыкнул, посмотрел на меня. Учись, мол, салага.

— Так что я настойчиво рекомендую вам прямой курс, — продолжал американец, — проиграете в расстоянии, выиграете во времени.

Я был смущен. Такой просвещенный штурман, почти капитан, оконфузился, как четвертый помощник.

Как только судно вышло из порта, я, с согласия капитана, проложил прямой курс, в душе благодарный американцу за добрый совет.

Погода ухудшилась сразу после нашего выхода из Гонолулу. Потихоньку запел ветер в вантах, увеличилась качка, стрелка барометра опустилась на четыре деления.

Сменившись с вахты в двадцать часов, я пошел спать. Улегся на койку, погасил свет, но непонятная тревога не давала мне уснуть. Я все прислушивался к скрипу судна — старик здорово скрипел, — к свисту ветра, к шуму океана… Но в конце концов задремал. Пробудился я от мощных ударов в борт и усилившейся качки. Взглянул на часы. Половина третьего. До начала моей вахты оставалось полтора часа. Иногда судно содрогалось всем корпусом, слышалось, как бешено крутился оголенный винт, пароход валило то на правый борт, то на левый. Я решил посмотреть, что делается на палубе. Попытался встать на коврик, но меня бросило в противоположный угол каюты. Кое-как, придерживаясь то за стол, то за переборку, мне удалось одеться.

Кормовую палубу тускло освещал электрический плафон. То, что я увидел, заставило меня поежиться от неприятного нового чувства. Наверное, это было чувство страха. Я увидел, как гигантская черная стена несется откуда-то сбоку из ревущей тьмы и с грохотом обрушивается на судно. Палуба, похожая на переполненное корыто, долго держала воду, пока корма не поднималась кверху и вода не стекала обратно.

На полуюте жила команда. Там была одна дверь, через нее люди могли выйти на палубу. Но как они переберутся в среднюю надстройку, когда надо покрыть расстояние в двадцать пять метров по беснующемуся океану?

Перебежав на подветренный борт, хватаясь за поручни, я кое-

как добрался до мостика. В закрытой рубке, заклинившись между телеграфом и батареей парового отопления, с неизменной трубкой в зубах стоял капитан. Второй помощник двумя руками обнимал пиллерс, стараясь удержаться в вертикальном положении. Матрос вцепился в штурвал. Дверь в рубку захлопнулась со страшным грохотом. Я скользнул по палубе, и меня, как неумелого конькобежца, поднесло к диванчику.

— Кажется, здорово дает? Норд-вест? — бодрическим голосом спросил я.

Вопрос можно было не задавать. Я сам прекрасно видел, что «дает» здорово и дует норд-вест.

— Угу, — буркнул капитан, сплевывая прямо на палубу рубки. Раньше он этого никогда не делал.

— Барометр 730, — сказал второй помощник. Через переднее окно я пытался рассмотреть океан.

Ничего нельзя было увидеть, кроме каких-то белых полос, с ревом надвигающихся на судно. «Щорс» падал во тьму, волны с грохотом ударялись в надстройку, взмывая кверху пенными фонтанами. Вода стекала по окнам, на минуту открывалась чернота, потом снова бил фонтан и снова стекала вода…

По-настоящему страшное началось через двое суток. Стрелка барометра резко упала, к восьми часам утра океан неистовствовал. Я попадал в штормы и раньше, но подобного не видал. Огромные, высотою не менее десяти метров волны со страшными ревущими гребнями неслись на судно. Вот они обрушатся на «Щорс» и разобьют все вдребезги, а волны придавят его навечно. Но старик, обливаясь потоками рвущейся обратно в океан воды, вползал на зеленую гору, застывал на несколько секунд на вершине и смело бросался в пропасть, чтобы опять, собравшись с силенками, начать новое восхождение. К счастью, волны шли не прямо на судно, а под углом к курсу. Гребни только краем задевали пароход. Измерили силу ветра. Анемометр показал — девять баллов, порывами до одиннадцати. Ход снизился до трех-четырех миль в час. К вечеру под полуютом выбило иллюминаторы и погнуло стальную дверь. Вода проникла в помещения. Команда с трудом перебралась в среднюю надстройку. Спали в кают-компании и столовой. Всем хотелось держаться вместе. А океан все ревел, гремел, стрелял, как из сотен орудий. Пугал нас сильнейшими ударами в борт, каким-то дьявольским свистом ветра и внезапным креном. Положит судно градусов на тридцать и держит так несколько секунд. То ли оно встанет, то ли никогда больше не поднимется.

Океан мстил нам за недели спокойного плавания, за солнце, за неуважение к нему, за наши мысли: «Подумаешь, океан!»

Человек привыкает ко всему. Привыкли и мы к шторму. Правда, каждый час мы с надеждой смотрели на барометр, ждали прогнозов по радио, слушали ветер: не ослабевает ли. Все было неутешительным. Прогноз предсказывал сильные десятибалльные ветры, а стрелка и не думала подниматься. Но так или иначе «Щорс» шел вперед.

На пятнадцатые сутки плавания, когда нас уже окончательно измотали качка, грохот, волны, заливающие судно, — лопнул штуртрос. Пароход развернуло лагом к волне. Он беспомощно качался где-то у подножья зеленых гор. Это могло окончиться трагически. Требовался немедленный ремонт лопнувшей цепи. Идти на полуют должен старпом. С дрожью в голосе и в ногах, полувопросительно я сказал капитану:

— Так я пойду?

В рубке все звенело от ветра, но я услышал, как кэп, пыхнув трубкой, прохрипел:

— Давай иди. Если что, то я… — и махнул рукой.

Что он хотел этим сказать?! Раздумывать было некогда. На кормовой части спардека стояла вся палубная команда.

— Кто со мной? — спросил я.

Только сейчас до меня дошло, что именно старпом первым должен лезть на этот страшный полуют. И никто другой.

— Я пойду, — вызвался второй механик Коля Колесников.

— Больше пока людей не надо, — приказал я. — Пойдете по нашему сигналу.

Когда корма поднялась и палуба освободилась от воды, мы ринулись на полуют. Вторая волна застала нас уже сидящими на корточках, за лебедкой. Мы крепко вцепились в нее руками. Никакая сила не смогла бы оторвать нас. Все оказалось не таким уж страшным. Вскоре прибежали боцман с матросами. Часа через полтора повреждение устранили. «Щорс» дал ход и заковылял дальше, к заветным берегам Японии.

Я вернулся на мостик, совершенно обалдевший от грохота, воды, соли, попавшей в рот и глаза, с исцарапанными в кровь руками, злой, проклиная все на свете: и «Щорс», и океан, и американца. Как только я немного пришел в себя, я схватил с полки книгу «Ocean World Passadges», для того чтобы уничтожить, вырвать лист с такими преступными рекомендациями… Но к своему ужасу и стыду, прочел: «…судам, следующим из Гонолулу в январе месяце к берегам Японии, имеющим слабые машины и небольшой тоннаж, для того чтобы избежать встречи с сильными норд-вестовыми штормами, следует спускаться к югу до широты такой-то, долготы такой-то, после чего проложить прямой курс на Иокогаму и только отсюда идти на Сангарский пролив…»

Идиот! Не соизволил перед уходом из Гонолулу открыть книгу. Послушался совета американского капитана, совершенно не принимая во внимание, что у него огромное, крепкое и мощное судно. Для него этот курс был хорош, для тебя мог быть гибельным. В рекомендованную точку идти уже не имело смысла. Мы прошли большую половину пути.

На двадцать первый день непрекращающегося хаоса мы влезли в Сангарский пролив. Отдали якорь и впервые за три недели вздохнули свободно, почувствовали, что можно выспаться. Нас перестало качать, ставить «на попа», бить, поливать сверху и снизу. Но в каком виде был бедняга «Щорс»! Парадные трапы смыло, помещения на корме залило водой, металлические трапы со спардека на палубе сорваны, релинги на полубаке либо отсутствовали начисто, либо были погнуты и смяты. Одну шлюпку разбило.

Я переживал все как личную неудачу. Считал виновником этих повреждений только себя. Собственно, так и было на самом деле. У меня не хватило мужества рассказать обо всем капитану и помощникам. Капитан забыл английский язык и вряд ли мог прочитать книгу, а помощникам хватало своих забот.

Океан здорово надавал мне по роже. Вдоволь поиздевался надо всем: над блестящим козырьком, над особенным макинтошем, белым воротничком, а пуще всего над моим самомнением и легкомыслием.

Меня убил капитан. Оказывается, он все прекрасно понял, правда понял тоже поздно, но сказал:

— Совет хорош, когда у тебя есть своя голова. Думать надо. Так-то, милок. Я-то на тебя понадеялся…

Я твердо усвоил на всю жизнь эту сентенцию: совет хорош, когда у тебя есть своя голова.

Мы пришли во Владивосток и, как приютские дети царского времени, в одинаковых черных кожаных «канадках» с серыми воротниками высыпали на улицы. Какое это было радостное ощущение — стоять на родной земле, после девяти месяцев отсутствия. Все смотрели на нас с любопытством: «Откуда такая команда? Наверное, спецгруппа какая-нибудь?» Но когда узнавали, что мы с нового, купленного в Америке парохода, то ахали:

— Ну и ну! Зачем только такую рухлядь купили?

Так говорили непосвященные. Повреждения у «Щорса», в общем — то, были пустяковыми, а вот пароход оказался хорошим. Достойным противником океана. Не подвела машина, закрытия люков, корпус. Груз доставили в полном порядке. И мореходом старик был отменным.

«Костер»

Путешествие на «Джорджике», океан, Америка, Гавайские острова произвели на меня большое впечатление. Я вернулся в Ленинград и всем рассказывал о своем плавании. В самом деле, для того времени рейс был необычным. Наши суда редко посещали те места, в которых пришлось побывать мне. Получив отпуск, я пребывал в приподнятом состоянии моряка, сделавшего кругосветный рейс и имеющего право небрежно вставлять в свои рассказы слова — «пассат», «муссон», «экваториальное течение», «дуга большого круга»… Кругосветным мое плавание можно было назвать с натяжкой, потому как большой кусок параллели из Владивостока в Ленинград был проделан по железной дороге, но об этом обстоятельстве я дипломатично умалчивал. Вышел из Ленинграда на запад, а вернулся в него с востока. Все правильно.

Однажды я шел по Невскому и вдруг вижу: на углу канала Грибоедова, против Дома книги, стоит последняя буква литературного содружества КЭБ — Витька Богданов. Я очень обрадовался. Выглядел он ослепительно — в лихо заломленной фуражке, синем буртоновском макинтоше и каких-то умопомрачительных ботинках, сверкавших как два маленьких солнца. Я бросился к нему. Мы не виделись несколько лет. Как-то не приходилось. Наши пароходы попадали в Ленинград в разное время. Кажется, и он был рад встрече. Я пригласил Витьку пойти выпить по кружке пива. Разве мог я пропустить такой случай похвастать своим последним рейсом? Мы заняли столик в «образцовой пивной», и я принялся рассказывать. Витька слушал с завистью. Когда я наконец закончил, он хлопнул меня по плечу.

— Слушай, ведь это интересно! Особенно, как вы плыли на «Джорджике». Писать надо, писать!

Как это не пришло мне раньше в голову? Конечно, надо писать, и писать немедленно! Во мне проснулся старый «кэбовский» журналист.

— А ты что делаешь, Витюля, в настоящее время? — спросил я.

— В отпуске.

— Давай напишем вместе, а?

Он пожал плечами:

— Я-то ведь с тобой там не был. Как же писать?

— Ничего, я тебе все подробно расскажу, разделим тему на две части и будем писать, как писали «Вторую Карскую». Напишешь, а я, если что-нибудь будет неточно, поправлю. Идет?

— Давай! — и глаза у него загорелись. Видно, «писательский

микроб», привитый Ефимом Береговым, жил в нем все это время.

Желание приступить сразу к работе было так велико, что мы, бросив свое пиво недопитым, купили бумагу и отправились ко мне. Решили написать рассказ. Долго спорили о том, что выбрать. Материала было много. Про Америку, про Гавайи или про океан? Остановились все же на путешествии через Атлантику. На одном эпизоде. Дело заключалось в следующем. На «Джорджике» советских моряков обидели. Когда в судовой типографии печатали памятные списки пассажиров, пассажирский помощник, антисоветски настроенный, демонстративно не внес в списки наши фамилии. Мы были возмущены и пожаловались старпому, заявив, что на лайнерах этой компании никогда впредь ездить не будем. Можно было думать, что мы путешествуем на их судах каждую неделю! Старпом извинялся от имени компании, заставил извиниться перед нами виновника, но изменить что-либо в списках было уже невозможно. Мы обиделись. И вот пассажирский помощник затеял традиционный концерт силами пассажиров. Он знал, что у нас есть прекрасный оркестр народных инструментов, певцы, танцоры, и очень надеялся, что мы примем участие в его концерте. Выступление моряков должно было быть гвоздем программы. Он обратился к нам. Мы отказались. Но все-таки концерт был объявлен. Тогда мы устроили свой концерт на передней палубе, для команды. Все пассажиры первого, второго и третьего классов устремились на наш концерт, и судовой концерт был сорван. Наша самодеятельность пользовалась огромным успехом. Было непринужденно и очень весело. Самые чванливые пассажирки первого класса с удовольствием отплясывали с нашими матросами и кочегарами. Незадачливый помощник скрежетал зубами от злости. На его концерте присутствовало лишь несколько малоподвижных стариков и старух.

Вот про это мы и решили написать с Витькой. Я подробно рассказал ему про концерт, и мы по опыту «Второй Карской» разделили «сферы влияния». Целую неделю мы упорно трудились. Читали друг другу написанное, вычеркивали, сокращали, браковали, переписывали заново. В конце концов рассказ был готов. Витька с выражением прочел его мне.

— По-моему, здорово, — сказал он, откладывая в сторону рукопись. — Не хуже, чем у Новикова-Прибоя. Как тебе кажется? Во всяком случае, если сравнить те рассказы, которые печатают журналы, то наш даже лучше. Читал я тут недавно в «Резце» рассказик «Печка»… Ну, я тебе должен сказать, галиматья какая-то. Как только печатают!

— Да… Рассказ наш, конечно, хороший, — согласился я с

Витькой. — Главное — необычная тема, новизна сюжета. Про море мало кто пишет…

Мы морально поддерживали друг друга. Она была необходима нам, эта поддержка, потому что и я, и Витька в душе не очень верили, что наш рассказ будет принят. Назвали его «Концерт».

— Я думаю, переделывать больше не будем. Можно отдавать на машинку? — спросил Витька. — Давай составим план, куда нам идти.

Мы наметили редакции журналов, куда должны были направиться: «Резец», «Смена», «Молодая гвардия», и последним в списке стоял журнал «Вокруг света». Получив от машинистки перепечатанный «Концерт», мы отправились по тернистому пути литераторов. Понесли первый рассказ.

В «Резце» какой-то тип в очках насмешливо посмотрел на нас, на блестящие козырьки, синие макинтоши и сказал:

— Рассказов не надо. У нас полный портфель рассказов. Теперь все пишут рассказы, и большею частью плохо.

— Почему плохо? — обиделись мы. — Вы почитайте, тогда будете говорить… Это про моряков.

— Все пишут про шахтеров, булочников, железнодорожников, моряков. Не надо. Журнал перегружен материалом. У вас все?

— Все. Жалеть будете. Продолжайте печатать «Печки» и подобную чушь, — сказал я, сжигая корабли. — Пошли, Витя.

Нам нечего было терять. Мы знали, что в «Резец» больше не придем. Очкастый с открытым ртом, вероятно пораженный нахальством авторов, уставился нам вслед.

В «Молодой гвардии» и «Смене» нас тоже постигла неудача. Там, пригласив сесть, нам вежливо и долго объясняли, что писать рассказы совсем не просто и лучше всего было бы, если бы мы годика два позанимались в каком-нибудь литературном объединении. «Концерт» мы, конечно, можем оставить, но прочитать и дать ответ быстро не обещают, вообще очень приятно, что моряки прямо с производства взялись за перо, но…

Когда мы покинули последнюю редакцию и вышли на улицу, я увидел, что Витька как-то сник.

— Может быть, на сегодня хватит? «Вокруг света» оставим на завтра?

— Витюля! Будь мужчиной. Вспомни Джека Лондона. Из скольких редакций его выгоняли, сколько неудач он претерпел, зато потом… Какая слава! Не сдаваться! Иначе я вынужден буду отдать тебя в литобъединение, как советовала эта подстриженная дева из «Молодой гвардии».

— Ну ладно. Двинули дальше.

В редакции «Вокруг света» происходило что-то непонятное. По комнатам метались сотрудники с перевязанными бечевой папками, рабочие оборачивали мебель мешковиной, выносили шкафы, за некоторыми столами еще работали редакторы, звонили телефоны… Мы подошли к одному столу и сказали, что принесли рассказ для журнала.

— Опоздали, морячки, опоздали, — засмеялся редактор, запуская обе пятерни в густую шевелюру. — Журнал закрывается. Вот так. Опоздали.

Мне почему-то показалось, что он рад тому, что мы опоздали. А может быть, это была излишняя подозрительность, возникшая после посещения других редакций. Не успели мы еще уйти, как из двери напротив выскочил небольшой коренастый человек. Увидя нас. он замер на пороге и, расплывшись в улыбке, закричал:

— Моряки! Зачем пришли? Материал принесли? Эх, черт возьми, неудачное время. Закрываемся, понимаете. Давай заходи. Садитесь. Я сам из моряков, служил когда-то на Балтийском флоте.

Мы ее ждали такого радушного приема. На душе как-то сразу полегчало, захотелось рассказать этому человеку о всех наших перипетиях. В маленьком кабинетике мы уселись на диван.

— Ну, так с чем пришли, что принесли? — спросил нас человек, усаживаясь за стол.

— Простите, а вы кем тут работаете? — поинтересовался Витька.

— Я главный редактор Селифонов.

Мы начали рассказывать ему о «Концерте», и потом как-то незаметно разговор перешел на плавание, пароходство, флот. Селифонов заразительно смеялся, когда я вспомнил про «Вторую Карскую» и содружество КЭБ.

— Все это интересно, ребята, — сказал Селифонов, становясь серьезным, — но вот беда: я даже не могу прочитать ваш рассказ. Оставлять его нам не имеет смысла, но кто-то должен вами заинтересоваться… Погодите, погодите!

Главный редактор сорвал с телефонного аппарата трубку, назвал номер.

— Здорово, Петро. Как жизнь молодая? Ничего? Ага, кончаемся… Слушай, я тебе сейчас двух моряков подошлю. У них интереснейший материал… Сам бы взял, да, понимаешь, не до того… Ну, ладно. Посмотри там… Пока, будь жив. — Селифонов положил трубку на место. — Вот что, моряки. Идите в журнал «Костер», есть такой, помещается в Доме книги. Идите прямо к главному. Он с вами поговорит. Успеха вам, моряки.

Надо было ехать обратно в Дом книги. По пути мы купили

журнал «Костер». До сегодняшнего дня мы о нем не слыхали. Журнал был красочный, хорошо иллюстрированный. Но Витька, повертев «Костер» в руках, полистав его страницы, разочарованно сказал:

— Пионерский. Мы-то ведь для взрослых писали…

В «Костре» нас уже ждали. Когда мы вошли в небольшую комнату на пятом этаже, все находившиеся в ней сотрудники с любопытством повернули головы в нашу сторону. Посреди стоял светловолосый, светлоглазый молодой человек и улыбался.

— Мы хотели видеть главного редактора, — сказал я.

— Я главный редактор, — отозвался молодой человек. — Это и есть те моряки, о которых мне звонил Селифонов?

— Это и есть.

— Ну, так садитесь и рассказывайте, с чем пришли.

Мы уселись и сразу принялись говорить о «Концерте». О чем написан рассказ, как там развиваются события, что это подлинный материал и все правда. Молодой человек слушал нас не перебивая, с доброжелательной, слегка ироничной улыбкой.

— Знаете что, — вдруг сказал главный редактор, — не будем о рассказе. Вы оставьте его нам, мы почитаем, оценим, и если подойдет, то напечатаем. Морская тема очень нужна. — При этих словах я победоносно взглянул на Витьку — что, мол, я говорил? — Вы лучше нам расскажите, как живется, как у вас там на флоте, куда плаваете, кого видите, — продолжал главный редактор. — Сейчас чай с булочками принесут. Чайку попьем. Вешайте ваши пальто и рассказывайте. Не стесняйтесь.

Мы разделись, немного смущенные непривычной обстановкой, принялись за чай, который принесла женщина на огромном подносе. Через десять минут мы чувствовали себя в редакции как на судне. Люди там оказались простые, милые, с большим чувством юмора, а мы с Витькой славились как заправские «травилы». Уж чего-чего, а рассказывать всякие истории мы умели. Да и рассказать нам было что.

Просидев в редакции около часа, мы стали прощаться.

— Приходите через неделю. К этому времени мы прочитаем ваш «Концерт», — сказал главный редактор. — Судя по тому, как вы рассказываете, и писать вы должны неплохо.

Выйдя из редакции в коридорчик, мы остановили первую пробегавшую мимо девчонку и спросили:

— Скажите, пожалуйста, как фамилия главного редактора «Костра»?

— Петя Капица.

— Кажется, ничего парень, этот Петя Капица, — сказал мне Витька, когда мы спускались вниз по лестнице. — Он мне

понравился.

— Да, там, по-моему, все ребята ничего, — согласился я. — Хоть приняли как людей.

Через неделю, когда мы вновь пришли в редакцию, Капица сказал нам:

— Ну что ж, моряки. Нам понравился ваш рассказ. Напечатаем. Если есть что-нибудь еще — приносите.

— Конечно, есть, — заверили мы главного редактора и, не задерживаясь, отправились ко мне, чтобы приняться за второй рассказ. Мы назвали его «Случай в Гамбурге». В нем говорилось о фашистах, устроивших провокацию на советском судне. Они подбросили на борт коммунистические листовки и хотели обвинить капитана в нелегальном провозе их в Германию. Но благодаря бдительности вахтенного матроса провокация не удалась. Он заметил листовки, и их заблаговременно сожгли в котельной топке. «Коричневые» пришли с обыском и ничего не обнаружили. Случай был подлинный. Рассказ получился живой, интересный. Мы снесли его в «Костер».

У Витьки кончился отпуск. Он ушел в море. Я остался на берегу и с нетерпением ждал выхода в свет «Костра» с нашим рассказом. И вот наконец журнал у меня в руках. Лихорадочно листаю его страницы, ищу наши фамилии. Пока нет… А может, вообще нет? Скорее в оглавление. Вот!.. Страница тридцать шестая. О, какой шик! Заставка — по неспокойному морю плывет огромный красавец-лайнер, немного ниже замысловатым шрифтом выведено — «Концерт», и слева, мелко — наши фамилии. Здорово! Непередаваемое чувство счастья, гордости, какого-то детского восторга. Хочется показывать журнал каждому и спрашивать: «Читали рассказ «Концерт»? Хороший?»— и потом скромно заметить: «Это я, между прочим, его написал. Читайте в следующем номере «Случай в Гамбурге». Тот еще интереснее». Но это только в мечтах. Пока я читаю «Концерт» сам. Читаю несколько раз. Очень хорошо написали!

«Случай в Гамбурге» напечатали в следующем номере. У меня появилась уверенность, что я могу писать. Витька был далеко в море. Я начал работать один. Голову наполняли сюжеты морских рассказов. Теперь я часто заходил в «Костер». Мне было уютно в редакции. Ко мне относились по-дружески, охотно слушали морские истории, приглашали на совещания детских писателей, проводившиеся при журнале. Тут я впервые в жизни увидел таких известных писателей, как Каверин — он печатал в «Костре» свой роман «Два капитана», — хорошенькую голубоглазую Ольгу Берггольц, Евгения Шварца, Льва Успенского, поэтов Гитовича и Владимира Лившица. Я глядел на них с восхищением и гордился

своей причастностью к литературным кругам. Правда, на писательских совещаниях я всегда молчал: стеснялся, чувствуя, что еще очень далек от того, чтобы выступать как равный и сказать что-нибудь дельное. Зато я слушал жаркие споры о том, какой должна быть детская литература, как надо писать, почему дети не принимают дидактики.

Когда кончился мой отпуск и я ушел в море, то стал чем-то вроде специального корреспондента. Посылал в «Костер» свои письма из-за границы и советских портов, куда заходило мое судно.

За два года сотрудничества в «Костре» я написал больше десяти очерков и рассказов: «Туман», «Первый рейс», «Драгоценный груз», «На остров Сахалин» и другие. В 1940 году в «Костре» был напечатан мой очерк «Сегодня в Таллине». Он был последним. Тревожное предвоенное время, утомительные рейсы, короткие стоянки прервали тогда мои занятия литературой и связь со ставшим для меня родным «Костром».

Школа

Вскоре после моего океанского рейса на «Щорсе» я снова получил назначение на теплоход «Смольный», но уже старшим помощником. Капитана Зузенко на нем не было. Судном командовал Михаил Петрович Панфилов.

«Смольный», как и прежде, держал линию между Ленинградом и Лондоном и для того времени считался комфортабельным судном. Пассажиры-иностранцы с удовольствием путешествовали на нем, любили русскую кухню и заведенные здесь порядки.

Я приехал на теплоход поздно вечером. Шла погрузка. «Смольный» стоял залитый светом электрических люстр. Гудели краны. Иллюминаторы и окна пассажирских кают были освещены. Я остановился и долго любовался судном. На таких мне еще старпомом плавать не приходилось. Вступив на палубу, я услышал, как приятно «мурлычет» судовое динамо и чуть заметно дрожит корпус. Меня встретил чисто одетый приветливый вахтенный.

— Вы новый старпом? — спросил он, взглянув на мои нашивки. — Ждем. Давайте вещи, помогу.

Он провел меня в каюту старшего помощника.

— Старпом будет завтра. Он предупредил, чтобы я вас сюда поселил. Располагайтесь.

— А Михаил Петрович на судне?

— Дома.

— Не спит?

— Нет. На баяне играет.

Я удивился. На баяне? Почему на баяне? Раньше Панфилов на баяне не играл. Мне захотелось сразу же повидать капитана. Я не видел его несколько лет. Каким он стал? По мягкой, вишневого цвета дорожке, расстеленной в коридорах и на трапах, я поднялся наверх и остановился у двери в капитанскую каюту. Оттуда доносились нестройные звуки баяна. Я постучал. Играть перестали, и я услышал:

— Пожалуйста!

Капитан сидел посредине каюты на табуретке-раскладушке с перекинутым через плечо черным ремнем и держал в руках большой многорядный баян. Он не удивился моему приходу:

— Ну, здравствуй. Я просил в отделе кадров, чтобы вместо Игоря Васильевича прислали тебя. Тот уходит на другой пароход. Как живешь?

Он заметил мой недоуменный взгляд, брошенный на баян,

смущенно улыбнулся:

— Новое увлечение. Пока плохо получается. Но ребята просили выступить на концерте самодеятельности. Вот и разучиваю. Послушай…

Он склонил голову набок, заиграл довольно бодро «Донну Клару», но через некоторое время сбился с мелодии.

— Как?

— Не очень-то важно, — засмеялся я.

— К концерту подготовлю, — сказал капитан, снимая баян. — Садись.

Мы уселись в кресла.

— Когда придет старпом, примешь у него дела. Побыстрее только. Послезавтра отход. Команда здесь хорошая. Особенно можешь положиться на боцмана. Кто? Павел Иванович Чилингири. Слыхал? Славится на все пароходство как лучший такелажник. С помощниками познакомься. Тоже неплохие ребята. Я думаю, что тебе надо знать о моих требованиях к старпому.

— Обязательно.

— Так вот… Порядок такой. Я все делаю в пароходстве, ты — на судне. После прихода «Смольного» в Ленинград я уезжаю домой и возвращаюсь на борт только к подписанию коносаментов. Если встретятся затруднения, звони по телефону. Я приеду немедленно. Справишься? — Капитан испытующе взглянул на меня.

— Не знаю, Михаил Петрович. На таком большом судне я еще старпомом не плавал.

— Значит, я ошибся, что попросил тебя? Я вспыхнул:

— Я полагал, что всегда сумею получить у вас совет…

— Но ты ведь старпом. А если я неожиданно умру в море? Тогда тебе придется решать еще более трудные задачи. Ладно. Не бойся. Пока иди спать. Поздно уже.

Я вышел. Самолюбие мое было задето. А вдруг в самом деле не справлюсь? Иностранцы пассажиры, сложные генеральные грузы, ресторан, много обслуживающего персонала… Отказаться, пока не поздно? Нет, надо попробовать. Чего, собственно, бояться? Судно как судно. Ну, немного больше, чем те, на которых я плавал. Ничего.

Михаил Петрович обманул меня. Он приходил на «Смольный» ежедневно, но ни во что не вмешивался. Капитан здоровался со мною, задавал несколько ничего не значащих вопросов, поднимался к себе и наблюдал за всем, что делается на судне. А я из самолюбия его ни о чем не спрашивал, хотя иногда очень хотелось.

Команде Михаил Петрович дал объективную оценку. Многие

плавали на «Смольном» с постройки и уж во всяком случае не менее трех-четырех лет. Уходили в отпуск, отдыхали и снова возвращались. Все знали друг друга, сплавались и стали крепким спаянным коллективом.

Еще одно важное обстоятельство отличало «Смольный» от пяти других таких же, как он, теплоходов, плавающих в Балтийском пароходстве на Лондонской линии. На передней стенке пассажирской надстройки «Смольный» носил большое искусно написанное художником изображение известного значка КИМа. Это означало, что «Смольный» комсомольско-молодежное судно. Действительно, экипаж на теплоходе, за исключением старшего комсостава, был молодым. Объединил и задал тон на судне Александр Михайлович Зузенко и парторг — хороший парень, четвертый механик Леша Посецельский. Он обладал удивительной способностью организатора. Я помнил его еще со времени моего плавания на «Смольном» третьим помощником капитана. Теперь Леши, к сожалению, не было, но то доброе, что он заложил вместе с Зузенко, росло и крепло. Любовь к своему судну, высокая дисциплина, гордость за успехи всей команды ставились здесь превыше всего. Равнодушных на «Смольном» я не встретил. Соревновались со своими «однотипами» не формально, а с душой, болезненно переживая неудачи и бурно радуясь успехам.

Вот на какое судно я попал. Быть старпомом на «Смольном» считалось за честь. Меня это обязывало ко многому. Патриотом судна и сторонником заведенных там порядков я стал сразу же после нескольких дней пребывания на теплоходе. То, что я увидел, казалось необычным. Несмотря на уважение и любовь, которыми пользовался Михаил Петрович, он как-то оставался в тени. На других судах я только и слышал: капитан, капитан, капитан. Ни один вопрос не решался без капитана. На «Смольном» каждый так хорошо и добросовестно выполнял свои обязанности, что вмешательство капитана требовалось очень редко.

Команда приняла меня настороженно. Подойду ли я ей?

Смешной вопрос. Подойдет ли старпом команде?

Тем не менее здесь было так. Ко мне относились с прохладцей, — вежливо, быстро выполняли все мои распоряжения, но во всем чувствовалось, что пока я еще не свой, не «смольнинский», что ко мне присматриваются.

А боцман, Павел Иванович Чилингири, такелажный «ас», моряк до мозга костей, ялтинский грек, часто понимавший в морском деле больше иного старпома, сразу начал свои проверки. Достоин ли новый старший быть на судне, в которое он, Павел

Иванович, вложил свою душу, любовь, опыт и знания?

Он появлялся вечером у меня в каюте, в чистой, до белизны выстиранной робе, просил разрешения сесть и принимался как бы невзначай задавать свои «хитрые» вопросы, делая вид, что он сам в чем-то сомневается или не знает чего-то. Я разгадал его план и всеми старался не провалиться на этих экзаменах.

— Так что, чиф, будем делать завтра? — спрашивал боцман, наклоняя набок почти лысую голову с лихо торчавшими у лба тремя волосинами. Его карие южные глаза источали готовность согласиться с любым моим предложением.

Я начинал перечислять все работы на следующий день, которые, по моему мнению, надо было делать. Чилингири согласно кивал головой, потом неожиданно прерывал меня. Вроде бы советовался:

— Понимаешь, что-то у меня шаровая очень светлая выходит… Добавлял черни, гроб получается. Колер не тот. Оттенок…

Это был подвох. Боцман прекрасно знал, что надо делать в таких случаях, как получить нужный колер, но тут он ждал моего ответа. К счастью, плавание на «Мироныче» с таким боцманом, как Август Нугис, не прошло для меня даром. Я кое-что помнил.

— Попробуй прибавить киновари.

Боцман удовлетворенно хмыкал. Исподволь он проверял меня и на других работах. Как заделать разошедшийся шов в питьевом танке, можно ли погрузить на нашу палубу тяжеловес в девяносто тонн, в какой из трех шкивов блока первым продергивается ходовой конец шлюп-талей…

Окончательно он принял меня как старпома, когда я сделал ему замечание, заметив несколько бочек с вином, погруженных пробками вниз. Это не полагалось. За погрузкой наблюдал боцман. Он очень смутился, но, как мне показалось, остался доволен. Старпом смыслит в деле. Скоро с Павлом Ивановичем Чилингири мы стали большими друзьями.

Недавно я встретился с Константином Ивановичем Галкиным, помполитом одного из судов Балтийского пароходства. В мою бытность старпомом на «Смольном» он плавал там матросом. Мы не виделись много лет и не уставали вспоминать прошлое — команду, теплоход, Михаила Петровича, плавания. Вспомнили и мое появление на «Смольном».

— Теперь могу сказать вам откровенно, — засмеялся Костя, — в первые дни не очень-то вы нам понравились. Нам казалось, что вы не доверяете команде. Мы привыкли, чтобы нам доверяли и уважали. Гордились своей репутацией отличных матросов. Отвечали за каждого… Не буду врать, присматривались

к вам до того самого случая, когда вы нас отпустили… Помните?

Я сказал, что помню. В одну из стоянок в Ленинграде, за несколько часов до отхода, ко мне в каюту явилась делегация из матросов с необычной просьбой.

— Сегодня у Васильева день рождения. Отпустите нас, пожалуйста, его поздравить, — сказал Толя Александров, маленький, задиристый матрос, и перечислил фамилии тех, кого я должен был отпустить. — Мы все свободны, пять человек. На вахте Бонч и Лисицын. К отходу вернемся как часы.

Я растерялся. Как принять эту просьбу? Как шутку, насмешку, издевательство? Уходим через несколько часов в Лондон, а ребята просятся в гости! Там они, конечно, «напоздравляются», придут на судно пьяные, надо принимать пассажиров, а еще, не дай бог, кто-нибудь отстанет от рейса… Скандал! Все шишки посыплются на меня. Скажут: «Только идиот мог отпустить в гости всю палубную команду перед самым отходом. Последствия можно было предвидеть…»

Эти мысли в одну секунду пронеслись у меня в голове, и я уже хотел открыть рот, чтобы отказать матросам, но не успел. Кто-то из них сказал:

— Не беспокойтесь. Придем точно, ни в одном глазу.

Я взглянул на матросов и интуитивно почувствовал, что должен рискнуть, что их надо, необходимо отпустить, иначе…

— Ладно, поезжайте, — спокойно (дорого далось мне это спокойствие) сказал я. — Быть на борту ровно в двадцать один час. Не позднее.

Матросы поблагодарили и ушли, а я остался в каюте в тревоге и сомнениях. Но я хорошо понял одно: не отпусти я их, меня навсегда перестанут уважать, никогда я не стану своим, потому что не доверяю своему экипажу. Я видел глаза матросов. Они глядели на меня выжидающе и насмешливо. Мне даже показалось, что они ждут отказа и не будут им очень опечалены. Откажет старпом, и они узнают, чего он стоит, как относится к команде.

…Стрелки часов приближались к двадцати одному. Три трюма закрыли, оставалось догрузить еще немного в первый номер. У борта уже стояли буксиры. Матросов не было… Я метался по каюте, проклиная ту минуту, когда смалодушничал, слиберальничал и отпустил пять человек палубной команды. Ну, двух еще куда ни шло. Но пять! Болван!

Ровно без пяти минут девять к борту «Смольного» подкатили два такси. Это приехали матросы. Они зашли ко мне в каюту, доложили:

— Прибыли все, товарищ старпом. Вина не пили, если не

считать по одной стопке за новорожденного.

Я и сам видел, что ребята совершенно трезвые.

— Хорошо, можете идти, — небрежно бросил я, чувствуя невероятное облегчение. Я готов был расцеловать каждого за то, что он вернулся…

— …А когда вы нас тогда отпустили, — продолжал Костя Галкин, — Сашка Иванов — помните его? — сказал: «Этот старпом гвоздь. Его предшественник нас бы ни за что не отпустил». Мы согласились тогда с ним и без всяких колебаний приняли вас в свои…

Тут уж рассмеялся я:

— А вы знаете, Константин Иванович, как этот «гвоздь» прыгал у себя в каюте, метал икру, как говорят, боялся, что вы напьетесь или опоздаете к отходу? Здорово переживал.

— Напрасно, — серьезно проговорил Костя. — Значит, вы не психолог. Вот сколько я плавал на «Смольном», не помню, чтобы мы кого-нибудь подвели, если дали слово. Не знаю такого случая. Честно говорю. Эх, и ребята там были. А Сашка Иванов погиб в партизанском отряде, знаете?

Костя говорил правду. Мне не приходилось больше плавать с лучшей командой, чем команда комсомольско-молодежного судна «Смольный». Честь ей и хвала! На этих ребят можно было положиться в самых тяжелых и серьезных случаях.

Пожалуй, тут я по-настоящему понял, что, каким бы ты ни был отличным штурманом или капитаном, без единения со своей командой — ты ничто. Мне кажется, что именно на «Смольном» была гармония отношений, строящихся на большом взаимном уважении команды к своему комсоставу и комсостава к команде. Впоследствии я всегда старался перенести опыт «Смольного» на суда, где мне приходилось плавать, и, если это удавалось, он всегда давал отличные результаты.

Мы сделали несколько рейсов на Лондон. Приятное плавание! Михаил Петрович — тактичный, деликатный, разумно требовательный — был всегда в хорошем настроении. С него брали пример, и отношения на судне сложились на редкость хорошие.

Однажды, когда мы подходили к Железной стенке в Ленинградском порту, Михаил Петрович вызвал меня с бака на мостик. У него было искривленное гримасой лицо. Он держался за живот.

— Плохо мне стало. Наверное, язва прихватила. Пойду полежу. Швартуйся сам, — сказал он слабым голосом и спустился к себе.

Я обомлел. До сих пор теплоход всегда швартовал капитан.

Это будет моя первая швартовка на таком большом судне без буксиров. Да и обычно капитаны не очень-то доверяли старпомам швартовку. Я оглянулся кругом. Хоть бы лоцман стоял на мостике, а тут — никого. Панфилов редко брал лоцманов.

«Смольный» летел по Морскому каналу как метеор. Или мне так казалось? Я подошел к телеграфу и неуверенно поставил ручку со «среднего» на «малый». Мимо мелькали склады, причалы, суда. Нет, ход слишком велик. Я дал «самый малый», но продолжал чувствовать себя отвратительно. Надо знать Ленинградский порт, чтобы отчетливо представить себе мое состояние. Узкий канал, встречные суда, катера и буксирчики, снующие во всех направлениях, и сильное течение, в которое попадал теплоход сразу же, как только его нос высовывался в Неву. А тут еще дул свежий прижимной ветер…

Пассажирам, скопившимся на спардеке, до всего этого не было никакого дела. Они веселились, махали платками, что-то кричали. Некоторые обязательно желали приветствовать Ленинград с мостика. И только мое решительное, раздраженное: «Извините. Здесь находиться запрещено» — выдворяло их. Пассажиры мешали мне сосредоточиться. Когда же во всех палубных репродукторах послышалась песенка Дунаевского «Капитан», я потерял способность здраво мыслить. Я думал только о том, что ждет нас у Железной стенки. Меня прошибал холодный пот, когда я представлял встречающих, работников пароходства, этих строгих судей, понимающих в деле. Они-то уж никогда не пропустят случая посмеяться над промахами капитана. В какой неудачный момент заболел Михаил Петрович. Надо же случиться такому.

Через оконное стекло в рубке я видел спокойное лицо Саши Иванова, нашего лучшего и самого опытного рулевого. Мы миновали Гутуевский ковш. Приближались ворота канала.

— Немного право! — хрипло скомандовал я. «Только бы стенка была свободна и никто не стоял у причала… Тогда еще как-нибудь», — думал я, судорожно глотая слюну.

Нос судна вылез из канала. Я похолодел. У причала ошвартован немецкий пароход и какая — то баржа. «Смольному» надо было влезть между ними. А на берегу стояли разодетые женщины и мужчины, белыми пятнами выделялись морские фуражки, вереница машин ожидала пассажиров. Мои худшие опасения оправдались. «Капитан, капитан, улыбнитесь…»— ревели репродукторы. Сейчас мы врежемся в причал или корму парохода или навалим на баржу. Треск, скрежет железа, крики, иронические замечания, укоризненные глаза Михаила Петровича… И хотя «Смольный» еле двигался, мне казалось, что

он продолжает нестись как экспресс. Хотелось подползти, подкрасться к стенке тихо, незаметно. Я взглянул на бак. Команда стояла на местах. Ждали моих приказаний. Причал приближался. Надо действовать. И вдруг ощущение неуверенности, скованности исчезло. Я забыл обо всем. О людях на берегу, о возможных последствиях, о насмешках. Я почувствовал себя капитаном и теперь видел только приближавшуюся стенку.

— Якорь отдавайте, якорь! Не то врежем, — услышал я через окно голос Иванова.

Ах, да! Ведь есть же якорь. От волнения я забыл о нем. Якорь полетел в воду. Судно замедлило ход. Я застопорил машину. «Смольный» шел по инерции. На баке понемногу травили якорь-цепь. Молодец Павел Иванович! Он знал, что надо делать.

— Сколько до кормы немца? — заорал я в мегафон.

— Двадцать метров!

Назад! Я перекинул ручку телеграфа. Под кормой забурлила вода. Судно остановилось.

— Подавай носовой! — опять заорал я.

Бросательные полетели на берег. Неужели все обошлось? На баке закрепили конец. Течение медленно подбивало корму к стенке. Пройдет ли она баржу? Корма прошла чисто и мягко легла на причал.

— Так стоять будем! — уже небрежно, по-капитански крикнул я на бак и хотел спуститься с мостика.

Навстречу мне поднимался улыбающийся Михаил Петрович. Я не верил своим глазам. Выздоровел? Или…

— Молодец, — сказал капитан. — Хорошо ошвартовался. А я тут стоял под трапом. Думал, подскочу к тебе на помощь, если что…

А через полгода «Смольный» пошел на Дальний Восток. Когда теплоход миновал Дуврский канал и вышел в Атлантический океан, капитан сказал мне:

— Знаешь, я хочу немного отдохнуть. Что-то устал от этих бессонных ночей, туманов и дождя! Сейчас погода стоит хорошая, солнышко. Боцман бассейн соорудил. Буду на пляже кости греть да в бассейне купаться. Принимай командование. Только работай внимательно.

Михаил Петрович доверил мне вести «Смольный» в открытом океане! Мы не увидим ни полоски берега целых семнадцать суток. Вот где можно показать штурманское искусство, свое умение владеть секстаном и определять место судна астрономически.

Я собрал помощников:

— Вот что, дорогие товарищи! Наша честь поставлена на

карту. Михаил Петрович поручил мне вести судно. Без вашей помощи ничего не получится. От точности наших определений зависит, придем ли мы в пролив Мона или окажемся где-нибудь в другом-месте. Так что не подведите.

— Не подведем, — в один голос заверили штурмана. — Вы что, забыли, как мы определяемся?

На следующий день уже вся команда знала, что теплоход в Панамский канал ведет старпом. Я ходил надутый и важный как индюк. Михаил Петрович на мостик не поднимался, я же почти не сходил с него. Капитан лежал на трюме, загорал, купался, читал… и отвечал. Отвечал за каждую нашу вахту, за каждую точку, поставленную на карте. Я спал очень мало, все время определялся то по звездам, то по солнцу, без конца проверял помощников, чем порядком им надоел. Два раза в сутки, как положено, я менял курс, — мы шли по дуге большого круга, — наносил место судна. Мне везло. Дни и ночи стояли прекрасные, феерические. Атлантика радовала нас хорошей погодой. Мы шли в полосе пассатов. Дни были ослепительно яркие— с бирюзовой водой, голубым небом, белыми барашками. Мы видели удивительные заходы и восходы солнца. Таких не встретишь нигде, кроме как в океане. Небосвод светился то розовым, то светло-зеленым и даже сиреневым, и солнце садилось, сплющивалось, становилось огненной горбушкой и все время меняло свой цвет от белого до рубиново-красного. Огненная точка скрывалась за горизонтом, и почти сразу же наступала темнота, зажигались яркие звезды. Низко над водой сиял Южный Крест.

Но чем ближе мы подходили к островам Порто-Рико и Сан-Доминго, между которыми лежал пролив Мона, тем сильнее росло мое беспокойство. А вдруг ошибка?

Оно оказалось не напрасным. Не могло же все идти так безукоризненно и легко, как эти пятнадцать дней! За двое суток до пролива небо затянуло тучами. Начались дожди. Солнце и звезды не появлялись. А мы-то хотели перед самым проливом сделать одновременные наблюдения сразу тремя секстанами. Вот тебе и показали штурманское умение! Ветер, течения, ошибки магнитного компаса, неточность рулевого — все это обычно уводило судно с курса. Вероятно, наша судьба такая же. Вся надежда была на точность предыдущих астрономических определений. Решающий момент приближался. Мы рассчитали, что до пролива Мона десять-двенадцать часов хода. К счастью, дождь прекратился. Видимость значительно улучшилась, но небо оставалось пасмурным.

Команда, соскучившаяся от однообразия плавания, с

нетерпением ждала появления берега. Когда менялись вахты, к нам пришел боцман.

— Скоро пролив? — спросил он, подходя к карте.

— Около шестнадцати должен открыться.

Павел Иванович потоптался в рубке и ушел. За ним на мостике появился Михаил Петрович. Он долго смотрел на карту, померил расстояния циркулем, задумчиво поглядел на горизонт.

— Значит, около шестнадцати? — повернулся он ко мне.

— Так должно быть, — не очень уверенно ответил я.

— Ладно. Посмотрим, как у вас получится.

К четырем часам дня на палубу высыпала вся команда, свободная от вахты. Люди стояли на баке, некоторые забрались на мачту. Каждому хотелось первому открыть берег. Капитан тоже поднялся на мостик. Стрелки часов подвигались к шестнадцати. Горизонт был чист. Никакого признака берега. А он здесь высокий, гористый. Я начал нервничать. Мысленно успокаивал себя, что еще рано, но вот-вот мы увидим берег. Но когда прошел час, и еще час, я окончательно расстроился. Бросился в рубку, лихорадочно начал проверять последние расчеты. Все было правильно, а горизонт оставался девственно чистым. Многим уже надоело торчать на палубе, и они, отпустив несколько едких замечаний по нашему адресу, разошлись по каютам. Остались только самые упорные.

Заметив мой расстроенный вид, Михаил Петрович подошел ко мне и тихо спросил:

— Ошибка?

— Нет. Все проверено несколько раз, — горячо запротестовал я. — Сам не понимаю, в чем дело.

— Может быть, запросим пеленги у береговой станции?

— Подождем еще немного, пожалуйста.

Так не хотелось признаться в своем неумении работать… Вся моя важность исчезла. Я готов был провалиться сквозь палубу. Не лучше чувствовали себя и помощники, уставшие от непрерывного и безрезультатного смотрения в бинокли.

Открылась дверь в рубку. Третий механик нес в руках топор, перевязанный голубой ленточкой.

— Вот вам, штурмана, — улыбаясь, проговорил он. — Если не умеете определяться секстаном, определяйтесь топором.

Это была морская шутка, показывающая высшую степень презрения механической силы к штурманам. Но мы не оценили ее. Нам было не до шуток…

— Смотри! — вдруг сказал Михаил Петрович. — Смотри!

На горизонте, как занавес в театре, поднималась стена голубовато-серой дымки. Она быстро таяла и исчезала. Справа и

слева курса показались черные точки. Они увеличивались в размерах, поднимались вверх и скоро превратились в. высокие холмы. Это были острова Порто-Рико и Сан-Доминго.

— Неси топор в машину! — закричал я третьему механику, захлебываясь от радости и гордости. — Точно вышли, Михаил Петрович, точно!

— Точно, — удовлетворенно повторил капитан. — Видишь, как может быть в тропиках. Густые испарения стояли под берегом. Влаги много. Лишь к концу дня развеялась. Ну что же, экзамен выдержали. Определяться умеете все. А я уже, грешным делом, начал беспокоиться.

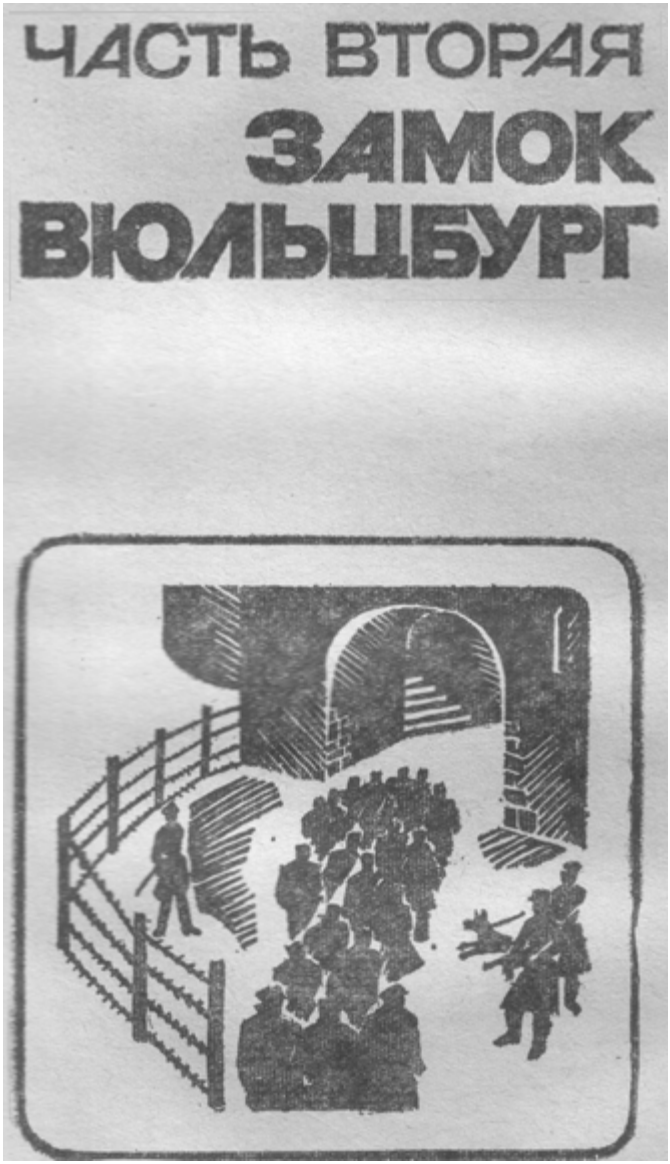
Потом, в поезде, когда мы, сдав теплоход Дальневосточному пароходству, возвращались в Ленинград, я спросил у Михаила Петровича, как он решился на такой эксперимент, он серьезно сказал:

— Я знал, что вы с этим делом справитесь, верил в вас. Во-вторых, я считаю, что научиться чему-нибудь по — настоящему можно, когда ты чувствуешь на себе всю ответственность за порученное дело. И потом, для того чтобы человек работал творчески, надо дать ему самостоятельность. Ведь через некоторое время ты станешь капитаном, и тогда подобные упражнения тебе очень пригодятся. Ты согласен, что такой метод полезен?

Был ли я согласен? Я смотрел на Михаила Петровича как на бога. У него я прошел великолепную школу практического мореплавания. Да один ли я? Впоследствии мне приходилось встречать его бывших помощников. Они вспоминали его с любовью, уважением и благодарностью. Капитан учил нас, не боялся ответственности и думал о нашем будущем.

Об этом плавании я прислал в «Костер» очерки под названием «На остров Сахалин». Их печатали в нескольких номерах журнала.

Часть вторая
Замок Вюльцбург



Накануне

Начало войны и все, что произошло впоследствии с командами шести советских судов, кажется мне окрашенным в однотонную, серую, тоскливую краску, Я так хорошо понимаю, что тем, кто воевал, было много труднее. Но они были все вместе, с Родиной… Есть хорошая русская пословица: «На миру и смерть красна». А тут — потерять жизнь в одиночку, бесполезно, бесславно, не принеся никакой пользы ни своей стране, ни своим товарищам… Ну, ладно. Лучше все по порядку.

В марте 1941 года я оказался в резерве Балтийского пароходства. Время было тревожное. Шла война между фашистской Германией и Англией. Большая часть нашего флота работала на Севере. Только шестнадцать оставшихся судов занимались перевозкой грузов в Балтийском море, и я очень обрадовался, когда меня вызвали в Моринспекцию и предложили пойти старшим помощником капитана на «Эльтон». Опять «Эльтон»! Вспомнился Мурманск, примерзшая к переборке шапка, стужа в кают — компании, последняя встреча с пароходом, когда он такой чистенькой, блестящей игрушечкой стоял в Механизированной гавани. Я согласился. Пароход делал короткие рейсы, ходил в Польшу, Германию, Швецию. Такое плавание мне подходило. Буду чаще бывать дома.

Незадолго до этого у меня с Лидочкой произошел тяжелый разговор. Неожиданно она мне сказала:

— Очень тоскливо мне живется… Сын без отца растет. Неужели так всю жизнь будет?

— Что же делать. Такая служба. Вот пойду пуск, тогда побудем вместе. Поедем куда-нибудь.

Хочешь в Крым, к теплому морю?

— Не хочу. Отпуск, стоянка… Все мгновения, урывки, а жизни нет.

Это было что-то новое в обычных ее сетованиях на частые разлуки, короткие свидания, и я забеспокоился.

— Что же я могу? Бросить море? Уйти на берег?

— Нет, я не требую, чтобы ты бросил свое море, — устало сказала Лидочка, — но что-то надо изменить. Я не знаю что… Мне очень тоскливо одной… Хоть бы ты чаще бывал дома, рейсы были бы короче.

Вот сейчас судьба идет мне навстречу. Рейсы станут короче.

Вдруг она спросила:

— Скажи, а войны не будет? В городе ходят всякие слухи… Скажи правду. Я так боюсь этого, живу с постоянным чувством

тревоги, каждую минуту чего-то жду.

Вот оно что… Я взял ее руку.

— Откуда я знаю, Лидуся? Не должно быть. В прошлый рейс, когда я был в Данциге, немцы держались очень доброжелательно. Не должно быть, — повторил я уверенно, но какая-то обреченность в ее глазах встревожила меня еще больше. — Не думай о плохом. Все будет хорошо. Скоро отпуск. Длинный отпуск. У меня накопилось много выходных дней. Будем вместе…

Мне не удалось успокоить жену. Расстались мы в тот раз печально. Она долго стояла молча, все укутывала мне шею теплым шарфом… А говорить нам было не о чем. Мы все понимали без слов.

Сделав один рейс в Гдыню, мы вернулись в Ленинград и после короткой стоянки, погрузив около двух с половиною тысяч тонн текстильных отходов, хлопка и лыка, второго июня снялись на Штеттин.

В этот день с погодой творилось что-то невероятное. Шел мокрый снег, ветер завывал на разные голоса, по небу метались рваные серые клочья облаков. А ведь началось лето…

Советский Союз не воевал, но все равно на бортах и люках пароходов блестели свежевыкрашенные опознавательные знаки нашей страны — красный флаг в белом прямоугольнике. На всякий случай…

Ночью плавали без огней. Суда бродили в море, как призраки, избегая встреч, не зная, кто друг, а кто враг. То и дело на палубе звучали авральные звонки. Встревоженные люди разбегались по своим местам, ожидая сообщения по судовому радио: «Пожарная тревога! Учебная пожарная тревога!» Но из глубины сознания никогда не исчезало беспокойство. Это была учебная, а какая будет следующая? Радист каждый день приносил печальные сообщения: «У Гиедзера тонет шведское судно. Дал SOS… Потоплен неизвестной подводной лодкой… Датский пароход «Инга Мёрск» подорвался на мине у Борнхольма… Погиб с командой теплоход «Свенске Крунер»… Обстреляли самолетом рыбачий бот «Мальмо»… Капитан и два матроса убиты…»

Мы старались держаться спокойно, но у всех чувствовалось нервное напряжение. Состояние было такое: вот-вот что-то должно случиться… Иногда неожиданно недалеко от курса всплывали серые рубки, откуда люди в кожаных костюмах внимательно следили за нашим движением. Кто это? Гитлеровцы, англичане, наши дозорные? Этого мы не знали. Но сердца колотились быстрее, тревога оставалась надолго. Можно было ждать удара в спину.

В Свинемюнде мы пришли утром, специально рассчитав так

время. (Ночью в порт не заводили. Огни и маяки не горели. Все было затемнено.) На борт поднялся хмурый лоцман и скомандовал: «Вира якорь!» Когда с бака сказали, что якорь встал, капитан поставил ручку на «малый вперед». «Эльтон» часто задышал и двинулся к волноломам, защищающим вход в реку. Лоцман прохаживался по мостику, молчал, курил, иногда сплевывал за борт. Это было странно, так как обычно лоцмана большие любители сообщать и слушать морские новости. Он отрывисто отдавал команды рулевому.

— Ух ты! Смотри-ка, — вдруг тихо сказал мне капитан. — Не сюда. Налево.

Я обернулся и из-за поворота увидел зловещую картину. По всей набережной Свинемюнде стояли, тесно прижавшись друг к другу, светло-шаровые корпуса военных кораблей. Эсминцы, подводные лодки, тральщики, сторожевики. Отвратительные флаги Третьего рейха с паукообразной свастикой свешивались с кормовых флагштоков, у которых застыли матросы.

— Черт! — выругался капитан. — Придется салютовать. Морской закон.

Я свистнул. Матрос побежал на корму и по второму свистку приспустил наш флаг. Нехотя, медленно поползли вниз флаги на немецких кораблях. Мы проходили очень близко. Я мог наблюдать лица матросов и офицеров, смотревших на советское судно. У большинства — холодные, презрительные лица. И только у некоторых в глазах мелькало что-то похожее на удивление и сожаление.

— Почему такой парад? — спросил капитан лоцмана, когда мы прошли военные корабли.

Лоцман пожал плечами. Он, конечно, кое-что знал, но говорить не хотел, а может быть, и не смел.

— Война, капитан. Прибавьте ход! — бросил он и ушел на другое крыло мостика, всем своим видом показывая, что продолжать разговор не желает.

— Для чего они скопились здесь? — пробормотал капитан. — Против кого?

Пароход поднимался по каналу. Изредка навстречу попадались закамуфлированные торговые суда. На палубах какое-то оружие, покрытое брезентами, и масса гогочущих солдат. При виде «Эльтона» они все переходят на один борт, оживленно жестикулируют, что-то кричат нам. Что — понять не можем. Все-таки далеко. Видно, насмешки, потому что после каждого выкрика все начинают смеяться. Лоцман мрачнеет еще больше. Наконец заходим в порт. Он забит военными транспортами, солдатами, специальным грузом в ящиках и просто под

брезентами.

Лоцман получает квитанцию. Он отказывается от традиционной рюмки водки, которую предлагает ему капитан за удачную проводку судна. Лоцман ссылается на занятость, не смотрит на нас, не жмет на прощание руки, а быстро, поклонившись, уходит с борта. Все эти мелочи бросаются в глаза, но мы не придаем им значения. Ну, мало ли почему лоцман ведет себя так? Нездоровится, неприятности по службе, мало ли что…

На судно приезжает наш «приятель» — старший стивидор Буш. Как обычно, он весел, шумлив, любезен. От него веет уверенностью и спокойствием. Буш очень доволен, что мы пришли с нужным грузом.

— Только постоять здесь придется довольно долго, господа. Видите, что делается? — многозначительно подмигивает он на рядом стоящий транспорт. — Не хватает рабочих. Все брошено на них…

Стивидор останавливает протестующий жест капитана.

— Деморедж[8] будет уплачен, капитан. Я же понимаю— вы тут ни при чем. Мы несем убытки и сейчас бессильны помочь вам.

— Ну, а ведь эти-то наверняка работают в три смены? — показывает капитан на грузящийся невдалеке транспорт. — Не пойму, куда это вы так торопитесь?

Буш грозит пальцем, добродушно улыбается:

— За такие вопросы у нас немедленно берут в гестапо. Хотите узнать военные секреты, капитан? Ай-ай-ай, нехорошо. Ну уж ладно, только для вас, как для друзей. — Буш оборачивается, нет ли кого поблизости, наклоняет голову к уху капитана, шепчет: — Против англичан. Против проклятых англичан. Фюрер не оставит камня на камне от их вонючего островишки. Они виновники всему.

Меня поразило его лицо. Обычно приветливое, сейчас оно было злобным, в глазах фанатический блеск.

— Но почему же из Штеттина? Ведь Балтика закрыта! — недоуменно посмотрел на него капитан.

— Э, милый друг. Вы ничего не знаете. Но я-то… Ваше правительство пропустит войска через Россию, мы выйдем к Персии, Индии… Больше я вам ничего сказать не могу. Я и так подвергаюсь смертельной опасности. Никому ни слова!

Буш пожал нам руки и, пофырчав у борта своей маленькой «ДКВ», уехал. На следующий день пришла одна смена рабочих. Старики. Они еле шевелились. На рядом стоящем транспорте грузили вовсю. По корме стояло судно Эстонского пароходства «Аусма». На нем опускали стрелы, и я видел, как матросы закрывают трюмы. Значит, сегодня уйдет.

Я пошел в склад. Там нехотя ворочали тюки бельгийские военнопленные. Один из них оглянулся и попросил по-французски:

— Месье, дайте сигаретку, если есть.

Я сунул ему начатую пачку «Беломора».

— Спасибо, месье. Не дай бог, чтобы вы оказались в таком же положении. — И уже совсем тихо добавил. — Все, что сейчас делается в порту, — против России.

Я недовольно махнул рукой и подумал: «Бытие определяет сознание. Им, беднягам, хочется, чтобы это было именно так».

Но бельгиец, увидя мою недоверчивую улыбку и презрительный жест, зашептал:

— Мой бог! Верьте мне, месье. Мы работаем на этих транспортах. Кое-что видели и слышали. Война с Советами — вопрос дней.

— Да будет вам… — опять отмахнулся я. Приближался охранник-немец. Бельгиец юркнул за штабеля тюков. Солдат подозрительно взглянул на меня и последовал дальше. После этого разговора остался неприятный осадок.

«Аусма» все еще стояла. Почему? Я пошел на эстонский пароход. В кают-компании собрался весь комсостав и капитан. Меня пригласили сесть. Я спросил:

— Сейчас уходите? Капитан покачал головой.

— Не уходим. Был у харбор-мастера.[9] Говорит: выход из порта закрыт на неопределенное время. Англичане накидали мин на фарватере. Эх-эх-хе… — вздохнул старик. — Надо домой.

Лица у всех были мрачные. Я попрощался. Меня не удерживали.

«Эльтон» стоял тихий, с открытыми трюмами. Выгрузка окончилась. Рабочие ушли. На комингсе первого трюма сидел капитан и грустно смотрел вниз.

— Так дело не пойдет, — увидя меня, проговорил он. — Смотри. Почти ничего не выгрузили. Этак мы здесь месяц простоим. Самим надо выгружать, вот что. Я попробую договориться с Бушем. Что «Аусма» — уходит?

Я рассказал ему о своем посещении.

— Да… Поеду в Берлин. Узнаю, в чем дело. Ночью к нашему борту поставили теплоход «Хасан», а утром мы пошли туда обменяться мнениями о происходящем в порту.

В каюте у старшего механика кроме самого хозяина сидели капитан Хрисанф Антонович Балицкий и помполит Павел Варфоломеевич Гребенкин. Они были встревожены.

— Понимаете, товарищи, — нервно поправляя пенсне, говорил Хрисанф Антонович, — меня беспокоит это огромное

скопление судов и отношение к нам портовых властей. А гестаповцы! Те просто хамят. Раньше такого никогда не было… И эти военные приготовления. В чем дело?

— Вообще, творится что-то подозрительное, — поддержал капитана старший механик Устинов. — Только четырнадцатого июня я засек тринадцать крупнотоннажных судов, которые вышли из порта полные солдат и всякого вооружения. На следующий день два из них вернулись обратно пустыми. Значит, ходили совсем недалеко.

— Буш говорил под большим секретом, что все эти приготовления против Англии, — сказал мой капитан, — но я все-таки хочу съездить в Берлин к представителю Морфлота Горлову. Как вы думаете, стоит?

— Безусловно. Все узнаете и нам расскажете. А с другой стороны, непонятно, почему наши продолжают посылать в Штеттин суда? Неужели ничего не знают и не подозревают?

— Между прочим, из Берлина приезжал наш представитель, я ему доложил обстановку и высказал свои опасения. Так он меня в паникерстве обвинил, — с некоторой обидой сказал Балицкий. — Говорит, что через несколько дней закончат погрузку и мы идем в Ленинград.

— Только бы скорее, — вздохнул Гребенкин. — Так надоело здесь стоять и смотреть на их собачью свадьбу.

Мы посидели на «Хасане» еще с полчаса и неуспокоенные вернулись на «Эльтон». Тревога наша росла, хотя никто не хотел произнести того, что думает. Посчитают паникером. Балицкий все-таки отдал распоряжение: «Держать машину и все механизмы в пятиминутной готовности». Может быть, придется срочно уходить из порта.

На следующее утро приехал Буш. С большим неудовольствием он выслушал предложение капитана работать вторую смену.

— Я понимаю. Очень все сложно. На вторую смену надо оставлять и складских рабочих, и счетчиков, и береговых грузчиков. А людей не хватает. Ну, ладно, ладно. Сделаю для вас исключение, капитан. Вы же мой друг, верно?

Эта «дружба» обошлась капитану в килограмм масла, круг колбасы и две бутылки водки. Буш повеселел, сунул «презент» в машину, а мы расписали команду по бригадам и с четырех приступили к работе. Выгрузка двигалась споро, весело. Никакого сравнения с немецкими грузчиками. К двенадцати ночи в трюмах поубавилось. На следующий день объявили соревнование между трюмами и бригадами. Дело пошло еще быстрее.

— Мы вам покажем, на что способны! — кричал бригадир

трюма номер три Володя Суслов. — Держитесь!

Через три дня выгрузку закончили. Буш приехал, заплатил деньги команде аккуратно, по ведомости. Но грузить судно нашими силами отказался категорически.

— Много тяжеловесов. Нужны квалифицированные грузчики. Я не могу отвечать, если кому-нибудь из ваших людей отдавит ногу, руку или голову. Как только освободится кран, перетянем пароход и начнем… Как скоро? Как будет возможно.

На этом разговор кончился. Буш, не заходя к капитану, исчез. Потянулись тоскливые дни ожидания. Буш разводил руками:

— Ничего не могу сделать. Мы платим ваши убытки. Война.

По корме, готовая к отходу, сиротливо стояла «Аусма». Фарватеры, по словам ее капитана, все еще не очистили от мин. Когда? На этот вопрос никто ответить не может. Харбор-мастер звонил в военное министерство. Оттуда сказали, что сообщат.

Наш капитан уехал в Берлин, в Торгпредство. Мы ждали его возвращения с нетерпением. Приехал он через два дня веселый, довольный и бодрый.

— Ну, как дела? Почему не выпускают «Аусму»? Не грузят нас? — Мы засыпали его вопросами.

— Не волнуйтесь, товарищи. В Берлине обо всем знают. Не надо возмущаться, нервничать. Этим делу не поможешь. Все будет в порядке, так сказал Горлов. Пойду расскажу Балицкому.

Сообщение капитана немного успокоило нас. Раз сам Горлов говорит. Что ж делать? Ждать так ждать. Война.

На следующий день мы опять взволновались. В порт пришел груженый теплоход Балтийского пароходства «Днестр», да еще привез команды на строящиеся в Гамбурге шаланды! Как же так? Фарватеры замусорены минами, а суда идут в порт. Капитан «Аусмы» снова побежал в управление порта. Ответили лаконично:

— Не могли же мы бросить теплоход в море? С опасностью для жизни тральщики провели его в порт. Мы должны были рисковать.

Слова звучали правдиво, но все же что-то продолжало тревожить нас. Всю последующую неделю советские суда простояли без движения, и вот наконец перетяжка. «Эльтон» и «Хасан» поставили под погрузку. Мы облегченно вздохнули. Ну, кажется, скоро уйдем. Трое суток хорошей работы — и конец. Но хорошей работы мы не дождались. Каждую смену в трюмах копошилось полторы калеки — несколько стариков грузчиков. Что они могли сделать? Погрузка еле двигалась.

В эти дни погода выдалась редкая. Ни одного дождичка. Солнце шпарило с утра до вечера. На небе — ни облака. Днем даже бывало слишком жарко. Мы изнывали, без конца пили из

бачка тепловатую, невкусную кипяченую воду, но жажду утолить не могли. Стоял полный штиль. Даже дуновения ветерка не ощущалось в порту. Только ночью становилось легче дышать. Мы двигались по палубе как сонные черепахи. Вялые, разморенные, потные… Ничего не хотелось делать. Скорей бы домой! Стоянка опротивела. Какое-то оцепенение охватило всех.

В субботу, в два часа, когда грузчики положили в трюм очередной тяжеловес, в кают-компанию вошел оберчекер[10] Вилли Финк. Отирая пот со лба, он предложил:

— Слушайте, моряки. Завтра воскресенье. Давайте я свезу вас на озеро под Штеттином. Покупаемся, позагораем. Я сынишку с собою возьму. Это недалеко. Кто хочет? Свободные от вахты, конечно.

Финк покосился на капитана. Мы охотно приняли предложение немца. Вилли мы знали давно, с тех пор, как он грузил наши суда в Гамбурге, и считали его своим другом. Предстояло хоть какое-нибудь развлечение! Разнообразие в нашей монотонной жизни. Поплаваем, покупаемся, посидим на травке, не будем видеть осточертевшие военные транспорты, слышать бесконечные марши.

Собралась компания человек шесть во главе с капитаном. Сговорились встретиться с Финком рано утром у портовых ворот, а оттуда уже на автобусе ехать за город.

Война

Ночь я спал плохо, проснулся в пять часов утра. Отдернул занавеску. Над портом висела сиреневая дымка. Солнце уже встало. Пока еще не чувствовалось жары, но день обещал быть отличным. Я высунул голову в иллюминатор. На причале около трапа стоял солдат с автоматом. Что за диво?! Раньше их никогда не ставили. Зачем он тут?

«А черт с ним. Поставили — значит, надо. Война..» — подумал я и принялся одеваться.

Все тело было влажным. Я сунул голову под струю умывальника. Стало немного легче. Мокрое полотенце принесло еще больше облегчения. Наверху топтался капитан. Тоже встал. Я кончал бриться, когда услышал его взволнованный голос:

— Скорее иди сюда и позови стармеха!

По интонации я понял — что-то случилось. Я забежал к нашему «деду», Георгию Александровичу Долженко, крикнул ему:

— Срочно к капитану! — и, прыгая через ступеньки трапа, ворвался в капитанскую каюту.

Иван Иванович растерянно стоял посреди каюты в шлепанцах, с одной намыленной щекой, в руках он держал бритвенную кисточку. Из большого приемника «Кёртинг» неслись какие-то истерические выкрики.

— Гитлер выступает. Война, братцы, вот что.

Капитан хорошо говорил по-немецки, но это сообщение звучало так ошеломляюще, что мы с «дедом» в один голос переспросили:

— Война с нами? Не может быть! Вы правильно поняли?

— Правильно. Раньше таких выражений он никогда не употреблял. Война. Давайте скорее. Вот документы, Георгий Александрович. Они не должны попасть в руки врага. Быстро сожги их в топке.

Капитан сунул «деду» конверт с документами. Тот прижал их к груди и бросился вниз.

Война! У меня это слово не укладывалось в голове. Мы часто слышали его, употребляли сами, читали в газетах и слышали по радио. Но оно было просто понятием, а теперь стало жизнью. Какая она — война? Что сейчас будет с нами? Что станется с Лидочкой, матерью, Ленинградом? Как они там? Капитан говорил, что немцы уже бомбили наши города…

— Война! — опять повторил капитан. — Этот чубатый маньяк грозится уничтожить Красную Армию в три месяца и навсегда покончить с коммунизмом. Вряд ли удастся…

Злобно подмигивал зеленый глазок приемника, из динамика все еще неслись выкрики фюрера… Но теперь это нас уже не интересовало. Роковое слово «война» произнесено.

Я все еще не мог прийти в себя. Разумом я понимал, что сейчас произошло, ко всем сердцем противился этому, на что-то надеялся, думал, что все еще может как-то измениться, или все-таки капитан плохо понял, не уловив в речи Гитлера основного…

— Быстро идем на «Хасан», — сказал капитан, — надо предупредить товарищей.

Мы перелезли через релинги и очутились у каюты стармеха «Хасана». Он уже вышел нам навстречу.

— Война, Леша!

Устинов переменился в лице:

— Война? Откуда такие сведения?

Иван Иванович с волнением рассказал ему все, что слышал по радио.

— Плохо дело. Пошли к Хрисанфу Антоновичу. Ему сейчас же надо сообщить…

Но было уже поздно. На шлюпочной палубе нас встретил солдат-автоматчик и приказал вернуться на «Эльтон». Мы стояли в нерешительности. Солдат что-то кричал. Алексей махнул нам рукой: «Идите, мол. Я все передам». Мы поняли и вернулись на свое судно.

— Пойди расскажи обо всем команде. Пусть оденутся почище. Пока никаких работ не производить, — проговорил капитан, отирая лоб платком.

В столовой собрался почти весь экипаж «Эльтона». Все были взволнованы, громко разговаривали, жестикулировали.

— Ну, что слышно? — посыпались вопросы. — Война? Не может быть! Как же дома? Как им сообщить? Что теперь с нами будет? Куда они нас? Сволочи, прохвосты…

— Видимо, война, ребята. Официально еще никто ничего не сообщил, но похоже… Иван Иванович слышал радио. Очень похоже. Переоденьтесь в чистое, и будем ждать.

На палубу поднялась группа немецких морских офицеров.

— Капитэн? — коротко спросил один из них. Я повел немцев к Ивану Ивановичу.

— В чем дело, господа? — спросил капитан, вставая. — Почему по судну без моего разрешения разгуливают ваши матросы? Почему мне не позволили зайти на советский теплоход «Хасан»? Что все это значит? До сих пор мы были в хороших отношениях…

Немецкий капитан третьего ранга смущенно улыбнулся:

— Мы сами еще точно не знаем, что происходит. Может быть,

война, может быть, пограничный инцидент. Во всяком случае, сейчас ваше судно отведут на рейд, поставят там под охраной до выяснения. Возможно, так придется стоять долго, поэтому пусть ваш старший офицер составит список продуктов, мы доставим все необходимое. Иозеф, — обратился он к другому офицеру чином помладше, — иди на «Хасан» и передай им то же. Мы сейчас придем туда. А вас, капитан, я попрошу поддерживать на судне порядок, спокойствие, дисциплину и не допускать никаких эксцессов.

Офицер поклонился, и вся группа пошла на «Хасан». Через двадцать минут мы увидели, как военные моряки сели в катер и отошли от советских судов. Не успел я закончить консультацию с нашим поваром Сережей Соколовым о количестве и наименовании продуктов, как в каюту вбежал матрос Шкарин.

— Все судно занято немецкими военными моряками! Нас выгоняют из кают! Что делать?!

Мы выбежали на палубу.

Морской офицер уже приказывает моему капитану:

— Немедленно опустить флаг! Понимаете? Иван Иванович отвечает по-немецки:

— Понимаю. Мы не подойдем к своему флагу. Здесь территория Советского Союза и команда выполняет только мои распоряжения.

Офицер иронически улыбается и командует подскочившему старшине:

— Бегом! Спустите этот флаг!

Старшина глядит на офицера, на нашего капитана, и в его глазах я улавливаю не то сожаление, не то смущение. Может быть потому, что он сам моряк и понимает всю подлость происходящего. Это длится какую-то секунду, потом он щелкает каблуками и бежит к флагштоку. Что-то больно сжимает мне сердце. Сейчас сорвет флаг! Но старшина медленно спускает красное полотнище, сворачивает и кладет в каску.

Замерли люди на палубе. Руки у козырьков фуражек, на глаза наворачиваются непрошенные слезы. Флаг Родины! Моряки прощались со своим флагом. За этот флаг умирали в революцию их отцы, его поднимали везде, где раздавалось гордое слово «свобода». Моряки плавали под этим флагом, с достоинством нося его на флагштоке. Они гордились его цветом. Алый флаг Родины…

События на «Хасане» разворачивались так же стремительно, как и на «Эльтоне».

Я видел, как два немецких матроса вывели Балицкого, поставили на палубе, уперев автоматы ему в спину. Капитан

стоял гордо, подняв голову, заложив руки назад.

К нему подошел офицер и что-то сказал по-немецки. Балицкий покачал головой:

— Не понимаю.

Откуда-то появился человек в штатском и на ломаном русском языке предложил:

— Спустите флаг, капитан. Ваше судно принадлежит теперь Великому Рейху.

Балицкий сделал отрицательный жест.

— Ни я, ни один из членов моего экипажа до флага не дотронется. Мне не известно, что наши страны находятся в состоянии войны. И все, что вы тут творите, — насилие.

Офицер закричал. Немецкий матрос побежал на корму, наверное срывать флаг.

К борту подкатывают грузовики. Спрыгивают на землю солдаты СС, зацепляя автоматами за трап-тали, взбегают на пароход. Немецкие моряки исчезают. На судах хозяйничают эсэсовцы. Тускло поблескивают эмблемы на фуражках — череп и кости. Обращение совсем другое. Толчки, угрозы, крики.

— Халло, Ганс!

Краснорожий солдат неистово бьет прикладом автомата в дверь продуктовой кладовой. Замок соскакивает.

— Сюда! — орет краснорожий и обеими руками выбрасывает на палубу консервы, круги колбасы, пачки масла и сахара.

Как стадо зверей, устремляются к кладовке эсэсовцы. Подбирают продукты с палубы, засовывают их в карманы, вырывают друг у друга из рук, прокалывают штыками банки с молоком. И это хваленые, культурные, честные немцы? Не верится. Немцы ли это? Люди, с которыми нам приходилось часто встречаться, работать, решать вопросы выгрузки и погрузки наших судов, совсем не походили на них. Те были вежливые, доброжелательные, корректные. Но долго раздумывать над этим нам не дают.

Появляется офицер в высокой фуражке с хлыстиком в руках. Он что-то кричит солдатам. Они мигом разбегаются от кладовки и принимаются загонять моряков по каютам.

— Пять минут на сбор! Шнель! Шнель! Грязные свиньи!

Ко мне в каюту попадает молодой ефрейтор. Он тоже орет мне: «Шнель!» — и жадно наблюдает за тем, как я бросаю свои вещи в чехол из-под матраса.

Я все делаю машинально, не думая о том, что беру. Мне вообще не хочется собирать вещи. Я сую в мешок первое, что попадается на глаза: форменный костюм, бритву, кое-какое белье, большую фотографию жены, шелковый отрезик на платье. Я

купил его в подарок. Гитлеровец останавливает мою руку.

— Момент! — он берет отрез и прячет его за пазуху. — Тебе он больше не понадобится. Вряд ли ты увидишь еще баб. Вайтер! [11]

Мне все равно. Пусть берет что хочет. Мысли мои далеко. Они в Ленинграде… Немец смотрит на часы.

— Все! — командует он. — Выходи!

На берегу уже выстроена почти вся наша команда. По трапу под охраной эсэсовцев спускаются моряки с «Хасана». Их строят отдельно. Где-то фырчат машины. Я оборачиваюсь. Позади стоят несколько грязных самосвалов. Наверное, для нас. Моряков еще раз пересчитывают, и главный конвоир орет:

— Марш!

Нас загоняют в самосвалы. Машины трогаются. Сиротливо хлопают двери на оставленных судах, ветер носит по палубам обрывки бумажек, смятые пачки «Беломора». Перевесившись через фальшборт, с любопытством глядит на отъезжающие машины эсэсовский часовой, оставленный на пароходе.

— Что же они с нами теперь сделают? — с тоской спрашивает меня наш кочегар Качалов. — Увидим ли когда-нибудь Ленинград?

Что я могу ему ответить? Я сам нахожусь в таком же смятении, но все же набираюсь сил, чтобы сказать:

— Наверное, увидим, Ваня.

Катятся машины по ровному асфальту, по красивым, обсаженным деревьями улицам. Прохожие останавливаются на тротуарах и провожают нас глазами. Разное выражение на лицах немцев. У многих хмурое, недовольное. Затеять войну с огромной Россией — что из этого выйдет? У других злорадное, веселое. Первые пленные уже взяты, фюрер обещал «блицкриг» — молниеносную войну, и скоро эти жители Штеттина поедут в Россию получать плодородные земли.

Еще несколько минут бешеной езды, и машины останавливаются у серого, мрачноватого здания. По виду какая-то казарма. Нас заводят внутрь, в большой спортивный зал — и вдруг неожиданность. Мы встречаемся с командами двух наших судов «Днестра» и «Волголеса», тоже захваченных в Штеттине. Рукопожатия, объятия, возгласы. Нас стало больше, и от этого мы стали сильнее. Первый обмен мнениями. Мы сидели в этом огромном спортивном зале прямо на полу, — о стульях и столах немцы не позаботились, — прижавшись друг к другу. Всем хотелось быть как-то поближе, объединиться в этот тяжелый для нас час. Делились продуктами, захваченными с судов, папиросами и всю ночь говорили…

Мы не понимали, как могло случиться, что за день до начала войны из Советского Союза в Германию все еще шли суда с хлебом. Неужели наши представители не сообщили правительству о том, что делается в немецких портах? Ведь это творилось ни день, ни два, а недели! Творилось открыто, нагло, без всякой маскировки. Мы во всем обвиняли наших представителей в Германии. Другого тогда мы предположить не могли.

— Я думаю, что наше правительство было убеждено, что войны с Германией не будет, а наши здесь прохлопали… — сказал, тяжело вздохнув, капитан «Днестра» Богданов. — Ну ладно, поздно сейчас об этом говорить. Хорошо, что на всех судах успели сжечь документы, хорошо, что ни на одном судне мы сами не спустили флага. Пусть знают, что мы им враги…

— Скверно то, — вмешался в разговор Балицкий, — что никто перед уходом из Союза не дал нам конкретных указаний, как действовать в таких случаях. Какое наше сейчас положение? Какие права интернированных? Откровенно говоря, я не очень хорошо знаю вопросы международного права…

— Да их никто не знает как следует. Это компетенция юристов, — сказал кто-то.

— Надо поискать в книгах. Ребята, у кого есть книги? Справочники какие-нибудь?

Оказалось, что все захватили с собой книги. Белье забыли, а книги взяли. Образовалась целая библиотека. Света в зале не было. Поэтому решили заняться морским правом утром.

— А может быть, нас обменяют на немецких моряков, интернированных в наших портах? — вдруг сказал капитан «Волголеса» Новодворский.

Какой музыкой зазвучали эти слова! Все оживились, начали строить всякие прогнозы, а я вспомнил последнюю стоянку в Ленинграде. У причала был ошвартован огромный немецкий теплоход «Уланга». Он держал на рее наш красный флаг, знак особого расположения к стране. Теплоход уходил. Это было единственное немецкое судно в порту… Они все знали и до начала войны увели свои суда из советских портов. Почему так случилось?

Спустя двадцать пять лет, прочитав книгу В. М. Бережкова «С дипломатической миссией в Берлин. 1940–1941 гг.», мы поняли многое из того, что не могли понять тогда… Вот что он писал: «… уже вернувшись в Москву, мы узнали, что 20 и 21 июня германские суда, стоявшие в советских портах Балтийского и Черного морей, в срочном порядке, даже не закончив погрузки, ушли из советских территориальных вод.

А у нас на это не обратили внимания. Недавно мне стало известно об одном факте, который объясняет, почему так случилось. Буквально накануне войны в Рижском порту скопилось более двух десятков немецких судов. Некоторые только что начали выгружаться, другие еще не были полностью загружены, но 21 июня все они стали сниматься с якоря. Начальник Рижского порта, почувствовав недоброе, задержал на свой страх и риск немецкие суда и немедленно связался по телефону с Москвой. Он сообщил о создавшейся зловещей ситуации в Наркомвнешторг и попросил дальнейших указании. Об этом было сразу же доложено Сталину. Но Сталин, опасаясь, как бы Гитлер не воспользовался задержкой нами немецких судов для военной провокации, распорядился немедленно снять запрет на их выход в море. Видимо, по той же причине не было дано и соответствующих указаний капитанам советских судов, находившихся в германских портах».[12]

Штеттинский лагерь

Долго спать не дают. Опять истошные крики: «Шнель! Лос!», алюминиевые кувшины с эрзац-кофе, микроскопический кусочек хлеба на завтрак, погрузка в машины и полчаса сумасшедшей езды.

Нас привозят за город, и машины останавливаются у смолисто-желтых бараков, обнесенных колючей проволокой. Часовой распахивает ворота, и машины въезжают в лагерь. По-видимому, это наше новое жилье.

После судового комфорта с отдельными каютами, великолепным питанием, чистым бельем здесь все непривычно. Деревянные трехъярусные нары, матрасы, набитые стружкой, бумажные одеяла и темный, как чернила, кофе-суррогат, маленький кусочек хлеба на день, неполная миска тошнотворного ревеневого супа, жалкий ужин… Нам, избалованным бытовыми условиями на советских судах, все это не по нутру. Хорошо еще, что бараки совсем новые, чистые, в них до нас никто не жил, и мы располагаемся как кому и с кем нравится. Посреди голого дворика откуда-то взявшийся островок колосящейся пшеницы. Как-то не вяжется этот мирный «пятачок» с колючей проволокой и солдатами-автоматчиками.

С нами привезли и наших женщин. На каждом из судов их было по две, по три. Они плавали буфетчицами, поварами, уборщицами. Женщины держатся спокойно, с достоинством. Нет ни причитаний, ни слез, ни истерик. Они расположились на зеленом «пятачке» пшеницы, сели, как чайки на воду, в своих белых кофточках и задумчиво сидят, иногда перебрасываясь редкими словами. Жара невыносимая. Душно. Солнце палит. На дворике ни деревца, где можно было бы укрыться от палящего солнца, ни тени.

Молодой охранник расстегнул китель, облизывает сухие губы, глядит на женщин, отпускает в их адрес замечания, показывает им пачку сигарет, даже вытащил плитку шоколада и подзывает:

— Машка, рюсски Машка, иди…

Но девушки даже не поворачиваются в сторону солдата. С врагами не может быть никаких разговоров, даже если очень хочется есть и курить.

Пока мы устраивались в бараках, время шло незаметно. Теперь мы чувствуем страшную усталость. И есть хочется нестерпимо. На таком рационе скоро протянешь ноги. Но больше сегодня нам ничего не дадут. В девять часов нас загоняют в барак.

— Свет не зажигать! Затемнение. Иначе… — переводчик изображает пальцами пистолет со взведенным курком. Жест понятен.

Мы расходимся по баракам, залезаем на нары. Первое время в комнате царит молчание, потом раздается чей-то раздраженный голос:

— Душно! Откройте же окна, кто там поближе.

Стучат отворяемые рамы, и в барак врывается запах цветов и сухой травы. За окнами щелкают и переливаются трелями соловьи. Изредка доносятся гудки пароходов, верно река совсем недалеко. Гудки громкие, отчетливые и такие знакомые… Там, за проволокой, идет совсем другая жизнь… А мы? Заключенные. Бесправные, безоружные, лишенные возможности защищаться. Враги могут сделать с нами все, что им взбредет в голову. Что для гитлеровцев международные законы? Что им права интернированных? И снова мысли возвращаются к тому, что происходит сейчас на границе…

Первый день войны…

Молчат в бараке. Вдруг с верхних нар соскакивает Леник Круликовский и бросается к окну.

— А что, братцы, если попробовать драпануть? Тут всего один ряд колючей проволоки…

Он пытается просунуть голову сквозь широкую оконную решетку, но тут же раздается грубый голос охранника:

— Э, э, менш! Цурюк! Лос!

Леник отскакивает от окна, быстро забирается на нары. Чего, доброго, получишь пулю.

— Убежишь здесь! — грустно говорит он. — Через каждые десять метров часовой. Но пытаться надо… Одер недалеко, значит и порт где-то рядом. Только выбраться из лагеря, а там… Пробраться в порт, залезть в бункер на шведский пароход, я видел их у причалов, и будь здоров… Из Швеции к своим…

Пока это выглядит фантастически, но ребята с жаром принимаются обсуждать возможности побега.

Скоро усталость, пережитые днем волнения дают себя знать. Все реже раздаются реплики, паузы становятся длиннее. Барак затихает.

Утро началось с крика: «Ауфштейн! Лос!»[13] Кричал солдат с автоматом на шее. Он стоял посреди барака, расставив ноги, заложив за спину руки, и наблюдал за тем, быстро ли мы выполняем его команду. Неохотно встаем с коек и бредем на двор к жестяному длинному умывальнику. Не успели мы помыться, последовала новая команда:

— Аппель![14] Строиться!

Нас построили. Вышел комендант с переводчиком из прибалтийских немцев.

— Вести себя хорошо. Никаких там этих… — перевел слова коменданта прибалтиец. — Кто говорит по-немецки?

Вышло два человека.

— Вот с вами я буду иметь дело, больше ни с кем. Возьмите газету. Читайте всем. Разойтись!

В газете было сообщение о том, что взята Рига. Страница пестрела фотографиями, — толпы советских военнопленных понуро тянутся под охраной улыбающихся солдат вермахта.

Мы находились в состоянии шока, еще не могли осознать своего нового положения и войну представляли плохо, но реакция у всех была одна:

— Врут, сволочи! Не может быть! Фотографии липовые.

Но все же некоторые подробности, упоминавшиеся в газете, заставляли призадуматься. Невесело пили мы свой кофе-эрзац, как называли его немцы, жевали хлеб, забывая о том, что выдали его на весь день…

Открылись ворота, и во двор въехала закрытая зеленая машина «грюне Минна». Из нее не торопясь вылез охранник, отодвинул засов, и мы увидели своих товарищей. Это были русские моряки, плававшие на судах Эстонского и Латвийского пароходств. Некоторых из них мы знали. Они рассказали, что утром 22 июня их тоже арестовали, держали сутки в трюме и вот привезли сюда. Эстонцев и латышей не тронули, оставили на пароходах, обещали отправить на родину. Говорили, что это вопрос дней.

Потянулись однообразные часы ожидания. Что же делать? Напряжение наше росло. Каждый стук открываемых ворот, каждая въехавшая на двор машина вызывали волнение. И не напрасно. Неожиданно приказали собраться всем капитанам. Их посадили в легковые автомобили и увезли. Они возвратились только к вечеру. Мрачные, неразговорчивые, усталые. Я пошел в комнатенку, где жили Устинов и Балицкий, и спросил:

— Зачем вас возили, Хрисанф Антонович?

— Зачем? — капитан нахмурился. — Что можно ждать от этих мерзавцев! Предлагали подписать документ, что наши суда захвачены как приз в море. Якобы они шли в неприятельский порт с военными грузами. Каково? Они меня даже кофе пить приглашали вместе с ними. Такие вежливые! Но я сказал, что кофе мне вреден, а от подписи акта о сдаче судна отказался. Не имею, дескать, полномочий на это от своего правительства и вообще текст документа не соответствует действительности. Вот

так.

— Ну, а они что?

— Рассвирепели. Сказали, что я буду наказан за такие действия. О кофе уже не было и речи, — невесело усмехнулся Балицкий. — Поживем — увидим.

Так. Значит, начались провокации. Надо быть очень осторожным. Как себя вести, чтобы напрасно не потерять жизнь и не уронить достоинство советского гражданина и моряка? Прежде всего, держаться всем сплоченно, иметь единое мнение, не допускать необдуманных выступлений. Люди сильно возбуждены. Взрыв может произойти каждую минуту. И тогда… Вероятно, гитлеровцы и ждут такого случая. Наши помполиты потихоньку начинают проводить беседы с моряками, успокаивают, вселяют уверенность, что не все еще потеряно, надо хорошо изучить обстановку, а потом уже действовать.

На следующий день опять новость. В комендатуру приезжают несколько человек в штатском и двое военных. Нам приказывают построиться в очередь у дверей комендатуры. Внутрь пускают по одному, выходящих сразу же загоняют в барак. Видно, боятся, чтобы не было никакого общения, обмена мнениями.

Что они еще придумали? Ладно, посмотрим. Первым по списку идет в комендатуру матрос с парохода «Днестр» Арташ Асатурьян. Он армянин, живой и горячий. В дверях он оборачивается и кричит:

— Я вам все расскажу!..

Но ему не дают говорить, заталкивают в помещение. Через несколько минут он выходит и опять кричит:

— Болт им ржавый! Остаться в Германии предлагали. Сад с апельсинами обещали подарить…

— Лос!! — истошным голосом орет солдат и гонит Арташа в барак. Но теперь все понятно. Когда приходит моя очередь, я спокойно захожу в комендатуру. Мне протягивают какой-то листок.

— Прочтите внимательно, — говорит переводчик. Люди в штатском и военные изучающе глядят на меня. Листок разделен на две части и имеет два текста: в верхней части — «Я не хочу возвращаться в Советский Союз. Прошу оставить меня в Великой Германии». И в нижней — «Я хочу возвратиться в Советский Союз».

— Прочли? Зачеркните то, что вам не подходит. Подумайте хорошенько, — говорит переводчик.

Я зачеркиваю верхнюю фразу.

— Момент! — останавливает меня человек в штатском. Он

что-то быстро говорит переводчику, но один из военных раздраженно машет рукой и на плохом русском языке обращается прямо ко мне:

— Старший офицер?

Я утвердительно киваю головой.

— Ви думаль, что сделать? Через два месяц великий Германия победит. Ленинград уже наших, э-э, руках. Ви могли бы быть семьей, иметь там работу. Что? Не подходит? Ви есть глупый человек. Думкопф. Вон!

Я выхожу из комендатуры и, не дожидаясь окрика охранника, иду в барак. Там оживление. Каждый рассказывает о том, что он ответил гитлеровцам. Люди как-то повеселели, стали больше уважать себя. Ведь они выдержали первое испытание и не поддались на провокацию.

— Он мне говорит: «Почему не хочешь здесь остаться? — не может успокоиться Арташ. — Через два месяца домой поедешь. Мы тебе большой апельсиновый сад дадим, богатый будешь», а я ему говорю: «Я и так очень богатый. У меня машина есть, дом двухэтажный, сад огромный. Хочу домой!» Все им наврал.

— А я ему прямо сказал: «В фашистской Германии оставаться не буду». Так он меня чуть живьем не съел, ругал страшно, — смеется кочегар Васин.

Часа через два все моряки прошли эту «комиссию». Желающих остаться в «Великой Германии» не нашлось. Гитлеровцы отбыли ни с чем.

Следующую попытку расколоть моряков фашисты предприняли через несколько дней. Они вызвали в комендатуру всех людей, имеющих украинские фамилии. В комнате сидел раздувшийся от важности комендант и штатный переводчик. Немцы о чем-то посовещались, и переводчик начал:

— Великая Германия великодушна. Она предлагает вам поехать на вашу родину Украину. Там вы будете свободны, будете работать, жить, как вам хочется, и честно служить Германии. Будете вволю есть, пить, — он игриво пощелкал себя по горлу. — И заниматься с бабами. — Тут он громко захохотал и сделал непристойный жест.

Комендант покровительственно улыбнулся, все, мол, правильно говорит.

— А в какие города можно поехать? — спросил кто-то.

Переводчик замялся, взглянул на коменданта. Тот сидел непроницаемо важный.

— Пока на оккупированную часть Украины, — неуверенно проговорил переводчик. — Но можете не сомневаться: через месяц вся Украина будет в наших владениях. Ну как? Согласны?

— Вообще-то хорошо. Пить, есть, бабы… Только нет у нас украинцев. У нас все русские. Вот оно какое дело, — сокрушенно сказал наш «дед» Долженко. В глазах его прыгали веселые искорки.

Переводчик удивленно взглянул на Долженко, обвел нас глазами, как бы спрашивая: «Что все это значит, что говорит этот человек?»

— Да-да. У нас все русские. Украинцев нет, — подтвердил одессит Кириленко.

Переводчик выпучил от удивления глаза и перевел все коменданту.

— Как? Нет украинцев? А фамилии? — заорал комендант. — Вы думаете, мы не знаем?

— Мы, герр комендант, все русские, — спокойно принялся объяснять Долженко, — мы все ленинградцы.

— Не морочь мне голову! В ваших паспортах ясно написано: украинец.

— Так в паспортах, значит, неправильно…

«Дед» явно издевался. Мы согласно кивали головами. Кончилось все тем, что нас прогнали из комендатуры. Немцы поняли правильно. Никто не захотел поехать в оккупированную Украину.

Прошло несколько томительных дней. Никаких новостей не было. Солнце палило по-прежнему. Мы изнывали от жары, голода и неведения. В лагерь привезли каких-то двух русских. Они говорили, что являются советскими гражданами, жили несколько лет в Штеттине и открыто последними словами ругали фюрера, Германию, фашистов. Мы сразу поняли, кто это такие, и держались с ними осторожно, не посвящая их в свои разговоры. Четвертого июля ко мне подошел Коля Никитин, отозвал в сторону и тихо сказал:

— Только что говорил Сталин, — и передал мне содержание речи.

Я очень удивился, откуда он мог узнать о речи Сталина, и спросил:

— Кто тебе сказал?

Коля приложил палец к губам, зашептал:

— Все правда. Не сомневайся. Арташу удалось захватить с парохода свой радиоприемник «ВЭФ». Видимо, солдат, который наблюдал за тем, как он собирает вещи, не додул сразу и думал, что приемник отберут в лагере при обыске, а нас не обыскивали. Наш радист Женя Рудаков из обрывков проводов устроил антенну и расположил ее в матрасе на верхней койке и совершенно

случайно поймал речь Сталина. Так что теперь будем потихоньку слушать Москву.

С этого дня, когда удавалось, Рудаков забирался под одеяло и слушал, а ребята отвлекали часового всякими разговорами. Родина передавала печальные сообщения. Настроение падало. Мы болезненно переживали отступление наших армий. Не понимали, почему это так, иногда даже не верили сводкам. Мы привыкли считать нашу армию самой сильной в мире, нас так учили, об этом ежедневно писали в газетах, говорили по радио. В чем дело? Что случилось в нашей стране? События к тому времени развертывались катастрофически. Один за другим гитлеровцы захватывали наши населенные пункты и города. Каждый день в немецких газетах, которыми нас исправно снабжала лагерная администрация, появлялись огромные заголовки, напечатанные красной краской: «Зондермельдунг!»[15] Они сообщали о миллионах тонн потопленного торгового флота, о захваченных территориях, об астрономических цифрах попавших в плен. Рига взята, Смоленск пал, Ленинград очерчен зловещим красным кругом… Ну что мы могли думать — оторванные от Родины, без правдивой информации, лишенные могучей поддержки своего народа? И все-таки все эти сообщения, победные реляции, истерические запугивания Гитлера не сломили духа моряков. Наоборот, мы как-то больше сплотились, ненависть к фашизму возрастала пропорционально их победам, и всеми владело одно желание: «Выстоять!» Правда, это было только начало. Что же приготовит нам жизнь впереди?

А приготовила она нам не слишком приятный сюрприз — встречу с гестапо. Во двор въехало два роскошных «майбаха». Офицеры комендатуры выстроились во фронт и приложили руки к фуражкам. Видимо, прибыло какое-то большое начальство. Комендант суетливо подскочил к передней машине, открыл дверцу. Из нее вышли две молодые женщины, двое мужчин в серых костюмах и шляпах. Из второй вылезли трое со свирепыми рожами и овчарками на поводках. Прямо на дворе началось совещание. Потом комендант провел прибывших в пустой барак. Они заняли места у распахнутых настежь окон. Что же теперь будет? Из интернированных образовали большой круг, в центре его встал помощник коменданта и скомандовал:

— По кругу вперед! Медленно! Как можно медленнее!

Страшный это был марш. Мы еле двигались. Когда достигали окон барака, раздавался окрик:

— Еще медленнее!

Человек оказывался перед семью парами сверлящих глаз. Они пристально изучали его. Сердце леденело под этими взглядами.

Нет, не от страха, а от какого-то чувства унижения. Как будто бы тебя рассматривали под микроскопом.

— Дальше!

Мы делаем круг за кругом. Острота восприятия уже притупилась. Идем, идем… круг за кругом… Гестаповцы в бараке листают какие-то альбомы, рассматривают фотографии, тихо переговариваются между собой, и вдруг толстый в шляпе командует:

— Стоп! Выходи! Ты, высокий, рябой, выходи.

Круг останавливается. В сторону к солдатам выходит перепутанный доктор с «Хасана». Почему его выбрали? Но гестапо объяснений не дает.

— Марш!

Снова круг пришел в движение. Кто следующий? Опять становится не по себе.

— Стоп! Выходи!

Теперь круг останавливают на электрике с «Хасана» Саше Бегетове. Потом выходит мой капитан, матрос Боря Лойко, матрос с латвийского парохода еврей Миша Эдельманис.

Их сажают в машины и увозят неизвестно куда. Опустел двор, моряки собираются кучками, строят предположения, почему и куда увезли товарищей. На душе муторно, какое-то чувство вины перед взятыми в гестапо. Где же наша хваленая морская солидарность? Паршиво получилось. Все ходят мрачные, опустив головы. На ум приводят самые страшные предположения…

Утром в барак врывается один из моряков и кричит таким радостным голосом, какого мы не слыхали уже много дней:

— Вставайте, ребята, скорее! Переводчик сказал, чтобы мы готовились к отъезду в Берлин. На обмен! Понимаете вы это? На обмен. Нас будут менять на оставшихся в Союзе немцев. Вставайте!

Второй раз приглашать не приходится. Все вскакивают с нар, орут, обнимаются, хлопают друг друга по спинам.

— Рано радуетесь, — раздается чей-то трезвый голос. — Может быть, липа. Этим сволочам верить ни в чем нельзя.

Наш восторг остывает. Надо проверить. Дожидаемся «аппеля». На перекличку выходит сам комендант. Значит, будет что-то необычное. Нас пересчитывают. Комендант закладывает руку за борт кителя, — так всегда делает фюрер, — и начинает говорить:

— Великая Германия цивилизованная страна. Даже с такими врагами, как вы, она поступает гуманно. Завтра вас повезут в Берлин на обмен. Я сомневаюсь, что вы избрали правильный путь. Вам давали возможность сохранить свои жизни. Потом вы могли

бы жить как люди. Германия защитит вас. Еще не поздно. Кто хочет остаться — выходи!

В строю гробовое молчание. Радостные, улыбающиеся лица. Комендант багровеет и рявкает:

— Банда подонков! Завтра к восьми утра быть готовыми. Ни минуты промедления. Разойдись!

Строй рассыпается. Слышен смех, веселые возгласы, и вдруг кто-то вспоминает:

— Братцы, а как же наши ребята? Которые в гестапо. Мы поедем, а они тут останутся?

Первую минуту все молчат, потом, как взрыв, раздаются голоса:

— Пусть возвращают товарищей! Не поедем! Теперь уже кричат все:

— Не поедем! Пусть привезут их обратно, тогда сядем в машины! Иначе не встанем с коек. Ложись, ребята.

Это уже настоящий бунт. Кое-как успокаиваем моряков. У капитанов собирается короткое совещание.

— Правильно, нельзя ехать без людей, которых забрали в гестапо, — говорит капитан «Днестра» Михаил Иванович Богданов. — Это было бы бесчеловечно и не по-товарищески.

— А если мы откажемся, то не используют ли гитлеровцы это вообще как наш отказ возвращаться на Родину? Тогда из-за пяти моряков мы поставим под угрозу возвращение ста двадцати. Верно ли это будет? — спрашивает Леонид Филиппович Новодворский, капитан «Волголеса».

Наступает тяжелое молчание. Вопрос правильный и сложный. А вдруг немцы действительно объявят, что советские моряки отказались ехать домой? Ведь гитлеровцы так этого хотели!

— Верно, — говорю я. Меня тоже пригласили на это совещание, ведь капитана «Эльтона» нет, и его должен заместить старпом. — Верно, но представьте себе состояние тех людей, которые сейчас сидят в застенках гестапо. Им сообщают, что нас обменяли и мы уехали… С ума можно сойти. Поставьте себя на их место.

— Ну, хорошо, — сердится Балицкий. — Что вы предлагаете?

Я молчу. Не знаю, что можно предложить в таком случае. И так плохо и так скверно.

— По-моему, надо подавать письменный протест, — говорит Богданов, — и указать в нем, что мы требуем немедленной отправки нас на Родину вместе с людьми, взятыми в гестапо. В противном случае мы будем ждать их возвращения.

— И не отвечаем за поведение своих команд, — подхватывает Балицкий. — Комендатуре эксцессы не нужны тоже.

— Так, пожалуй, пойдет, — соглашается Новодворский. — Надеваем форму и идем к коменданту. Времени терять нельзя.

Богданов садится к столу и пишет короткий резкий протест, потом мы переодеваемся в парадную морскую форму и идем в комендатуру. Сначала комендант не желает принимать нас, но, видя, что мы не уходим, приказывает переводчику пустить нас в кабинет. Он сидит за столом и раздраженно барабанит пальцами. Балицкий передает наш протест, просит перевести его. Лицо у коменданта становится злым, нижняя губа презрительно оттопыривается, и он начинает кричать:

— Кто здесь хозяин? Кто смеет здесь что-то требовать? Немедленно расходитесь и будьте готовы к восьми утра. Иначе мы вам покажем, как умеем расправляться с непокорными. Ну, идите!

— Возвратите наших людей. Или мы не поедем. Будем ожидать их, — спокойно говорит Балицкий.

Мы не трогаемся с места. Комендант продолжает кричать, но скоро выдыхается и, видя, что наше решение неизменно, меняет тактику. Наверное, вопрос об обмене решен высоким начальством, и нашему коменданту здорово влетит, если обмен будет сорван. Он начинает уговаривать, взывает к нашему благоразумию.

— Господа капитаны, — говорит он, — не делайте глупостей. Я сегодня же запрошу гестапо и обещаю, слово немецкого офицера, сообщить ответ. Я уверен, что ваши люди будут вместе с вами через несколько дней. Прошу вас, идите и спокойно ждите ответа.

Мы уходим не очень удовлетворенные результатом протеста. На дворе нас окружают моряки. Рассказываем о нашем посещении коменданта. Через два часа в комендатуру вызывают капитанов. Сейчас у коменданта вид веселый.

— Ну вот, господа. Я же говорил. Ваших людей доставят завтра в Берлин. Все поедете вместе, слово немецкого офицера.

— А если нет? Если их не привезут в Берлин? Комендант становится серьезным.

— Меня заверил начальник гестапо. Я предупредил его, что эти пять человек включены в списки и подлежат обмену. Если он их задержит, не вернутся на родину пять немцев. Может быть большой скандал. Так что не сомневайтесь.

Через несколько часов в лагерь въехала легковая машина. На ней увезли Балицкого. Нам сказали, что его тоже завтра привезут в Берлин. Ему надо выполнить еще кое-какие формальности по судну. После объяснения коменданта мы почему-то не очень беспокоились за капитана. Завтра встретимся в Берлине. Но мы

ошиблись. Плохо еще знали гитлеровцев.

Бланкенфельде

Утром за нами прибыли тюремные машины. Нас построили, пересчитали, приказали садиться. Мы, счастливые, веселые, залезли в зеленые ящики, не обращая внимания на тесноту, духоту и нестерпимую жару. Даже сгрудившиеся у машин охранники во главе с комендантом не казались такими отвратительными. Ведь мы ехали на обмен. Домой!

Короткая дорога на вокзал, вагоны с решетками на окнах, мучительное желание курить, несколько часов пути, и вот поезд уже на Берлинском вокзале. Несмотря на усталость, нас не покидает хорошее настроение. Опять знаменитые «грюне Минны», и нас привозят в какой-то подвал. А, черт с вами, возите куда хотите, только меняйте скорее! Начинаем обследовать новое жилье. К величайшей радости, ребята находят несколько пустых пачек из-под папирос «Казбек». На одной из них надпись карандашом: «Поехали на обмен». Значит, тут содержались советские граждане и их обменяли! Наверное, это были работники наших представительств в Германии. А может быть, провокация? Подкинули коробки для того, чтобы успокоить моряков? Впрочем, какой в этом смысл? Нет, были тут наши… Поздно вечером гремит засов, дверь в подвал открывается, и к нам вводят большую группу людей. Сначала в темноте мы не можем разобрать лиц, но скоро раздаются радостные возгласы:

— Витька, ты ли это?!

— Сергей Николаевич, и вы здесь?

— Ничего, рябчики, не горюй. На обмен едем, скоро дома будем!

Оказалось, что привезли команду еще одного советского парохода, захваченного в Любеке. События там разворачивались примерно так же, как и у нас в Штеттине. Возбужденные встречей, мы долго не могли уснуть. Часа через два к нам присоединили еще большую группу советских моряков. Их было человек шестьдесят, и среди них много знакомых. Это были команды двух шаланд, построенных для Советского Союза в Гамбурге. Они приехали на приемку, и тут началась война. Вместо обычных мореходных книжек «перегонщики» имели заграничные паспорта. Это обстоятельство впоследствии сыграло роковую роль в нашей судьбе. Среди этих моряков я встретил своего старого приятеля Сашу Аристова.

Мы проговорили с ним почти всю ночь. Вспоминали свои семьи, плавание на «Эльтоне» и, конечно, решали судьбы мира. На следующий день нас привезли в большой лагерь под Берлином

— Бланкенфельде.

…Красные дощатые бараки, обнесенные тройным рядом колючей проволоки. Лагерь разделен на две половины. В одной живут военнопленные французы, в другой поместили нас. Общение запрещено. Вокруг ходят охранники с автоматами. Но умывальник общий для нас и для французов. Вот тут, у умывальника, и перебрасываемся короткими фразами. У нас всегда одни и те же вопросы: «Как дела? Что нового на фронтах? Дай закурить».

Мы страдали без курева. Французы живут свободнее и знают больше. Они под охраной ходят на разные работы в город. Говорят, что стерегут их там слабо и уже было несколько побегов. Немцы не очень волнуются. Все равно Франция оккупирована. Вот трудно только добывать цивильную одежду. Без нее не убежишь. На наши вопросы французы безнадежно машут руками, цедят сквозь зубы понятное нам слово «мерд!»[16] и суют сигаретку. Изредка они получают посылки из дому.

Мы голодаем. Питание ухудшили до невозможного. Люди начинают болеть. Многие сильно отощали.

— Что же это такое, товарищи? Ведь так будет продолжаться — подохнем здесь. И до дома не доедем, — раздаются голоса. — Надо что-то предпринимать.

Надо что-то предпринимать… А что? Вот помполит с «Волголеса» Зотов и несколько смелых ребят организовывают голодовку. По лагерю пронесся призыв:

— Не принимать пищу! Пусть увеличат рацион. На этом жить нельзя.

В обед у лагерной кухни не выстраивается обычная очередь. Гитлеровцы встревожены. В чем дело?

Комендант с овчаркой на ремне приходит в нашу половину.

— Почему ваши люди не обедают? — спрашивает комендант.

— Мы требуем увеличения пайка. Моряки голодают, начинают болеть…

Лицо коменданта наливается кровью. Он начинает кричать истошным голосом. Он кричит о том, что мы должны быть благодарны за то, что нас не расстреляли, что он тут хозяин и требовать тут никто не может, о том, что, если мы не перестанем «бунтовать», он нам покажет… Все это мы уже слышали. Как они все похожи друг на друга, эти гитлеровские начальники, никакой разницы в речах, никакой разницы даже во внешнем облике. Все подстрижены под фюрера, с усиками на верхней губе, все подражают его манерам…

— Ни грамма больше не получите. Можете подыхать, — заканчивает свою речь комендант и гордо удаляется восвояси.

Мы продержались два дня, а на третий не выдержали… Пошли на кухню. На голодовку решили плюнуть, все равно скоро домой. На этот раз немцы победили, но голодовка показала, что, если нужно, если будет очень нужно, мы выстоим…

Привезли арестованных из гестапо, — комендант штеттинского лагеря не соврал. Люди были крайне истощены, измучены и подавлены. В тюрьме им сказали, что всех моряков уже обменяли и отправили на родину. Надеяться им больше не на что.

Не было предела радости, когда тюремная машина въехала на двор нашего лагеря и освобожденные из гестапо оказались среди своих.

— Теперь в порядке, ребята. Скоро будем дома. Все плохое позади, — утешали мы прибывших. Если бы мы знали тогда, что нам предстоит…

Хуже всех выглядел Балицкий. Он отощал больше других, по телу пошли болезненные фурункулы. Он рассказывал, что в тюрьме каждое утро его приводи-, ли в душевую и окатывали холодной водой из шланга, хлеба совсем не давали. Только кофе-эрзац, две картошки и кружку баланды. Это на целый день.

Вечером, когда улеглось волнение и приехавшие привыкли к своему новому положению, мы собрались на лавочке у барака. Всех интересовала причина их ареста.

— По-моему, причина одна. Гестаповцы устроили провокацию, хотели объявить, что поймали шпионов, диверсантов, или, как они называют, функционеров ГПУ. Мне предлагали сознаться в несусветных преступлениях против Германии, говорили, что все мы шпионы и они давно следили за нашей деятельностью. В общем, все высасывали из пальца. Но не удалось. А вот почему они выбрали именно нас, не знаю, — с наслаждением затягиваясь французской сигаретой, рассказывал Иван Иванович.

Почти то же, только в разных вариантах, гестаповцы пытались выбить и от других моряков.

Теперь мы были все вместе. Оставалось только терпеливо ждать обмена.

…Наши девушки пользуются большим успехом у французов. Вечером, когда остается часа полтора до отбоя, военнопленные выходят на двор, становятся у проволоки, разделяющей наши половины, и начинают молчаливый флирт. Улыбаются, суют под проволоку сигареты, печенье, хлеб. Женщины одаривают поклонников благодарными улыбками, собирают все и делятся с нами.

Сколько раз, когда тревога за близких сжимала сердце,

падало настроение, я слышал тихий голос:

— Ну, что пригорюнились? Закурите, легче станет, Вот вдобавок кусочек хлеба. Извините, больше нет.

Это наши девушки, Клава Лещева, Таня Окулова, Нина Салтанова, пытались поддержать меня. Да не только меня. Многих. Я им очень благодарен за это. Тогда сигарета ценилась у нас дороже золота. И еще Миша собирал обильную жатву. Он прекрасно пел итальянские песенки, и французы, как-то услышав Мишин голос, теперь частенько просили его спеть. Эти импровизированные концерты у проволоки нравились даже охранникам. Поэтому, наблюдая за тем, что происходило в лагере, они сквозь пальцы смотрели на такое нарушение режима. Кроме того, они знали, что мы собираемся ехать домой, и не боялись, что кто-нибудь из нас захочет бежать. Такое либеральное отношение позволило нам тайно переправить на французскую сторону два штатских костюма. Вскоре двое французов успешно бежали с работы. Их не поймали. Немцы спохватились, но было поздно. В наказание нам резко ухудшили питание и ограничили место прогулок. Общение с французами стало крайне затруднительным. У проволоки постоянно дежурил автоматчик и не позволял подходить к ней. Концерты прекратились, подарки с французской стороны тоже.

.. Радиоприемник Арташа все еще существует. Иногда днем нам удается поймать Москву. Рудаков забирается под одеяло вместе с приемником, слушает. Кто-нибудь из интернированных громко поет в бараке, шумно убирает помещение, кто-нибудь отвлекает часового разговорами, — не то разряды в приемнике могут быть услышаны. Сообщения с Родины самые неутешительные. Пока отступление продолжается, но во всех передачах слышится твердая уверенность, что так не будет вечно. Временно — вот слово, которое всегда присутствует в сводках. Мы верим этому. Но гитлеровцы делают все, чтобы поколебать эту уверенность, несмотря на то что мы едем в Советский Союз. Авось кто-нибудь испугается и захочет остаться в Германии. Напрасные надежды! Мы рвемся домой, на суда, помогать фронту, хоть чем-нибудь быть полезными своей стране. Такое у всех желание. Мы не должны остаться в стороне, когда все наши товарищи воюют. Нам приносят немецкие газеты. Наши города окружены, сообщения о победах, списки награжденных Железными крестами. «Зондермельдунг!» «Зондермельдунг!» «Зондермельдунг!»

А сегодня нам подослали солдата. Он чисто говорит по-русски. У него приятное простое лицо. Он в немецкой форме с автоматом на плече, охраняет нас, но смотрит доброжелательно и

негромко, ласково говорит:

— Идите ко мне, хлопчики. Курить хотите? Вот вам сигареты. Покурите. Знаю, как трудно курящему человеку без папирос. — Он сует под проволоку полпачки сигарет. Это целое богатство. Мы с наслаждением закуриваем.

— Ты что, русский? — спрашивает солдата Мудров. — Чего же эту форму напялил?

Солдат смотрит на повара с сожалением.

— Эх, милок, не знаешь ты ничего, потому и вопросы такие задаешь. А я всего три дня как с фронта…

— С какого? — вырывается у всех.

— С Ленинградского, — спокойно отвечает солдат. — Вот ранили в руку и сюда прислали.

— Ну, как Ленинград, стоит?

— Взяли ваш Ленинград.

— Что? Как взяли? Врешь ты все. В газетах ничего не было.

Взяли Ленинград… Неужели правда? Все дорогое, что есть в жизни, там… Город, где я родился, прекрасный мой город, мать, жена, сын… Нева, спуск, где я сидел и размышлял о жизни, когда меня исключили из Мореходки… Все мечты и надежды связаны с Ленинградом…

А солдат закуривает новую сигарету и спокойно продолжает рассказывать:

— Почему вру? В газетах еще будет. Ой, ребята, вы не представляете, какая у немцев сила! Как поперли мы ходом, так в самый Ленинград и вкатились. Конечно, сопротивление нам оказали, но куда им… Как пошли танки прямо на дома, стены падают, под ними так сотнями красные и погибают… Вы не видели еще немецких танков! Звери, а не машины. Нет им преград. Да…

— А Эрмитаж целый? — не удержался и спросил я.

— Эрмитаж? Камня на камне не осталось от Эрмитажа. Как упала с неба многотонная, только пыль пошла…

Эрмитаж разрушен. Он рядом с домом, где я живу, на Мойке. Значит… Не хочется думать. Страшно…

— Да… До Марсова поля я дошел. Там меня и ранило. Бои ужасные там были.

Все подавленно молчат. Никак не укладывается в голове мысль, что Ленинград взят. Вдруг Мишка Мудров спрашивает:

— А памятник Ленину на Марсовом поле как? Стоит?

— Памятник?

— Ну да, памятник. Такой огромный из красного гранита, самый высокий памятник в Ленинграде.

— Как же, знаю. Я его как раз и подрывал. Майор мне

приказал. Ну, я выбрал патрон посильнее и как ахнул…

Мы дружно хохочем. Ведь памятника Ленину на Марсовом поле никогда не было. Камень свалился с сердца. Ну что за молодец Мишка! Сообразил, как проверить этого негодяя. Солдат недоуменно глядит на нас. Чувствует, что заврался.

— Ахнуть бы тебе по роже, сволочь. Может, не стал бы так врать, — говорит кто-то из присутствующих. — Морда паршивая, нашел кого обманывать! Ленинградцев.

— Сами вы сволочи, — злобно говорит солдат. — Давайте сигареты обратно.

Сигарет ему жалко. У немцев с куревом туговато.

— А этого не хотел? — делает неприличный жест Блажевич. — Может, тебе ключ от квартиры отдать?

Охранник вскидывает автомат, но это никого не пугает. Мы знаем, он не выстрелит. Не имеет права, пока мы в списках на обмен.

По ночам воют сирены. Воздушная тревога! Воздушная тревога! Охранники бегают по лагерю, щелкают автоматами, запирают двери бараков и истошно кричат: «Затемнение! Из бараков не выходить! У окон не стоять!»

Но мы спрыгиваем с коек и сбиваемся у окон. Слышатся далекие взрывы. Оглушительно трещат зенитки. Их много. Кажется, что весь Берлин в кольце зениток. Вспыхивают зарева пожарищ. Значит, бомбы достигли цели. Мы радуемся, забывая о том, что и на лагерь может упасть бомба. Небо прорезают длинные узкие лучи прожекторов. Они перекрещиваются, сходятся и расходятся, шарят в поисках противника. Где-то над нами, очень высоко, гудит самолет. Его не видно. Прожектора начинают метаться по черному небу. Мы замираем. Неужели обнаружат? Гул самолета становится отчетливее. Три прожектора пересекаются, и очень высоко мы видим серебряный крестик. Он пытается уйти от безжалостных лучей, ныряет в черноту, но прожектора вновь настигают его и уже больше не выпускают. Как он попал сюда, бедняга, один? Отбился от своих? Или какие-нибудь неполадки в моторе? Зенитки, как свора собак, набрасываются на самолет. Видны белые комочки разрывов. Они похожи на обрывки ваты.

— Ребята, ведь наш это, — вдруг печально говорит Игорь Маракасов. — Видите, какая форма крыльев? Только у наших такие.

Мы вглядываемся. Игорь прав. Это наш. Сердце сжимается от тоски и жалости. Ведь там у штурвала сидит русский парень. Свой! Только бы хватило у тебя бензина, только бы ты добрался

до дому…

Все больше прожекторов в небе, все ближе и чаще рвутся белые комочки… Нет, не вырваться нашему летчику. Стишком неравные силы. Вся оборона немецкой столицы обрушилась на советский самолет. Проходит еще несколько минут, и мы видим, как, закувыркавшись в воздухе, падает серебряный крестик…

— Все… — говорит моторист Соколов. — Пропал… Ах, сволочи!

Мы подавленно молчим. Становится очень тихо. Замолкли зенитки. Погасло небо. Через минуту завыли сирены. Отбой воздушной тревоги. Мы забираемся обратно в койки и молча лежим. Говорить не хочется…

Мучительно долго тянется время. Мы уже устали ждать. Что-то немцы помалкивают об обмене. На все наши вопросы комендант пожимает плечами. «Ждем распоряжений», — говорит он. Тревога наша растет. А вдруг обманут? От них можно ждать всего.

В один из дней к баракам подъезжают машины. Мы бросаемся к ним. Наверное, привезли советских моряков, чьи суда были захвачены в других портах. Но нет. Из грузовиков вылезают толстые, хорошо одетые люди, женщины, дети… Кто они? Зачем их привезли сюда, в лагерь интернированных моряков?

Скоро выясняется, что это группа богатых коммерсантов, в большинстве своем владельцы магазинов, торгующих дорогими мехами. Каким-то непонятным образом они получили право на обмен. Всю сознательную жизнь они прожили в Германии и к России не имеют никакого отношения, если не считать подозрительных паспортов — не то нансеновских, не то просроченных советских, не то советских без права въезда в Советский Союз. И этих людей тоже должны менять на немцев, оставшихся в России! Их поселяют в отдельный барак, и с нами они общаются мало.

Наконец шестого августа ни с чем не сравнимая радость. Начинается обмен! Торжественный комендант появляется на нашей половине вместе с переводчиком и свитой из младших офицеров и приказывает:

— Все, кого я назову, выходите и стройтесь. Это первая партия, которая поедет на обмен.

Душа уходит в пятки от ожидания и волнения. Попаду ли я в первую партию? Кому выпадет это счастье? Ведь комендант сказал — первая партия… Значит, поедут не все. Переводчик выходит вперед, читает список:

— Аристов, Баринов, Невский, Морозов…

Он не называет никого с моего парохода, хотя у нас тоже есть фамилии, начинающиеся на А, Н, М… Я удивленно оглядываюсь. Такие же удивленные, непонимающие лица у ребят с судов, захваченных в Штеттине. Ни одного не назвал переводчик. В чем дело? Из строя выходят только моряки, приехавшие на приемку шаланд в Гамбург. Переводчик складывает список и вопросительно глядит на коменданта. Тот ему что-то говорит. Переводчик понимающе кивает головой.

— Руе! Тихо! — кричит переводчик. — Внимание! В первой партии поедут только моряки, имеющие заграничные паспорта. Остальные в следующей группе.

— Когда же? — спрашивают сразу несколько голосов.

— Не беспокойтесь. На днях. Можете разойтись. А те, кого вызвали, собирайте вещи, завтра утром придут машины.

На дворе наступает неловкое молчание. Мы и рады за товарищей и завидуем им.

— Ну, что вы огорчаетесь? — говорит кто-то из счастливцев, не в силах сдержать улыбку. — Завтра уедем мы, а послезавтра вы. Главное — начался обмен. Вот что важно.

И верно. Чего мы огорчаемся? Днем раньше, днем позже. Не так уж важно. Обмен начался. Сам комендант сказал, чтобы мы готовились. Поедем со следующей партией. Какой ему смысл врать? И все-таки тревожное чувство копошится где-то внутри меня… Нет-нет, все в порядке. Не надо думать о дурном. Все хорошо… Я подхожу к Саше Аристову. Он улыбается, трясет мне руку.

— Здорово получилось! Попал в первую партию. Да улыбнись ты, в самом деле. Поедете и вы через день. Ты сам подумай. Раз пришло такое решение менять моряков, значит будут менять всех. Не может же наше правительство одних обменять, а других оставить? Как ты думаешь? Исключено. Чем мы лучше вас?

Его доводы звучат убедительно, и я немного взбадриваюсь. Не могут нас бросить.

— Вот что, Сашок, я тебя попрошу. Как бы там ни было, ты будешь в Ленинграде раньше меня. Черт его знает, может быть, обмен и задержится на неделю там или больше…

— Да брось ты. Не задержится, я тебе говорю.

— Ладно. Я напишу маленькую записку домой, маме и жене. Передашь?

— Какой разговор, конечно передам. Напрасно все это… Давай пиши, а я пойду вещички складывать. Только небольшую, чтобы не нашли при переезде границы.

Я иду в барак, беру листок бумаги и задумываюсь над ним. Что написать, чтобы успокоить, чтобы знали, как я их люблю, как

тревожусь за их судьбу… В короткой записке много не напишешь. Пусть будет так: «Жив. Нахожусь в Берлине, интернирован. Надеюсь скоро быть с вами. Берегите сынишку. Не падайте духом. Очень люблю вас и всегда помню. Саша расскажет подробности. Целую вас».

В комнатах отъезжающие собирают вещи. Разговоры о том, как повезут: через Турцию или через Швецию? Только эти две нейтральные страны могут помочь обмену интернированных и пропустить их через свои границы. Несмотря на то что вторая партия отправится домой через несколько дней, моряки с шаланд принимают различные поручения. Хочется скорее послать весточку. Ведь дома могут предполагать что угодно…

Утром весь лагерь бурлит от возбуждения. Уезжают. Машины поданы. Они стоят у комендатуры. Моряки с вещами уже вышли на двор и ждут команды. А она почему-то задерживается. Нетерпение растет. У торговцев мехами подозрительное оживление. Они тоже все высыпали на двор, о чем-то спорят, жестикулируют, собираются отдельными группками, потом снова сходятся вместе. Мы видим, как от толпы отделяются три человека, подходят к охраннику, показывают на комендатуру, что-то просят… Ага, понятно. Это делегаты. Они хотят говорить с комендантом. Солдат вскидывает автомат и ведет их на передний двор, к комендатуре. Что это они? Все время сидели тихо, а тут всполошились? Через двадцать минут делегаты возвращаются. Лица у них улыбающиеся, довольные.

— Ну, что? Зачем ходили? — спрашивает Эдельманис.

— Мы тоже уезжаем, вместе с вами, — отвечает делегат и кричит своим: — Скорее выходите! Не задерживайтесь!

Но магазинщиков подгонять не надо. Они уже давно на дворе. Подъезжают грузовики. Приходит комендант и переводчик со списком. Моряков строят и по одному сажают в машины. Мы прощаемся с товарищами. Обнимаемся, целуемся. Слышатся возгласы: «Передай все, Сеня!», «И мы вслед за вами!», «Привет Ленинграду!» Когда последний моряк залезает в грузовик, начинают садиться меховщики со своими шикарными набитыми чемоданами. Они садятся без всякого построения, без переклички, без списков… Смутное, тревожное подозрение закрадывается в душу. Что-то здесь не так. Почему уезжают меховщики, когда следующая очередь была нашей?

Машины трогаются.

— Прощайте! Скоро встретимся! — кричим мы. — Скажите там, чтобы нас не забывали!

Распахиваются ворота, и машины исчезают из глаз. Уехали… Грустные стоим мы на дворе.

— Ладно, ребята. Не вешайте голов. Придет и наш черед, — пытается утешить нас помполит Зотов, но почему-то эти слова не приносят успокоения.

Наоборот, звучат они неуверенно и вызывают неясное беспокойство. А вечером в лагерь от французов каким-то образом проникает слух: за огромную взятку, полученную от меховщиков, комендант отправил их в Турцию вместо нас. Может ли это быть? Нет, мы не допускаем такой мысли. Все это совсем не так просто. Ведь здесь участвуют «высокие договаривающиеся стороны», наше правительство требовало моряков, а не этих торговцев. Обмен производится по определенным, согласованным обеими сторонами, спискам… Нет, вранье, сплетня, не может быть! Так мы старались поднять свой дух. Но несмотря на эти рассуждения, настроение наше сразу упало. Только после окончания войны от товарищей, уехавших с первой партией, мы узнали правду. Да, за огромные деньги меховщики заняли места моряков в этом транспорте интернированных.

В Турции гитлеровцы обманным путем подсунули нашей стороне меховщиков. Когда спохватились — было уже поздно. Ведь интернированных принимали турки. Не все ли им было равно, кого передавать советской стороне: моряков или кого-нибудь другого? Главное, чтобы сошелся счет «голов». А когда к этим «головам» еще прибавляется изрядный куш, почему бы не пойти навстречу друзьям-немцам? Ни один из меховщиков в Советский Союз, конечно, не поехал. Они попросили убежища у Турции и потом расползлись по разным странам.

На беззакония гестаповцев, которые они творили при обмене интернированных советских граждан, проливает свет упомянутая мною выше книга Бережкова «С дипломатической миссией в Берлин». Вот что пишет автор:

«При уточнении списков на месте, еще в берлинском лагере, мы обнаружили трех лишних человек — женщину и двух мужчин. Они не были зарегистрированы в документах нашего консульства, их никто не знал, но все трое уверяли, что они советские граждане, работали в Германии и теперь возвращаются на родину вместе со всеми. Представитель Вильгельмштрассе тоже уверял, что эти трое прибыли в командировку в Голландию и всегда числились советскими гражданами. Они фигурировали в официальных немецких списках советских граждан, подлежащих эвакуации. Несмотря на наши протесты, они так и оставались среди интернированных советских людей. Только потом нам стало ясно, зачем понадобились немцам эти лица: при переезде через болгаро-турецкую границу все трое заявили, что они отказываются вернуться в Советский Союз. Они, дескать, «избрали

свободу» и решили остаться в Третьем рейхе. Гитлеровская пропаганда подняла по этому поводу невероятный шум. Газеты и радио в подробностях расписывали, как «три члена советской колонии отказались вернуться в большевистскую Россию и просят политического убежища в Германской империи».[17]

Но обо всем этом мы узнали много лет спустя. А пока, взволнованные и угнетенные всякими слухами, ждали обмена.

Ожидания наши были напрасными. Шли дни, недели, месяцы, а об обмене немцы молчали. Капитаны несколько раз ходили к коменданту, но тот ничего конкретного сказать не мог, призывал быть терпеливыми и надеяться на провидение.

Для нас это были тяжелые дни. В лагерь приходили самые невероятные слухи: «Советское правительство отказалось от обмена!», «В Союзе было мало немцев. Моряков менять не на кого», «Гитлеровцы подсовывают вместо моряков военнопленных»… И вся эта чушь приходила «из самых достоверных источников».

А сколько муки, терзаний и волнений приносили въезжавшие в лагерь машины.

— Ребята, едем! Солдат сказал, за нами приехали! Сейчас придет комендант с переводчиком…

Но это были попытки выдать желаемое за действительность. За нами никто не приезжал… Мы слонялись по двору вялые, мрачные, раздражительные… Разговаривать не хотелось. Все наши прогнозы не оправдались. Радио и газеты гремели о победах Германии.

Шла последняя неделя сентября, а мы все еще находились в Бланкенфельде. Пожухла и пожелтела трава на лагерном дворе. Ночи стали темные и холодные. Тоскливо завывал ветер в проводах. Часто шли дожди. Вокруг бараков образовались непросыхающие лужи. Гулять не хотелось. Мы валялись в койках, с тоской прислушиваясь к ударам дождевых капель в оконные стекла. Об обмене уже никто не говорил. Это была запретная тема. Она вызывала раздражение. И все-таки мы не теряли надежды, затаив ее где-то внутри себя. Больше того — мы жили этой надеждой, но…

Первого октября, в холодный пасмурный день, на «аппель» пришел комендант. Как обычно, нас пересчитали, но не распустили. Мы стояли затаив дыхание. Сейчас он скажет: «Собирайте вещи. Едете на обмен». И он сказал:

— Завтра вы покидаете этот лагерь. Собирайте вещи и к восьми утра будьте готовы. Обмена не будет. Ваше правительство отказалось от вас.

Лицо у коменданта было злое, надменное. Вдруг раздался звонкий молодой голос:

— Врешь, подлюга! Врешь, сволочь!

Это крикнул кто-то из второго ряда. Комендант понял без переводчика и заорал:

— Руе! Кто посмел это сказать? Выйди вперед. Вы слышали, подонки?

Никто, конечно, не вышел, а комендант, брызгая слюной, продолжал орать:

— Унтерменши, не забывайте, что теперь вы вне закона. Я могу расстрелять любого из вас за неповиновение. Вас никто не защитит. Имейте в виду: еще одно такое выступление, и я применю силу. За оскорбление Великого Рейха…

Он что-то кричал еще, но нам уже было все равно. Обмена не будет! Вот что мы поняли. Рассказывать о нашем состоянии? Нет, думаю, что не надо. Мы получили смертельный удар. Ночью никто не спал. Во всех комнатах говорили о причинах прекращения обмена и нашей дальнейшей судьбе.

Среди интернированных моряков были люди, пользовавшиеся большим авторитетом. С ними советовались, к их мнению прислушивались. Гребенкин, Шилин, Пучков, Устинов, Зотов были коммунистами и, вероятно, так же, как и капитаны, чувствовали себя ответственными за моральное состояние экипажей в это трудное время. Они старались поддержать людей добрым словом.

Помню, как Гребенкин говорил, помню его тихий, спокойный голос:

— Ну что ж, ребята, сейчас, по крайней мере, все стало ясно. Сидеть нам в Германии до конца войны. Это как дважды два. О том, что наше правительство бросило моряков на произвол судьбы, даже мысли не допускайте. Что-то тут гитлеровцы смастрячили, нам неизвестно что. Только так. А мы должны набраться мужества, быть готовыми ко всему, смириться с тем, что сидеть нам тут долго, и не терять лица советского человека. Больше пока ничего не требуется. А там обстановка покажет, что нам делать…

На следующий день нас после завтрака начали сажать в прибывшие машины. Моросил дождь. По небу плыли серые, скучные тучи. Настроение было под стать погоде. Наши женщины тесной кучкой стояли у своего барака. Они глядели на нас испуганными, полными жалости глазами. А мы понимали, как одиноко и страшно им сейчас. До этого утра они были вместе со всеми, и наша судьба была их судьбой. Теперь они оставались одни среди нахальных, часто пьяных охранников. Что с ними

будет?

— Возьмите нас с собой! — не выдержав, закричала Нина Салтанова и бросилась к машинам.

— Цурюк! Лос! — охранник оттолкнул ее.

— Ничего, девушки! Держитесь. Все равно этим мордам хана будет! Не дрейфьте, — крикнул Костя Дмитриев.

Машины рванулись вперед. Последнее, что мы видели в Бланкенфельде, — понурую группку женщин на фоне моросящего дождя и бурого деревянного барака.

— Прощайте! — донеслось до нас. — Счастливо вам!

Замок Вюльцбург

Тюремные вагоны с решетками на окнах. Поезд идет медленно, часто останавливается. За окнами чернота. В конце вагона орут песни пьяные охранники. Они совсем не обращают на нас внимания, на вопросы не отвечают. Куда нас везут? Мы не знаем. Смертельно хочется курить. Из купе конвоиров доносится запах дыма. Попросить сигарету? Нет, не буду…

Поезд подпрыгивает на стрелках. Стучат, стучат колеса… Почему-то вспоминается детство. Маленьким я очень любил поездки по железной дороге, верхнюю полку и момент, когда проводник зажигал свечку в синем фонарике. В вагоне наступала тишина, все приготавливались ко сну, а я закрывался с головой одеялом, слушал стук колес и фантазировал…

— На, потяни, — говорит сидящий рядом со мною Коля Никитин. Он достает заветную, неизвестно как сохранившуюся сигарету и протягивает ее мне. — Одну треть можешь выкурить. Желающих много.

Вот счастье-то! Затягиваюсь с наслаждением, глубоко. Кружится голова. Это оттого, что на голодный желудок. Но есть сразу расхотелось. Тоже хорошо. Стучат, стучат колеса… Куда же нас везут?

На рассвете поезд останавливается на какой-то станции. Слышна гортанная немецкая речь, шарканье ног по асфальту перрона. Прижимаюсь к оконному стеклу. Напротив стоит поезд, переполненный веселыми солдатами СС. Женщины в белых халатах, в кокетливых накрахмаленных чепчиках, молоденькие и хорошенькие, угощают солдат кофе и бутербродами. Вот бы нам тоже… Но на наши вагоны никто не смотрит. Снова вспыхивает страстное желание пожевать хлеба. Ничего другого, только хлеба.

Еще несколько часов пути, и нас высаживают у маленького, совсем игрушечного вокзальчика с вывеской «Вайсенбург». На табличке-указателе: «Нюрнберг — 52 километра». Так вот куда нас привезли! В самое осиное гнездо, на родину национал-социализма, в Баварию. Зачем?

Под крики: «Лос! Сакраменто! Шнель!» — конвоиры высаживают моряков из вагонов. Непонятно, почему они всегда так орут? Нас встречают. На перроне выстроены солдаты. Около них топчется несколько пожилых офицеров. Ой, ой! Кажется, охраны больше, чем интернированных. Приготовились принимать матерых преступников, бородатых, злобных большевиков.

Передача не занимает много времени. Нас выстраивают, делают перекличку, и мы поступаем в распоряжение к новому

начальству. Железнодорожные конвоиры щелкают каблуками, вытягивают руки в прощальном приветствии и садятся в вагоны.

К нам подъезжает телега. Лошадью правит одноглазый солдат. Старший из охраны командует:

— Кладите вещи, быстро! Ну? Шнель!

Мы бросаем свои пожитки на подводу. Смотри, какие галантные! Понимают, что трудно тащить мешки и чемоданы голодным людям. А то, что мы голодные, видно по нашим лицам.

— Марш! Не торопиться!

Нас окружают солдаты. Мы входим в Вайсенбург. Какой прелестный городишко! Он, как и вокзал, выглядит игрушечным. Все здесь миниатюрное. Маленькие домики под красными черепичными крышами, маленькая ратуша с высоким шпилем, узенькие, мощенные диабазом улочки, круглые аккуратные площади, и все это утопает в зелени садов. Видно, город очень старый. Мы проходим мимо крошечных магазинов. Вывески средневековые. Тут висит золотой крендель, а здесь черный лев с мечом, немного подальше огромный башмак, а еще дальше раскачивается жестяная колбаса. На площади перед гостиницей «Корона» памятник— позеленевший от времени рыцарь в шлеме со щитом и копьем. Вероятно, какой-нибудь феодал, основатель города.

— Неплохое место выбрали нам фашисты, — невесело шутит идущий рядом со мною Юра Ратьковский. — Жрать бы что-нибудь дали, а то так и свалиться можно. Не подумали, что мы сутки не ели.

Вдоль тротуаров стоят любопытные жители. Как же, первые страшные большевики, убийцы из-за угла, функционеры ГПУ, о которых они так много читали в последних газетах и журналах. Но жители явно разочарованы. Нет ни бород, ни окровавленных ножей за поясом, ни злобных взглядов и выкриков. Вроде бы такие же люди, как и они сами. Только очень изможденные, усталые люди… Такие же костюмы, шляпы, ботинки. У некоторых немцев проглядывает даже какая-то жалость. Но есть в Вайсенбурге и настоящие «патриоты». Из толпы любопытных выскакивает маленький, толстый человек в коричневой форме СА, с широкой красной повязкой на рукаве. Он забегает вперед и с силой бьет по лицу старого кочегара Кунзина.

— У, проклятый большевик! Мы вам покажем! — шипит человек и хочет ударить Кунзина вторично, но конвоир лениво отгоняет его. Молчаливо стоят немцы на тротуаре. Они не выказывают ни порицания, ни одобрения. Что они думают?

Скоро мы выходим на широкую асфальтовую дорогу, обсаженную дикими яблонями. Город кончился. Значит, в городе

нас не оставят. Куда же тогда? Мы проходим еще с километр, поворачиваем налево и начинаем подниматься в гору. Подъем крутой. Идти становится все труднее и труднее. Подвода с вещами еле тянется.

— Идти медленнее! Не торопиться! — кричит старший охранник.

Через полчаса мы уже изнемогаем. Не хватает воздуха, дышится тяжело. Так вот почему нам предоставили подводу, почему требуют идти медленнее… Становится холоднее. Мы поднимаемся наверх. А кругом золотой лес. Осень. Красные, желтые, оранжевые листья. Зеленые ели и сосны. Красота необычайная. Но нам не до красоты. Мы уже задыхаемся.

— Остановка! Пять минут! — приказывает офицер.

Мы валимся прямо на траву. Ах, как она пахнет! В мыслях какие-то обрывки воспоминаний… Луга, деревня Мерево, где я жил летом с семьей… Там так же пахла трава, был такой же удивительный разноцветный лес…

— Ауфштейн! Марш!

Опять начинается подъем. Он все круче и круче. Солнце скрывается. Небо заволакивает тучами. Лес густеет, тропинка, по которой мы идем, совсем узкая. И вдруг перед глазами — высокая стена. Еще несколько шагов — и мы видим старинный, мрачный, серый замок. Он молчаливо и зловеще глядит на нас узкими щелочками средневековых бойниц.

— Стоп! Ждать! — говорит офицер и исчезает. Мы разглядываем замок.

— Тюрьма, самая настоящая тюрьма, — делает заключение матрос Шалякин. — Тут небо в овчинку покажется…

Высокие, двадцатиметровые толстые стены, вокруг глубокий широкий ров, по углам смотровые башни. К огромным деревянным, окованным железом воротам ведет перекинутый через ров мост. Когда-то он был подъемным, теперь его переделали на обычный.

Распахиваются ворота. Выходит новый, незнакомый нам офицер, сухой как палка, очень старый, в чине полковника. Он оглядывает нас, презрительно оттопыривает губы и скрипучим голосом приказывает:

— Форвертс! Вперед!

Колонной мы входим в замок. Со скрипом закрываются за нами ворота. Этот скрип режет по сердцу и звучит похоронным звоном. Выйдем ли когда-нибудь отсюда? За стенами большое четырехэтажное здание тюремного вида, обнесенное несколькими рядами колючей проволоки. Решетки на окнах. В городке было тепло и солнечно, здесь моросит дождь и дует пронизывающий

ветер. Сказывается большая высота над уровнем моря.

Во дворе, до проволоки — деревянный барак комендатуры. Около него толпятся офицеры гарнизона. По стойке «смирно» замерли два унтера. Полковник подает какую-то команду. Унтера бросаются к нам. Начинается повальный обыск.

Отбирают личные вещи: ножи, опасные бритвы, фонари, инструменты, документы — то, что запрещается иметь в тюрьмах, и, конечно, приемник Арташа. Делают все быстро, ловко, со знанием дела. Короткая команда, и нас ведут за проволоку в здание.

О, это уже совсем похоже на каменный мешок! Вероятно, рыцари въезжали сюда прямо на лошадях по пологой, без ступеней, широкой средневековой лестнице. Поднимаемся на третий этаж. Длинные коридоры с дощатыми полами. Сюда выходят двери камер. В каждой по тридцать, сорок мест. Трехъярусные железные койки. Посреди — круглая чугунная печка, вокруг нее — дачные деревянные столики и складные стулья. Сыро, холодно, угрюмо. На стенах и потолке чернеют влажные пятна сырости. На окна спущены бумажные шторы. Синие лампочки затемнения делают нас похожими на мертвецов. Нас разводят по камерам. Я попадаю в камеру номер одиннадцать.

Нами занимается унтер Вейфель. Он поджар, высок, подтянут. У него худое лицо и маленькие, холодные, голубые, близко поставленные глаза. На груди его несколько орденских ленточек. На ногах коричневые невысокие сапоги. Он быстр в движениях, энергичен, не очень криклив. Первое впечатление после тех горлодеров, с которыми нам приходилось встречаться в последнее время, неплохое. Он сказал, чтобы по всем вопросам обращались только к нему. Камера номер одиннадцать находится под его наблюдением.

Вейфель ведет нас на четвертый этаж в кладовку, где орудует маленький кривоногий рыжий человек со злыми глазами-буравчиками. Не успеваем мы войти, как он начинает кричать. Вейфель смеется:

— Спокойнее, спокойнее, герр Коллер, еще успеете поговорить с ними. А пока выдайте им все, что положено.

Завхоз ворчит себе под нос проклятия и принимается выдавать нам алюминиевые миски, ложки, мыло, сделанное из песка и глины, ведра, тряпки… Все это он швыряет нам и не перестает ругаться. Вейфель стоит в сторонке, улыбается тонкими губами. Кроме посуды каждый из нас получает клетчатый синий мешок, который набивается стружками. Теперь все получено. Мы возвращаемся в камеру.

Не успевают моряки устроить свои койки, осмотреться, раздается команда:

— Построиться!

Унтера выгоняют нас из здания тюрьмы. Смеркается. Стало еще холоднее. Стоят поеживаясь шеренги моряков, переминаются с ноги на ногу. Появляется уже знакомый нам худой полковник. Сейчас он в эсэсовском плаще, перетянутом ремнями, и какой-то особенной высокой фуражке. Вейфель вытягивается, щелкает каблуками, докладывает, что по списку все налицо. Он называет полковника «герр комендант». Ага, значит, это наш новый комендант. Полковник выходит вперед и начинает речь. Он говорит долго и многословно о поведении в тюрьме-лагере ИЛАГ-13, о мерах наказания, о великодушии Германии, о том, что мы, счастливцы, попали в единственный в стране лагерь интернированных, о том, что мы вшивые русские и он не допустит, чтобы мы развели в тюрьме вшей… Полковник орет, жестикулирует.

Кончал бы ты свою бодягу, старый ворон… Ты не оригинален, мы все это слышали неоднократно и знаем, что ты ничего нового не скажешь… Ты горд, что фюрер вытащил тебя из архивов старой кайзеровской армии и поручил «дело». Вот ты и стараешься, лезешь из кожи, чтобы оправдать доверие. Мы все понимаем… Отпустил бы ты нас скорее… Как замерзли ноги! Кажется, замерзло и сердце. Начинается тюремная жизнь, а может быть, медленная смерть?

—.. кто не пожелает выполнять наши требования, будет повешен. Мы прекрасно знаем, что вы, моряки, — банда шпионов. Очень жаль, что вы интернированные, а не военнопленные и вас нельзя ликвидировать сразу, но мы… О, мы все знаем. Знаем, что вы всех немцев хотели загнать в Сибириен, но гений фюрера вовремя спас нас… Разойдись!

Черт, как замерзли ноги и безумно хочется есть! Наверное, до утра нам ничего не дадут. Кажется, старый ворон кончил каркать… Пошли в камеры, попробуем там согреться. Молча ложимся в койки. Голод не дает заснуть.

— Знаете, ребята, — раздается из темноты чей-то голос, — здесь до нас жили интернированные англичане. Их перевезли в другой лагерь. Они вчера уехали. Я нашел записку в своем шкафу. А во втором этаже осталось человек двадцать голландцев… Завтра мы их увидим и можно будет расспросить о здешних порядках.

— А курить у них разжиться нельзя?

— Сразу не догадался…

Замолкает камера. Думы ползут бесконечной вереницей… О

чем? О доме, о нашей проклятой судьбе, о Красной Армии, сражающейся сейчас в осенних хлябях, о том, будут ли нас здесь лучше кормить, о подлости гитлеровцев… Долго еще слышатся тяжелые вздохи, скрип коек. Не могут заснуть моряки…

Первое тюремное утро. За окном хилый рассвет. В камеру влетает Вейфель, включает свет.

— Ауфштейн! Аппель! Быстро мыться и строиться!

По каменной лошадиной лестнице спускаемся в подвал, где установлены длинные умывальники. Наскоро умываемся и бежим на двор. Там уже начинают строиться наши товарищи. Голландцы стоят отдельно. Они с любопытством разглядывают нас. Прибегает Вейфель, два других унтера делают перекличку и пересчитывают всех. Появляется комендант… Повторяется вчерашний «аппель». Теперь так будет ежедневно. Команда «разойдись», и мы расходимся по двору. Я подхожу к голландцам и по-английски спрашиваю:

— Ну, как тут?

Толстый неопрятный голландец в засаленной французской форме презрительно машет рукой:

— Шайсе! Кормят плохо, комендант дрянь. Ну, мы изредка посылки получаем от «Красного Креста». Кое-как живем. Нас обещали скоро отпустить. Мы все время жили в Германии. Ни в чем не замешаны. Люди солидные…

— Закурить есть?

Голландец удивленно глядит на меня, потом не очень охотно достает из жестяной коробки сигарету, подает ее мне:

— Сигареты у нас дорого. Две сигареты — пайка хлеба.

Я протягиваю ему сигарету обратно, но он не берет, улыбается и говорит:

— Вас это не касается. Такая такса между голландцами.

Томас Грюнштейн, так представился мне голландец, рассказывает о порядках в лагере:

— В семь часов подъем. В семь тридцать «аппель», в восемь завтрак, в двенадцать обед и в пять ужин. В десять вечера отбой. Свет не зажигать.

Сейчас восемь. Скоро завтракать. Дежурные уже выстроились с алюминиевыми канами-кувшинами у кухни. Она тут же на дворе. Маленькое желтое здание. Поднимаюсь в камеру. На завтрак: кружка кофе-эрзац, десять граммов маргарина, кусок хлеба с выдавленным на нем клеймом: «Только для военнопленных». Черт знает из чего он сделан. Не то из отрубей, не то из опилок. Но до чего же он вкусный! Я съедаю все сразу. Не могу удержаться.

— Ты что, с ума сошел? Ведь это на весь день дали. А ты все сразу завалил. Так нельзя… — укоризненно говорит мне Коля Никитин. Он сидит со мною за одним столом. — Я вот на вечер оставил, — кивает он на аккуратно разрезанную половину пайки хлеба и крохотный кусочек маргарина. А ведь ему хочется есть так же, как и мне. Волевой человек.

После завтрака в камеру снова приходит Вейфель.

— Одиннадцатая камера, — приказывает унтер (все переговоры с ним мы ведем через нашего парня, немного владеющего немецким языком), — быстро пойдем в комендатуру. Получите номера.

Мы спускаемся вниз. У комендатуры уже стоит толпа моряков, ожидающих своей очереди, но Вейфель заводит нас внутрь, садится к столу и начинает заполнять на нас карточки. Анкетные данные. Где родился, где учился, чем занимались родители, имели ли недвижимую собственность и т. п. Потом на этой карточке он ставит жирный номер и протягивает интернированному алюминиевую прямоугольную пластину, просеченную насквозь крупным пунктиром. Это для того, чтобы она легко разламывалась на две половины. На пластине тот же номер, что и на карточке.

— Получай, — говорит Вейфель, и глаза его насмешливо поблескивают, — будешь носить всегда на шее. Снимать запрещается. Понятно?

— Зачем это? — спрашивает кто-то из моряков.

— Лучше тебе об этом не знать, — смеется унтер. — Если помрешь, мы разломим эту бляшку надвое и положим одну половинку тебе в зубы, а вторую пришьем к делу. Теперь понятно?

Да уж куда понятнее! Комментарии, как говорится, не требуются! Я получаю пластинку с номером 99, продеваю в нее шнурок и вешаю на шею. Ну вот мы и стали настоящими заключенными. Не хватает только одежды. Она не заставляет себя ждать. Нас ведут туда, где мы получали миски и матрасы, и злобный герр Коллер выбрасывает штаны, куртки, береты, фуражки. Мы пытаемся примерить то, что получили, но Коллер орет:

— Шнель! Забирайте и выматывайтесь отсюда живее!

Мы становимся обладателями каких-то зеленых шинелей — формы солдат французской пехоты — и нелепых коричневых беретов с помпонами. Кому велико, кому коротко и тесно. Вид смешной и жалкий. Желающие получили деревянные колодки типа «сабо». Когда мы облачаемся в эту «форму», Вейфель удовлетворенно говорит:

— Теперь можете идти на прием к Сталину, На сегодня все. Идите гулять.

Гулять-то гулять, но нам бы сначала поесть, в животах бурлит от голода, и мы с нетерпением ждем обеда. Но он не приносит облегчения. Миска жидкой брюквенной баланды, четыре небольшие картошки— вот и весь обед. Это, пожалуй, похуже, чем в Берлине. Разочарованные и голодные встаем мы из-за столов.

— Неужели так будет каждый день? — тоскливо спрашивает Саша Антонов.

Его мы назначили разливалой — должность ответственная и неблагодарная. Разливала должен быть безукоризненно честным, зорко следить за тем, чтобы все получили поровну, и наливать себе последнему. Вот и сейчас он сидит и грустно глядит в свою миску. Получил только полпорции. Просчитался. И возместить ему нечем. Все уже давно съели свой суп.

До одурения ходим по плацу, о чем-то говорим, что-то вспоминаем, строим планы о вызове шведского консула, ведь Швеция должна защищать наши интересы, мечтаем о том, что, может быть, и мы будем получать посылки от «Красного Креста», а в голове одна мысль: «Скорее бы ужин».

На ужин дают голый «кафе». Мрачные сидим за своими дачными столиками, пьем коричневую, пахнущую шалфеем жидкость. Чтобы заглушить голод и на-полнить живот, пьем по несколько кружек, благо «кафе» дают неограниченно. На того, кто оставил часть хлеба и маргарина от завтрака, смотрят с завистью.

Коля Никитин достает свои запасы, отрезает тоненький пластик хлеба, подвигает ко мне.

Мне стыдно, но я не отказываюсь. Не в силах отказаться. Я беру хлеб и тихо говорю:

— Спасибо, Ника. Я тебе отдам…

— Да ладно… Советую делать так же. Оставляй немного от завтрака.

За окнами темнеет. В коридорах зажигаются синие лампочки затемнения и появляются солдаты-автоматчики. Это внутренняя охрана. Бесцельно сидим за столиками, нехотя переговариваемся. В девять часов приходит унтер, пересчитывает нас и гасит свет. Забираемся в койки, натягиваем на себя тонкие, приютские, бумажные одеяла и пытаемся заснуть. Первый день в лагере-тюрьме Вюльцбург прошел. Сколько еще их будет? Мучительных, голодных, тревожных Дней?

Слышно, как шумит за стеной лес, лают и грызутся овчарки, выпущенные на ночь за проволоку. Тоже наша охрана. А по углам на стенах установлены деревянные вышки. В каждой сидит солдат с пулеметом. Все это мы разглядели днем, когда гуляли по плацу.

Охраняют нас прямо как настоящих шпионов. До чего же немцы боятся моряков!

.. Так хочется заснуть и ни о чем не думать. Но мысли лезут и лезут в голову. И от них нет спасения. Вспоминается вся жизнь… Хорошее и плохое. И даже плохое кажется сейчас хорошим. Многого мы не понимали, не умели ценить того, что давала нам жизнь! Ворчали: это не так, то не этак… Хорошо бы отдельную квартиру, зарабатывать побольше… Какие это мелочи на самом деле! В общем-то мы были счастливыми людьми. Все имели что надо человеку. Семья, любимая работа, приличный заработок, уважение, а главное, уверенность в завтрашнем дне. Никто не лишит тебя работы, не надо думать о том, что можешь остаться без куска хлеба и нечем будет кормить семью… Может быть, что-то и было у нас не так, но об этом сейчас не думалось. Все было прекрасным.

А сегодня орды серо-зеленой нечисти топчут нашу землю, пытаются отнять от нас эту жизнь, хотят превратить нас в рабов, заставить лизать сапоги толстомордым бюргерам… Эти мысли невыносимы. Если бы не наша проклятая судьба, если бы мы оказались к началу войны дома, то воевали, возили бы военные грузы, помогали фронту… Мы знали, как нужны моряки во время войны. А тут — полное бессилие… Не скажут ли нам потом презрительно: «Отсиделись!»?.. Об этом тоже не хотелось думать.

Вдруг я слышу голос механика Глущенко, мечтательный такой голос:

— Была бы у меня шапка-невидимка, надел, перемахнул бы через стены и полетел к своим…

— Или ковер-самолет достать…

— А может быть, тут, в тюрьме, сделать такой пузырь надувной и перелететь через стену…

Никто не смеется, никто не отпускает ни одного иронического замечания, не слышно скептических, трезвых голосов. Все думают об одном: как вырваться из фашистских лап?

На стене в коридоре висят правила. Они составлены для военнопленных. За малейшее нарушение — смертная казнь.

Голодает лагерь. Настроение у людей падает с каждым днем. Да и не от чего ему улучшаться. Наступила осень. Идут дожди. Небо серое. В камерах холодно, сыро, промозгло. Курить нечего. На дворе стоит большое крепкое дерево. Это красный бук. Бурые листья мы высушиваем и курим. После нескольких затяжек у курильщика начинается страшный кашель, тошнота, иногда и рвота. Но все-таки мы курим листья, чтобы заглушить голод. В насмешку моряки называют бук «деревом Черчилля». Листья так

крепко держатся на ветвях, что не опадают даже осенью и зимой. Черчилль в одной из своих речей сказал, и мы хорошо запомнили: «…еще с деревьев не упадут листья, как мы откроем второй фронт». Он не соврал. Дерево стояло с листьями, второй фронт не открывался.

Что немцы не забывают делать, так это посылать нам свои газеты. Перед вечерним «аппелем» кто-ни будь из владеющих языком переводит их. Слушать невозможно. Гитлеровцы уже стоят под Москвой. Статьи наглые, хвастливые… Я помню слова из речи Гитлера: «Русской армии больше не существует. По пустынным, заснеженным полям движутся отдельные толпы деморализованных, голодных, раздетых людей, не могущих оказать никакого сопротивления доблестной немецкой армии. Мы стоим под Москвой. Мы уже видим дымку над городом… Еще один удар, и война будет окончена…»

Когда переводили эту речь, Долженко не выдержал, соскочил с койки и бросился к столу.

— Прекрати, прекрати сейчас же эту пропаганду! Не то я тебя задушу! И без нее тошно, а ты тут со своим Гитлером… — Долженко дико вращал глазами и пытался вырвать у переводчика газету. Его оттащили.

После этого случая в камере обсуждали вопрос: стоит ли вообще читать немецкие газеты? Большинство высказывалось, что надо. Пусть там на восемьдесят процентов ложь, но все-таки кое-что мы можем из них почерпнуть. И правда. Через несколько дней гитлеровцы сообщили, что наступление на Москву «ненадолго» прекращено.

Впоследствии в некоторых камерах человеку, переводившему немецкие газеты, была установлена даже своеобразная премия: за каждого убитого гитлеровского генерала, упомянутого в списках погибших, наш переводчик получал один окурок.

Нервы у всех напряжены до предела. Вспыхивают беспочвенные ссоры. Не дай бог кому-нибудь сказать о том, что Москва может пасть. На него набрасываются все. Не будет взята! Не может быть взята! Вопреки газетам, несмотря на рассказы солдат, с которыми иногда удается перебросится двумя словами, назло всей Германии, черт бы ее побрал! Не будет взята!

Вейфель набирает «арбайтдинст» — рабочую команду. Она должна обслуживать лагерь. Игорь Маракасов попадает истопником в комендатуру, Ваня Кулин туда же уборщиком, Виктор Шулепников работает маляром, Шилин — плотником, Виктор Свирин лагерным слесарем. Всех наших поваров посылают на кухню в помощь кухонному унтеру Крифте, чеху по происхождению. Два других унтера, Балаш и Гетц, ежедневно

берут остальных на уборку коридоров, подметание плаца, чистку брюквы. Балаш ненавидит русских. Он всегда груб с интернированными, каждую минуту орет, сыплет проклятиями. Гетц — дурак и негодяй. Излюбленное его место — у дверей тюрьмы. Когда интернированные идут строиться на «аппель».

Гетц расставляет ноги, закладывает руку за борт кителя, раскачивается, как кобра, и наблюдает. Стоит кому-нибудь замешкаться, сейчас же слышится рев Гетца:

— Шнель, унтерменш! Сакраменто! — и человек получает удар по лицу, затылку или спине.

Одного из судовых врачей назначают в ревир помогать немецкому фельдшеру. Страшное это учреждение, ревир. Ревир — это тюремный лазарет. Раз в неделю на двор лагеря въезжает черно-красный «оппель-капитан». Из него выходит офицер в чине лейтенанта. Он высок, молод, красив. Черные тонкие усики, на правой щеке шрам в виде креста, след корпорантской дуэли, в руке стек. В петлицах орденские ленточки. Он немного прихрамывает, видимо успел побывать на фронте. Это «герр артс» — лагерный врач. Он медленно поднимается во второй этаж, в ревир. При виде офицера фельдшер и судовой врач вытягиваются по стойке «смирно». Это железный закон. Не исполнишь— ударит. Доктора надо уважать. Ведь он приносит «облегчение» страдающим и у него высшее образование. Фельдшер подскакивает к лейтенанту, делает короткий доклад. Начинается обход больных. На почтительном расстоянии за немецким врачом следуют фельдшер и наш доктор. Лейтенант брезгливо, кончиком стека приподнимает края одеял, он смотрит на вконец исхудавшие тела больных. На лице у доктора отвращение. Он зажимает нос белым платком.

— Проветрить! Откройте все окна, — распоряжается немец.

Фельдшер бросается выполнять приказание. Промозглый, холодный ветер врывается в помещение.

— Но ведь у некоторых высокая температура… — тихо шепчет наш доктор. Его не слушают. Обход продолжается.

— О, шмутциге лёйте! Грязные люди, сборище симулянтов, — цедит доктор. — Франц! Вот этого на работу, этого тоже, и этого, и этого…

— Герр артс, — решается подать голос наш доктор, — они очень истощены. Очи не могут даже твердо ходить. Я прошу вас…

Немецкий врач презрительно глядит на русского.

— Я знаю, все вы заодно, На работу. А этот, кажется, действительно, слаб. Франц! Шприц! Я ему сделаю укол.

Фельдшер подает офицеру шприц.

— Не вскипела еще вода, господин доктор, — говорит

фельдшер, — одну минутку…

— Ерунда. Обойдемся.

«Герр артс» вкалывает шприц в вену больному моряку, набирает кровь, выпрыскивает ее на стенку. Потом наполняет шприц лекарством и вторично делает укол. Все. Помощь больным оказана. Можно уезжать. Марки за визит врач получит у коменданта. В его служебные обязанности не входит лечить всякое дерьмо, все равно подлежащее уничтожению.

— Хайль! — вытягивает руку доктор и выходит из ревира.

Франц Прокопец неплохой парень. Он виновато смотрит на русского врача. Ему стыдно. Ведь он все-таки фельдшер, понимает кое-что в медицине. Он знает, каким издевательством над ней выглядит то, что сейчас проделал немецкий врач. Ему жаль этих моряков.

— Шлехт, шлехт, — укоризненно качает головой Франц. — Так нельзя. Так промывать шприц… О, Сакраменто!

Он высовывается в открытое окно. На дворе урчит «оппель-капитан». Как только машина скрывается за воротами, Франц в сердцах захлопывает рамы. Это единственное, чем он может выразить свой протест.

Ревир, ревир… Лучше не попадать туда. Лучше умереть на своей трехъярусной койке…

С тех пор как наши арбайтдинсты вышли на кухню и за проволоку, на двор комендатуры, мы немного начинаем разбираться в окружающей обстановке. «Рабочие» все видят, кое с кем разговаривают, ведут беспрерывное наблюдение.

Вот что нам удалось узнать. Нас охраняет гарнизон в сто человек. Солдаты хорошо вооружены. Комендант— старый прусский офицер, преданный фюреру до последнего волоса. Его помощник — хауптман фон Ибах, Он не очень-то одобряет все, что происходит у нас в лагере, но молчит. Ибах богатый помещик, землевладелец.

Есть еще гестаповский офицер Зиппель. Ну, одно слово «гестаповец» уже говорит само за себя. Унтер Вейфель — глаза и уши Зиппеля. С ним нужно держать ухо востро. Вейфель умный, жестокий, но внешне доброжелательный. Иногда даст сигарету, сухарь или освободит от лагерной работы. Любит расспрашивать о России, о нашем житье-бытье, об отношении к войне, о женах и детях… Берегись! Не распускай язык. Лучше улыбайся и молчи. «Нихт ферштеен», мол. Не то будешь на крючке у Зиппеля. Он тебе потом вспомнит все…

Вейфель — бывший полицейский из Судетской области. Он следит за каждым из нас и появляется в самых неожиданных

местах и всегда, когда его меньше всего хотят видеть. Что-то высматривает, вынюхивает как ищейка…

Балаш и Гетц — кретины, служаки, держиморды. Но есть и люди. Даже неплохие. Кухонный унтер Крифта в первые месяцы войны получил ранение в ногу, и теперь его зачислили в нестроевые. Крифта очень доволен. Когда он хватит втихаря стаканчик шнапса, то говорит такие вещи, за которые Зиппель его давно повесил бы. Об этом рассказывал Миша. Он работает на кухне переводчиком. Крифта ему доверяет. Еврей не посмеет донести на немецкого солдата. Унтер жалеет интернированных, но не знает, как им помочь. Ну, Франц из ревира тоже неплохой. Иногда, когда никто не видит, сует своим больным сигареты, хлеб, остатки солдатского обеда, старается дать лекарство получше.

Есть еще продуктовый фельдфебель Шнар. Он хромой и очень злой. Шнар выдает продукты на кухню. Эти выдачи всегда сопровождаются криками и руганью. Но кричит он не потому, что ненавидит моряков. Нет. Он зол на весь мир. Он проклинает жизнь зато, что он хромой от рождения, за то, что его, сравнительно обеспеченного человека, сделали солдатом и бросили сюда, в тюрьму, где он должен заниматься гнилой картошкой, брюквой и считать буханки хлеба, которые давно пора выбросить. Они выпечены в 1935 году. Может быть, фюрер прав, но при чем тут он, Шнар? У него молодая жена в Нюрнберге и свое дело. Русские, конечно, не нация. Они должны подчиниться Германии, поделиться с ней землями, ну кое-что и им останется. Там, подальше, в Сибири. Хватит им места. А немцы дойдут только до Уральского хребта. У немцев, великой нации, так мало места. Несправедливо.

Шнар любит вести философские беседы. Обычно они происходят в подвале, когда он выдает картошку. Шнар считает себя великим полемистом. Он пытается доказать, что евреи подлежат уничтожению, от них все беды. Конечно, всех не уничтожить. Кое-кого можно и оставить. Но мы осторожно возражаем ему. Шнар сердится, орет, грозит показать нам черта, но на следующей выдаче все начинается сначала.

Солдаты нас охраняют разные. Некоторые, побывавшие на фронте, ничего. Молодые, необстрелянные, — герои. Ждут не дождутся, когда смогут «поддать» красным, потискать русских «Машек», поесть «шпека» и привезти домой своим невестам кое-какого добра… А то скоро война окончится, и они останутся не у дел. И попользоваться ничем не придется.

Они толкают нас прикладами, орут, иногда пытаются ударить, когда вереница интернированных ночью нескончаемой

лентой тянется ко внутренней уборной. Кляк, кляк, кляк! Стучат деревянные колодки. Это раздражает охранников. Мешает им дремать. А мы рады бы не вставать с коек, да в течение дня выпиваем такое количество воды, что в обычное время его хватило бы на неделю. Многие вливают воду в брюквенную баланду, чтобы было больше. Люди распухают от непомерного потребления воды. Лица как страшные маски, ноги — толстые бревна, глаза заплыли, видны лишь маленькие тусклые щелки. На все это молодым охранникам наплевать. Их хорошо проинструктировал Зиппель, представив нас исчадиями ада.

Есть в лагере еще неплохой человек. Это переводчик Ганс Хельм. Мы его называем Иван Иванович. Хельм говорит по-русски неважно. Забыл. В прошлую империалистическую войну он был в плену и жил где-то в Сибири. Видно, от пребывания в России у него остались хорошие воспоминания. Хельм знал, что представляют собой русские люди, и, наверное, делая сопоставление, не мог относиться равнодушно к нашим страданиям. Но, будучи человеком вялым и тихим, ничего не предпринимал, чтобы как-то облегчить положение интернированных. У него была в Нюрнберге фабрика кондитерских изделий, куда он изредка ездил. Больше всего Иван Иванович боялся попасть на фронт.

Нельзя убить всех сразу. Фашисты решили убивать поодиночке, голодом. Комендант не сворачивая идет по этому пути. Двести граммов свекольного хлеба, крапива, ботва, гнилая брюква, десять граммов маргарина. Так изо дня в день. Кто выдержит?

Капитаны судов Балицкий, Богданов, Ермолаев, Новодворский выступают с письменным протестом, составленным по всей форме международного права, в защиту своих команд. Они требуют смены режима военнопленных на режим интернированных, улучшения питания, человеческого отношения. Они имеют право это требовать. В одном из справочников нашли параграф: «…экипаж судна, застигнутый войной в порту неприятеля, в случае интернирования, имеет право на привилегированное содержание… неприятель обязан их нормально кормить, не должен заставлять работать, экипажи имеют право на получение посылок от международного «Красного Креста», могут обмениваться письмами с родными» и т. д.

Как это все далеко от действительности! Комендант вне себя от ярости:

— Протестовать?! Через два месяца конец войны. Победа Германии предрешена. Какие посылки? Какие письма? Да знаете

ли вы, что ваше правительство отказалось помогать вам, когда «Красный Крест» предложил свою помощь. Очень вы нужны Советскому правительству. Оно само не знает, как унести ноги. Молчать! Чтобы не было никаких протестов.

Но капитанов не остановил грубый окрик. Подается второй протест, еще более категоричный, с требованием вызвать шведского консула, страна которого, по просьбе Советского правительства, должна была защищать интересы советских граждан, интернированных во время войны.

Каждый день на огромной черной доске, она висит перед входом на кухню, Крифта пишет наш дневной рацион. Чего только тут нет! Мясо, овощи, жиры, джем, сахар, чай, кофе. Для военного времени прямо изысканный стол. Беда в том, что наименования продуктов пишутся крупно, а количество очень мелко. Цифры впечатляющие: маргарина — 10 гр., джема — 15 гр., овощей — 250 гр., мяса — 20 гр., хлеба — 200 гр. Все это делается с немецкой аккуратностью, — а вдруг придет какая-нибудь комиссия с проверкой?

Голод делает свое страшное дело. Умирают кочегар Кунзин, механик Коваленко, матрос Гладков, механик Брагин. Холодно в камерах. Слишком мало дают угля для печек. Коллер выдает его по две лопаты на сутки. Не вздумай тайно прибавить один брикет. У герра Коллера зоркий глаз. Он все видит. Завхоз вырывает из рук наполненное ведро, высыпает его, ругается, а иногда и дерется. Но самое скверное, что он может отправить провинившегося наверх без угля. А бумажные одеяла совсем не греют. На дворе льет дождь, гудит ветер. Тонкая струйка воды течет из неплотно пригнанной рамы прямо в камеру…

Шестого ноября 1941 года. Только что закончился «аппель» на дворе. Почему-то долго не выходил комендант, и нас продержали в строю битый час. Мы перемерзли, а тут еще начался дождь. Впрочем, на нашей горе дождь, кажется, идет не переставая. Самые паршивые мысли приходят в голову, когда вот так, бесцельно стоишь в строю. Сверху льет, ноги мокрые, замерзли… Наконец нас отпустили. Не успели мы разойтись по камерам, как поступило сообщение:

— Кого-то привезли!

Мы бросаемся к окнам. Верно, через проволочную калитку ведут каких-то людей в отрепьях. В руках у них жалкие узелки. Лиц рассмотреть не удается. Смеркается. Еще несколько минут, и Вейфель приводит к нам моряков с парохода «Магнитогорск», захваченного в Данциге.

Боже, на кого похожи люди, что с ними сделали! Грязные,

опухшие от голода, избитые, у многих кровоподтеки под глазами, все в болезненных фурункулах… Эх, бедняги! Видно, досталось им хуже, чем нам. Рукопожатия, объятия, слезы…

— Где это вас так? — спрашиваю я Васю Тарасова, боцмана с «Магнитогорска».

— В лагере Штутгоф.

Вот, оказывается, где они были все время с начала войны. Среди прибывших и мой старый приятель, радист Юра Стасов. Он был красавцем парнем, спортсменом, в прошлом — цирковым артистом. Сейчас он похож на скелет. Капитан «Магнитогорска» Дальк рассказал мне, как Стасов с риском для жизни передал в Ленинград через запломбированную немцами радиостанцию: «Война… Война… Не посылайте… Говорит Юра… Юра… Юра…» Радисты береговой станции в Ленинграде узнали его по почерку. Я дал ему тоненький кусочек хлеба. Это было все, чем я мог порадовать еще более голодного товарища.

Вечером мы слушаем печальную и отвратительную историю захвата гитлеровцами нашего парохода «Магнитогорск». Она не идет ни в какое сравнение с тем, что пережили мы.

— …Ну, привезли нас в Штутгоф, завели внутрь лагеря, поставили носами к стенке барака, — рассказывает Вася Тарасов. — Жара. Солнце печет. Стоим час, два. Некоторые не выдержали, упали. Свалились дядя Гриша Кимаев, Коля Тульский, Смиренников… Кто обернется, того палкой по голове. Стой, не шевелись, смотри в стену. Потом пришло начальство. Нас повернули. «Шапки долой!» — орет эсэсовец. Но мы, конечно, не сняли. И тут начали нас по башке лупить. Мне, сволочь, так приварил, что я сознание потерял. Пересчитали нас, проверили по мореходкам и загнали в барак № 23. Ни нар, ни коек, ни подушек. В углах навалена гнилая солома. Запах невозможный. Хуже, чем в гальюне. Но что делать? Люди с ног падают от усталости. Надо устраиваться. Подошли, смотрим, мать родная! Солома шевелится, столько в ней всякой нечисти, вшей, блох, мокриц… Невозможно на нее ложиться. Всю ночь не спали, просидели на голом полу, а утром, в четыре тридцать, нас подняли и погнали на работу. Впрягли, как лошадей, в тяжеленный, груженый прицеп от автомашины. Так продолжалось с неделю Для порядка каждый день избивали несколько человек. Особенно свирепствовал один мерзавец, садист-эсэсовец по прозвищу «Бомба», фамилия его была Мюллер. Ну, этот бил, так бил. Чуть ли не насмерть забивал людей. Заключенные поляки рассказывали.

Потом нас стали выводить за ворота корчевать пни. Тоже, я тебе скажу, работенка. А ночью иногда пьяные эсэсовцы

приходили к нам в барак развлекаться. Только забудемся, приходят: «Встать! Лечь! Встать! Лечь!» Кто был на верхних койках, не успевал слезть, того били смертным боем. Люди начали падать духом. Но капитан молодец. Все время поддерживал. Внушал уверенность, что все изменится. Это помогало нам… Мы надеялись.

А один раз мы работали вместе с поляками. И там их старший, капо называется, начал избивать какого-то жалкого старика. Юрка Стасов не выдержал, подскакивает к поляку, отнял старика и орет по-русски:

— Сволочь! Перед кем выслуживаешься? Предатель! Если тронешь еще кого-нибудь, я тебе…

Капо сразу же донес. Прибежал эсэсовец и повел Стасова в лес, расстреливать. Но не расстрелял, а только попугал. История с поляком нам даром не прошла. Немедленно всех сняли с работы, загнали в барак, прилетел Бомба и принялся избивать всех подряд. На другой день нас отправили пешком в штрафной лагерь Гринсдорф. В Штутгофе было плохо, а тут уж совсем невмоготу. Работу в каменоломнях выдерживали только очень сильные физически, а какие были мы, сами понимаете. В конце сентября нас вернули в Штутгоф. На этом пути многие падали от истощения и усталости. В Штутгофе Бомба снова принялся за свои издевательства. Мы моемся, а он нас лупит по голым спинам. У капитана до сих пор рубцы остались. Спасло нас то, что четвертого ноября нас посадили в машины и повезли сюда. А то передохли бы там как мухи или бы забили нас насмерть. А как тут кормят? Бьют?

Мы успокоили Тарасова, сказали, что у нас полегче. Да так на самом деле и было, если сравнивать с тем, что мы услышали. Команда с «Магнитогорска» была последней. Гитлеровцы захватили шесть судов. Всего в Вюльцбурге собралось около двухсот двадцати моряков.

Сегодня 7 Ноября, годовщина Великой Октябрьской революции. Мы особенно тщательно убрали камеры, надели свои форменные костюмы. Их не отбирали. Каким парадоксом выглядят золотые нашивки и красные флажки в камерах в окружении серо-зеленых мундиров охраны. Вейфель сразу заметил перемену в нашем внешнем виде.

— Что такое? Почему такой шик?

— У нас национальный праздник.

Унтер иронически улыбнулся. Наверное, сейчас прикажет снять форму. Но он не делает этого. Только взгляд его полон иронии. Вейфель смотрит на нас как на сумасшедших. Через месяц конец войне, Москва уже почти в руках немцев, а эти

идиоты не могут расстаться со своей формой, вспомнили коммунистический праздник. Думали бы лучше, как им жить дальше. А может быть, им и об этом не стоит думать?..

А мы думаем. Не об этом. О том, состоится ли сегодня традиционный парад на Красной площади, что будет говорить Сталин и как там вообще все наши в этот день. Наверное, вспоминают нас, тревожатся. Мы прогуливаемся по двору подтянутые, торжественные и грустные. Ведь Седьмое ноября всегда проводили весело, ходили на демонстрацию, а после садились за праздничные столы, говорили тосты, желали друг другу счастья…

Окна комендатуры выходят на плац. Это сделано, не напрасно: когда заключенные на прогулке, из этих окон за ними неусыпно наблюдают. Сейчас все офицеры прижались к стеклам, глядят на нас, хохочут, показывают пальцами. Смотри, пожалуйста! Эта банда надела «красную» форму! И где? В нашем лагере. Как только комендант разрешает такое безобразие? Ну, ничего, потом им эту форму припомнят… А пока выпьем по стаканчику за победу Великой Германии. Ведь у нас тоже праздник. Газеты сообщают, что немецкие войска подошли к самой Москве и авиация сегодня не позволит ни одному человеку высунуть нос на улицу. Хайль Гитлер! Хох!

В девять вечера в камеру, как обычно, приходит с проверкой Вейфель. Он немного навеселе, Дернул шнапса с офицерами. Настроение у него отличное, и, не очень щедрый в обычное время, он дает сигарету нашему старшине. Отбой. Гасят свет. В камере темно. Тихо. Вдруг я слышу тонкие, прозрачные звуки московских курантов. Что это, сон? Их сыграл на гитаре Павел Бесараб, и спокойно-торжественный голос помполита Гребенкина произнес:

— Товарищи! Сегодня Седьмое ноября. Давайте «Интернационал»…

Моряки встали с коек, и в темноте зазвучал «Интернационал». Его пели негромко, но мужественно звучали его слова… Мы были угнетены, голодны, замордованы, но не сломлены… Так отметили народный праздник во всех камерах. Об этом мы узнали на следующий день.

За оконными решетками воют бураны. Лагерь по пояс занесло снегом. В камерах стало еще холоднее. Не видно больше улыбок, не слышно шуток… Моряки сидят вокруг холодных печек, безразличные ко всему, завернутые в одеяла, и ждут… Чего? Неужели смерть и похороны в клетчатом мешке, в жидком болоте, на собачьем кладбище, за стенами замка? Смерть рядом. Внизу, в

ревире, умирают товарищи. Уже свезли зашитых в мешки с пластинкой в зубах и закопали, не поставив ни креста, ни памятника, Брагина, Данилова, Харичева, Чемоданова, Кононова, Пасечника… Кто следующий? Люди погибают от голода, к ослабевшим пристают разные болезни, о которых моряки раньше никогда не слышали.

Мы жили как на необитаемом острове, оторванные от мира, без вестей с Родины, оглушенные фашистской пропагандой, без единого выхода за ворота замка. Ни одного правдивого слова за многие месяцы. Это было очень страшно, страшнее, чем голод, чем муки холода и решетки на окнах… Мы жили мечтой о победе. От победы зависела наша жизнь и свобода… Но временами некоторых покидало мужество. Все казалось потерянным, жизнь конченной, возникали острые споры…

У многих появились кулинарные заскоки. Взрослые люди в условиях жесточайшего голода сидели и записывали рецепты. То и дело можно было услышать:

— Володя, иди сюда, я тебе рецептик гурьевской каши дам.

— А у меня торт «Сюрприз». Вчера Сергей Павлович записал.

— Лучше всего это запеканка из картошки. Приеду домой, только ее буду есть, с черным хлебом. Торжественную клятву даю. Только запеканку…

И вдруг заработали какие-то невидимые силы. Настроение в лагере стало подниматься, откуда-то начали просачиваться сведения о действительном положении на фронтах, больные товарищи стали получать больше баланды. По ночам в камерах движутся тени, в углах решаются какие-то вопросы.

Моряки-коммунисты создали свою подпольную партийную организацию. Во что бы то ни стало не дать фашистам сломить дух людей! Поддержать их, занять чем-нибудь, вывести из состояния безразличия, помочь больным… Не поддаться! Выйти победителями из неравной борьбы… У врагов в руках страшное оружие смерти. У нас — вера в победу правого дела, любовь к Родине и звание советского человека.

Активно начинает работать партийная группа: Гребенкин, Дальк, Шилин, Зотов, Сементовский, Иконников, Устинов, Пучков. И несмотря на то что так мало можно сделать в нашей тюрьме, мы сразу почувствовали твердую руку организации. Почувствовали ее и немцы. Забегал Вейфель, почаще стали приходить в камеры офицеры, участились обыски.

Первыми получают задания моряки, обслуживающие тюрьму, арбайтдинсты.

— Ваня, — говорит уборщику комендатуры Борис Иконников, — у вас там в помещении есть радиоприемник?

— Есть. А что?

— Послушать бы Москву хоть минутку. Возможно?

— Сомневаюсь. Увидят — пуля в лоб обеспечена.

— Ну, ладно. На рожон лезть не надо.

Но Ваня Кулин теперь без дрожи не может видеть приемник. Ему так хочется повернуть ручку. И он находит возможность сделать это. Солдат-охранник любит покурить на воздухе. Пока Кулин убирает в комендатуре, солдат выходит на крыльцо. Кулин тихо включает приемник. Раннее утро. В это время в комендатуре ни души. И вот на минуту слышится голос Москвы… А вечером уже во всех камерах обсуждают новости.

Старшего повара Сергея Павловича Горбатюка во время прогулки останавливает старший механик с «Днестра» Шилин. Они с одного парохода. Плавали вместе.

— Пройдемся? Есть разговор. Горбатюк согласно кивает.

— Вот что, Сергей Павлович, — говорит Владимир Иванович. — Больным в ревир надо давать больше супа. Иначе они все погибнут.

— Что вы, Владимир Иванович! Ведь знаете, под каким контролем работаем? При раздаче всегда унтер присутствует. Как можно…

— Надо, Сергей Павлович, пожалейте товарищей.

— Да я жалею. Но как помочь?

— Поговорите с остальными поварами. С Мишей Мудровым, Федей Петуховым, Лагвешкиным. Может быть, что-нибудь придумаете. Это необходимо сделать, даже за счет других камер. Люди из Штутгофа падают с ног.

Трудная задача у Сергея Павловича Горбатюка. Но молодые повара не колеблются.

— Разговора быть не может. Правильно. Будем наливать в котлы из ревира больше. Надо поговорить с унтером. Мишка, поговори с Крифтой. Он парень неплохой. Пусть добавит чего-нибудь, — с жаром говорит Петухов.

— Да тише ты! — пугается Сергей Павлович. — Не так громко.

Миша выбирает удобное время и объясняет все Крифте.

— Ладно, делайте что хотите. Только не попадайтесь. Я ничего не знаю. Попадетесь — защищать вас не буду. Вейфеля берегитесь. Он как волк шнырит. Конечно, больным надо помочь…

Теперь требуется ловкость. Не попадайся. И наши «кормильцы» проявляют исключительную находчивость и смелость. Они крадут хлеб, наливают полные бачки супа, воруют сахар при выдаче — все это отправляется больным в ревир. А ведь

за такие дела у гитлеровцев полагается КЦ, лагерь смерти или что-нибудь похуже… Рисковые ребята, эти повара.

С доктором проводит беседу Устинов.

— Вы понимаете, сейчас нужно положить в ревир как можно больше людей с «Магнитогорска». Они самые слабые. Там они будут получать немного больше пищи, это уж не ваша забота, и хоть отлежатся. Их не станут трогать, пока они в лазарете.

— Трудно. Я этого не могу сделать, — говорит врач. — В ревир укладывает фельдшер.

— Но он считается с вами. Вы же врач. Попробуйте воздействовать на него. А уж когда он положит человека, то, наверное, сумеет доказать необходимость этого своему лейтенанту. Так ведь?

— Попробую. Только не знаю, что выйдет.

Наш доктор попробовал, и многие магнитогорцы были уложены в лазарет.

Теперь партийная организация внимательно следит за всем происходящим в лагере. Сюда стекаются все слухи, все наблюдения, полученные за день. Не устраивается никаких собраний. Все передается на ходу во время прогулок или коротких встреч в камерах. Нужно быть крайне осторожными.

Виктору Свирину, лагерному слесарю, поручили отремонтировать и проверить замки у всех дверей. Виктор нравится Вейфелю. Он спортивного вида, коротко подстрижен, всегда улыбается, а то, что очень худ, так в лагере толстяков теперь нет.

— Работать, Свирин! — смеется Вейфель. — Гут работать.

— Яволь!

Работать так работать. Свирин изо всех замков вынимает цугалики. Теперь любая дверь открывается простой болванкой. А это очень для нас важно. Мало ли зачем придется открывать двери…

Второй помощник капитана с теплохода «Хасан» Шулепников — маляр, он находится в распоряжении завхоза Коллера. Первое время на работе его сопровождал солдат. А сейчас Шулепников ходит свободно по всему лагерю. Вошел в доверие, да из замка и не убежишь. Он тоже не зря малюет стены, белит потолки и красит рамы. Он прекрасно узнал расположение всех тюремных помещений, часто беседует с солдатами. Некоторые из них только что вернулись с фронта. Не очень-то радужное у них настроение: любой ценой избежать возвращения на Восток. Значит, не все так блестяще у немцев, как они пишут в своих газетах. Это тоже важно.

Маракасов все время крутится в комендатуре. Надо же

следить за печами, чтобы господа офицеры не замерзли. Игорь хорошо осведомлен о том, что делается в комендатуре, знает о всех перемещениях офицеров, о том, кого ждут, кто должен прибыть, зачем, и как это коснется интернированных. В общем, наши люди времени напрасно не теряли.

В конце года произошли два события, взбудоражившие однообразное житье. Отпустили на свободу голландцев и привезли в лагерь большую группу евреев из Польши. Голландцы не верили своему счастью. Они так боялись быть заподозренными в связи с коммунистами, что сразу же прекратили с нами всякое общение: а вдруг оставят в лагере? Причислят к большевикам, и тогда прощай свобода!

Мы их понимали, не осуждали и не жалели об их отъезде. Это были совершенно чуждые нам люди. Не говорили им и о наших опасениях. Умудренные опытом общения с гитлеровцами, мы не верили, что голландцев отпускают по домам. Мы уже познали коварство немцев и знали цену их обещаниям. Но омрачать радость отъезжающим не хотели. Поэтому молчали.

Польских евреев поселили во втором этаже, в таких же камерах, как и наши. Связь наладилась сразу. Мы интересовались новостями, все-таки люди прибыли с воли и, вероятно, могли нам что-нибудь рассказать. Но мы ошиблись. Этих людей привезли из гетто: запуганных и измученных до крайности. Они могли говорить только о тех ужасах, которые творились в Польше и которым они были свидетелями. Волосы вставали дыбом, когда мы слушали их рассказы. Для нас такие зверства были еще внове.

Все эти евреи в прошлом были советскими гражданами, но со временем в силу разных причин потеряли гражданство, польское получать не захотели, а советские паспорта не сдали. Так они оказались в числе советских интернированных. В основном это были мелкие торговцы, портные, сапожники, коммивояжеры. Но попадались среди них и образованные люди.

Я помню профессора музыки, двух юристов, учителей. Но таких было мало.

Они рассказывали, что только с начала войны с Россией их вместе с семьями отправили в гетто. До этого момента не трогали и они жили. неплохо, в то время как польские евреи уже мучились в гетто. Так они прожили несколько месяцев. И вот неделю назад их собрали, отделили от семей, — семьи имели польские паспорта, — и привезли в Вюльцбург. Среди этих людей выделялись два человека — Брансбург и Полякас.

Мариус Леопольдович Брансбург отличался от всех других. Держался он с достоинством, не ломал шапку перед солдатами и унтерами, следил за своей внешностью, каждый день брился, и

чувствовалось, что вся группа относится к нему с уважением, считает старшим. С ним советовались и ничего не предпринимали без его одобрения. В Варшаве Брансбург владел пуговичной фабрикой и, вероятно, был самым богатым среди прибывших. В свое время он окончил Московский университет, получил юридическое образование, работал в каком-то советском учреждении, поехал к родственникам в Польшу, нашел там богатую невесту и обратно не вернулся. Каковы были его подлинные убеждения, мы не знали, но сейчас он был ярым защитником всего советского и надеялся только на победу Красной Армии. На что же ему было еще надеяться?

Собеседником Мариус Леопольдович был интереснейшим. Он много знал, путешествовал, встречался с разными людьми, хорошо знал старую Москву, и его рассказы на плацу или в камерах всегда собирали много слушателей. Но о чем бы ни говорил Брансбург, всегда в его глазах я видел какую-то затаенную мысль. Говорит об одном, а думает совсем о другом. Я спросил его об этом, когда мы гуляли по двору. Он посмотрел на меня, невесело улыбнулся и ответил:

— Вы наблюдательный человек. Меня не оставляет одна мысль: я убежден, что никогда не увижу свою жену и сына…

Впоследствии мы узнали, что предчувствие его не обмануло. Его семья и семьи всех других людей из этой группы были зверски замучены в гетто или в знаменитой Треблинке.

Полякас — полная противоположность Брансбургу. Маленький человек в обдрипанном, неопрятном костюме, вечно заросший щетиной, угодливый и приниженный даже перед моряками. Полуграмотный религиозный еврей-ортодокс. Все надежды только на бога. В прошлом хозяин крошечной лавки готовой одежды в Лодзи. Его привезли в Вюльцбург вместе с сыном Яшей. Молодой человек производил впечатление недоразвитого. Зато отец, невзирая на полное отсутствие образования, был человеком умным и честным. В этом мы убедились несколько позже.

— Почему же ты, Полякас, не вернулся обратно в Советский Союз? Жил бедно, подвергался гонениям пилсудчиков. Почему? — спрашивали его моряки.

Полякас хитро улыбался:

— Ну, уж не такой я был бедный. Кое-что и у меня было. Кое-что… Может быть, побольше, чем у нашего Брансбурга… «Я не могу жить в стране, где отсутствует частная собственность. Мне все время надо делать бизнес. Что-то торговать. Без этого нет жизни. Яшка не такой. Дурак. На уме только галстучки, костюмчики, танцы…

Полякас не соврал. Ему все время надо было делать бизнес. В любых условиях. Через месяц весь лагерь был у него в руках. Полякас открыл «обменную контору». Менял сигареты на хлеб, хлеб на картошку, картошку на одежду, на обувь и обувь опять на сигареты. Он установил своеобразную таксу. Мерилом являлись хлеб и курево. Полякас никогда не брал процентов, в делах был честен, не обманывал и, что было самым важным, давал в долг. Иногда так хотелось курить, что за сигарету человек готов был отдать все. Тогда он шел к Полякасу:

— Слушай, дай сигаретку. Отдам.

Полякас из жестяной банки доставал сигарету и протягивал курильщику.

— На. Отдашь, когда сможешь. Только обязательно.

И ему отдавали всегда. С чего он начал свое «дело», непонятно. Вероятно, с нескольких сигарет, случайно оказавшихся у него в кармане. Оба Полякаса не курили. Мы не одобряли такой коммерции, считали, что она лишает моряков и без того скудной пищи, и к Полякасу обращались редко. Но среди поляков она пользовалась большой популярностью и хозяину «конторы» приносила несомненный доход.

Вот такие люди прибыли к нам в лагерь. Мы относились к ним неплохо, но с большой осторожностью и, конечно, в свои лагерные дела не посвящали. Кто они, эти люди? Сейчас все превозносят Советский Союз, все самые горячие патриоты, а что было до этого, когда они жили в панской Польше?

В лагере непонятная суетня. Унтера носятся по камерам и орут истошными голосами:

— Заубер махен! Заубер махен![18] Одеяла на двор, проветривать!

Гетц уже успел дать несколько подзатыльников. Балаш схватил швабру, показывает, как надо убирать камеру. Вейфель стоит, скрестив руки на груди, наблюдает, подгоняет, торопит. Совершенно очевидно — комендант ждет гостей. Но кого? Вечером наше любопытство удовлетворено. Эту потрясающую новость приносит Игорь Маракасов:

— Завтра в Вюльцбург приедет шведский консул. Вот это здорово! Значит, все-таки подействовали протесты капитанов, не смогли немцы от них отмахнуться. Экстренно собирается партийная группа. Надо использовать прибытие консула, рассказать и показать ему все. В камерах получают задание:

— Показать шведскому консулу, во что гитлеровцы превратили моряков за семь месяцев войны. Когда он будет обходить камеры, снять рубашки. Пусть посмотрит на

истощенные тела.

На следующий день во время обеда по камерам разнеслось:

— Идут!

А какой дали обед сегодня! Картофельный суп, кусок кровяной колбасы, пять картофелин, сладкий кофе. Мистификаторы!

Лихорадочно стягиваем с себя рубахи, выстраиваемся в шеренгу и молча ждем. Только бы консул не миновал нас, зашел… Ведь одиннадцатая камера самая последняя в коридоре, в тупике. Нет, кажется, приближаются. Вот они в десятой камере. Слышно, как щелкает каблуками Вейфель, что-то громко докладывает. Ну, следующая очередь наша… Чувствуется, как волнуются люди. У всех большие надежды на это посещение. А вдруг переправят в Швецию, а там к своим…

Открывается дверь. В камеру входят комендант, фон Ибах, Зиппель, унтера. Среди них человек средних лет в штатском костюме и фетровой шляпе.

— Ахтунг! — командует Вейфель, щелкает каблуками и докладывает: — Тридцать два человека в одиннадцатой комнате, все на месте!

Комендант почтительно склоняется к человеку в штатском, что-то тихо ему объясняет. Наступает тишина. Так тихо, что можно услышать полет мухи. Поеживаются раздетые моряки. Холодно в камере. Красноречивая картина, не требующая никаких объяснений… Но бесстрастны серые глаза консула. Он обводит камеру безразличным взглядом и делает шаг к двери. Тогда вперед выступает наш переводчик из моряков. На ломаном немецком языке он говорит:

— Господин консул, мы голодаем, посмотрите на людей, нас бьют, держат в холоде, моряки умирают в ревире. Нам запрещено писать родным, получать посылки. Мы обращаемся к вам, — помогите! Сообщите о нас нашему правительству…

Комендант багровеет от гнева. Как только посмели! Из-за его спины Вейфель показывает кулак. Фон Ибах опускает глаза в пол. Переминаются с ноги на ногу унтера. В каждой камере одно и то же! Полный конфуз. Спокоен только шведский консул. Он наклоняет голову и что-то записывает в блокнот.

Он не сказал нам ни слова, но зато все объяснил фашистский значок со свастикой, воткнутый в лацкан его пиджака.

— Это последняя комната, господин консул. — Комендант отирает платком влажный лоб.

Вейфель щелкает каблуками и распахивает дверь.

Молча натягивают рубашки разочарованные моряки. Не сказал ни слова! Хотя и так все понятно. Ждать от этого

посещения нечего.

Но мы оказались не правы. В рацион прибавили 50 граммов свекольного хлеба. Это было все, что сделал для нас шведский консул, представитель державы, должной защищать интересы граждан Советского государства. Через три месяца нам убавили хлеб на 70 граммов.

Как ни малы были результаты этой встречи, немцы забеспокоились Уж слишком единым было поведение моряков. Теперь у гестаповца не было никаких сомнений: кто-то невидимой крепкой рукой управляет жизнью моряков. И, к сожалению, это не комендатура с ее режимом насилия, слежки и мордобоя. Не действует на интернированных и пропаганда. Газеты, слушки, специальные рассказы солдат… Плохо… Надо что-то предпринимать более действенное.

Но предпринимать в лагере ИЛАГ -13 ничего больше Зиппелю не пришлось. Через несколько дней после приезда шведского консула он был отозван. Перевели куда-то и фон Ибаха. Как говорили, за либеральное отношение к интернированным. Вскоре исчез и комендант, старый ворон. Конечно, мы не знали действительных причин этих изменений, но связывали их с посещением Вюльцбурга шведским консулом. Не исключалась такая версия, что ему не понравилась «голая демонстрация» в камерах и он где-то об этом сказал. А гитлеровцы в своих лагерях жестоко карали за всякое проявление либерализма к заключенным. Как только допустили такое в лагере со строгим режимом! ЧП!

В общем, так или иначе, мы получили новое начальство. Об уходе фон Ибаха мы сожалели, по сравнению с остальными он действительно относился к интернированным неплохо, хотел как-то облегчить их положение. Об этом мы знали от наших людей, работавших в комендатуре. На «ворона» и Зиппеля нам было наплевать. Но мы скоро поняли, что получили начальство хуже прежнего.

Вместо Зиппеля приехал гестаповский офицер в чине капитана. Моряки сразу прозвали его «Маннергеймом» за шапочку немецких альпийских стрелков, которую он носил. Выглядел Маннергейм странно. У него была тонкая шея, на которой сидела маленькая голова, непропорционально длинные ноги и туловище, круглые, немигающие совиные глаза, черные румынские усы над верхней губой и отличные белые зубы. Он всегда улыбался.

Если Зиппель никогда не приходил в камеры и на плац, полностью доверяя Вейфелю, Маннергейм постоянно появлялся во время прогулок, посещал камеры, сам проводил «аппели»,

заходил на кухню. Он охотно беседовал с интернированными, давал им книги на русском языке, изданные белоэмигрантским издательством в Берлине, делал мелкие поблажки и внимательно прислушивался, приглядывался ко всему, что делалось в лагере. Он был похож на притаившегося кота, ожидающего минуты, когда можно будет схватить свою жертву. Мы сразу почувствовали опасность и всеми силами избегали встреч с гестаповцем. Новый комендант, полковник, как и прежний, много смеялся, частенько бывал «под мухой», но, видимо, был человеком дела. На первом «аппеле» он сказал:

— Плохо кормят? Голодаете? Надо работать. Сейчас в Германии все работают. Паразитов нет. Так?

Шеренги ответили ему молчанием. Комендант захохотал.

— Молчите, саботажники? Надо работать, либе фройнде, или вы передохнете здесь все. Я позабочусь о вас.

Через неделю в Вюльцбург прибыла медицинская комиссия. В ревире, при открытых окнах, устроили смотр. В помещении было так холодно, что немецкие военные врачи сидели в шубах. Голые, посиневшие от стужи моряки медленно проходили перед офицерами. Иногда кто-нибудь из них брезгливо дотрагивался до живота, груди или спины интернированного и бросал несколько слов своим коллегам. Те улыбались. Улыбался, показывая свои ослепительные зубы, и Маннергейм. Когда «медосмотр» закончился, главный врач, полковник с лицом доброго дедушки, протер очки и сказал, обращаясь к коменданту:

— Ваши люди выглядят значительно лучше, чем те, которых мне приходится наблюдать в других лагерях. У вас здоровый народ. Всех на работу. Они еще кое-что сделают.

Лагерный врач-лейтенант со шрамом на щеке приложил ладонь к козырьку:

— Да, мой полковник, будет исполнено.

После этого комиссия отбыла. Формальности выполнены, акт о состоянии людей составлен — можно приступать к делу. На следующем «аппеле» было объявлено: «Желающие работать записывайтесь у унтера. Будете получать больше питания, выходить за ворота лагеря».

Надо было решать, как поступить. С одной стороны, люди истощены до крайности, смертность увеличивается, магические слова «за ворота лагеря» вызывают мечты о побеге, о каких-то активных действиях. С другой, на карту поставлена честь советского моряка, советского гражданина. Можно ли, когда наши братья и отцы умирают на фронтах, когда враг убивает, жжет, зверствует на нашей земле, можно ли хоть чем-нибудь помогать ему?

Я подхожу к помполиту Гребенкину и спрашиваю:

— Ну, что делать, Павел Варфоломеевич? Гребенкин хмурится.

— Не один ты задаешь мне этот вопрос. Подожди, решим.

Вечером мы уже все знаем. Партийная организация говорит решительное нет. На внешние работы не выходить. Допускаются лишь работы по самообслуживанию. Нелегко далось такое решение. Ведь люди умирали от голода… И все же оно было принято.

При опросе «кто желает выйти на работу» — записываются не больше двадцати человек. Это уже прямой вызов. Нам уменьшают количество хлеба на семьдесят граммов. Не действует. Тогда гитлеровцы решают применить силу. Что из того, что международное право гласит: «Дисциплина в местах интернирования должна быть совместима с принципами гуманности и ни в коем случае не содержать правил, которые подвергли бы интернированных физическому напряжению, опасному для их здоровья, или физическим или моральным издевательствам».

Утром всех моряков выстраивают, разбивают на группы, вызывают роту солдат и штыками гонят в город и лес на работы. Но не все идет гладко. Капитаны категорически отказываются что-либо делать. Не дают результата никакие угрозы. Многие моряки сопротивляются, применяют крайние меры для того, чтобы остаться в лагере. Кочегар Будик отказывается выходить за ворота, его серьезно ранят штыком. Виктор Свирин и матрос Атарщиков растравляют на ногах раны, Свежов пьет кислоту, Маркин разрубает себе руку, инженер Волчихин калечит себе пальцы, матрос Розов симулирует сумасшествие, механик Сементовский демонстративно отказывается выполнять приказания унтеров, за что причисляется к комиссарам, механик Фисак придумывает не существующую у него болезнь — ишиас… Ребят избивают, сажают в карцер на хлеб и воду, но и это не помогает. Каждый день появляются новые «больные».

В комендатуре склоняют слово «саботаж». Неспокойно спится гестаповцу Маннергейму. Кто же руководит моряками? Кто внушает им такую непримиримую ненависть ко всему, что проводят немцы в лагере? Зиппель предупреждал его… Маннергейм решает — комиссары. От них, и только от них все неприятности. С каким бы наслаждением он уничтожил их всех. В том лагере, где он был раньше, с такими не цацкались. Головы долой, и больше никаких забот… А тут дурацкий приказ: пока никого не трогать. Мол, после войны им найдут достойную казнь, а пока они интернированные. Черт бы их побрал! Наконец

решение приходит. Нельзя их уничтожать здесь, сейчас, найдем другое место. Изолируем их в КЦ, в Дахау, в Маутхаузене… Там они недолго протянут. Маннергейм потирает руки.

И вот через несколько дней в послеобеденное время Вейфель неожиданно вызывает на плац помполитов.

— Соберите свои вещи. Возьмите все. А вы спокойно… — поворачивается он к застывшим в страшном предчувствии морякам и кладет руку на кобуру револьвера.

— Гребенкин, Зотов, Шимчук, Антонов, Купрович, Пучков, живо, живо, — по памяти перечисляет Вейфель. Он хорошо осведомлен.

Товарищи собирают вещи. Они не знают, куда и зачем их везут. Одно ясно: с Вюльцбургом они расстаются навсегда. Увидят ли они нас когда-нибудь? Трудно отрываться от своих… А мы стараемся хоть как-то скрасить им эти тяжелые минуты. Суем пайковый хлеб, теплые вещи, носки, варежки — все ценности, которые хранились на черный день в наших мешках. Говорим слова утешения, просим не терять надежды на возвращение в замок, хотя сами этому плохо верим.

Помполитов выводят. На дворе комендатуры стоит большая машина-фургон. Около нее толпятся офицеры. Мы все высыпали на двор, висим на проволоке. Сердце щемит от тревоги и жалости. А вдруг их расстреляют? Унтера заталкивают помполитов в машину. В последнюю минуту из фургона высовывается Гребенкин, машет нам рукой и кричит:

— Прощайте! Не вешайте голов! Все равно мы победим! Прощайте!

— Прощайте! — кричат остальные помполиты, но мы их не видим, слышатся только их голоса. Машина выезжает из ворот. Бедные ребята! Ничего хорошего их не ожидает. Это понимают все. Понуро мы расходимся по двору. Настроение — хуже быть не может.

Через несколько месяцев такая же судьба постигла Сашу Сементовского. Он отказался от работы. От всякой работы. В мастерской резчиков, в городе, в Вюльцбурге по самообслуживанию. Это был протест против грубости, насилия, гитлеровского хамства. Видно, чаша терпения переполнилась. Причиной такого душевного взрыва послужила ссора с Вейфелем. Тот в оскорбительной форме, с криками и угрозами принуждал Сементовского выполнять какую-то работу. И тогда Саша с ненавистью проговорил:

— Работать не буду. Совсем не буду. Делайте что хотите, — повернулся и пошел в камеру.

Вейфель ринулся в комендатуру к Маннергейму. Результатом

его доклада явился приказ о немедленной высылке Сементовского в штрафной лагерь. Моряки тяжело переживали его отъезд. Куда его увезли, мы тоже не знали…

Ко мне подходит Дальк. Он печален и мрачен.

— Да, вот так, — говорит он, — но все равно мы еще существуем…

Напрасно потирал руки Маннергейм, напрасно весело улыбался, провожая отъезжающих помполитов.

Итак, основное ядро партийного руководства увезли из Вюльцбурга. Но гитлеровцам от этого легче не стало. Коммунисты остались. Они создали строго законспирированную партийную тройку, своеобразный центр, бюро, откуда давались поручения остальным членам партии и активным беспартийным. Главная цель оставалась прежней. Тройка, несмотря на потерю помполитов, твердо решила не сдаваться, противопоставить гитлеровцам все, вести борьбу с ними любыми средствами… Очертить вокруг моряков заколдованный круг, спасти их от разложения, не дать гитлеровской нечисти прорваться за этот круг…

В тройку вошли хорошие, уважаемые всеми люди: Савва Георгиевич Дальк, Владимир Иванович Шилин, Борис Николаевич Иконников, и несколько позже в нее вошел Алексей Петрович Устинов.

Немцы распространяют в лагере антисоветский листок «Клич». Его почти никто не читает, открыто издеваются над статьями, унтера пачками находят газетку в уборных. Это бесит Маннергейма. Но это пустяки по сравнению с теми сведениями, которые он получает от конвоиров рабочих групп. Как будто и работают внизу, в городе, не так уж и плохо — что возьмешь с врагов? — но всегда там происходят странные вещи… Ломаются станки, останавливаются циркульные пилы, вырубается в самые неподходящие моменты электричество, разбиваются ящики с ценным оборудованием… И виновных не найдешь!

— Вчера при выгрузке вагонов интернированный Румянцев уронил ящик с дорогим коньяком, предназначенным для Восточного фронта. Все бутылки разбились вдребезги. Я его бил и пугал, он твердил одно: «Слабый я очень. Не могу поднимать тяжести. Не посылайте на работу…»

— В карцер мерзавца! На хлеб и воду! Будет поаккуратнее! — орет Маннергейм.

Теперь большинство наших людей ходит на работу в город. На ниточную фабрику, на фабрику знаков различия для немецкой армии, на лесопильный завод, на завод металлоизделий. Некоторые работают на валке деревьев в лесу и батраками у

крестьян. Налаживаются связи с населением Вайсенбурга.

Партийное бюро меняет тактику. Если раньше оно призывало сопротивляться немцам внутри лагеря, то сейчас наш лозунг — саботаж. Все работающие за воротами замка получают задания: незаметно вредить, завязывать знакомства с немцами, доставлять в лагерь как можно больше сведений о положении на фронтах, выискивать среди немцев антифашистов, познакомиться с русскими людьми, насильно угнанными в Германию, и военнопленными, работающими в городе. И моряки, проявляя удивительную изобретательность, успешно выполняют эти задания.

…Кочегар с «Эльтона» Шиман работает на токарном станке в мастерской. Вернее, помогает мастеру., Подает ему инструмент, точит резцы. Мастер не нарадуется: «Хороший рабочий. Исполнительный. Всегда— яволь, яволь. Надо ему поручить самостоятельную работу». И моряку поручают точить детали. Проверили первый десяток. Хорошо! А в результате вся партия оказалась запоротой.

— Как ты мерил, унтерменш? — в гневе кричит мастер.

— Яволь! Как вы приказали.

— О, идиот! Я показывал по-другому.

Шимана переводят на земляные работы. Во дворе мастерской они вместе с механиком Жабенко роют канаву. Стоп! Наткнулись на электрокабель. Один мимолетный взгляд друг на друга — и Жабенко засыпает кабель землей. Моряки садятся отдохнуть. Но конвоир уже тут как тут.

— Опять сидеть? Работать, работать! Бистро, бистро! — Он замахивается автоматом.

Моряки «в испуге» вскакивают, хватают кирки и начинают лупить по кабелю. Сноп искр! Конвоир в ужасе кричит:

— Стоп!

Но уже поздно. Кабель перебит до основания. Мастерская встает почти на двое суток. Виновных нет. Никто не знал, что в этом месте проходит кабель…

Машинист Володя Андреев меняет с мастером в деревообделочном цехе циркульные пилы. Проявляет сметку и дисциплину.

— Можешь менять пилы сам? Мне надо уйти на час, а простаивать нельзя. Эй, Вальтер, присмотри за ним, — говорит мастер конвоиру и уходит.

Володя меняет пилы. Он устанавливает их режущими кромками зубьев в обратную сторону. Включает ток, все пилы разлетаются на куски. О, идиот! Они ничего не соображают, эти русские. Тупы, как бревна. Из-за них мастер должен получить

выговор, а может быть, его обвинят в саботаже. Ведь он ушел…

Интернированные продолжают «трудиться». Они сыплют песок в буксы вагонов, ломают станки, разбивают ящики с ценным грузом, суют гвозди в машины, обрывают, где возможно, провода… «Тянут резину» с выполнением приказаний. С виду исполнительные, дисциплинированные, только и слышишь от них: «Зер гут. Яволь! Айн момент!» — а работа почему-то не двигается.

…Москву отстояли. Ленинград героически обороняется. Об этом знают все интернированные, но настроение у людей подавленное. Знают моряки и о том, что пали Севастополь, Одесса, гитлеровцы прорываются к Волге, лезут к Баку… Газеты все еще полны сообщениями о победах на суше и на море. Бородатый капитан Прин, потопивший английский крейсер «Роял Оак», сейчас получил еще одну награду — брильянтовый крест с дубовыми листьями — и весело улыбается со страниц газет.

Партийное бюро внимательно следит за настроением людей. Надо как-то отвлечь их от тяжелых мыслей, занять чем-нибудь… Чем, как? Сейчас трудно сказать, у кого первого зародилась мысль создать курсы штурманов двухсоттонников и механиков третьего разряда, но такие курсы были созданы. Теперь, в хорошую погоду на плацу, а вечером в камерах, занимаются по захваченным с судов учебникам матросы и кочегары. Матросов консультируют капитаны, кочегаров— старшие механики. Учатся серьезно. Придется держать экзамены. Комиссия уже готовит экзаменационные вопросы. А через несколько месяцев наступает и день самих экзаменов. Ничего, что председатель комиссии Балицкий, капитаны Богданов, Новодворский и наши «деды» Долженко и Устинов не имеют на рукавах золотых нашивок, ничего, что на ногах деревянные колодки и безумно хочется есть. Со всею строгостью спрашивает комиссия. По-настоящему волнуются экзаменующиеся. И по-настоящему радуются, когда им вручают свидетельства — не отпечатанные, а написанные чернилами на серой тетрадочной бумаге с четкой надписью вверху: «Подлежит обмену на диплом в конторе капитана Ленинградского порта». Ленинградского? Вернемся ли? Вернемся, ребята, будете еще плавать, надейтесь, не опускайте голов.

И действительно, по возвращении на Родину бывшие матросы Кузнецов, Сныткин, Леонов, Люсков, Атарщиков, Козодеров и многие другие получили дипломы штурманов двухсоттонников и механиков третьего разряда. Вюльцбургская комиссия была признана правомочной.

К капитану Дальку, секретарю подпольной партийной

организации, подходит Мудров. Лицо у него необычно серьезное.

— Савва Георгиевич, — говорит повар, — я не знаю, можно ли, но, если можно, примите меня в партию. Мне кажется, сейчас самое время…

— Почему самое время?

— Если умирать — то коммунистом. Ведь другой-то веры у меня нет.

— Зачем же умирать? С этим торопиться не надо.

— Ну, все равно…

— Посоветуюсь с товарищами, Миша. Возможно, в кандидаты и примут.

— Возможно? Вы считаете, что я недостоин?

— Я этого не сказал, но решить один, принять тебя или нет, не могу. Есть порядок. Подожди немного. Думаю, что примут.

— Пожалуйста, Савва Георгиевич. Заявление писать?

— Никаких бумаг не надо.

На следующем совещании партийная тройка принимает Мудрова в кандидаты Коммунистической партии.

— Билет мы тебе вручить не можем, но считай, что ты его получил… Все остальное, когда вернемся на Родину. Будь достоин этого звания, Мудров. Оно ко многому обязывает, — торжественно произносит Дальк.

— Буду достоин.

Так приняли в Вюльцбурге в кандидаты партии Мудрова, Богданова, Свирина, Валовня, Леонова и Березкина.

А за стенами замка творятся дела, которые вызывают полную растерянность среди администрации ИЛАГ-13. Больше всего неприятностей у Маннергейма. Игорь Маракасов слышал, как комендант орал на него. Орал так громко, что крики разносились по всей комендатуре:

— Что же это такое?! Вы должны положить конец этим безобразиям! Вы отвечаете за то, чтобы у нас не было никаких происшествий! У вас есть для этого все. Если вы желаете оказаться на Восточном фронте, то я вам помогу.

Маннергейм вышел от коменданта красный, как школьник, получивший нагоняй от директора. Смеет кричать на него, офицера гестапо, который не спит ночами и обеспечивает порядок! Если бы не он, то еще бы не то было… Но, если честно говорить самому себе, дела из рук вон скверные.

…Два моряка с «Волголеса» — Ушков и Базанов — и один интернированный из еврейской группы работали на вокзале. Разгружали вагоны. Случайно они обнаружили ящик с оружием. С опасностью для жизни они спрятали три пистолета. Моряки знают, что такое оружие в лагере и как оно может пригодиться.

Не раз они мечтали получить в руки хоть один револьвер. И тут такой случай… Но их постигло несчастье. Они попались. Кражу заметили… Этот смелый поступок стоил всем троим жизни. Немедленно по возвращении в Вюльцбург Маннергейм отправил их в гестапо. Они не вернулись.

…Владимира Ивановича Шилина, как хорошего плотника, посылают с группой моряков в город делать какие-то ящики. Одного взгляда на них достаточно, чтобы узнать, для чего они предназначены. Это ящики для оружия. Шилин демонстративно бросает инструмент и отказывается работать. То же делают остальные плотники. Группу немедленно возвращают в лагерь. Открытый саботаж!

— Почему вы отказались работать? — спрашивает Шилина гестаповец, когда моряки приходят в замок.

— Если вы заставили нас копать канавы, валить деревья, производить нейтральные работы, то это не значит, что мы будем что-нибудь делать на оборонных объектах, — с достоинством отвечает ему Владимир Иванович. — Это противоречит международному праву и нашим чувствам русских.

Что такое? Маннергейм ослышался? Он вне себя.

— Молчать! Мы вас заставим делать все. А пока в карцер! Вейфель! Гетц!

Моряков избивают и бросают в холодный, сырой подвал.

С тех пор как мы стали выходить за ворота замка, все чаще и чаще можно было услышать произносимое шепотом слово «побег». Как заманчиво оно звучало! Вырваться на волю, не видеть гитлеровских рож, не слышать их истошных криков, а самое главное, оказаться у своих, рассказать там про наш лагерь…

Сколько самых фантастических планов строилось во время прогулок по плацу! Но все понимали, что из нашей тюрьмы бежать почти невозможно. Значит, остается один путь — бежать с работы. Партийное бюро серьезно обдумывает этот вопрос. Прежде всего, есть ли смысл в таком побеге? Стоит ли рисковать людьми? Желающих бежать много, надо выбрать наиболее подходящих для этого моряков. Смысл есть.

В Советском Союзе не представляют, в каких условиях содержатся советские интернированные. Об этом надо рассказать. Только не лезть на рожон, произвести хорошую подготовку, выбрать соответствующую погоду и время года.

Первые два человека — электромеханик Самойлов и штурманский ученик Зайцев — получают от партийного бюро «добро». Они бегут с работы из города. Их ловят, посылают в штрафной лагерь, через два месяца измученных возвращают в

Вюльцбург.

Не успели забыть о побеге этих двух парней, как из леса, с валки деревьев, бегут еще три моряка — Круликовский, Шанько и Шумилов. Их тоже ловят, тоже посылают в штрафной лагерь и через некоторое время возвращают в замок. Такая же судьба постигает механика Сысоева. И хотя шансов на успех очень мало, — Вюльцбург расположен в центре Германии, каждый моряк на счету, никто не знает языка, линия фронта лежит за тысячи километров от лагеря, — люди не оставляют мысли о побеге, стремятся выполнить задание. В Советском Союзе должны знать правду о судьбе моряков.

Неспокойно живется Маннергейму и коменданту. Усиливают охрану. Протягивают еще один ряд проволоки на железобетонных столбах. Ночью между проволочными рядами пускают свирепых собак. Устраивают дополнительную проверку интернированных.

В лагере появляется свой поэт. Это радист Жора Филиппов. Он пишет патриотические, полные веры в будущее и нашу победу стихи и песни. К ним подбирают музыку. Когда бывает очень горько и заедает тоска по дому, мы тихонько напеваем его песни, и становится легче… Кто из интернированных моряков не помнит этих песен: «Караван», «Давай закурим», «Катюша», «Пароход»! Услышишь какую-нибудь из них, и вспомнится все дорогое, что так безжалостно отняли у тебя гитлеровцы…

И крепко с причалом связал пароход
Конец проржавевший стальной.
Он снова встречает в плену Новый год.
Запущенный, ржавый, больной.
Когда же двенадцать ударов звучит
И сделан из кружки глоток,
На судне заржавленный брашпиль стучит
И слышится хриплый гудок….

Любили мы и другую песню — «Давай закурим». Она начиналась словами:

Почему, мой друг, ты так нахмурен,
Светится печаль в глазах твоих?
Доставай кисет, давай закурим
Папиросу дружбы на двоих…

Жора Филиппов писал не только песни. По поручению

партийного бюро он составлял злые антифашистские раешники, призывающие советских людей, военнопленных и репатриированных, к борьбе. Вот кусочек текста такого раешника, обращенного к солдату РОА:

«Кто давно изменил чести знамени красного и не хочет искать себе выхода ясного, кто сменил интересы народа и Родины на кулек недозрелой фашистской смородины, кто немецкою пулей в брата прицелился, кто священную клятву нарушить осмелился, если в немца он штык свой вонзать собирается, так скажите, чего ж он сейчас дожидается?»

Раешники подписывались псевдонимом «Ермил». Ермила знали за стенами замка, с нетерпением ждали от него вестей. С бумагой в лагере было плохо, и писалось все на рекламных листках. Их крали и приносили работающие на фабрике металлоизделий. Желтый листок, на одной стороне кот в сапогах с кастрюлькой в лапах, другая сторона чистая. На ней и писали. Специальные доверенные переписчики размножали эти листовки, а Маркин, работавший грузчиком на лагерной автомашине, с большим риском развозил их по окрестным лагерям военнопленных и репатриированных в Швабах, Нюрнберг и Вайсенбург. Содержание листовок согласовывалось с Устиновым, которому бюро поручило связь с внешним миром.

Вообще что-нибудь вынести или принести в замок было делом чрезвычайно трудным. Унтера при выходе из ворот или возвращении в лагерь устраивали обыск. Но моряки оказались хитрее. Они применяли самые совершенные методы контрабанды. Куда только не прятали запрещенное! Вплоть до банок с двойным дном, в которых носили баланду. Так проникли к нам ножички, пилочки, напильники, украденные в мастерских. Этим же путем уходили из лагеря пачки патриотических листовок. На воле, в городишке Вайсенбург, появляются друзья немцы, с которыми коммунисты устанавливают связь. Как-то матрос Вакульчук принес из Вайсенбурга такие новости:

— Сегодня водили на фабрику к Ансельму. У него русские военнопленные работают. Пока наш фриц ходил к хозяину пить свой шнапс, мы покалякали. Говорят, что приехали к ним эти — ну как их там? — из армии Власова. Не то РУА, не то РОА. Всех военнопленных вербуют в эту армию. Форму немецкую дают, паек немецкого солдата, а кто не хочет, того в лагеря смерти…

— Ну и как, идут?

— Некоторые идут. Все равно, говорят, Германия победит Советский Союз. Красной Армии нет, чего уж тут…

— А ты что?

— Я-то? Сказал, что они дураки, если верят гитлеровцам. Все

липа. И Красная Армия есть, и победы фрицевские уже кончились.

— Это ты правильно. А они что?

— Где доказательства, спрашивают. Сомневаются, одним словом.

— Вы часто к Ансельму ходите? — спрашивает матроса Шилин.

— Теперь туда каждый день будут водить.

— Так вот, передай военнопленным, что будут доказательства. Пусть подождут идти в армию предателей. Понял? Пошлем с тобой бумажку… Сумеешь пронести и отдать?

— Конечно, — кивает головой Вакульчук. — Не такое выносили.

На следующий день на тонкой бумаге военнопленным посылается обзор военных действий за последнюю неделю, собранный по крохам из разных источников, и призыв верить в нашу победу. Завязывается переписка.

Но не хватает фактов правдивой информации, которую можно было бы передать этим людям. Конспиративно во время прогулки собирается бюро. Решают, что необходим свой радиоприемник. И снова многие интернированные получают задания.

Начинается подбор деталей. Моряки, работающие в городе, срезают провода, вынимают лампы из приемников, тащат материалы для изготовления конденсаторов, одним словом несут все, что может пригодиться. Коле Тульскому и Леве Березкину где-то на чердаке, — они убирали там мусор, — удается в груде хлама отыскать старый радиоприемник. Они разбирают его на части и приносят в лагерь. Теперь можно начинать работу. Сборка поручается одному из лучших радистов, Евгению Рудакову. Он работает в строжайшей тайне даже от своих. И вот недели через две засветились лампы приемника. Шулепников подошел ко мне и шепотом сообщил:

— Сегодня будем слушать Москву. Я вам все расскажу…

— А мне послушать можно?

— Что вы! Поручено только нескольким…

Да, не все счастливцы могут слушать голос Родины. Это дело бюро поручает Маракасову, Шулепникову, Бегетову, Ратьковскому и Рудакову. Один из них слушает, другие стоят на страже у дверей в коридоре. Вечером приходит Шулепников. Возбужденный, глаза сияют. Я понял, что сеанс прошел успешно. Он отзывает меня в сторону:

— Ой, если бы вы знали… Слышали голос Левитана! Понимаете, Левитана. Как заговорил — в горле запершило. Боялся — не расплакаться бы… На фронтах не так уж плохо, как

тут сообщают. Тяжелое, конечно, положение… Вот примерно как обстоят дела…

Теперь ежедневно мы слушаем сводки Совинформбюро. Их записывают, размножают, читают в камерах, отправляют военнопленным и насильно угнанным русским.

Из-за колючей проволоки, из-за двадцатиметровых стен, невзирая на обыски и запреты, доходит голос Москвы до измученных людей, теряющих веру в жизнь, он вливает в них новые силы и волю к борьбе.

Три месяца просуществовал приемник. Этот маленький уродливый аппарат, как кислородная подушка, помогал дышать и жить сотням наших людей. Только из-за неосторожности одного из моряков приемник во время очередного обыска камер был обнаружен Вейфелем. Какой скандал! В лагерь, обнесенный несколькими рядами колючей проволоки, с глубоким рвом, с целой псарней охранных собак и гарнизоном в сто человек, интернированные сумели пронести радиоприемник. Гестаповец Маннергейм разгневан. Опять неприятность, да еще какая! На допросе он тычет пистолетом в лицо радисту Жене Рудакову: ведь только радист мог собрать приемник…

— Для какой цели служил аппарат? Отвечай! Рудаков прикидывается дурачком.

— По музыке соскучились, герр хауптман.

На столе гестаповца радиоприемник. Рудакову приказывают включить его. Что-то трещит в наушниках, слышатся сплошные разряды. Необходимо вскрыть заднюю крышку. Несколько минут радист копается внутри ящика. Наконец все в порядке, раздается бравурный немецкий марш. Но Маннергейма не так легко обмануть. Он отпускает Рудакова и на прощание говорит:

— Завтра ты услышишь другую музыку…

На следующий день в комендатуру приглашают радиоинженера, специалиста-немца. Он внимательно осматривает приемник и презрительно бросает:

— Этот ублюдок может слышать только Германию, и не дальше, чем на двести километров от лагеря. Посмотрите, ведь это сплошная кустарщина.

Маннергейм облегченно вздыхает. Значит, Москву все же интернированные не слышали. Уже легче.

…В уголке камеры сидит Рудаков и спокойно докладывает членам бюро:

— Вскрыл заднюю крышку, вытащил деталь диапазона коротких волн. Засунул ее в приемник так, что сам черт не найдет. Теперь с трудом Нюрнберг можно слушать.

А Маннергейм, чтобы замять дело и не доводить случай до

высокого начальства (иначе несдобровать ни ему, ни коменданту), решает наказать виновных домашними средствами. С этого дня подозрительную четверку не выпускают в город. Свирепствуют унтера, солдаты, охрана, конвоиры. Но дело уже сделано.

В лагерь привозят советских подданных, интернированных в разных странах: во Франции, Германии, Бельгии, Чехословакии. Вюльцбург наполняется гомоном новых голосов. Заселяют свободные камеры. Самые невероятные и разноречивые вести с воли.

Скоро мы выяснили, что эти люди стали советскими гражданами примерно при таких же обстоятельствах, как и поляки, но во всем остальном они резко отличались от них. Среди французов, как мы окрестили приехавших, было много инженеров, химиков, архитекторов, музыкантов, был крупный математик Л. А. Калужнин, были даже учителя высших школ, которых почтительно называли профессорами. Интернировали и привезли в Вюльцбург из Чехословакии даже В. Ф. Булгакова, последнего секретаря Льва Толстого. Некоторые имели самое отдаленное отношение к Советскому Союзу и к России вообще. Было совершенно непонятно, почему они попали в Вюльцбург как советские граждане. Заключили, например, в замок какого-то косноязычного банкира, слюнявого и хвастливого, матерого врага коммунистического строя, только за то, что он родился в России и в младенческом возрасте был оттуда вывезен. Встречались и другие типы. Петлюровец, два молодых парня, бежавших от коллективизации, белый эмигрант. Но были также люди, искренне симпатизирующие нам, желающие помочь во всех делах. Одним из них был Аронович. Он сражался на баррикадах Мадрида, хорошо знал несколько языков. Впоследствии он помог нам как переводчик в очень ответственный момент. >В общем, публика была самая разношерстная, и партийное бюро должно было еще больше законспирироватъ свою работу, тем более что стало известно — немцы вербуют себе из этой группы информаторов. Банкир и петлюровец стали агентами Вейфеля.

Через несколько дней евреям, которые находились среди прибывших, приказали нацепить оскорбительные желтые звезды с надписью «Jude». Моряки сразу же разгадали попытку Маннергейма разделить лагерь, сыграть на низменном чувстве антисемитизма. Но нам оно было чуждо. Утром после поверки мы демонстративно гуляем вместе с евреями, дружелюбно разговариваем с ними, помогаем подняться в камеры слабым. Злобно следит за происходящим на плацу Маннергейм. Еще одна

провокация не удалась. Скоро желтые звезды исчезли с пиджаков и пальто. Гитлеровцы не пытались восстановить это правило.

С питанием в лагере стало несколько лучше. Интернированные, выходящие на работу в город, завели знакомства и с успехом меняли сделанные в лагере игрушки, портсигары, шкатулки на хлеб и картошку. Обратно в лагерь с фабрик и лесопильных заводиков приносили «материал» — обрезки бука, дуба, иногда даже ореха. Унтера на это смотрели сквозь пальцы и дерево не отбирали. Тем более что сами они часто получали презенты и одаривали своих знакомых изящными вещицами. Матери охотно покупали детишкам забавных собачек, деревянные кораблики, попрыгунчиков. Давали за них хлеб, брюкву, сигареты. Все делалось неофициально. Когда в камерах производили очередной обыск, инструменты, если их находили, отбирали. Но мы научились их прятать, а если теряли, то товарищи приносили снизу новые.

Однако несмотря на некоторое облегчение нашей жизни, люди продолжали умирать. Ослабленный голодом организм уже не мог сопротивляться болезням. Малейшая простуда иногда являлась роковой. Ревир полон. По утрам «проветривают» помещения. Часами распахнуты окна. На койках мечутся люди в жару. Это на руку гитлеровцам. Скорее перемрут. Врач-лейтенант еженедельно приезжает к нам на «оппеле» и продолжает «лечить» своими методами. У Круликовского болит зуб? Сейчас поможем. Доктор берет щипцы и вырывает больной зуб, а заодно и здоровый. Интернированному не нужно много зубов, жевать ему почти нечего.

Степанов очень болен. У него нарыв в горле. Доктор его «оперирует». Делает укол в горло. Степанов через несколько минут умирает прямо на стуле. Хорошо. Можно списать еще одного человека и разломить бирку. Умирает машинист Сеня Ушаровский. Он задыхается ночью в ревире. Некому помочь. Никто не дежурит в лазарете. Нет, лучше не болеть. Стопка клетчатых мешков лежит в углу на тумбочке. Все знают, для чего они приготовлены. Когда умирает моряк, немцы всегда ставят один и тот же диагноз: «Умер от болезни, привезенной из Советского Союза», — так записывается и в карточку.

Иван Иванович Хельм, лагерный переводчик, предприимчивый человек. Как-то он увидел у Вейфеля отличный ореховый портсигар с инкрустацией. Он повертел его в руках, прищелкнул языком и спросил:

— Отличная работа. Кто сделал?

Унтер нехотя показал на окна тюрьмы.

— Там многие этим занимаются. Запрещаем, но уж так смотрим… — Он растопырил пальцы и поднял руку к глазам.

— Понятно, понятно, — буркнул Хельм и пошел в барак комендатуры.

На следующий день. он. сделал, предложение Олегу Сныткину. Моряк славился как лучший резчик.

— Я организую мастерскую в помещении при комендатуре. Вы получите инструмент, материал, краски и будете делать портсигары, шкатулки, фигурки. Я знаю, что вы прекрасно режете по дереву. Продукция поступает мне. Вас никто не будет брать на другие работы. Поговорите с товарищами. Потом скажете мне.

— Хорошо, подумаем.

Сныткин передал этот разговор остальным, тем, кто умел резать по дереву. Посоветовались и решили, что предложение стоит принять. Во-первых, никто не станет выгонять их на работу, такая опасность существовала все время, во-вторых, они смогут кое-что услышать, работая в комендатуре, в-третьих, к ним в руки попадет инструмент, который не надо прятать, и можно утаивать часть изделий для больных.

Мастерская была организована. В ней работали: Сныткин, Иванов, Богданов, Балицкий, Шилин, Долженко, Устинов и двое архитекторов из французской группы. Решение было правильным. Как предполагали, так и вышло. Из мастерской резчиков широким потоком потекли в город портсигары и шкатулки. Их меняли на продукты, которые отдавали в ревир. Бедняга Хельм поражался низкой производительности труда в своей мастерской. Материал расходовался, а продукция была минимальной. На все вопросы Хельма резчики разводили руками:

— Много брака. Раньше-то мы этим не занимались. Учимся.

Переводчику приходилось принимать эти объяснения. Производство ему ничего не стоило, а то, что он иногда получал из мастерской, было подлинно художественными произведениями.

Произошло событие, которое потрясло весь лагерь. Первый побег из тюрьмы. Два трупа в клетчатых мешках выставлены на обозрение в ревире… Бежали два чеха из французской группы. Но слишком трудно, почти невозможно убежать из замка. Держали все в тайне, не, не посоветовались с нами, действовали в одиночку… Мы бы им рассказали о побегах, у нас уже был опыт. Правда, совершались они с работы, из города.

После вечернего «аппеля» беглецы спрятались на плацу в нише. Воспользовавшись темнотой, они пытались подняться на

стену, но были обнаружены охраной. Чехи подняли руки. Они поняли, что попались. Согласно международным правилам, за побег им грозит только дисциплинарное наказание. Сейчас их отведут в карцер, посадят на хлеб и воду на несколько дней, тем дело и кончится. Но раздается команда Маннергейма. Унтера Вейфель и Гетц стреляют в упор.

А потом мусорная телега, запряженная интернированными моряками, на ней два мешка. И похороны на кладбище, где закопаны дохлые собаки. Это еще одно издевательство гитлеровцев над мертвыми.

Моряки часто отказываются выполнять ту или другую работу. Бункер ни на один день не остается пустым. Сидели там Агамов, Будик, Бабиченко, Паша Воротов, Вася Тарасов. Ваську так избили, что после этого он два месяца пролежал в ревире. Гитлеровцы не стесняются, продолжают избивать интернированных, повесили на видное место доску с расписанием дежурств по лагерю, ответственными за порядок назначены капитаны. Капитаны возмущены и подают очередной протест коменданту. Вот выдержка из этого документа.

«…если называть вещи своими именами, нас, вопреки нашей воле, произвели в чин лагерной полиции. История международных отношений не знает случая, когда у культурных народов нормы международного права были бы так грубо нарушены по отношению к интернированным, как это имеет место в ИЛАГ- 13. Поэтому тем более странно, что командование лагеря рассчитывает на нашу поддержку в соблюдении небывало тяжелого и оскорбляющего наше достоинство граждан Советского Союза режима.

Мы, интернированные капитаны судов Советского Союза, протестуем против:

1. Попытки возложить на нас обязанности, оскорбляющие патриотические чувства граждан Советского Союза. 2. Произвола часовых и унтер-офицеров, избивающих советских интернированных. 3. Недостаточного количества выдаваемой в лагере пищи; наш рацион доведен до нетерпимого по качеству и количеству уровня, следствием чего явилось наше истощение и увеличение случаев заболевания туберкулезом в лагере.

Мы просим не рассчитывать на нашу поддержку установленного в лагере режима, как режима, оскорбляющего человеческие и гражданские чувства интернированных, снять с доски ответственных дежурных наши фамилии, так как мы отказываемся эти дежурства нести.

Мы требуем: разбора всех случаев избиений и оскорблений советских интернированных с привлечением виновных к ответственности за незаконные действия, улучшить наше питание, передать копию настоящего заявления шведскому консулу в Берлине и нашу просьбу о свидании с ним.

Капитаны: Богданов, Балицкий и др.»

Протест вызывает негодование в комендатуре. Все остается по-прежнему, но доску с фамилиями капитанов приходится снять. Слишком уж непреклонно звучат слова протеста, и комендант понимает, что никакая сила не заставит капитанов нести эти дежурства.

Скоро Новый год. Месяца за полтора до него началась подготовка к встрече. От пайка хлеба ежедневно отрезали по ломтику толщиною в бумажный лист и копили десятиграммовые пайки маргарина. Решили отпраздновать Новый год несмотря ни на что и в этот вечер почувствовать себя сытыми. Для этого требовалась большая воля. Некоторые не выдерживали и съедали все свои накопления.

Наконец наступил канун. Лагерное начальство милостиво разрешило в этот вечер не выключать электричество до 23 часов. Мы встречали Новый год по московскому времени. За столиками с импровизированными тортами, сделанными из размоченного в воде хлеба и маргарина, с кружками шалфея в руках сидели одетые в свои парадные и форменные костюмы моряки. Худые, бледные, с ввалившимися глазами, они очень походили на скелеты. Посредине камер стояли маленькие елки, принесенные из леса, окружающего замок. Их украсили искусно вырезанными спиральками из жести, разноцветными лоскутками, на вершине водрузили пятиконечные картонные звезды, обернутые станиолем.

Ровно в двенадцать подняли кружки и поздравили друг друга с Новым годом. Это было необычное поздравление:

— За победу над Германией в будущем году, за освобождение нашей Родины, за Красную Армию!

И вдруг кто-то сказал:

— А помните… Медленно идет крупный снег… Магазины сияют витринами. Ты бежишь нагруженный покупками. В карманах бутылки с шампанским, в руках свертки, коробки с подарками. В каждом доме нарядные люди, гремит музыка… Эх, неужели не доживем?

— Доживем. Давайте закурим.

На столе стоит жестяная банка, полная окурков. Дары

работающих в городе. Долгое время они собирали их на улицах и сохранили для Нового года. Голубые дымки заполняют камеру. За ними чудятся родные края и лица…

Я вспоминаю жену, сына и маму… Как она умела обставлять встречу Нового года! Напечет всяких вкусных вещей, купит и украсит с внуком елку, принарядится, выглядит такой молодой и красивой. Глаза блестят… Она любила встречать этот праздник дома. Говорила, что это семейное торжество, и сердилась, когда мы куда-нибудь уходили…

Вспомнилось мне и празднование десятилетия нашей с Лидочкой свадьбы. Собрались самые близкие друзья: Степанида, Женька Мартынцев, Коля Крюков, Леник Круликовский… Нанесли много цветов. Пили шампанское, смеялись…

Вдруг Женька заорал:

— Чествовать их как стариков! Десять лет прожили вместе. Поди, уж надоели друг другу хуже горькой редьки?

Мы не согласились. Я взял карандаш и подсчитал, что за десять лет совместной жизни едва-едва наберется два года, что я был дома. Остальное время плавал по морям и океанам. Мы потребовали, чтобы нас поздравляли как молодоженов. Все согласились…

Возник в памяти Пакидьянц и его отплытие в первый рейс на «Товарище» из Ленинграда… Он угощал меня настоящим аргентинским ромом, который утащил у старпома. Юрка был возбужден, весел и трещал без умолку:

— Вот встретимся лет через десять. Будем уж капитанами. Сядем, выпьем и вспомним, как я работал буфетчиком. Вот смехота! Правда?

И Пакидьянц, и Степанида, и Женька сейчас плавают на судах, помогают фронту, защищают Родину… О другом не думалось.

Тогда я не знал, что Георгий Васильевич Степанов, старший лейтенант, в первые дни войны подорвался на вражеской мине на своем тральщике и никогда уже не поднимется на мостик… Не знал я и того, что Пакидов, выйдя в свой первый капитанский рейс, — его только назначили капитаном, — был торпедирован немецкой подводной лодкой, и никто из Команды не остался в живых… И Женька Мартынцев чуть не распрощался с жизнью, когда госпитальное судно «Андрей Жданов» попало на минное поле… Не знал я, что Колю Дуве зверски расстреляли фашисты прямо на воде, когда его, раненого, пытались втащить в шлюпку… И о том, как погиб мой соученик Саша Остроумов, находясь в конвое «PQ -16», как был застрелен на палубе с вражеского самолета Степа Клименов, как тонул Коля Тюненко,

тогда я не знал…

А в камере вились голубые дымки, и каждый думал о своем. Потом опять кто-то прервал молчание и снова спросил:

— А помните…

В этот вечер комендант тюрьмы пожелал лично сделать обход камер. То, что он увидел, поразило его. Убранные елки, блестящие нашивки, красные флажки на столах и рукавах, серьезные и торжественные лица — это было невиданно в тюрьме, за колючей проволокой, где все разумное должно было исчезнуть, уступив место животному страху и приниженности.

Комендант повернулся к Маннергейму и Вейфелю и довольно громко спросил:

— Откуда у этих людей столько патриотизма? Откуда это мужество, презрение к действительности? Может быть, они не понимают того, что происходит?

Нет, господин комендант, мы понимали все…

Вернулся в лагерь фон Ибах и прибыл новый комендант. За ним тянется плохая слава. Откуда наши все знают? Не успел человек приехать — характеристика известна. Поживем — увидим. Ибах опять занимает должность помощника коменданта. Интересно, где он был эти два года? Ну, наши арбайтдинсты узнают.

…Сняли внутреннюю охрану из коридоров. С наступлением темноты и до утра солдаты расхаживали по этажам, заглядывали в камеры, проверяли, все ли спокойно. Теперь их не будет. Это хорошо. Остается только внешняя охрана и огромные дубовые двери — ворота, которые закрывают на многопудовый засов. Почему убрали солдат? Говорят, что не хватает людей на фронте и наши стражи отправились на Восток. Или, как они поют в песнях и пишут в газетах: «Дранг нах остен». Провожали их торжественно. Мы наблюдали эту церемонию.

Комендант выстроил отъезжающих на дворике перед офицерским бараком. Всем раздал какие-то подарки. Потом сказал проникновенную речь. Конечно, орал, советовал уничтожать врагов не жалея, предрекал скорое возвращение с победой, железные кресты… Эти молодые, еще не обстрелянные идиоты с выпученными глазами и вытянутыми руками кричали: «Хайль Гитлер!», спели гимн «Хорст Вессель», потом их посадили в машину и увезли.

На этом «параде» мы впервые увидели нашего завхоза в полной красе. Оказывается, Коллер имеет большой чин в СА. Он стоял в новой коричневой форме штурмовика со знаками различия штурмбанфюрера и красной повязкой со свастикой на

рукаве. Лицо его было вдохновенным, и пока комендант говорил речь, он не опускал вытянутую руку. Ну что ж, мы тоже пожелали деревянных крестов нашим охранникам. С нами им было легче воевать, чем придется на Восточном фронте.

Вейфель застрелил забежавшую в лагерь кошку. Тренировался в стрельбе. Хвастал перед солдатами меткостью. Застрелил, а убирать, конечно, не стал. Кошку подобрали наши ребята и принесли в тюрьму. У француза Жоржа Меркадера загорелись глаза.

— Давай, давай. Это будет бон бифштекс! Ну… Как это? Давай я сделаю.

Жорж причмокнул губами и от предстоящего удовольствия зажмурил глаза. Можно было подумать, что он всю свою жизнь питался кошками. Вейфелевскую кошку ему отдали, взяв слово, что, когда рагу будет готово, он угостит товарищей. Жорж долго колдовал над своим рагу. Достал где-то у поляков лавровый лист и перец, вымачивал мясо и наконец с гордостью заявил:

— Идите кушать.

Желающих набралось так много, что каждый получил по крошечному кусочку. Кулинарные способности Жоржа были оценены по достоинству. Рагу понравилось всем. Он был признан мастером французской кухни. Такой успех окрылил Жоржа, и, когда Алексей Петрович Устинов принес в лагерь десятка два улиток, которых собрал на заднем дворе тюрьмы, Жорж снова воодушевился:

— Я буду делать вам запеченные улитки.

Он «замуровал» улиток размоченным хлебом в их ракушках и положил жариться в печку на тлеющие угли. Это блюдо вызвало такой же энтузиазм, как и кошка. Улиток жевали с наслаждением, хотя напоминали они кусочки резины. Наверно, мы съели бы еще более невероятные блюда. Люди были очень голодны…

За воротами

Я работаю лагерной «лошадью». В нашей упряжке трое. Юра Ратьковский, Гаврилов и я. Иногда «лошадей» меняют. Тогда в упряжку попадает Коля Никитин или Ростислав Вахтин. Гаврилова не меняют. Он самый сильный. «Коренник», так сказать. Каждое утро в восемь часов мы идем на двор комендатуры, надеваем на себя веревочную сбрую от телеги и под охраной постоянного солдата Клима выезжаем из ворот замка. Наша задача привезти собакам мясо, почту коменданту и гарнизону, больным интернированным обрат с молокозавода, свежие газеты, посылки солдатам и вообще все, что идет из города в лагерь.

Клим высокий, худой и свирепый. Он «дефектный». У него плохо с глазами. Клим живет в Вайсенбурге и потому очень держится за место в нашем замке. Больше всего боится оторваться от семьи и угодить на Восточный фронт. Поэтому он из кожи лезет вон, чтобы показать коменданту, какой он строгий. Клим разговаривает с нами только на высоких тонах, толкает прикладом автомата, бьет по спинам. Он всегда торопится, потому что любит болтать в городе со знакомыми, а потом быстрым ходом гонит нас в гору с тяжело груженной телегой. Иначе газеты опоздают к герру коменданту.

Из города в наш замок ведут два пути. Один «лангер вег» — километров восемь по асфальтовой спирали, другой «курцер вег» — три километра почти по вертикальной, очень крутой каменистой лесной тропинке. Мы всегда спускаемся по «курцер вег». Так быстрее попадаем в город. Спуск приятен, телега пуста. Мы идем лесом. Кругом высятся огромные сосны, пахнет хвоей, травой, цветами… Я не знаю, чем еще так удивительно пахнет… Наверное, свободой. И погода здесь лучше. Почти всегда летом солнышко, которого так нам не хватает. Идем, вдыхаем чудесный воздух, не обращая внимания на воркотню Клима, ковыляющего сзади с автоматом наизготовку.

Скоро въезжаем в город. Все нам здесь знакомо. Каждый дом, каждая улочка, каждая площадь. Ведь в течение года мы ежедневно ездим сюда. У нас постоянный маршрут: молокозавод, почта, бойня, булочная Майера — это неизменно, а потом начинаются разные заезды, в зависимости от поручений, данных Климу в лагере.

Постепенно телега наполняется, становится тяжелее, и мы едем уж не так резво: «лошади»-то ведь дохлые, скоро устают. Выходим из города. Сердце начинает тревожно биться: каким же

путем прикажет ехать Клим? Телега, как всегда, перегружена. Еле тянем. Подходим к развилке дорог. Ну? Клим взглядывает на часы. Газеты опаздывают, комендант ждет их ровно к двум, а он проболтал с фрау Ванг битых тридцать минут.

— Курцвег! — истошным голосом кричит солдат, видя, что мы остановились и выжидаем. — Шнель!

— Герр Клим, — говорит Юра Ратьковский, — унмёглих. Швер. Лангер вег… Битте.

— Руе! Марш! Курцвег![19]

Мы поворачиваем на горную тропинку. Все круче подъем. Мы тянем телегу изо всех сил. Веревки врезаются в плечи. Не помогают подложенные под них рукавицы. У каждого из нас стерта кожа от этой сбруи. Все медленнее и медленнее двигается телега, и все громче орет Клим:

— Цвай ур! Газетен, комендант! Шнель![20]

Он тычет прикладом поочередно нам в спины. Да будь ты проклят со своими газетами! Сердце выскакивает из груди, не хватает воздуха, сейчас я упаду… Вот каторга! Настоящая каторга. С невероятными усилиями дотаскиваем телегу до половины пути и решительно сбрасываем веревки. Я валюсь на траву, Юра и Гаврилов стоят и, как рыбы, вытащенные из воды, хватают ртами воздух. Какая душистая трава, так бы и остался тут лежать навсегда… Не видеть этой рожи, не слышать его опротивевшего голоса… Пусть стреляет. Не поднимусь, ни за что не поднимусь… Клим неистовствует, показывает на часы, на автомат, прицеливается. Напрасно. Пока мы не отдышимся, телега не двинется с места. Гаврилов и Ратьковский садятся на землю. Еще несколько минут мы отдыхаем, потом с трудом поднимаемся, надеваем веревочные хомуты… Телега трогается.

В лагерь мы прибываем вовремя. Комендант получает свои газеты. Вейфель делает «лошадям» быстрый обыск, и мы расходимся по камерам. Валимся в койки, не умывшись, не раздевшись, прямо так, как пришли. Не хочется ни с кем разговаривать, не хочется даже есть. Только бы лежать, только бы не беспокоили. И нас никто не тревожит. Даже Вейфель. Теперь мы освобождены от всех работ. Такой лагерный закон, и в этом главное преимущество работы «лошадьми». Унтера знают, что мы не можем пошевелиться после подъема на гору и посылать куда-нибудь нас бесполезно. Но есть и другие преимущества. «Лошади»— регулярные информаторы партийной тройки. Мы ходим по всему городу и многое видим.

В Вайсенбурге школы переделали под госпитали… Городишко полон раненых офицеров и солдат… В магазинах, в мастерских и на фабриках работают только женщины и старики…

Молодых людей не видно, а ведь совсем недавно подростков было много. Все больше появляется женщин с заплаканными глазами, больше траурных платьев и черных повязок на рукавах у мужчин. Бьют в глаза плакаты: «Что ты пожертвовал в фонд зимней помощи?», «Помни! Немецкому солдату холодно!» Это правительство призывает граждан сдавать теплые вещи для отправки на фронт…

К колбаснику с Восточного фронта приехал сын на побывку. Лицо изуродовано ожогом. Он что-то рассказывал Климу, тот все время качал головой и после этого разговора стал еще злее. Шел сзади и ворчал: «Проклятые русские!» Видно, сильно взволновался. Со стен домов на нас наводит пистолет страшный человек, завернутый в черный плащ, в надвинутой на глаза широкополой шляпе. А позади него за столиком пьют два краснолицых бюргера. Через весь плакат надпись: «Враг слушает тебя!» С куревом у немцев стало еще хуже. Теперь редко можно найти окурок на улице. Тоже показательно. Многое могут увидеть внимательные глаза…

Иногда нам выпадают счастливые дни. Это бывает, когда кто-нибудь из жителей Вайсенбурга незаметно от солдат бросает на нашу телегу кусок хлеба, пару сигарет, хлебные карточки. Карточки мы отдаем ребятам, которые работают в городе, и они через своих мастеров покупают хлеб и приносят его в лагерь. Но больше всего мы любим ездить на бойню.

Мы въезжаем на асфальтированный двор бойни и ждем, когда рыжий мясник бросит на телегу «собачье мясо». Клим идет в застекленную конторку оформлять документы. И тут надо ловить момент. Гаврилов выхватывает из-за пазухи самодельный острый как бритва нож, отсекает от мяса кусок побольше и прячет его в тайник под днищем телеги. Мясо синее, уже начинает портиться, от него плохо пахнет, но для нас это не имеет никакого значения. Мы придем в лагерь, сварим его на камерной печке и будем есть суп.

Бывает и так, что Рыжий бросает на телегу специально для нас кусок вымени, бычье легкое, сердце или почки. Он проходит мимо, швыряет ливер в телегу, кивает головой. Мы понимаем его без слов. Это нам.

Рыжий, как называем мы мясника, наш настоящий друг. Антифашист. У него сын в плену в России. Рыжий слушает московское радио и при всякой возможности старается передать нам новости. Иногда мы привозим портсигары, игрушки и незаметно передаем ему. В следующий приезд мясник платит за них хлебом. Когда гитлеровцы на всех углах орали про победу под Сталинградом, не кто иной как Рыжий выбрал удобную

минуту и первым сказал нам:

— Не верьте! Все не так. Сталинград не взят. Армия Паулюса окружена. Капут. Я слышал английское и московское радио.

За такие сведения полагалась смертная казнь. Если бы Рыжего услышал Клим, ему несдобровать. Немцы объявили траур по Сталинграду только через три недели после сообщения мясника. А в лагере уже знали правду и безмерно радовались. Надо было быть смелым человеком; чтобы так рисковать жизнью. Он мало говорил, но все его сообщения бывали важными и радостными.

Среди вайсенбуржцев встречались люди, настроенные против Гитлера и его режима. Об этом рассказывали ребята, работавшие в городе.

Что у Клима было связано со Сталинградом, я не знаю, но после объявления о разгроме армии Паулюса он совершенно озверел. Толкал, орал и бил по спинам чаще, чем прежде. Никакого житья от него не стало. Мы даже начали поговаривать о побеге. Тюкнуть охранника по башке в лесу и дать дёру. Но мы прекрасно понимали всю наивность такого плана. Ну куда мы уйдем в своих полуарестантских одеждах с надписями на спине и коленях «US»? Освободил нас случай. Вернее, жадность Клима.

В один из наших заездов на почту Климу дали посылку на имя какого-то араба. Он был интернирован в числе команды английского парохода «Орама», находившейся до нас в Вюльцбурге. А теперь вдруг посылка. Больше чем через два года! Гримасы почты.

У окошечка Клим недоуменно пожал плечами, посовещался с хорошенькой немочкой, бросил нам тяжелый пакет, проквакал: «Марш!» — и мы, надев свои веревочные хомуты, тронулись в путь. На половине короткой дороги солдат приказал нам остановиться и отдохнуть. Мы очень удивились. Кажется, первый раз эта инициатива исходила от Клима. Но только мы сбросили свою упряжь, как охранник огляделся вокруг, взмахнул автоматом и приказал затащить телегу в кусты. Это было уже совсем удивительно. Но приказ есть приказ. Затащили. И принялись с любопытством наблюдать за тем, что же будет дальше.

А было вот что: Клим трясущимися руками, все время оглядываясь по сторонам, яростно и торопливо вскрывал посылку. Глаза у него горели от возбуждения. Он повернулся к нам, показал на автомат, приложил палец к губам. Жест был понятен. Мы становились его сообщниками. Когда солдат добрался до содержимого, то потерял человеческий образ. Он напоминал бродячую собаку, роющуюся на помойке. Посылка

была богатая. Сигареты в запаянных банках, шоколад, масло, кофе… Клим, опасливо озираясь и пытаясь закрыть от нас содержимое посылки, набивал свои карманы. Мы стояли как завороженные. Вот тебе и честный немец! Оглянувшись еще раз, Клим схватил посылку и сунул ее в кусты. Потом взглянул на нас, подумал и дал нам по жестяной банке английских сигарет «Голд Флейк». В одну минуту мы стали миллионерами. Солдат еще раз показал глазами на автомат, приложил палец к губам, погрозил нам кулаком. Он купил наше молчание. На обратном пути, когда солдат пойдет домой в увольнение, он заберет то, что осталось в кустах.

С тех пор мы стали хозяевами положения. Через несколько дней Клим забыл о том, что мы его сообщники по преступлению, и пытался возобновить наши прежние отношения. Не тут-то было. Как только солдат заорал и замахнулся автоматом, мы остановились и Юра Ратьковский на ужасном немецком языке сказал:

— Руе… Одер вир комендант заген, зи пакетен хабен зи гевезен. Энглише сигаретен раухен. Ферштеен?[21]

Клим выкатил глаза, хотел броситься на Ратьковского, но вовремя одумался. Он «ферштеен». Если мы действительно донесем на него коменданту, эта история может дорого ему обойтись: Восточный фронт или, в лучшем случае, потеря службы в лагере интернированных. После этого объяснения Клим стал шелковым. Теперь он сам продавал наши портсигары, покупал хлеб на карточки, а однажды довольно выгодно обменял в деревне на картошку целую партию попрыгунчиков. Если он забывал, кем мы ему сейчас приходимся, и начинал кричать, кто-нибудь из нас с милой улыбкой говорил:

— Вир комендант заген, энглише сигаретен… Солдат сразу же успокаивался, а мы мысленно благодарили неизвестного араба.

Как-то на плацу ко мне подошел Виктор Шулепников. Он внимательно оглядел меня с ног до головы, хитро улыбнулся и сказал:

— Что-то вы сильно обносились. Колодки надо новые, белье, наверное, теплое? Ну, я вам это доставлю…

Через несколько дней он принес мне в камеру пару новых колодок и теплое белье.

— Откуда такая роскошь? — спросил я, пожимая ему руку.

— Из собственных кладовых, — засмеялся он. Оказывается, Виктор Свирин и Шулепников совершенно свободно проникали в лагерную кладовую Коллера, доставали оттуда французскую

форму, белье, обувь и раздавали нуждающимся. Такие экспроприации стали возможными благодаря «работе» Виктора Свирина. Не зря он был лагерным слесарем, не зря делал ключи и выбрасывал из замков цугалики. Вот и пригодилось.

Ни Шулепников, ни Свирин не думали о той опасности, которой они подвергаются. Немцы не простили бы им, если бы они попались. Их ждала страшная кара, но ребята, охваченные единственным желанием помочь товарищам, забывали о том, что случится, если их поймают. И они были не одиноки, эти два парня. Все, кто доставлял из города в лагерь ножички, напильнички, кто по частям приносил радиоприемник, кто собирал, слушал, писал и распространял листовки, саботировал и устраивал маленькие диверсии, рисковал многим, может быть и жизнью…

Партийная группа справилась с задачей. После двух с лишним лет голода, побоев, непрекращающейся фашистской пропаганды, провокаций, попыток любым способом расколоть лагерь шесть команд советских судов остались верными Родине и готовыми на все, чтобы хоть чем-нибудь помочь ей… Заколдованный круг был очерчен, гитлеровские попытки проникнуть внутрь его не увенчались успехом, моряки не дрогнули…

В лагерь прибыла группа людей, одетых в штатское. Лучше бы они были в форме. Штатское платье всегда ассоциировалось с гестапо. Приехали эти люди тихо, даже наши арбайтдинсты ничего не могли сказать о цели их приезда. Но скоро все выяснилось. Нас по одному стали вызывать в барак комендатуры. Первый человек, который прошел опрос этой комиссии, рассказал:

— Спрашивают о портах, судах, кранах.

Я вошел в комнату и увидел человек пять пожилых немцев, сидящих за столом. Они приветливо смотрели на меня, даже не сделали замечания, что я не снял шапку. Сесть, конечно, не предложили. Переводил Хельм.

— Итак, вы плавали по всему миру, — сказал один из сидящих за столом, медленно листая мою мореходную книжку.

Мореходка! Жива! Как давно я тебя не видел…

— Были во Владивостоке. Я вижу это по штампам прихода и отхода. Так-с. Сколько там портальных кранов? Вы не могли бы назвать цифру?

— Кранов очень много. Не считал.

— Ну а все-таки?

— Не могу сказать. Никогда не интересовался. Немец быстро

взглянул на меня, что-то шепнул соседу.

— Ну, а в Петропавловске-на-Камчатке вы тоже были?

— Был.

Скрывать не имело смысла: штамп Петропавловска стоял в мореходке.

— Большая бухта?

Зачем он задает такие вопросы? Достаточно взглянуть на карту для того, чтобы увидеть, что представляет собой Авачинская губа.

— Большая.

— Сколько судов она может вместить?

— Все флоты мира.

Допрашивающий недовольно откинул мою мореходку в сторону.

— Не хотите отвечать… Ну что ж. Следующий. Вейфель, присутствующий тут же, в сердцах подтолкнул меня к выходу.

Опрос прошел без всякого успеха. Моряки ничего не сообщили, ссылаясь на то, что такие вопросы их никогда не интересовали. О том, чтобы ответы были правильными, позаботилась наша партийная тройка, предупредив после опроса первых двух, как примерно следует отвечать.

Устинов рассказал мне, что его спрашивали об Архангельске. Он заявил комиссии, что в Архангельске был очень давно и может рассказать им о своих впечатлениях двадцатилетней давности, когда в центре города стоял еще древний собор. Между прочим, в городе много старинных церквей… Его прогнали. Но и сказать ничего не могли. «Хасан» в Архангельск не ходил, и поэтому штампа в мореходке не было. На что рассчитывали немцы? Вероятно, на то, что среди моряков найдутся предатели или трусы. И на этот раз гитлеровцы просчитались.

Офицеры

Опять в нашем лагере происходит что-то странное. Привезли полную телегу кирпича, закрашивают оконные стекла синей краской. Унтера суетятся. Коллер вышел на двор, покрикивает на Шулепникова и Шалякина. Они переносят кирпич в правую, пока пустовавшую половину тюрьмы. Несколько интернированных под командой Гетца таскают туда же одеяла и матрасы.

— Что будешь делать, Виктор? — спрашиваю я Шулепникова.

— Да вот приказали в правом коридоре возвести капитальную стенку. Изолируют правую половину от нашей. Для чего, не знаю. Очевидно, собираются поселить кого-то, с кем нам общаться будет нельзя. Так я думаю.

Наверное, его догадка правильна. Ждут новых узников. Но кого?

Через несколько дней сразу после утреннего «аппеля» нас загоняют в камеры, ставят двух автоматчиков во дворе против закрашенных окон и предупреждают:

— К окнам не подходить! Если кто будет замечен — откроем огонь.

Но как ни опасно, все же у окон ставим своих наблюдателей. Незаметно соскабливаем краску. В маленькое светлое пятнышко хорошо виден весь двор. И вот на плац вводят людей. Судя по форме, это советские офицеры. Около двухсот человек. Вид у них изможденный. Одежда рваная, грязная. Не вызывает никакого сомнения, что эти люди много перенесли.

Теперь режим в лагере резко изменился. На плац выпускают по очереди. Моряков, потом офицеров. Накрепко закрываются двери. Внизу ходят автоматчики, поглядывая на окна. Малейшее движение рамы — и пуля отбивает кусок штукатурки, Но мы осторожны.

Несколько раз Маннергейм на проверках напоминал:

— За общение с военнопленными будем строго наказывать. Вплоть до расстрела.

Но запугивания мало помогают. Несколько моряков проходят под окнами правой половины тюрьмы с песней «Эй, вратарь, готовься к бою»: хотят показать, что в лагере сидят русские. Унтера разгадали этот план и пинками начали загонять интернированных в камеры. На следующем «аппеле» заявили, что подобных демонстраций больше не потерпят. Но офицеры слышали песню и поняли, что она должна значить.

Наш повар Федя Петухов видел из окна кухни, как один из военнопленных во время прогулки что-то положил под дерево и

сделал ему знак рукой. Федя рассказал об этом Свирину. Как только на двор выпустили моряков, Виктор сел под дерево и нашел там кисет, а в нем записку. В ней было написано: «Если есть, дайте немного табаку. Кисет положите на прежнее место». Так началась тайная связь с военнопленными. Скоро мы узнали, что среди них есть несколько генералов и полковников.

В одной из последующих записок они сообщали: «Много больных, истощенных, голодаем…» И снова собирается тройка. На следующий день во все камеры передается призыв: «Товарищи! Надо помочь офицерам. Кто чем может. Их положение еще хуже нашего. Они не имеют никакой связи с внешним миром. Мы должны помочь…»

И вот начинается поистине благородное дело. Моряки продают свои вещи в городе, мастерская Хельма почти что работает на военнопленных, некоторые меняют на хлеб у солдат свои часы, отдают пайковую картошку, хотя сами голодают. Но мало собрать продукты, надо их незаметно передать офицерам. А это при непрекращающейся слежке далеко не просто. Но когда очень хочешь, то можешь. Находят выход и из этого положения.

В дворовой нише помещалась большая деревянная уборная. Вот ее-то и избрали наши связные, как наиболее удобное место для передачи продуктов. Специальный мешок с кусочками хлеба и картошкой подвешивался на крючке с внутренней стороны «очка», оттуда его брали офицеры во время своих прогулок. Для того чтобы они знали, что мешок подвешен, связные давали сигнал: вывешивали во дворе тельняшку, штаны или рубаху — вроде бы для просушки.

Немцы начинают догадываться, что связь между двумя половинами лагеря существует. Много часов провел хитрый Вейфель на стене с полевым биноклем: наблюдал за тем, что делается на плацу во время прогулок моряков, а потом офицеров. Ничего не высмотрел. Тогда, верные себе, гитлеровцы применяют испытанный метод — провокацию. Через своих, информаторов они распускают на половине моряков слух: «Большую часть собранных продуктов съедают сами сборщики. Офицерам попадают крохи…»

И хотя люди были голодны и все связанное с продуктами воспринималось болезненно, никто не поверил этой гнусности, никто не усомнился в том, что все организовано правильно. Этот случай еще раз показал сплоченность моряков.

Лагерь выходил из-под контроля комендатуры. Немцы всполошились. Надо было принимать меры. И Маннергейм обратился к нам с речью:

— Мы прекрасно осведомлены о том, что вы помогаете

больным на той стороне лагеря. Это понятно и похвально. Но мы не можем допустить, чтобы помощь шла помимо нас, бесконтрольно. Я предлагаю легальный и поэтому более верный путь. Вы будете отдавать свои пожертвования унтерам, а они передавать их военнопленным. В противном случае мы найдем методы для прекращения этой связи.

Моряки посоветовались и решили попробовать. Пусть часть наших сборов идет и легальным путем. Сделали первый сбор продуктов, и Вейфель на глазах у интернированных понес их на половину военнопленных. Но через несколько дней пришло сообщение: «Не посылайте больше ничего с унтерами. Продукты и табак они передают своим информаторам, которые у нас есть».

Все стало понятно, и легальный путь прекратил свое существование. Но зато нелегальный значительно расширился. И опять благодаря этим неугомонным ребятам — Свирину, Шулепникову, Гудимову, Бегетову, Шанько и еще некоторым, работавшим с «танкером» «Заткнинос».

«Танкером» называли огромную бочку на четырех колесах, в которую сливали нечистоты из уборных. Обычно эту работу выполняли штрафники или свободные от своих обязанностей арбайтдинсты. «Танкер» с впряженными в него людьми подъезжал к уборной, его заполняли черпаком на длинной ручке и тащили к месту разгрузки. Солдат-автоматчик, затыкая нос, следовал за ним на почтительном расстоянии. Бочка пересекала весь двор и заворачивала за угол замка. Туда уже солдат не шел. Во-первых, там помещалась яма, куда нужно было опорожнить «танкер», и стояла такая вонь, что слабонервные падали в обморок, во-вторых, это был узкий тупичок, ограниченный с одной стороны высоченной стеной, с другой — самим замком. Убежать из этого коридорчика было невозможно.

Напротив выгребной ямы — окно подвала, в который ссыпают картошку и брюкву для питания интернированных. Над этим окном во втором этаже расположено окно уборной, забранное редкой решеткой.

И вот в один прекрасный день во время выгрузки бочки кому-то из команды «танкера» пришла в голову шальная мысль:

— Ребята, а что, если доставать картошку из подвала?

— Ты с ума сошел! Каким образом?

— Не сошел. Слушайте. План такой. Наш фриц сюда никогда не заглядывает. Ну, а если заглянет, — ничего страшного. Один из нас забирается в подвал через открытое окно, это нетрудно, и насыпает картошку в специально сшитый мешок-колбасу, который должен проходить через решетку в уборной. По сигналу снизу наши люди втаскивают мешок в уборную — и все, как

говорят, убито. Надо, конечно, разработать наблюдение, сигнализацию и все прочее. Как?

План понравился, хотя все прекрасно понимали, то, если кто-нибудь из немцев заметит, как интернированные воруют картошку, штрафного лагеря не миновать. Несмотря на это, решили попробовать. Сшили мешки — колбасы. Они свободно проходили сквозь решетку и вмещали в себя килограммов по шесть картофеля. Это было целое богатство. Стащили где-то в городе бельевую веревку и принесли ее в лагерь. Можно было приступать к осуществлению плана под кодовым названием «Танкер».

Первым в подвал полез Юра Шанько. Один из команды незаметно наблюдал за солдатом, трое в уборной были на «товсь», остальные усердно, но медленно, выгружали «танкер».

…Юрка скрылся в подвале. У всех напряглись нервы. Знойный день. Тишина, застыл наблюдатель на углу. Тянутся томительные минуты. Из подвала не доносится ни звука. Вдруг показалось, что наблюдатель сделал знак…

— Юрка, сиди тихо… Фриц идет.

Но, к счастью, тревога ложная. Все спокойно. Наконец из окошка подвала показывается мешок и слышится шепот Шанько:

— Давайте скорее. Сейчас вторую буду насыпать…

— Да вылезай ты! Хватит для начала. Но Юра уже исчез.

Веревка спущена. Быстро привязывают мешок, и вот он уже исчезает за решеткой. Наверху тоже не зевают. Молодцы, знают свое дело! Через несколько минут таким же образом в уборную попадает вторая картофельная колбаса. Все спокойно. Довольный Шанько вылезает из подвала.

— Поехали!

Пустая бочка степенно движется по двору. Солдат неохотно поднимается — он грелся на солнышке — и лениво бредет за «танкером».

С этого дня операцию «Танкер» проводили довольно часто, и военнопленные стали получать значительно больше картошки, чем прежде.

Нашему повару Мише Мудрову удалось окончательно разоблачить петлюровца Розоловича как осведомителя комендатуры. Розолович очень интересовался тем, каким образом осуществляется связь с военнопленными, и однажды прямо спросил об этом Мудрова, объяснив свое любопытство тем, что, дескать, и он хотел бы чем-то помочь больным офицерам. Мудров оглянулся по сторонам и прошептал Розоловичу в ухо:

— Клянитесь, что никому не скажете того, что услышите от меня.

Розолович поклялся, для убедительности еще перекрестился три раза.

— Хорошо, — сказал Мудров. — Я верю вам. Слушайте. Перед окончанием нашей прогулки на плацу один из моряков забирается на дерево, скрывается в густой листве и ждет, когда на прогулку выйдут генералы. Нас ведь не пересчитывают. Доверенный офицер из военнопленных становится под дерево, слушает, что говорит ему наш связной, и передает сведения с их половины. На следующей прогулке моряк присоединяется к своим. Имейте в виду! Ни слова…

Мудров врал без зазрения совести. Об этом разговоре знали только он и Розолович. На следующий день солдаты гарнизона обмотали все стволы деревьев на плацу колючей проволокой. Все было ясно. К Розоловичу и раньше относились с недоверием, а теперь он был разоблачен.

Переписка с военнопленными становилась более интенсивной. Систему связи детально разработала партийная тройка. Вопросов с обеих сторон было много. Интернированных интересовало мнение генералов о происходящем на фронтах, оценка событий, прогнозы на будущее. Военные хотели знать все о лагере, настроении гарнизона, о количестве охраны и пулеметов, возможностях побега. Генералам переправляли вырезанные из немецких газет карты фронтов, сводки Советского информбюро, когда их удавалось достать, слухи и содержание разговоров с солдатами и населением Вайсенбурга. Все эти сообщения и наши вопросы мы писали печатными буквами на узеньких полосках бумаги, которые сворачивали в рулончики, похожие на сигареты. Они закладывались в специально просверленные для этой цели камни и оставлялись на плацу в определенных местах. Доверенный человек от генералов подбирал эти камни во время прогулок.

Советские офицеры, будучи квалифицированными военными специалистами, давали нам полный анализ получаемых ими сведений, перспективы на будущее развитие военных действий и свои соображения о по чин в лагере. Мы получали их ответы таким же образом. Они размножались нашими переписчиками и спускались вниз: репатриированным, в лагеря военнопленных, всем, кто ждал правдивого слова и надеялся на победу Красной Армии.

Скоро нам сообщили о существовании партийной организации военнопленных. Ее возглавлял генерал Музыченко, а потом, когда в лагере появился раненый генерал Лукин — у него была ампутирована нога, — руководство организацией перешло к нему.

Постреливают в окна автоматчики. Все чаще пролетают над Вюльцбургом эскадрильи американских самолетов, все свирепее и злее становятся унтера. Теперь уже многие подумывают о конце войны. Пожалуй, это будет самый страшный момент в жизни лагеря. Необходимо заранее разработать единые меры защиты. И партийные руководители обеих половин тюрьмы решают встретиться. Но как?

Снова на помощь приходит неутомимая и смелая молодежь. Шулепннков предложил Свирину сделать ключи и попытаться открыть тяжелые, окованные железом двери, ведущие в помещение военнопленных. Они выходили на другую сторону замка и никем не охранялись. У единственных дверей, которыми пользовались офицеры, всегда дежурил часовой с автоматом. Немцам не могла прийти в голову мысль, что задние двери, запертые огромными висячими замками, могут быть открыты.

Тем не менее двери были открыты днем, и капитан Дальк на несколько минут встретился с генералом Музыченко. Короткое рукопожатие, в которое вложены все чувства, короткий деловой разговор. Для сантиментов нет времени.

— Режим нашей половины не дает возможности развернуться как следует. Нас не выпускают за ворота, по ночам держат внутреннюю охрану, ведут непрерывное наблюдение за каждым нашим движением, но в случае угрозы уничтожения лагеря надо действовать совместно. Составим единый план самообороны. Мы, военные, будем возглавлять восстание. План мы перешлем вам в ближайшее время, — говорит Музыченко.

— Мы готовы, — кивает головой Дальк, — но учтите особенности нашего лагеря. Не горячитесь. Мы будем информировать вас обо всех изменениях, которые заметим. Важно не упустить момент, но и торопливость опасна. Можно зря погубить всех людей.

— Мы постараемся все учесть. Давайте больше информации. Пора расходиться. Прощайте.

Невидимые, но еще более прочные нити связывают теперь обе половины лагеря. Это была не последняя встреча офицеров и моряков. Шулепников и Свирин несколько раз после этого ходили на половину военнопленных. Приносили продукты, передавали информацию, разговаривали, выполняя поручения тройки. Им, арбайтдинстам, свободно передвигающимся по лагерю, было сподручнее, чем кому — нибудь другому, поддерживать эту опасную связь.

Побег

Наблюдатель у окна доложил:

— В лагерь прибыл новый офицер, летчик с погонами подполковника, со звездой Героя Советского Союза на груди и орденами.

Невиданно! Гитлеровцы всегда срывали с военнопленных все знаки различия.

Скоро по подпольной почте мы узнали, что Герой Советского Союза летчик Николай Власов был сбит над территорией противника и попал в плен. Он ас, и фашисты, вероятно желая привлечь подполковника на свою сторону, пока не отняли его наград.

Через две недели партийная организация офицеров передала нам: «Летчику Власову необходимо устроить побег. Это важно. Примите все меры для выполнения… Вместе с Власовым от нас еще пойдет Побочин Михаил Иванович. От себя выделите пять человек. Срок на подготовку — два месяца».

Долго совещается в этот вечер партийная тройка. Тревожно на душе у ее старшего, Саввы Далька, молчит Борис Иконников, задумчиво ходит из угла в угол Владимир Иванович Шилин. Легко написать: «Устройте побег»! А как это выполнить? Моряки уже знают, чем кончались попытки убежать из замка. Кого послать в столь рискованное предприятие? Генералы пишут, что это очень важно… Значит, они имеют основание так говорить… Напрасно не будут подставлять людей под пули… Это важно. Надо выполнять.

После длительных размышлений, споров, обсуждений тройка поручает организацию побега пяти морякам: Маракасову, Леонову, Шулепникову, Бегетову и Сысоеву. Но для побега из Вюльцбурга нужна серьезная и длительная подготовка, особенно если учесть полную изоляцию двух половин, немецких информаторов, архитектуру замка и сильнейшую охрану.

И снова десятки моряков получают специальные задания. Репнин и Нерсисьян приносят в лагерь в банке с супом украденные на лесопилке большие напильники, кто-то достает на фабрике крепкую веревку, кто-то пачку масла для питания беглецов, в камерах сушится хлеб, якобы предназначенный для очередного праздника. Участники и организаторы побега стараются достичь наибольшей конспирации.

А с генеральской половины ежедневно идут письма с просьбами ускорить побег. Власов предлагает десятки вариантов. Но все они отвергаются «группой исполнения», ни в одном из них

нет и десятой доли процента на успех. Власов писал: «…мне нужно бежать или умереть. Пожалуйста, скорее…»

Участники задуманного побега разрабатывают сложный и, пожалуй, единственно возможный план. Подполковник Власов в ночь побега должен сказаться, больным и попасть в лазарет, стена которого выходит в одну из пустых камер на половине моряков. Маракасов, Гудимов, Бегетов, Свирин и Шулепников будут в течение месяца выскребать известку и вынимать кирпичи из стены, пользуясь тем, что в этой камере на метр от пола проходит деревянная панель.

Моряки снимали облицовочную фанеру, делали свою работу, затем снова ставили на место панель и прятали мусор в разрушенную кафельную печку; Так они добрались до штукатурки, уложили на место кирпичи, поставили панель. Теперь достаточно было сильно ударить ногой со стороны лазарета, и человек легко мог проникнуть на половину моряков. На этой половине как раз помещалась та уборная, через которую поднимали в лагерь картошку. Ее единственное окно с толстой решеткой выходило в узкий промежуток между замком и окружавшей его стеной. Снаружи эта стена спускалась отвесно в глубокий ров. Изнутри стену подпирали наклонные кирпичные упоры. Они не круто поднимались от земли почти до самого верха стены. Один такой упор приходился как раз против окна уборной. Охраны в этом месте не держали. Часовой от главного входа в замок доходил до угла и снова возвращался к входу. Колючей проволоки в этом закутке также пока не было, но Маннергейм уже готовился протянуть ее здесь в два ряда и ночью выпускать собак в узкий проволочный коридор.

Нужно было выпилить решетку в уборной, спуститься на землю, по упору забраться на стену, спуститься по веревке в ров, а изо рва выбраться с помощью Сысоева, который должен был к этому времени совершить побег из города. Он жил в бараке у места работы, на лесопильном заводе. Сысоев с веревкой будет ждать наших беглецов и вытащит их изо рва. После этого вся группа бежит дальше.

В своих письмах Власов обещал: «Отведите меня на семьдесят километров от крепости, и завтра мы будем дома. Пока говорить ничего не могу. Все узнаете потом…»

План одобрили обе партийные организации, и моряки приступили к его осуществлению. Собирали продовольственные запасы, снабдили всех наручными часами, достали в городе автомобильную карту района. Намагнитили иголки, служащие вместо компасов. Гудимов и Свирин ежедневно пилили решетку. После каждого «сеанса» ее художественно реставрировали.

Часами наблюдали за поведением и жизнью гарнизона. Нельзя было упустить ни одной мелочи. Продали в городе кое-какие вещи и снабдили беглецов деньгами.

Но как достать штатскую одежду? Помогли ключи Свирина. «Специалисты» забрались в кладовую, где Коллер хранил отобранную в свое время одежду интернированных. Выбор был богатый. Нашли все, что надо. Макинтоши, шляпы, ботинки, костюмы, рубашки… Теперь если ребята выйдут из замка, то ничем не будут отличаться от немцев.

В середине августа установилась сухая и теплая погода с темными ночами. Решили бежать, когда у главного входа будет дежурить Хорек — маленький, жадный и ленивый солдат. Он уже несколько раз по дешевке тайком покупал вещи у моряков и евреев. В тот момент, когда беглецы начнут спускаться из окна, кто-нибудь из интернированных должен через окно, выходящее на другую сторону, завязать с Хорьком разговор: предложить ему какую-нибудь сделку. На некоторое время это отвлечет внимание солдата и задержит его под окном. Все было готово и продумано. Назначили побег на 11 августа 1944 года.

Накануне ко мне в камеру зашел Шулепников и, отведя в сторону, сказал:

— Ну, прощайте. В полночь уходим…

Я обнял его, крепко молча пожал руку. Все было понятно без слов.

Пришла ночь побега, пасмурная, тихая. Лунный свет не пробивается на землю, небо сплошь покрыто облаками. Темно кругом, только голубеет пятно под воротами: свет от лампочки затемнения. Спит лагерь… Но в каждой комнате есть люди, которые слышат стук своего сердца. Нервы напряжены. Как-то особенно тихо сегодня, слишком тихо и тревожно. Тишина звенит в ушах.

Все рассчитано до минуты. Беглецы встанут сразу же после смены караула и пойдут в камеру, где подготовлена встреча с Власовым. Принесут ему штатскую одежду.

Медленно текут минуты. Спокойнее, не надо волноваться. Под окном раздаются шаги и негромкий голос разводящего. Слышно, как начинает беседу с Хорьком на немецком языке Миша Эдельманис.

Теперь пора!

Пятеро встают и крадутся по коридору в пустую камеру… Везде по коридорам расставлены посты наблюдения. Ровно в двадцать три часа тюрьма погружается в темноту. Светят только лампочки затемнения. У пустой камеры в замешательстве стоит Свирин.

— Ну, открывай же, Витька! Время не ждет.

— Не могу, ребята. В камере кто-то есть. Ключ торчит с той стороны…

Это была полная неожиданность. Из-за такого пустяка мог провалиться побег, так тщательно и долго подготавливаемый. Ведь в полночь Власов сломает стенку в лазарете и окажется в камере. А вдруг там засада? Когда же попал в камеру человек? Кто он? Сразу после вечернего «аппеля» камера была пуста. Значит, Вейфель привел и посадил туда кого-то после двадцати двух часов. Но раздумывать нет времени. Во что бы то ни стало надо попасть в камеру.

— Разверни и вытолкни ключ, — шепчет Свирину Леонов.

Несколько умелых манипуляций, и слышно, как зазвенел с той стороны упавший на пол ключ. Через несколько секунд дверь открыта, ребята входят в камеру. В углу зашевелилась чья-то фигура и раздался испуганный крик. Свирин и Малецкий подбежали к человеку.

— Молчи! Мы ничего плохого тебе не сделаем.

Но человек не понял. Он бросился к окну и хотел позвать охрану, но его повалили, набросили на лицо подушку. Крики затихли.

— Осторожнее! Не задушите ни в чем не повинного человека, — задыхаясь, говорит Свирин, — давайте кляп. Сейчас некогда объяснять ему что к чему…

Кляпом из полотенца затыкают несчастному рот. Около него становится Леонов. Еще несколько минут— и Власов с Побочиным должны появиться у пролома…

…Владимир Сысоев сумел незамеченным выбраться из барака. Охранник сладко спал, прислонившись к стене. Теперь за проволоку! Хорошо, что ночь темная. Бегом к лесной тропинке, и через несколько минут Сысоева скрывает чернота леса. В назначенный час он лежит у рва с приготовленной веревкой. Спит замок. Все, кажется, спокойно, но Владимира трясет как в лихорадке. Нервы на пределе…

…Ровно час ночи. Власов встает с койки. Где же Побочин? Почему задерживается? Ждать его Николай не может. Маракасов, Шулепников, Свирин уже сняли фанеру и, затаив дыхание, ждут. Власов выдавливает ногой штукатурку, кирпичи и попадает на половину моряков. Он уже натягивает серый штатский костюм, как вдруг раздаётся пронзительный крик:

— Человек бежал!

Каким громким кажется этот крик! От него могут упасть

двухметровые стены Вюльцбурга. Кричит военврач Дубровский, предатель из лазарета военнопленных. Его услышали. Завыли сирены тревоги. Весь гарнизон поднялся на ноги, псари спустили собак… Часть солдат во главе с Маннергеймом бежит в помещения интернированных.

…Уже пять минут второго. Сысоев смотрит на светящиеся стрелки часов. Сейчас товарищи должны появиться во рву… Еще минута, еще одна… Тревога! Сирены, звонки, лучи фонарей… Ясно! Провал. Теперь надо бежать одному. Сысоев бросает веревку и скрывается в лесу.

Власов уже спустился по лестнице на площадку. Его прикрывают своими телами моряки, высыпавшие из камер.

— Все кончено, ребята, — с горечью шепчет Власов. — Разбегайтесь и ложитесь в койки. Я никого из вас не знаю, все делал один. Спасибо вам..» Да, вот еще.

Летчик протянул ближайшему от него моряку крошечный пакетик.

— Прошу сохранить. Спрячьте подальше. Это самое дорогое, что у меня осталось.

По лестнице уже грохотали подкованные сапоги охранников. На площадке появился Маннергейм в расстегнутом кителе, с пистолетом в руке.

— Руки вверх! — заорал он, увидев прижавшуюся к стене фигуру, и осветил Власова электрическим фонариком. — Вы? Как очутились здесь?

Появление летчика на половине интернированных для гестаповца было невероятным.

— Возьмите его в комендатуру, — приказал двум солдатам Маннергейм. — Там разберемся.

Власова увели, а нас выстроили, босых, раздетых, пересчитали, проверили пофамильно и всем осмотрела руки. Наверное, хотели сразу найти того, кто разбирал стену в пустой камере. Потом нас повели на плац, опять выстроили, и Маннергейм обратился к нам с речью:

— Сегодня к двенадцати часам я должен знать, кто организовал советскому офицеру побег, кто помогал ему. В противном случае лагерь подвергнется невиданным доселе репрессиям. Могут пострадать невинные люди. Пока разойдитесь.

Водили на допрос в комендатуру всех арбайтдинстов. Но они, как и Николай Власов, ни в чем не признались. Власова бросили в карцер, а моряков отпустили. Так и не узнал гестаповец, как был организован побег.

Наступило ясное, теплое утро. Стрелки часов приближались к двенадцати. Каким-то образом от солдата Маракасов и Леонов узнали, что в комендатуре составили список людей, которых должны взять в гестапо. В этом списке значились все пособники побега и люди, не имеющие к нему никакого отношения.

— Вот что, — сказал Игорь Маракасов Устинову и Дальку, наблюдавшим из окна за тем, что делается на дворе комендатуры, — мы с Жорой Леоновым решили, что не следует ставить многих людей под угрозу репрессий. Гитлеровцам будет достаточно двух. Мы пойдем к Маннергейму, возьмем вину на себя, покажем путь побега…

— Не советуем этого делать. Подождите. Надо посмотреть, как развернутся события. Кажется, в комендатуре сами очень растерялись. Не торопитесь. Сознаться всегда успеете…

Но Игорь махнул рукой. Через несколько минут Леонов и Маракасов скрылись в бараке комендатуры.

Игоря и Жору допрашивали долго. Наконец из барака вышел улыбающийся Вейфель, за ним Маннергейм с довольной физиономией.

Все утряслось, побег не удался, виновные найдены благодаря бдительности лагерной администрации. Остается немного — вызвать гестапо из Нюрнберга и сдать агентам виновников.

Гестапо не заставило себя долго ждать. Машины прибыли спустя два часа после того, как Леонов и Маракасов признали себя виновными.

Несколько часов подряд со всеми подробностями они показывали гестаповцам, как должны были выйти из лагеря, как разобрали стенку в камере, как надеялись выйти изо рва. Звучало все очень правдоподобно. Больше не было названо ни одной фамилии.

Гестаповцы удовлетворились. Маракасову и Леонову приказали взять вещи, вывели во двор, и до окончания войны мы их больше не видели. Впоследствии выяснилось, что наших товарищей увезли в лагерь смерти Дахау. Нужно было иметь подлинное мужество, чтобы поступить так, как поступили эти два моряка. Они поставили свои жизни на карту, добровольно отдали себя в руки жестокого врага и спасли многих людей от репрессий, а может быть, и от смерти.

Через три дня исчез из лагеря подполковник Власов. Его судьба сложилась трагически. При попытке поднять восстание в лагере смерти Маутхаузен, куда его перевели, Власов погиб. Сысоева вернули в Вюльцбург через полтора месяца, умирающего от голода и избитого в штрафных лагерях.

Узнали мы и тайну пустой камеры. Оказывается, в день

побега в лагерь привезли какого-то отставшего интернированного из Франции. Вейфель, чтобы не поднимать излишнего шума — было уже поздно, — временно поместил француза в пустую камеру. До утра. Человек имел мешок с продовольствием и, опасаясь, что его ограбят лагерники, закрылся на ключ. Когда же он услышал, что в камеру проникли люди, то страшно перепугался и начал кричать. Вот такое глупое непредвиденное обстоятельство могло оказаться причиной провала.

Золотая звездочка Героя Советского Союза оказалась у механика Фисака. Он ее бережно хранил и, когда в лагере все успокоилось, передал Свирину, который в свою очередь тайно переправил ее генералу Лукину. Ему удалось привезти эту звездочку в Москву и сдать в музей.

Судьба предателя военврача Дубровского впоследствии тоже стала нам известна. После освобождения из плена он пытался оторваться от группы военнопленных, с которыми сидел в Вюльцбурге. Но в одном фильтрационном лагере его опознал Жора Леонов, пробиравшийся домой из Дахау. Прижатый к стене фактами, Дубровский признался, что Маннергейм поручил ему следить за каждым шагом Власова и немедленно сообщить, если обнаружится что-нибудь подозрительное. Побег из неприступного замка Вюльцбург мог бы быть успешным и, вероятно, вписал бы славную страницу в историю самых сложных побегов. Не вина наших моряков, что он не удался.

Начало конца

В самую большую камеру солдаты протягивают провода и устанавливают репродуктор. Что-то готовится. По-видимому, хотят использовать камеру как зал и в нем нас будут «просвещать». Кто-нибудь из немецких вождей скажет речь, обратится к военнопленным… Поздно спохватились! Американские самолеты летают над Баварией как у себя дома. Над нашим Вюльцбургом они разделяются на две группы. Одна летит бомбить Мюнхен, другая — Нюрнберг. В городе рассказывают, что разрушения там потрясающие. Остались трубы и стены.

Но мы слишком высоко себя ставили: никто из немецких вождей не снизошел до разговора с нами. Иван Кулин как-то узнал и сообщил, что будет говорить русский, предатель генерал Власов. Это уже было для нас прямым оскорблением. Немца мы еще, быть может, и послушали ради интереса, но Власова…

Партийная тройка быстро приняла решение, которое было передано всем интернированным.

— Старайтесь не уходить с прогулки в помещение, когда они начнут передачу, — сказал мне Дальк. — Ну, а если будут загонять насильно, кричите, шумите, топайте ногами. Делайте все, чтобы немцы поняли, что Власова мы слушать не желаем.

Наступил час передачи. Она пришлась как раз на время прогулки. Все интернированные были на дворе. Появился как всегда улыбающийся Вейфель.

— Быстро наверх в пятнадцатую камеру! Будет интересное радиосообщение. Живее!

В камеру никто не пошел. Все остались на плацу. Вейфель повторил свое приглашение, но, увидя, что никто в замок не заходит, закричал:

— Вы что, оглохли? Немедленно идите в пятнадцатую камеру. Не желаете?

Унтер куда-то убежал. Через несколько минут на дворе появились солдаты и прикладами принялись загонять интернированных в помещение. По пути некоторые прятались за шкафами в коридорах, разбегались по другим камерам, скрывались под койками. Все же какую-то часть моряков удалось загнать в пятнадцатый номер. Разгневанный Вейфель забежал в камеру к капитанам, увидел их сидящими за столом с книгами и заорал:

— Ваши люди берут с вас пример и не идут слушать радио. Это приказ господина коменданта. Почему вы не идете и

заставляете нас принимать строгие меры?

Ему ответил Балицкий:

— Это выступление нас не интересует.

— Ах, не интересует? Ну, посмотрим, — процедил унтер и выскочил из камеры.

Однако больше к капитанам никто не приходил и передачу слушать не заставлял. Вейфель побежал по камерам проверять, не остался ли там кто-нибудь. В седьмой камере он обнаружил Устинова.

— А вы тут что застряли? Бегом в пятнадцатую! — унтер вытащил из кобуры пистолет. — Торопитесь, не то я застрелю вас!

— Господин Вейфель, вы же умный человек, — сказал Алексей Петрович, — не надо пугать пистолетом. Не то время. Подумайте лучше о конце войны…

Но унтер не дал ему договорить. Он схватил палку, лежавшую около печки, и замахнулся.

— Вы паршивые коммунисты и ответите за свои действия. Мы не потерпим никаких демонстраций. О вас я доложу коменданту. Вы, Устинов, у меня давно на примете. Не считайте, что я ничего не вижу…

Тем временем в пятнадцатой камере, куда согнали интернированных, царил настоящий хаос. Там топали ногами, громко разговаривали, гудели. Гетц, Балаш и два солдата тщетно пытались восстановить порядок криками и пинками. Это еще больше увеличивало шум в камере. В репродукторе потрескивали разряды и невнятно булькал голос бывшего генерала Советской Армии предателя Власова. Понять что-либо было невозможно. На половине выступления передачу пришлось прервать. Немцы увидели полную бесполезность своего мероприятия. Пришли солдаты, смотали провода и унесли в комендатуру репродуктор. Но этим дело не кончилось.

На следующий день взволнованный Шулепников прибежал в камеру к капитанам и сообщил:

— Только что пришла машина из Нюрнберга. Если я правильно понял Маннергейма, он разговаривал с Ибахом, хотят взять Алексея Петровича Устинова, как главного зачинщика и организатора срыва вчерашней передачи. Наверное, Вейфель доложил…

— Единственное, что мы можем сделать, это написать коменданту, что люди не слушали Власова по нашему приказанию. Пока мы еще капитаны, никто нас не разжаловал, команды в первую очередь подчиняются нам, — сказал Балицкий.

— Я согласен с вами, Хрисанф Антонович, и уже думал об этом. Я набросал проект нашего протеста. Вот послушайте, —

проговорил капитан «Днестра» Богданов. — Вот так: «Все народы и нации имеют своих героев и своих врагов. Есть они и у нас. Для нас Власов— предатель, и мы, капитаны, граждане Советского Союза, протестуем против принуждения слушать его речь и приказали своим командам на радиопередачу не приходить…»

Богданов дочитал протест до конца.

— По-моему, хорошо, — сказал Новодворский — Может быть, еще добавить о непрекращающихся избиениях?

— Не нужно. Пусть на этот раз наш протест прозвучит против их пропаганды.

Капитаны отправились к коменданту. Он принял их сразу. Узнав от переводчика Хельма причину их прихода и смысл протеста, комендант фон Гувальд рассвирепел. Он схватил лежавший на столе «вальтер» и, потрясая им, стал угрожать расстрелом.

— Вы что думаете? Вы остались капитанами? Где ваши суда? Под каким флагом вы плаваете? Вас всех следовало бы расстрелять как зачинщиков. Не забывайте, где вы находитесь! Это режимный лагерь со своими правилами, и распоряжаюсь здесь я. Если я отдал приказ, он должен быть выполнен всеми…

Комендант еще долго объяснял капитанам, как нужно вести себя в «его» лагере и что он больше не потерпит… Наконец капитанов отпустили. Машина уехала из замка. Устинова никто не тронул. Он остался в лагере. То ли Шулепников плохо понял разговор между гестаповцем и Ибахом, то ли на коменданта подействовал капитанский протест.

В марте сорок пятого года начались сильные налеты на Баварию. Если раньше мы видели десятки самолетов, то теперь их было сотни. Почти ежедневно над Вюльцбургом появлялись американские самолеты. Мы с волнением прислушивались к тому, как рокотали моторы и, удаляясь, затихали. Потом гул нарастал снова — шла следующая волна.

Слышались отдаленные взрывы. Ночью на горизонте виднелись зарева пожарищ. В лагере царило оживление. Рыжий мясник передавал самые отрадные вести: советские войска стремительно наступали на всех фронтах, перешли Одер и угрожали Берлину. На западе наконец активизировался второй фронт. Конец войны приближался.

Для нас этот конец мог быть самым неожиданным. Никто не знал, что предпримут гитлеровцы: сбегут ли, бросив Вюльцбург на произвол судьбы, уничтожат ли всех моряков, или будут эвакуировать в более отдаленные районы. Можно было ожидать всего. Офицеры ИЛАГ- 13 ходили озабоченные и раздраженные.

Генералы прислали планы восстания и самообороны. В большой тайне в лагере началась подготовка к защите. Экипаж каждого судна разбили на боевые группы, состоящие из восьми-десяти человек. Каждая группа имела старшего. Во главе групп экипажа стоял капитан. Всеми экипажами руководил штаб, в который с нашей стороны вошли: Дальк, Шилин, Богданов, Устинов и несколько человек из команд. Со стороны военнопленных — генералы Лукин, Музыченко, Борисов и несколько офицеров. Решили так: если лагерю будет грозить уничтожение, то, несмотря ни на что, интернированные должны пытаться разоружить внутреннюю, потом внешнюю охрану и изолировать офицеров комендатуры, конечно при активной помощи военнопленных.

Этот план имел мало шансов на успех, но моряки считали, что даже в самом худшем случае кое-кому все же удастся вырваться за ворота, а иначе погибнут все.

Если же немцы предпримут эвакуацию, моряки должны действовать, исходя из обстановки.

Группы деятельно готовились. Прежде всего достали в городе карту местности. Линию фронта взяли из газет. С этой карты снимали копии все группы. Чтобы ориентироваться в лесу, намагнитили иголки. Затем приступили к сбору продовольствия.

Игрушки, портсигары, оставшиеся у некоторых носильные вещи посылали в город. Их отдавали почти даром — лишь бы получить хлеб. Его сушили и складывали в специально сшитые для этого заспинные мешки. Никто не смел взять ни кусочка из запасов группы. Подготовка шла тем более успешно, что унтера потеряли всякий интерес к лагерю: у них нашлось достаточно много дел, требовавших своего завершения до конца войны. Даже Вейфель заглядывал в камеры редко.

…Задумчиво гуляет по плацу капитан парохода «Днестр» Михаил Иванович Богданов. Ему есть о чем подумать. Совсем недавно моряки, французы и поляки выбрали его своим доверенным лицом. Выбрали в самый ответственный, опасный и тревожный момент, выразив ему этим свое уважение. Тяжелое бремя большой ответственности легло на его плечи. Только что от партийной группы военнопленных офицеров пришло предложение поискать связей с комендатурой. Им кажется подходящей фигурой недавно прибывший лейтенант Дреер. Если он согласится помочь лагерю, когда этого потребует обстановка, генералы гарантируют ему неприкосновенность, к кому бы он ни попал после окончания войны — к союзникам или русским.

«Это правильно. Надо как-то спасать людей, если нас начнут уничтожать, — мучительно думает Богданов, — комендант

сволочь. А Дреер? Кажется, он подойдет. Можно ли ему довериться?»

Наши люди получают задание выяснить взгляды и настроения Дреера. И это удается. Дреер неплохой человек. Он достаточно умен, прекрасно понимает, что война немцами проиграна. Он никогда не был приверженцем Гитлера. «Сумасшедший ефрейтор» слишком плебей для него, потомственного дворянина. Ему больше симпатичны англичане, и, если говорить честно, он был бы рад… Дреер не сочувствует тому, что творится в лагере интернированных, и жалеет моряков, но ничего не может изменить… Ведь он всего начальник караула… Стоп! Значит, надо иметь Дреера союзником. Он может оказаться очень полезным.

…Николай Чернышев работает в деревне у немцев. Семья — муж и жена. Хорошие люди. Иногда они дают Чернышеву послушать радио из Москвы. Рискуют жизнью. Они друзья Дреера. И Чернышев решается. По заданию нашего штаба он просит фрау Шольтке поговорить с мужем, чтобы тот предложил Дрееру встретиться с авторитетными лицами интернированных и военнопленных. Надо обсудить вопрос, интересующий обе стороны. Согласится ли он или возмутится и передаст Чернышева в гестапо? Риск колоссальный. Не спит в эту ночь партийная тройка и штаб лагеря. Что будет? Надо ждать конца недели, когда придет из деревни в замок Николай. В тревоге проходят несколько дней, пока вернувшийся с работы Чернышев не сообщил:

— Согласился!

Встреча произошла на плацу во время прогулки интернированных. Дреер подозвал Богданова. Тот подошел со своим переводчиком, инженером из Франции, Ароновичем. Аронович сражался в Испании на стороне республиканцев и пользовался у нас доверием.

— Итак, вы хотели что-то сказать мне, капитан? — спросил Дреер.

— Господин Дреер, я говорю и от имени военнопленных…

— С ними я буду говорить сам…

— Хорошо. Вы понимаете, что происходит? Война скоро, очень скоро кончится. Сможете ли вы сохранить наши жизни при всех обстоятельствах?

Дреер помолчал, потом сказал:

— Я сделаю все возможное, чтобы спасти ваших людей. Правда, от меня мало что зависит. Все решения принимает самостоятельно комендант фон Гувальд.

— Генералы просили передать, что гарантируют вам жизнь

после окончания войны…

Лейтенант горько улыбнулся:

— Совсем недавно такую гарантию могли дать мы любому вашему генералу. Что ж делать, времена меняются… Может быть, это и к лучшему… Хорошо… Я буду, по возможности, вас информировать.

Они разошлись. Разговор этот ни у кого подозрений не вызвал: лейтенант Дреер иногда беседовал с интернированными.

Весь март прошел в волнениях, в сборах всевозможных слухов и информации о движении фронтов. Говорили, что бои идут якобы в ста километрах от Вайсенбурга.

В начале апреля всех моряков вернули из города в лагерь, усилили охрану и перестали выпускать за ворота даже «лошадей» с телегой. Почту возили на автомобиле, который теперь всегда дежурил у комендатуры.

Беспокойство и возбуждение моряков росли. Лишенные информации, мы не знали, что делать. Нам перестали давать даже немецкие газеты. Налеты на Мюнхен и Нюрнберг участились. В одну из холодных апрельских ночей мы были разбужены грохотом. Он слышался совсем рядом. Казалось, бомбят замок. Повскакав с коек, мы бросились к окнам. Вайсенбург пылал. К небу поднимались огненные языки. Слышался отдаленный вой сирены. Несколько зениток пытались стрелять, но были сразу же подавлены. Запоздало завыла сирена в замке. В серой предрассветной мгле по двору бежали в бомбоубежище гитлеровцы. Налет продолжался несколько минут. Шум моторов затих, замолчали сирены. Только ветер раздувал пожары в городе.

Утром Вейфель собрал группу моряков в сорок пять человек и под сильнейшей охраной отправил в Вайсенбург разбирать и расчищать улицы. Интернированные вернулись в лагерь поздно, насквозь пропыленные и усталые. Они рассказывали, что городок сильно пострадал, много домов разрушено, есть жертвы.

Вайсенбург дождался своей очереди. Война пришла в городок. Вместе мирного покуривания глиняных трубок, доморощенных Стратегических концепций, рассказов раненых по вечерам пришлось бюргерам тушить пожары и копаться в развалинах, под которыми лежали трупы их близких. Вайсенбуржцы растерялись. На улицах они жались к стенкам и, хотя все было тихо, испуганно смотрели на небо. Может быть, впервые многие из них прокляли войну, фашизм и своего фюрера.

На следующий день в комендатуре жгли архивы. Жирная бумажная копоть летела из трубы барака и густо оседала на

плацу, крышах и стенах. Конец приближался.

В ночь на двадцать первое апреля 1945 года нас подняли. По коридорам и камерам метались унтера с карманными фонарями — в сети не было тока. Совсем рядом грохотали орудия. В окнах дрожали стекла. В небо взметывались красные отблески. Спешно на плацу построили военнопленных и вывели их из замка. Тотчас же под сильнейший охраной на плац стали выводить моряков. Там в каре стояли солдаты гарнизона. Вейфель в непромокаемой накидке и с автоматом через плечо строил моряков внутри каре в длинную узкую колонну, по четыре человека в ряд. Михаил Иванович Богданов, находящийся где-то впереди, передал по группам:

— Ребята, будьте готовы ко всему. Не забудьте инструкций, полученных от штаба.

Я стал вместе со своей группой и спросил, помнят ли они, что следует делать в случае… Все ответили утвердительно. Мы столько раз говорили об этом на плацу, во время прогулок, обсуждали каждую деталь… Я подумал о том, что плохо погибнуть в последние дни войны, пережив четыре года фашистского лагеря, голода, унижений, но что к этому надо быть готовым. Шансов на жизнь, если гитлеровцы вздумают нас расстрелять, почти не оставалось. И все-таки нужно сопротивляться, если они начнут… Ведь мы же мужчины, моряки.

На дворе комендатуры суетились офицеры, складывали вещи в закрытый брезентовым верхом грузовик. У легковой машины стоял хмурый комендант в перетянутом ремнями сером плаще и натягивал на руки перчатки. У продовольственного склада на подводу, запряженную двумя лошадьми, нагружали хлеб.

Гетц с солдатами обыскивал лагерь. Никто не должен был оставаться, кроме тяжелобольных. С тревогой в сердце мы бросали в ревире нашего стармеха Георгия Александровича Долженко — у него начиналась гангрена ноги, — Свежова, Волчихина и других интернированных. Матрос Люсков не захотел идти с колонной и где-то спрятался в замке. На него махнули рукой: одним человеком больше, одним меньше, теперь это не имело значения. На половине офицеров остались два генерала: Шевчук и Сотенский. Шевчук был на костылях, больной и двигаться не мог.

Вейфель забежал в ревир, ткнул пальцем Долженко в грудь:

— Ты будешь здесь старшим. Смотри за порядком. На плацу он проверил интернированных по списку.

Комендант поднял руку и сел в машину. Скрипнули и распахнулись ворота. Офицеры комендатуры начали прыгать в грузовик. Машина и телега с хлебом выехали на мост. Раздалась

гортанная команда:

— Сомкнись! Марш!

Колонна дрогнула и, сжимаемая с четырех сторон солдатами, извиваясь, двинулась к выходу.

Прильнув к решеткам, больные из ревира кричали:

— Прощайте! Увидимся ли?

Они оставались брошенными на произвол судьбы.

Скоро последние интернированные скрылись за воротами. В первый раз за много лет ворота Вюльцбурга остались открытыми, никто не закрыл их. Опустел и затих лагерь. Ветер носил обрывки бумаг по плацу. Болталась на петлях и жалобно скрипела перекошенная калитка в проволочной ограде. Шумело ветвями с набухшими почками «дерево Черчилля» — красный бук. Мы долго курили его листья, ели почки…

Кончился ИЛАГ-13. Единственный лагерь советских интернированных среди множества других лагерей, расположенных на территории Германии…

Колонна медленно тащилась по дороге. По обеим сторонам ее тянулся реденький сосновый лесок. Так и двигались строем по четыре человека, окруженные автоматчиками и овчарками. Чуть немного выйдешь из строя, немедленно раздавался крик:

— Сомкнись! — и виновный получал удар прикладом в спину.

Я шел рядом с Юрой Стасовым. В голове крутилась одна мысль: «Долго ли продлится этот марш? Куда и зачем нас ведут?» Хотелось пить.

— Слушай, Юр, спроси этого фрица, куда нас ведут, — сказал я Стасову. — Скоро ли привал? Пить хочу, умираю…

Стасов хорошо владел немецким языком. Он переменил место, пошел ближе к краю и, поравнявшись с солдатом, который всю дорогу чертыхался и с ненавистью поглядывал на моряков, спросил:

— Куда нас ведут?

— Не знаешь? — Солдат с удивлением поглядел на Юру. — На Дунай. Спросишь зачем? Могу и это сказать. Теперь уж все равно скоро сам узнаешь. Пиф-паф, и в реку. Понял? — Солдат захохотал.

— Зачем же в реку? — У Стасова дрогнул голос.

— А вот зачем. Есть приказ фюрера: «Все колонны военнопленных, передвигающиеся по дорогам, уничтожать, чтобы не мешали отступлению немецких войск». Ну, а чтобы не разлагались, не заражали воздух, — в воду. Пусть плывут к своим… — Солдат говорил злобно, с удовольствием. Наверное,

ему уже было наплевать на то, что разглашает тайну.

Стасов снова занял свое место и пошел рядом со мной.

— Слышал?

— Слышал, только плохо понял.

Юра передал мне содержание разговора.

— Я думаю, надо передать это Михаилу Ивановичу, он где-то идет впереди…

Когда сообщение Стасова дошло до Богданова, он об этом уже знал. Только что Дреер передал ему содержание приказа Гитлера.

— Надо всеми силами стараться замедлить марш колонны. Может быть, в этом спасение людей. Комендант впереди с военнопленными. Заявите ему, что люди не могут идти быстро. У вас у самого болит нога. Вы ведете колонну, идите медленнее. Как можно медленнее, — тихо сказал лейтенант Богданову, которого подозвал к себе якобы для решения вопроса о привале.

Через несколько минут мы почувствовали, как марш замедлился.

Начало смеркаться. А мы все шли… Наконец по обочинам дороги замелькали сады, дома. Нас подвели к зданию школы. Она была пуста. На полу валялась солома. Мы были так утомлены, что как только подали команду: «Отдыхать!» — все повалились прямо на пол. Только Михаил Иванович примостился у окна и в свете угасающей зари принялся писать. Он писал свой последний протест коменданту лагеря. Писал от имени всех капитанов. Вот текст этого документа, сохранившегося до наших дней:

«Коменданту ИЛАГ- 13. 22 апреля 1945 года.

Руперсбуш.

Господин комендант, в связи с принятием вами решения об эвакуации лагеря советских интернированных мы, капитаны советских судов, не касаясь принципиальной стороны вопроса эвакуации, так как это ваше право, считаем своим долгом заявить протест против способа эвакуации, которая, как нам объявлено, будет произведена маршевым порядком.

Ничего более губительного и опасного для существования интернированных мы себе не представляем. Истощение интернированных, особенно той группы, которая была безвыходно заключена в лагере в продолжении трех с половиною лет, настолько велико, что окончательный упадок сил после первых же километров пути, массовая заболеваемость и, как следствие, смертность интернированных неизбежны.

Отсутствие обуви, преклонный возраст и подорванное здоровье большинства безусловно будет способствовать этому. А

если прибавить еще серьезную опасность при передвижении по дорогам Германии в настоящее время, то становится ясным, что истребление, по существу, единственной в Германии группы советских интернированных — предрешено.

Как бы вы нас ни рассматривали в данный момент, после войны, независимо от того, как она кончится, перед немецким правительством так же, как и перед всем миром, вопрос о нас будет стоять, как об интернированных, с соответствующей ответственностью за их уничтожение.

Мы, капитаны советских судов, неся на себе ответственность перед правительством Советского Союза за сохранность жизни вверенных нам команд при любых обстоятельствах, заявляем вам наш протест.

Капитан п/х «Днестр» Богданов».

Совсем стемнело. Последние строчки Михаил Иванович дописал с трудом. Не было времени отшлифовать стилистику. «Коряво получилось. Ну, ничего. Смысл ясен. Надо, чтобы бумага попала к фон Гувальду, пока не тронулись дальше. Попрошу Вейфеля передать сейчас же. Он теперь сделался более покладистым».

Утром выяснилось, что бежал матрос Михаил Малыханов. Его не стали искать, но когда на следующем привале интернированные не так быстро, как этого хотелось коменданту, разобрали свои вещи и построились, был дан залп из автомата. Наповал был убит выходец из Чехословакии Ковган и ранен студент морского техникума Заглядимов. К счастью, появившийся фон Ибах приостановил расстрел. Он что-то резко сказал коменданту, показав пальцем на лоб. Эта расправа произвела на всех удручающее впечатление. Подыхающий зверь еще показывал зубы.

Колонна тронулась в путь. А гитлеровцы в беспорядке отступали. То и дело встречались бегущие солдаты в расстегнутых кителях, без головных уборов, многие из них были пьяны. На вопрос Вейфеля: «Где американцы? Куда драпаешь, свинья?» — один солдат махнул рукой, вытащил фляжку со спиртом, приложился к ней, заорал: «Алее капут! Хайль Гитлер!» — и побежал дальше.

На дороге валялись поломанные винтовки, автоматы. В одной из канав сидело несколько мальчиков, одетых в солдатскую форму. Они с ужасом глядели на нас и дрожащими руками старались зарядить винтовки: боялись, не сделаем ли мы им чего-нибудь худого. Это были солдаты последнего гитлеровского призыва. Вейфель поглядел на них и в сердцах сплюнул: с такими

Германию не отстоишь. Но кое-где части СС пытались организовать сопротивление наступающим американцам. Натягивали телефонные провода, по обочинам дороги тянулись бикфордовы шнуры. При малейшей возможности моряки рвали эти провода и шнуры, делали все, чтобы навредить фашистам. Если уж умирать, так чтобы вспомнили недобрым словом…

Пока колонна интернированных медленно двигалась к Дунаю, в Вюльцбурге происходили трагические события. Больные не спали. Тревожно тянулась ночь. Иногда мимо замка проносились автомашины, наполненные орущими песни пьяными солдатами. Но в лагерь никто не заехал. Днем моряки вместе с больными офицерами и генералами вышли на плац, на прогулку. Вскоре на двор комендатуры привели несколько десятков ост-арбайтеров — советских людей, пригнанных из оккупированных районов Советского Союза. Их пинками и криками загоняли в подвал. Командовал молодой эсэсовский офицер. Увидя на плацу генерала Сотенского, у которого была перевязана голова, офицер подозвал его. Они обменялись несколькими фразами — Сотенский знал немецкий язык. Генерал кивнул головой и подошел к Долженко:

— Попрошу вас, скажите вашим ребятам, чтобы помогли выйти на двор генералу Шевчуку… Он в камере и очень слаб. Этот офицер сказал, что меня и его сейчас посадят в машины и увезут в хороший госпиталь. Когда опомнились! А потом приедут за всеми оставшимися.

Долженко приказал более крепким морякам помочь Шевчуку, и вскоре, попрощавшись, генералы вышли за ворота.

Прошла вторая ночь в покинутом лагере. Всю охрану замка представлял один солдат, дежуривший у входных дверей. Утром и его не оказалось.

В городе шла перестрелка, иногда пули достигали стен замка и с противным цоканьем отбивали штукатурку. Скоро все затихло. Стрельба прекратилась.

— Наверное, Вайсенбург взяли американцы, — сказал Долженко. — Надо спуститься в город разведать обстановку. Сходи узнай, как там, и быстренько обратно. Только осторожно. — приказал стармех одному из моряков. Но не успел тот выйти за ворота, как вернулся обратно. Лицо его было перекошено от ужаса.

— Георгий Александрович! Выходите скорее! Генералов убили!

Долженко не раздумывал. С помощью товарищей он с большим трудом выбрался за ворота. То, что он увидел, заставило его поникнуть головой: перед ним лежал труп генерала Шевчука.

Рядом валялись окровавленные острые камни.

— Георгий Александрович! Вот второй труп…

Под стеной замка, заваленный камнями, лежал генерал Сотенский, убитый так же зверски, как и Шевчук. Стармех стянул берет с головы.

— Шапки долой, ребята, — сказал Долженко, — эти люди погибли как мученики. Подумайте только… Больных, беззащитных убили… В госпиталь повезли! Какие сволочи!

Моряки стояли, обнажив головы. Потом они, как могли, вырыли могилы и похоронили генералов у дороги в замок.

Вернулся человек, посланный в город. Он сообщил, что в Вайсенбурге американцы.

До Дуная оставалось несколько километров. Утомленные двухсуточным маршем, интернированные еле шли. Стемнело. Охрана окружила колонну плотным кольцом. Люди шли тесно, плечо к плечу. Всех охватило тревожное ожидание. Сейчас должно начаться… Сейчас или никогда. Еще минута, другая, — и от штаба поступит команда: «Разбегаться!» Темно, лес рядом… Но все было тихо. В голове колонны что-то громко закричал Вейфель. Колонна замедлила движение, повернула и сразу же очутилась в какой-то деревне. В темноте еле различались силуэты сараев и крестьянских домиков. Ни огонька, ни человека на улице, где-то лаяла собака.

— Стоп! Привал до утра! — передали по колонне.

Подталкивая прикладами, нас загоняли в огромный серый и очень длинный сарай. Когда я вошел туда, то в первый момент ничего не мог разобрать. Потом, кое-как привыкнув к темноте, понял, что мы находимся в сарае, доверху наполненном соломой и сеном. Здесь были сложены десятки тонн соломы. Почему немцы поместили нас именно в этот сарай? Зашевелилось неприятное чувство. А что, если они задумали нас сжечь? Наконец все интернированные были в сарае.

— Можете отдыхать. Курить запрещается, — сказал стоящий в дверях Вейфель и задвинул тяжелый засов.

Измученные моряки бросились на солому. В сарае было темно и сухо, приятно пахло сеном. Страшно хотелось спать, но в такой обстановке мы спать не могли. Собрался штаб, вызвали всех командиров групп.

— До Дуная осталось восемь километров, — сказал Богданов, — сейчас наступил самый опасный момент. Вы все слышали о приказе Гитлера уничтожать военнопленных. Объяснят американскими бомбежками. Погибли при эвакуации — и концы в воду. Вейфель сказал, что завтра нас поведут дальше…

— Не хотят ли они нас сжечь здесь? — промолвил Шилин. — Такое громадное количество соломы…

— Кто знает? От них можно ждать всего, но не думаю. Опасно для деревни. Могут все спалить кругом. Во всяком случае, надо быть готовыми и к этому. Разобрать крышу, благо она здесь легкая, деревянная, проделать, где возможно, наблюдательные отверстия, у всех щелей расставить посты. Чуть что — поднимать тревогу.

Несмотря на усталость, начали выполнять приказ штаба. Разобрали в двух местах крышу. Сарай был старый, и проделать отверстие не составляло большого труда. Установили посты.

В деревне затихли все звуки. Наступила ясная звездная ночь. У сарая слышались голоса разговаривавших между собой часовых. Пока все выглядело мирно.

Я улегся на солому, но заснуть не мог. Казалось, что вот-вот раздастся крик наших дозорных: «Огонь! Поджигают!», но в конце концов усталость взяла свое, и я заснул тревожным, некрепким сном. Снились мне кошмары, я задыхался, солома попадала в рот…

Разбудил меня боец моей группы Ростислав Рогозин:

— Вставайте. Два часа. Вам заступать. Встанете к щели у дверей. В четыре разбудите Юру Ратьковского. Он вас сменит.

Ростик проводил меня к наблюдательному пункту. Это была довольно широкая щель между досками. В нее хорошо просматривался кусок улицы и клочок звездного неба. На скамейке у дома спал часовой. Видно, его совсем не интересовал сарай и то, что в нем происходит. Для него война уже закончилась, и он не мог дождаться, когда попадет в плен к американцам или сумеет убежать в свою деревню.

Ничто не нарушало спокойствия. На небе против моей щели ярким фонариком светила одна из моих любимых звезд — Вега. Я всегда определялся по ней в море. Сейчас она мерцала приветливым голубоватым светом, напоминая мне прошлое. Вернется ли все, о чем я мечтал четыре года? Теперь-то я научился ценить жизнь, и прав был тот, кто сказал: «Умейте находить радости в малом». Каждый прожитый день должен быть радостным. И если на душе станет скверно, придут какие-нибудь неприятности и упадет настроение, достаточно вспомнить одно слово «Вюльцбург» для того, чтобы все изменилось и все горести показались бы пустяками…

Зашевелился солдат на скамейке, и я сразу вспомнил про Дунай. Что ждет нас впереди? Кому выпадет счастливый билет вернуться домой живым? И выпадет ли?

Два часа прошли в размышлениях. Хотелось подвести итог

своей жизни. Времени потом не будет. Завтра, вернее уже сегодня, нас поведут к Дунаю…

Пришел Юра Ратьковский.

— Ну, что нового? — спросил он. — Идите поспите еще, если сможете. Я совсем не спал. Разные мысли одолевают…

— Никакого движения не заметно. Как будто вымерло все.

Я уступил свое место у щели Ратьковскому и улегся на солому с твердым намерением заснуть. Думай не думай, ничего не изменится.

Солнечные лучи через многочисленные дыры и щели проникли в сарай и осветили спящих моряков. Я открыл глаза. Подо мной — я лежал на верхних кипах- совещался штаб.

— За ночь не произошло ничего особенного, — говорил Дальк, — вахтенные доложили, что в деревне тихо, не видно ни унтеров, ни охраны. Надо попробовать выйти из сарая. Просить, чтобы нас выпустили на двор. У дверей стоит один солдат…

— Давайте попытаемся, — поддержал его Балицкий, — скажем, что по нужде…

Богданов подошел к двери и принялся громко стучать. Тотчас же отозвался солдат:

— Что вам? Чего стучишь?

— Выпустите нас.

— Погоди. Доложу офицеру.

В щель было видно, как солдат, оставив винтовку, куда-то пошел. Через минуту он вернулся в сопровождении офицера, которого в лагере звали «Чайник» за длинный нос. Он работал в бухгалтерии комендатуры и к интернированным непосредственного отношения не имел. Заскрипел засов. Двери распахнулись.

— Господа, — произнес Чайник, лицо у него было испуганное, — прошу вас соблюдать спокойствие. Я оставлен командованием лагеря для того, чтобы передать вас американцам по всей форме. По спискам и вашим паспортам. Со мною восемь солдат, которые будут вас охранять.

— А где остальной гарнизон, комендант, наши генералы? — с волнением спросил Богданов.

— Они ушли туда, — офицер неопределенно махнул рукой. — Сдаваться в плен американцам, а я вот должен быть с вами…

— Выпустите нас.

Чайник помолчал, потом сказал:

— Хорошо. Если вы мне обещаете, что ваши люди дальше этой изгороди никуда не будут ходить и не разбегутся.

Понимаете, я должен передать вас по списку.

— Ладно. Ребята, выходи! — крикнул Богданов таким веселым голосом, какого мы давно не слыхали.

Моряки высыпали на двор. В первую минуту никто не мог сообразить, что произошло. Неужели свободны? Неужели вместо расстрела на Дунае или страшной смерти от огня в соломенном сарае — свобода? Невероятно! Этого никто не ожидал. Бурная радость охватила всех. Люди смеялись, выкрикивали какие-то слова, обнимались, хлопали друг друга по спинам, у некоторых по щекам текли слезы… Конец унижениям, мукам от голода, фашистским побоям и окрикам… Неужели скоро мы станем полноправными людьми, сбросим форму лагерников, оденемся как следует и приедем на Родину? А там нас ждут дорогие люди, море и корабли, по которым мы так стосковались. Это была ни с чем не сравнимая радость. И если люди могут быть беспредельно счастливыми, то такими людьми были мы. В эту минуту мы забыли все плохое: четыре года гитлеровской тюрьмы, ужас нашего положения. Впереди сверкало и искрилось наше будущее…

Вдруг раздалась пулеметная очередь. Мы бросились врассыпную. Над деревней низко летел самолет с черными крестами на крыльях и стрелял прямо в толпу. Это были последние укусы умирающей гадюки. К счастью, никто не пострадал.

Навстречу морякам из соседнего сарая бежали военнопленные, которые провели с нами бок о бок столько времени и не могли обменяться даже рукопожатием… Они увидели, что нас выпустили, выбили дверь и выбежали на волю. Но наш доверенный был озабочен. Когда прошли первые приступы неудержимой радости и люди снова обрели возможность думать о чем-то другом кроме свободы, Михаил Иванович сказал:

— Если в нашу деревню Мекенлое, так она называется, забредет группа отступающих эсэсовцев, то нам голов не сносить. Они нас уничтожат. Надо, чтобы сюда скорее пришли американцы. А где они? Как — то нужно…

Через полчаса Чайник захотел поговорить с Богдановым. Но его не оказалось в деревне.

В разговорах, планах на будущее, в мечтах о бифштексах и чистых простынях прошло три часа. Их не омрачало даже отсутствие Богданова. Мы были уверены, что ничего плохого с ним не случится, Михаил Иванович пошел по какому-то важному делу и скоро вернется. Мы не ошиблись.

Раздалось тарахтенье моторов, и в деревню въехали два

маленьких бронетранспортера. На одном из них прямо на крыше сидел улыбающийся Михаил Иванович, на другом Аранович. Управляли машинами американцы, У нашего сарая они остановились. Из первого выскочил американский лейтенант со светлыми усиками над верхней губой и, разбрасывая сигареты, закричал по-английски:

— Давайте всех фрицев сюда. Берите сигареты, мальчики! Мы привезем вам еще.

Но фрицы уже выстроились и стояли как на параде, во главе с Чайником, ожидая своей участи. Чайник держал в руках список и мешок с нашими мореходными книжками.

— Ну? Что ты хочешь мне сказать? — повернулся к нему американец.

— Господин офицер, — начал дрожащим голосом Чайник, — я уполномочен комендантом ИЛАГ-13 передать вам по списку советских интернированных и их документы… Всего было интернированных двести двадцать моряков и…

— Заткнись! Меня это не интересует. Давай документы, вонючка. Возьмите их, капитан, — обратился он к Богданову, — и скажите мне, что с этими мордами сделать? Расстрелять?

— Не надо, — махнул рукой Богданов. — Здесь оставили самых безобидных.

Лейтенант подошел к побледневшему Чайнику, сорвал с него погоны и ударил солдат. Потом он скомандовал:

— Оружие!

Солдаты стали бросать в кучу свои винтовки и автоматы. Во время этой операции многоствольные пулеметы американских транспортеров были направлены на немцев. Из машины вылез огромный негр и принялся ударами о землю отбивать приклады.

— Вот что, — проговорил лейтенант, молча наблюдая за тем, как негр справляется со своим делом. — Мне некогда здесь прохлаждаться. Фрицев я заберу с собой. Пусть там с ними разбираются. Вы, капитан, можете делать здесь все, что угодно. Деревня ваша. Можете насиловать, грабить, выгонять немчуру из домов — одним словом, все. Они заслужили это. Эй вы, садитесь!

Солдаты поняли и полезли в машины. С ними сел и Чайник. С непокрытой головой стоял старик, бургомистр деревни Мекенлое. Он с ужасом смотрел на американцев, на моряков и военнопленных. Сейчас от его деревни не останется камня на камне… Начнется разбой, грабеж…

— Я попрошу вас, лейтенант, как только вы попадете в штаб Третьей американской армии, — сказал Богданов, — немедленно сообщите кому-нибудь из представителей советского командования, что мы находимся здесь и с нетерпением ждем

машин для продвижения домой, в Советский Союз.

— О'кей. Через несколько дней я буду в штабе и передам все, что вы просите. Желаю вам счастья. И не особенно-то стесняйтесь здесь. Гуд бай! Да… Если что-нибудь понадобится, американская комендатура в Эйхштадте. Городишко в нескольких километрах отсюда.

Бронетранспортеры развернулись и выехали за околицу. К Богданову подошел бургомистр. Он все еще прижимал шляпу к груди.

— Господин капитан, мы вам дадим все. Будем резать свиней, кур, коров, готовить пищу… Освободим жилье. Только попросите своих людей не бесчинствовать. Это было бы ужасно. Здесь живут добрые крестьяне, труженики. Остались почти одни женщины.

— Приготовьте квартиры и еду. Об остальном не беспокойтесь. Мы не эсэсовцы.

Старик, кланяясь, пятясь задом, исчез. А мы стояли, не зная, что делать дальше. Моряки не привыкли еще к своему новому положению. Капитаны собрались в кучку, о чем-то посовещались, и Богданов сказал:

— Зовите всех сюда. Надо сказать несколько слов.

Я никогда не забуду этого первого общего собрания интернированных моряков. Тут же у соломенного сарая Михаил Иванович взволнованно сказал:

— Ну что ж, товарищи, поздравляю вас. Мы свободны. Но до Родины путь далек. Будем прилагать все силы, чтобы проделать его быстрее. Мы очень нужны дома. Моряков не хватает. Сейчас мы в какой-то степени являемся представителями своей страны. Помните об этом. Высоко несите честь и звание советского человека. Не дайте возможности немцам говорить о нас плохо. Это только поможет их пропаганде. Вот все, что я хотел вам сказать и что просили передать капитаны судов.

Если бы он тогда знал, что творили гитлеровцы на нашей земле…

К вечеру мы получили комнаты и в молниеносно организованной общественной столовой были накормлены вкусным сытным ужином. Впервые за четыре года я вытянулся на свежих прохладных простынях, положил голову на мягкую подушку и укрылся настоящим одеялом. «Свободен, свободен, свободен!» — это слово не оставляло меня, с ним я и заснул безмятежно и счастливо.

Дорога домой

Спустя неделю в Мекенлое прибыли английские машины. К этому времени, попрощавшись с нами, группами и в одиночку покинули деревню французы, поляк и, голландцы и немцы. Одни двинулись к пепелищам своих домов в надежде отыскать родных, другие радостные возвращались в освобожденный Париж, третьи вообще не знали, куда им деваться. В Германии еще шла война, и было неизвестно, кому принадлежат города: немцам или американцам.

Англичане не взяли никого из военнопленных, сказав, что имеют приказ вывезти только моряков. Мы погрузились в машины. Провожать нас, кажется, вышла вся деревня. Богданов не получил ни одной жалобы на поведение моряков. И вообще эти русские оказались совсем не такими, как их изображала гитлеровская пропаганда.

Машины тронулись. На развилке дорог стоял указатель: «Мекенлое — Ульм — Нюрнберг». Капитан Богданов попросил шофера завернуть в Вайсенбург. Там, уже не в тюремном ревире, а в городе, он нашел Долженко, больных моряков, оставленных в Вюльцбурге. Теперь все были в сборе:

Машины на бешеном ходу неслись к Нюрнбергу. На окраине города они остановились.

— Вылезай! — скомандовал сопровождающий.

— Как вылезай? Что же мы тут будем делать? Нам домой надо, в Россию, — раздались возмущенные возгласы. — Давай вези дальше!

Англичане мило улыбались, но дальше не повезли.

— Имеем приказ нашего командования доставить вас только до Нюрнберга. Дальше вас должны везти американцы. Гуд лак!

Мы растерянно стояли посреди улицы возле груды наших мешков и чемоданов. По обеим сторонам дороги тянулись горы битого кирпича, одинокие печные трубы и обгорелые стены с вывороченными, перекореженными железными балками. Не было ни одного целого дома.

— Вот это разрушения! — качая головой, проговорил Володя Котцов. — Ничего не пожалели. Ни памятников старины, ни жилых домов… Ведь все с воздуха.

Неожиданно из-за кучи кирпича появилась голова с седыми растрепанными волосами. Человек смотрел на нас бессмысленным, остекленевшим взглядом. Увидя его, Миша обрадовался и закричал:

— Эй, геноссе, скажи-ка нам, где тут есть…

Но человек дико закричал и скрылся в развалинах.

— Сумасшедший, — печально сказал Миша, — а я хотел узнать, есть ли здесь американская комендатура.

— Ну что ж, товарищи, — проговорил Богданов, — надо идти. Скоро вечер. До темноты мы должны найти себе жилье, а завтра уж будем разыскивать комендатуру. Существует опасность быть загнанными в какой-нибудь сборный американский лагерь. Лучше было бы избежать такого лагеря и целостной группой продвигаться к советской зоне. По-моему, это очень важно.

С мнением Михаила Ивановича согласился весь наш штаб. Решено было отправить Мишу Эдельманиса, как человека хорошо знающего язык, и нескольких моряков вперед, пока основная часть с больными медленно будет двигаться по дороге. Миша должен был отыскать жилье, в котором смогли бы разместиться все интернированные. Я попал в этот авангард.

Мы быстро пошли по дороге, внимательно оглядываясь вокруг, но ничего, кроме кирпича и совершенно разрушенных домов, заметить не смогли. Спросить было не у кого. Город вымер.

— Чего это мы все время идем по дороге? Давайте свернем куда-нибудь, — предложил Миша, и мы не мешкая повернули в какую-то тоже разрушенную улочку.

Пройдя по этой улице несколько минут, мы уперлись в большое зеленое поле, разделенное на аккуратные квадраты огородов. На каждом из них стояла маленькая деревянная будка — укрытие от дождя. Не сколько поодаль высились два огромных, каким-то чудом сохранившихся многоквартирных дома. По их архитектуре можно было сразу определить, что это стандартные дома для рабочих, построенные уже в гитлеровское время. Мы видели такие еще в пригородах Штеттина. На огородах копалось несколько женщин. Мы подошли к одной из них.

— Скажите, пожалуйста, чьи это дома и можно ли разместить там сто восемьдесят человек?

Женщина с ужасом взглянула на нас — одеты мы были довольно пестро, — затрясла головой и зашептала:

— Нет-нет! Что вы? Такую массу людей! Квартиры заняты, город разрушен, все родственники собрались у нас, спят на полу… Даже думать нельзя…

— У вас есть управляющий домами? Где он?

— Есть. Он живет во втором корпусе, в квартире шестьдесят семь. Но не стоит идти… Я же вам сказала…

Но Миша решительно двинулся к домам. Мы последовали за ним. С управдомом разговор был короткий:

— Надо разместить сто восемьдесят советских моряков.

Причем удобно.

Немец нахально взглянул на Мишу, кольнул его злыми глазами:

— Это не гостиница. Здесь живут семьи честных немецких рабочих. Я слышал, что русские уважают рабочих. Так? — Управдом победоносно поглядел на нас.

— Показывай квартиры, свинья! — заорал Мина — Не то я тебя пристрелю тут же!

Он вытащил из кармана где-то подобранный парабеллум и направил на немца. Тот побледнел и вытянул руки по швам:

— Яволь, яволь! Сейчас все будет, только принесу ключи. Разрешите?

— Иди. Быстро! Эти сволочи понимают, видимо, только окрик. Привыкли разговаривать так со всем миром, — сказал Миша, пряча револьвер в карман.

Управдом явился немедленно. В руках он держал связку ключей.

— Идемте, господа. Я вспомнил: в первом корпусе несколько квартир свободны, жильцы эвакуировались.

— Свободны или не свободны, будем расселять наших людей по пять человек в каждую квартиру. А это почему здесь? — спросил Миша, показывая на большую свастику-барельеф, укрепленную на доме.

Немец молчал.

— Я спрашиваю, почему этот знак здесь?

— Это дома рабочих национал-социалистов. Но мужчин в доме нет. Все на фронте. Остались только женщины, дети и инвалиды, — заикаясь, объяснил управдом и опять вытянул руки по швам. Лицо его было перекошено от испуга.

Мы послали человека сообщить нашей колонне, чтобы заворачивали к этим домам.

Через несколько часов все моряки были довольно комфортабельно расселены по квартирам. Немец на этот раз не соврал. В домах остались одни женщины и дети. Сначала они пугливо жались к стенкам, когда мимо проходил кто-нибудь из моряков, но потом, видя, что ничего плохого им не делают, осмелели. Начали улыбаться и разговаривать. Вернулись молодые девушки, которые прятались где-то на огородах.

На следующий день капитаны отправились разыскивать комендатуру. Мы ждали их с нетерпением. Они вернулись злые, голодные и усталые.

— Плохо дело, — сказал Богданов, отвечая на вопросы, которыми его засыпали. — Американцы требуют, чтобы мы шли в сборный лагерь. Разговор был неприятный. Примерно в такой

форме:

— Сколько вас человек?

— Сто восемьдесят.

— Где вы поместились?

— В частных домах.

— Это не годится. Вы должны перейти в сборный лагерь. Оттуда мы направим вас дальше. У нас такой порядок для всех.

— Нас необходимо срочно отправить в советскую зону. Запросите представителя советского командования, и он вам немедленно подтвердит.

— Все в свое время. Пока переходите в лагерь.

— В лагерь мы не пойдем.

— Тогда мы не будем вас кормить. Не думаете ли вы, что мы станем развозить продовольствие по частным квартирам? Мы снабжаем лагерь, там все организовано.

— Мы можем жить на квартирах, а паек брать в лагере на три или пять дней.

— Это неудобно. Кто будет заниматься всей этой ерундой? Вешать, выдавать?

— Мы договоримся об этом сами.

— Нет. Переходите в лагерь.

Так и ушли ни с чем. А вопрос серьезный. Запасов у нас почти нет. Правда, хлеб будет. Здесь недалеко есть пекарня. Американцы приказали выдавать нам хлеб. В общем, завтра пойдем опять. Будем добиваться скорейшей отправки. Но в лагерь идти нельзя. Там мы растворимся среди сотен людей, и тогда пиши пропало.

Вечером к нашим домам подкатил грузовик. Из него выскочил веселый негр-солдат и закричал:

— Получайте жратву, ребята! Не так много, но на первое время хватит. Сначала не хотели давать. Благодарите лейтенанта Морроу — смилостивился.

Солдат привез несколько ящиков мясных консервов, сгущенное молоко, бобы в томате и солдатские рационы — обеды и завтраки в картонной стандартной упаковке. Это не решало вопроса, но уже было кое-что.

Вскоре капитаны вновь отправились в комендатуру. Разговаривали там с ними на этот раз иначе. Вероятно, пришли какие-нибудь разъяснения от командования. Нам разрешили брать паек в лагере и обещали отправить в советскую зону «так скоро, как это будет возможно». Просили запастись терпением.

Девятого мая мы узнали, что Германия капитулировала. Война окончилась нашей победой. Немки включали радиоприемники и плакали. Не то от горя, не то от радости. Мы

же были горды и счастливы. Ребята нашли разбомбленный подвал, а там уцелевшую и незамеченную американскими солдатами бочку вина. Моряки прикатили ее, хотя расстояние было порядочное, к нашим домам. Вот тут уж мы выпили как следует. Да грех было бы не выпить по такому поводу, как конец войны и победа. Налили по кувшинчику и зареванным немкам для поднятия настроения.

Прожив в Нюрнберге две недели, мы выбрались из города. Капитаны почти ежедневно ходили в комендатуру и требовали транспорт. Наконец прибыли машины.

Нас привозят на вокзал, грузят в теплушки, поезд трогается и часов двенадцать ползет по разбитым немецким дорогам, часто останавливаясь в самых неподходящих местах. Выскакивает поездная бригада, что-то ремонтируют, стучат по рельсам, и, простояв так некоторое время, паровоз тоненько свистит, дергает состав и отправляется в дальнейший путь. Нас высаживают на какой-то станции, снова сажают в машины, и мы несемся, минуя живописные, чистенькие и, как ни странно, неразрушенные немецкие деревни. Последнее время мы видели только руины.

Вот, кажется, и приехали! Машины въезжают в ворота с надписью «Вильдфлекен». У ворот американский солдат с карабином. Он проверяет документы у шофера головной машины, поднимает шлагбаум и впускает нас за проволоку. Мы в недоумении: в Нюрнберге сказали, что повезут в советскую зону, а тут какой-то Вильдфлекен, снова колючая проволока и вооруженная охрана. Машины резко тормозят у каменного дома на площади. «Распределительный пункт» — так гласит надпись у двери. Мы соскакиваем с грузовиков, разминаем затекшие ноги и ждем, что будет дальше. Из дома выходит молодой светловолосый офицер, читает бумажку, которую ему передал шофер, и подходит к капитанам. Они стоят отдельной группой.

— Русские моряки! Хорошо! — говорит офицер, дружелюбно улыбается и поочередно жмет капитанам руки. — Сейчас мы вас устроим. Сколько человек? Хелло, Джеф! — кричит он.

Появляется сержант.

— Проводишь моряков в номера четырнадцать, пятнадцать и шестнадцать. Ну, знаешь эти три свободных коттеджа? Позаботься о том, чтобы они все получили: матрасы, одеяла, талоны на питание. Расскажешь им, какой здесь порядок. Ну, кажется, все?

— Одну минутку, лейтенант, — говорит Богданов, он все еще несет обязанности старшего и ведет переговоры от лица интернированных, — нам нужен комендант. Мы не собираемся оставаться здесь. Американское командование в Нюрнберге

заверило, что нас без задержки переправят в советскую зону. Мы хотели бы немедленно следовать дальше.

Лицо у лейтенанта становится серьезным. Он в раздумье почесывает нос.

— Боюсь, что тут вам придется задержаться. Все не так просто. У нас не хватает транспорта. В Вильдфлекене собралось двадцать пять тысяч человек разных национальностей: русские, французы, югославы, бельгийцы, греки… И все рвутся домой. Каждый день мы вывозим людей, но очередь большая. Дело идет медленно. Проходят недели, а иногда и больше…

— Мы все-таки хотели бы поговорить с комендантом…

— К сожалению, сейчас это невозможно. Комендант живет за проволокой, к нему не так просто попасть, и сегодня его вообще нет. Он уехал в район. Устраивайтесь, а завтра я помогу вам с ним увидеться. О'кей?

— О'кей, — невесело улыбается Богданов. — Ничего, видно, не поделаешь. Поехали, ребята.

Мы снова залезаем в грузовики, Джеф вскакивает на подножку головной машины, и мы катим по узенькой дорожке в глубь леса. Останавливаемся у миленького двухэтажного домика, сложенного из белого кирпича. Наше новое жилье. Надолго ли?

Джеф активно взялся за дело, и благодаря его энергии к вечеру моряки были устроены.

Мы заняли три соседних домика, расположенных среди высоких сосен. Ночью многим не спалось. Хотелось домой, на Родину, а тут задержка. Ну, ничего, пройдет еще несколько дней, и мы будем в советской зоне.

Американский лагерь Вильдфлекен представлял собою огромную территорию, окруженную колючей проволокой. Внутри этого круга среди высоких сосен, асфальтированных дорожек, зеленых приглаженных полянок располагались десятки уютных коттеджей, домов побольше, мастерских, гаражей, столовых и клубов. Совсем недавно здесь помещалась танковая школа особых частей СС. На воротах еще осталась мрачная эмблема Третьего рейха — «хакенкрейц» с ощипанным орлом наверху.

Кто — то с удовольствием выпустил несколько автоматных очередей по ненавистной свастике. Теперь половина ее была отбита и орел обезглавлен. Но половина осталась…

Проходила третья неделя пребывания моряков в Вильдфлекене. Каждый день в лагерь въезжали десятки «студебеккеров», которыми управляли негры. Машины разворачивались у здания на площади. Американский офицер выходил из офиса, садился в переднюю машину, и грузовики двигались по его указанию.

Вывозили из лагеря по национальностям. Сначала французов, потом голландцев, болгар, поляков и последними русских. На всех машинах крупными белыми буквами было написано: «Displaced people».[22] В надписи было что-то унизительное, но никто не хотел замечать этого: ведь люди ехали на родину. Они готовы были ехать на чем угодно, идти пешком, ползти, только бы скорее попасть домой.

Когда уезжали советские граждане, моряки провожали их, с завистью глядя им вслед, кричали:

— Передайте привет Советскому Союзу! Скоро и мы за вами. Обещали на днях отправить!

Но застряли мы там надолго. Офицер, который принимал моряков, не обманул: на следующий день после приезда помог капитанам встретиться с комендантом. Тот был очень любезен. Сказал, что с ним капитаны могут видеться когда захотят, но ускорить отъезд он не в силах и сообщить советскому командованию о пребывании моряков в Вильдфлекене не может, нет связи, а потому он предлагает спокойно ждать своей очереди и набираться сил. Все это походило на вежливый отказ.

Через одного пленного француза-летчика, который возвращался к себе в Париж, капитаны послали письма нашему послу во Франции и генералу Голикову, занимавшемуся в то время репатриацией русских. В этих письмах они рассказывали о нашем положении и просили помочь как можно быстрее отправить моряков на Родину.

Вильдфлекен жил весело. Здесь скопилось много девушек, в свое время насильно увезенных из Советского Союза и других стран. Они ждали своей очереди, а пока радовались относительной свободе. Из лоскутов шили себе платья, делали замысловатые модные прически, старались понравиться. Но глаза у всех были тоскливые, испуганные и безразличные. Не было у них настоящей радости. Ее навсегда выкорчевали гитлеровцы, увезя девчонок с родных мест, насилуя и оскорбляя, на их глазах вешая и расстреливая родителей… Такое не забывается никогда. Но все-таки жизнь брала свое…

По вечерам в центральном клубе танцевали. Танцевали самозабвенно. Девушки, лишенные этого удовольствия в течение четырех лет, готовы были кружиться часами. Они танцевали и с кавалерами, и «шерочка с машерочкой», и соло, если не было партнера. Появилось великое множество самодеятельных артистов: певцов, танцоров и декламаторов.

Чтобы как-нибудь занять себя, в этот самодеятельный поток включились и моряки. Огромным успехом пользовался созданный

ими джаз «Запеканка», названный так в честь любимого лагерного блюда. Когда на сцену выходил с гитарой Миша Мудров, или Вася Синицкий пел веселую, сочиненную Жорой Филипповым песенку «Тосик», или появлялся на сцене жизнерадостный Боря Дыков, зал ревел от восторга и гремел аплодисментами. Сам Жора читал комическую лекцию «О вреде пьянства» и плясал одесскую «Семь — сорок». Пели со сцены девушки и парни. Пели о Родине, о любви и верности… Особенно любили песенку «Огонек». Когда ее исполняли, многие в зале плакали.

Но несмотря на такое кажущееся беззаботным житье, все тревожнее и тревожнее становилось на душе у моряков. Наверное, давно пришло письмо капитанов в Париж, а результатов не было. И очередь наша прошла. Уехали группы, прибывшие значительно позже нас. Ходили несколько раз к коменданту, но тот разводил руками: нет машин. А почему не соблюдается очередь, он не знает. Надо будет выяснить и наказать виновных. Порядок должен быть…

А один раз, когда я ходил к коменданту вместе с капитанами, разговор был более откровенным. Майор принял нас очень радушно. Усадил, вытащил сигареты «Кемл», бутылку виски.

— Огорчен, нового ничего, джентльмены, — говорил американец, потирая свои полные, белые, как у женщины, руки, — прошу вас, курите. По рюмочке виски, может быть? Это великолепный «Уайт Хорс»…

— Как же все-таки с нашим отъездом, господин майор? — перебил его не совсем вежливо Богданов. — Все сроки вышли.

— Ах, капитан, капитан. Давайте говорить откровенно. — Майор снизил голос и оглянулся, показывая этим, что разговор предстоит конфиденциальный. — Куда и зачем вы торопитесь?

— Вы прекрасно знаете это, господин майор.

— Да, но зато вы многого не знаете, мои дорогие капитаны. Во-первых, в настоящий момент у Советского Союза нет торгового флота, весь потоплен немецкими подводными лодками. Во-вторых, не очень-то любят там таких людей, как вы. Почему? Да потому, что вы четыре года провели в Германии. Мало ли что… Как только вы пересечете границу вашей зоны, вы немедленно попадете в лагеря. Ни о каком плавании не может быть и речи. Я предлагаю…

— Мы хотели бы как можно скорее уехать из Вильдфлекена, — упрямо сказал Богданов. — Не правда ли, товарищи?

— Другого решения быть не может, — поддержал его Дальк.

— А вы уверены, что, когда ваши люди узнают о перспективах в России, они захотят туда ехать?

— Уверены.

— Вы не выслушали меня, господа, до конца. Я предлагаю всем вам, от капитана до матроса, плавать на наших судах, полностью, не разделяя команд. Мы задыхаемся без моряков. У нас огромный флот. Суда достраивают. И хотя по нашим законам капитаном может быть только американец, для вас мы сделаем исключение. Вы поплаваете у нас год, два и вернетесь обеспеченными людьми к себе домой. К этому времени там все придет в норму, утрясется, появится флот, и вы будете плавать. Неплохо, правда? — Майор засмеялся и принялся разливать виски. До рюмок никто не дотронулся.

— С одним французом мы послали в Париж генералу Голикову письмо и сообщили, что нас непростительно долго задерживают. Полагаю, что вы скоро получите какие-нибудь указания относительно нас.

— Ах, уже послали? — Глаза коменданта сразу сделались безразлично-холодными. — Ну что ж, подождем указаний. А пока придется побыть в Вильдфлекене, господа. Я не собираюсь вас задерживать. Будут машины — уедете. Подумайте над моим предложением и всем, что я вам сказал. Надеюсь, что здесь неплохо?

— Если машины не придут в ближайшие дни, мы уйдем пешком и будем пробираться на Родину сами. Так решили все наши люди, — сказал Богданов, поднимаясь. — Мы еще раз просим ускорить нашу отправку, господин комендант.

— Это было бы крайне неразумно. По Германии бродят банды вооруженных эсэсовцев, и вас легко могут уничтожить.

— У нас нет другого выхода, господин майор. Мы не можем оставаться в лагере больше. До свидания.

От коменданта вышли расстроенные. По всему было видно, что скоро нам отсюда не выбраться.

— Что же будем делать, товарищи? — спросил капитан Балицкий, протирая пенсне. Он всегда протирал его в минуты сильного волнения.

— Подождем несколько дней, а там решим. Может быть, в самом деле пешком дойдем. Тут, наверное, не так уж далеко. Надо узнать поточнее.

Но пешком идти не пришлось. Через четыре дня после нашего визита комендант прислал машины. Что повлияло на него? То ли он почувствовал непреклонность моряков и понял, что задерживать нас не имеет смысла, то ли из Парижа пришло какое-нибудь указание, — этого мы не знали. Важно, что машины пришли и мы едем.

Моряков провожала вся русская колония. Прозвучали

напутственные слова, пожелания скорее добраться домой, поклоны Советскому Союзу — и вот наконец мы катим по бетонной автостраде на Хемниц. Это уже советская зона. Шоферы-негры, сверкая белозубыми улыбками, гнали так, что нам, уже привыкшим к американской езде, становилось страшновато. Чего доброго, и не доедешь до Хемница, очутишься в кювете. Но опасались мы напрасно. Шоферы знали свое дело.

Вот наконец и простенькая деревянная арка, утыканная красными флажками, и огромный плакат над ней — измученная женщина с грустными глазами распростерла руки… и надпись: «Родина-мать ждет вас!»

Хемниц был переполнен русскими: репатриированными, военнопленными, отдельными семьями, одиночками, неизвестно как попавшими в Германию. Вся эта масса людей, с чемоданами, мешками, груженными тележками, стремилась на восток. Советской администрации, только что вступившей в город, было чрезвычайно трудно разобраться в этом потоке.

Отправить всех железной дорогой не представлялось никакой возможности: вагоны разбиты, пути разрушены. Всех надо было накормить, напоить, предоставить жилье на некоторое время. Поэтому молоденький лейтенант, которому мы были вверены, накормив нас до отвала вкусным борщом и гречневой кашей, не желая слушать никаких объяснений о том, что мы, мол, особая группа, строго приказал:

— Никаких разговоров. Сейчас отдыхайте в этом доме, а завтра утром в восемь построиться. Чтобы все были по списку. Старший отвечает. Пойдем маршем в Варшаву. Кругом! Разойдись!

Мы были обескуражены. Пешком в Варшаву! Когда же мы тогда попадем домой?

— Так дело не. пойдет, — решили капитаны, — надо пробираться к главному начальству. Все объяснить. Этот офицер не понимает нашего положения, и некогда ему с нами возиться.

Комендант города, седовласый полковник в щегольской форме, сверкая золотыми погонами, долго слушал капитанов и сочувственно кивал головой.

— Вас понимаю. Помогу, — сказал он. — Но труден будет ваш путь, товарищи. Не обижайтесь. Посмотрите, что делается кругом. Десятки тысяч людей. Кто они, эти люди? Может быть, среди них есть враги, преступники? Во всем надо разобраться. Это требует времени. По моему району вы проедете беспрепятственно, а вот как будет дальше, не знаю…

Полковник написал распоряжение коменданту вокзала,

пожал капитанам руки, сказав на прощание:

— Пробивайтесь, товарищи, в Москву. Прямо в Москву. Не то можете застрять на оккупированной территории надолго.

Утром наш лейтенант прочитал распоряжение коменданта города, хмыкнул и недовольно сказал:

— Напрасно. Надо было бы вам послужить в армии годик-другой. Ну, в общем, дуйте на вокзал. Счастливо!

На разбитой железнодорожной станции стоял состав товарных вагонов. Их с боем брали люди, желавшие во что бы то ни стало уехать. Они потрясали какими-то документами и пытались прорвать цепь солдат, защищавших состав от этого нашествия. Мы с трудом нашли коменданта вокзала. Он сразу выделил нам три больших теплушки и приказал охране пустить нас. Но это оказалось не так просто. Как только моряки начали садиться, за ними ринулась толпа людей, надеявшихся тоже влезть в вагоны. Нам стоило большого труда отбиться от них.

После двухсуточного нудного пути, — поезд все время останавливался из-за неисправностей паровоза и дороги, — мы прибыли в город Майсен. Худенький старичок машинист прошел по всем вагонам и сообщил:

— Поезд дальше не пойдет. Можете вылезать. Мы очутились в незнакомом городе, на перроне разбитого вокзала. Попытались найти кого-нибудь из железнодорожной администрации, но поиски не увенчались успехом. Вокзал был пуст. Наконец встретили русского и спросили, где можно найти начальство.

— Не знаю. Идите в лагерь. Там с вами разберутся. Вот по дороге, — он показал рукой. — Километра три.

После недолгого совещания решили идти в лагерь, хотя и не хотелось. Но другого выхода не было. Через час мы увидели много домов казарменного типа, окруженных колючей проволокой. У калитки стоял часовой с винтовкой. Не успели мы остановиться, как навстречу нам выскочил офицер маленького роста с под-полковничьими погонами на плечах. Но погоны были не обычные, золотые, а зеленые суконные и с нарисованными на них химическим карандашом звездами. Мы сделали вывод, что подполковник из бывших военнопленных.

— Здорово, ребята! — по-военному громко приветствовал нас подполковник. — Кто такие? Откуда?

— Советские моряки. Интернированные.

— Прекрасно. Есть, наверное, хотите?

— Не откажемся.

— Давайте строем за мной. Удачно попали. Обеденное время.

Подполковник привел нас в столовую, где нас сытно накормили картофельным супом и ячневой кашей.

— Теперь, товарищи, пойдемте в барак. Я вас устрою и потом приду к вам. Заполним анкетки…

— А где комендант живет?

— А зачем он вам?

— Надо поговорить. Выяснить, как нам двигаться дальше на Москву.

— На Москву? — брови у подполковника удивленна поднялись. — Нет, братцы, до Москвы вам далеко, да и не нужно. В общем, пока устраивайтесь.

Мы заняли чистенький барак и печальные собрались вокруг стола.

— Что-то мне не нравится это начало, — проговорил Балицкий. — Похоже, что нас хотят здесь задержать.

— К коменданту надо идти.

— Подождем подполковника. Пусть все толком расскажет.

— Правильно. Надо подождать.

Подполковник пришел с пачкой анкет, деловито роздал их всем и сказал:

— Быстренько заполняйте. Завтра надо отправляться.

— Куда отправляться?

— Поедете в Чехословакию. В краснознаменный кавалерийский полк. Будете там служить.

— Так мы же моряки, товарищ подполковник. Лошадь только на картинках видели, — пошутил кто-то.

Но подполковник остался серьезным.

— Ничего, привыкнете.

— Разрешите нам повидаться с комендантом, товарищ подполковник.

— Не к чему: я сам ведаю распределением людей.

— Нам надо объяснить ему… Подполковник нахмурился:

— Прекратить разговоры! Вы на военной службе, товарищи. Мобилизованы. Все.

Рассерженный подполковник удалился, приказав хорошо выспаться к завтрашнему дню.

— Надо прорываться к коменданту, — решительно сказал Богданов. — Беда в том, что он живет за проволокой, в домике напротив. Это мне удалось выяснить. Но нас без разрешения не выпустят, -

— Все равно надо идти. Завтра может быть поздно.

Капитаны пошли к калитке. Солдат долго не хотел их выпускать, но потом, окликнув проходящего красноармейца, разрешил:

— Самойлов, проводи моряков до коменданта. Смотри, чтобы не разбежались.

Нестарая женщина впустила капитанов в комнату. Сейчас же за их спинами вырос солдат с автоматом наизготовку — мало ли что за люди… предосторожность не лишняя. Вышел худощавый офицер в чине капитана, с очень усталым лицом.

— Я комендант. Чего вам? — хмуро и изучающе глядя на моряков, спросил он.

— Товарищ комендант, начал Богданов, — вот какое дело: мы торговые моряки, захваченные немцами в день объявления войны в их портах…

По мере объяснения Михаила Ивановича лицо коменданта начало проясняться. Он внимательно вглядывался в капитанов и вдруг неожиданно спросил:

— Капитан Балицкий?

— Я Балицкий, — удивленно проговорил Хрисанф Антонович и по привычке принялся протирать пенсне. Уж очень вопрос был неожиданным.

— Вот где встретились. Кто бы мог подумать… — улыбнулся комендант. — Вы-то, конечно, меня не помните, а я вас хорошо знаю. Служил в контрольно-пропускном пункте в Мурманске, когда вы командовали «Марией Ульяновой». Сколько раз ваше судно принимал и отправлял за границу. Ну, здравствуйте, моряки. Присаживайтесь. Маруся, давай еще два стула! — крикнул он. — Рассказывайте все дальше, и подробнее.

Когда Михаил Иванович дошел до кавалерии, офицер засмеялся:

— Сколько раз говорил Дымченко, чтобы сложные вопросы согласовывал со мной, а он все сам решает. Всех под одну гребенку стрижет. Очень любит кавалерию. Вам великую честь оказал. Но смех смехом, а дело серьезное, товарищи. Кавалерия, конечно, вам не грозит. Я понимаю, как сейчас нужны моряки, и Задерживать вас было бы преступлением, но путь еще далек, и вас могут застопорить где-нибудь дальше. Там я уж буду бессилен помочь вам. А нужно…

Офицер потер лоб, потом в раздумье забарабанил пальцами по столу.

— Вот что, пожалуй, надо будет предпринять, — наконец сказал комендант. — В Дрездене сейчас находится генерал-майор Фомин. Он ведает репатриацией русских в нашей зоне. Самый большой начальник. Я вам дам завтра машину, посылайте своих делегатов и постарайтесь получить у Фомина охранную грамоту. До Дрездена не так далеко. Управитесь в один день. Только бумагу надо получать от самого Фомина. Другая не будет иметь силу. Утром приходите пораньше. Все указания о вас подполковнику Дымченко я дам. Экий упрямый хохол…

На следующий день Богданов и Балицкий выехали в Дрезден. Подполковник Дымченко, вероятно, получивший нагоняй от коменданта, больше о кавалерии не заикался. Капитаны вернулись вечером. По их сияющим лицам мы сразу поняли, что миссия окончилась успешно. Они добрались до самого Фомина и вот что привезли. Лучшей охранной грамоты быть не могло.

«Предписание. На основании распоряжения начальника отдела по репатриации 1 — го Ук. фронта генерал-майора Фомина. Бывшие интернированные в Германии шесть команд советских судов торгового флота общим количеством 179 человек направляются под командованием капитана Богданова М. И. в Москву. Оказывать полное содействие в срочном их возвращении на Родину без расчленения команд.

Начальник С. П. П.-272 подполковник Осипов».

— Ура! Качать их! — заорали мы. — Молодцы. Едем в Москву!

Попрощавшись с комендантом лагеря «Майсен», мы двинулись дальше. Мелькали вокзалы, теплушки, асфальтированные и проселочные дороги. Где пешком, где на машинах и товарных поездах моряки продвигались к Москве. Нас пытались задержать в Бреслау, но охранная грамота генерала Фомина сработала безотказно.

Во Львове, куда мы приехали на товарном поезде, груженном шпалами, она оказала магическое действие. Начальник управления железной дороги, седой важный человек, прочел бумагу, нахмурил брови, покряхтел и ворчливо сказал, не поднимая глаз от стола:

— Моряки, моряки! Много у меня тут всяких моряков. Не знаешь, кому вагоны давать.

Но вагоны все же дал. Дал два пассажирских вагона, следовавших с прямым поездом на Москву. Это была победа. Потому, может быть, Львов, еще не оправившийся после войны, но зеленый и залитый солнцем, показался нам чудесным городом.

В Москву поезд прибыл вечером. Начальник вокзала, увидев вылезшую из вагонов пеструю толпу, совершенно растерялся. Это было понятно: моряки, одетые в потертые старые морские тужурки, в форму французских солдат, в какие-то зеленые кители, в серые эсэсовские плащи и комбинезоны немецких парашютистов, представляли собой довольно необычную группу.

— Как вы сюда попали? — спросил, оглядываясь, начальник вокзала, видимо он ожидал подкрепления. — Как попали, я вас спрашиваю?

Богданов показал ему распоряжение Фомина, но тут вышла осечка.

— Никакого Фомина я не знаю, — сказал начальник вокзала. — Здесь столица, а не германская территория. Стоять тут, не расходиться! Я выясню, что с вами делать.

— Да вы что, в самом деле, больны или здоровы? Звоните в Наркомат морского флота, звоните еще куда-нибудь, где вам объяснят, кто такой генерал Фомин, — рассердился Богданов.

Начальник ушел и скоро вернулся, широко улыбаясь. Наверное, с него сняли ответственность за наше появление в Москве.

— Все в порядке, товарищи. Я созвонился с кем следует, Сейчас сюда приедет представитель Министерства морского флота и займется вами. Просил не расходиться. Обещал быть буквально через двадцать минут.

Решили ожидать представителя на привокзальной площади. Свалили мешки в кучу и стали ждать. Двадцать минут тянулись долго. Наконец на площади остановилась машина. Из нее вылез человек с огромным портфелем в руках. Его узнали. Это был хорошо знакомый многим старый работник кадров Гуртов. Он обнимал нас, жал руки, искренне радовался нашему возвращению. Когда кончились приветствия, мы попросили Гуртова рассказать о наших семьях.

— Предвидел, товарищи, что это будет первым вопросом, и захватил с собою все материалы, — сказал Гуртов, вытаскивая из портфеля списки. — Ну, прежде всего, когда мы узнали, что вы захвачены немцами и менять вас они не собираются, то сразу же вашим семьям начали выплачивать хорошие пенсии, пароходство помогало как и чем могло. И эвакуировали, и продовольствием помогали тем, кто оставался в Ленинграде, и обратно вызовы оформляли, работу подыскивали… Так что не думайте, что они были забыты.

Нет, о вас все время помнили, да сделать ничего не могли. Ну, а теперь по алфавиту буду давать справки.

Гуртова окружили, Я слышал, как он говорил: «Все живы… Были в эвакуации.», Вернулись в Ленинград… Отец погиб в блокаду…»

Чем ближе подходила моя очередь, тем неспокойнее становилось на душе, тем больше росло волнение.

— Ну, а о твоих, — осторожно проговорил Гуртов, обращаясь ко мне, — мы до сорок четвертого года имели сведения… Да ты не волнуйся, не волнуйся!

Все были живы. Пенсию регулярно получали, а вот с сорок четвертого связь с твоей семьей прервалась. Знаем, что

эвакуировались из Ленинграда. Все было хорошо. Приедешь, может все на месте будут…

Проведя в Москве сутки и встретившись с министром морского флота Ширшовым, мы поехали в Ленинград.

…Ленинград… Поезд замедлил ход и подошел к перрону. В окна вагона заглядывали люди в морских фуражках, женщины, дети. Кто-то закричал: «Валя!»— и бросился к выходу. Мелькали знакомые лица работников пароходства, моряков, на перроне кто-то плачет, кто-то бьется в истерике, кто-то возбужденно смеется. Целуются, жмут руки… В вагон врывается высоченная фигура в капитанском кителе.

— Вот где ты! Что же ты не идешь?! — кричит человек, и я попадаю в крепкие объятия. Это старый друг Женька Мартынцев. По его щекам текут слезы, по моим тоже. — Иди, иди, — подталкивает меня Женька. — Там тебя ждут.

Я выхожу на перрон и ищу глазами своих. У стены вокзального здания в голубом выцветшем платье стоит жена. К ней жмется незнакомый худенький мальчик. Мой сын. Мамы нет…

Мы возвратились домой такими же, какими были четыре года назад — сплоченными командами шеста советских судов, правда поредевшими, но еще крепче спаянными, готовыми по первому приказу снова выйти в море. Скоро мы встретились с Игорем Маракасовым, Жорой Леоновым, Сашей Сементовским, Каким-то чудом, так же как и трем помполитам — Антонову, Купровичу и Пучкову, — им удалось вырваться из лагерей смерти Дахау и Маутхаузена. Три помполита — Гребенкин, Зотов и Шимчук — погибли.

Многие моряки не вернулись на Родину. Они никогда не встанут на палубу судна, не увидят родного моря… Они остались лежать там, за стенами замка, на чужой земле… Никто не найдет их могил, кроме тех, кто их хоронил, опускал своими руками клетчатые мешки в жидкую грязь, кто уронил последнюю слезу, понуро возвращаясь в лагерь с пустой мусорной телегой. Но мы помним их.

Часть третья
Корабль идет дальше

«Аскольд»

Мы вернулись из Германии в 1945 >году. Вернулись все, кто остался в живых.

Встретили нас в Ленинграде как родных. После объятий и приветствий повезли на дизель-электроход «Балтика», где интернированные должны были пройти карантин. Там мы окунулись в сказочную обстановку комфортабельных ванн, уютных кают, ковров и мягкой мебели. И это после железных нар Вюльцбурга! Настроение было отличное. Кошмар кончился. Впереди лежало желанное море и далекие плавания.

Вскоре многих из нас одели, выдав форменные костюмы, белье, ботинки, пальто. Вещи добротные, хорошо сшитые.

После основательной проверки моряков, возвратившихся из Германии, постепенно стали посылать на суда.

Начальник Балтийского пароходства И. М. Корабцов, пропустив меня через строгий «техминимум», предложил занять место капитана на небольшом новеньком пароходе «Зоя Космодемьянская». Его недавно получили от финнов. Но я посчитал, что еще не готов к этой почетной и ответственной должности. Все-таки четыре года я не поднимался на мостик, капитаном еще не плавал и начинать свое «капитанство» сразу после гитлеровской тюрьмы мне казалось преждевременным. Надо освежить в памяти все старое, познакомиться с теми новинками, что пришли на флот за годы войны, и вот тогда…

Поблагодарив Корабцова за лестное предложение, я сказал, что предпочел бы еще поплавать несколько месяцев старпомом. Начальник одобрительно кивнул головой.

— Ну, ладно. Тогда подбирай судно сам.

Спустя недели две после этого разговора я встретил капитана Богданова. Того самого Михаила Ивановича Богданова, который был у нас в Вюльцбурге доверенным лицом.

— На ловца и зверь бежит, — сказал он, пожимая мне руку. — Получил назначение на «Аскольд». Не пошли бы вы ко мне старшим помощником? Как смотрите?

Я с радостью согласился. Мне хотелось в море. О нем я мечтал четыре долгих года.

Михаил Иванович пользовался в лагере большим уважением. Какое-то время мы жили вместе в одной камере, но особенной дружбы между нами не возникло. Тем не менее мне почему-то нравился этот человек.

Небольшого роста, рано поседевший — к началу войны ему исполнилось тридцать три года, — он был немногословен. Его

суждения всегда были твердые, здравые, трезвые, далекие от крайностей, которые так любили у нас в тюрьме. Богданову верили. Капитан прилежно изучал английский язык, много читал. Во время прогулок по тюремному плацу он ходил один, заложив руки за спину, опустив голову на грудь, и о чем-то думал. Иногда я наблюдал, как Михаил Иванович режет по дереву. Он был искусным резчиком.

Теперь, с приходом на «Аскольд», мне предстояло увидеть Михаила Ивановича на мостике.

«Аскольд» поразил меня. Огромный пароход, грузоподъемностью около десяти тысяч тонн. До войны такие у нас были редкостью. Приемку судна мы оформили быстро. Оно уже кончало погрузку. Шли мы в Швецию, а потом в Гамбург за грузом.

Тихим сентябрьским вечером «Аскольд» покидал Ленинград. Я пошел на свое место на бак, к якорю. Зазвонил телефон с мостика. Я поднял трубку и услышал спокойный голос капитана:

— Отдать носовые!

«Аскольд», освобожденный от швартовов, начал медленно двигаться вперед. Предстоял довольно сложный маневр. Надо было развернуться носом на выход. При такой длине парохода, с моей точки зрения, был необходим буксир, а то и два. Капитан почему-то не заказал их, и теперь я с беспокойством и волнением наблюдал за поведением судна. Казалось, что оно сейчас навалит кормой на причал. Но в самый последний момент мы почувствовали, как пароход рванулся вперед, видимо на мостике дали полный ход, и корма чисто «пролетела» — не прошла, а именно «пролетела»— опасный угол причала. Откровенно говоря, в тот момент у меня сжалось сердце. Маневр был смелым, рассчитанным и заранее продуманным. Капитан чувствовал себя уверенно на таком большом судне.

Первую ходовую вахту я отстоял с благоговением. Ведь она была первой после четырехлетней разлуки с судном. Все радовало меня: и легкое покачивание палубы под ногами, и небо, золотистое от утренней зари, и море с белыми барашками, и ветер, напоенный непередаваемым запахом соленой воды…

Наконец-то я на судне, в открытом море. Я вспомнил, как, запряженные в телегу, тяжело нагруженную продовольствием и почтой для охранников, мы, трое лагерных «лошадей», еле живые, задыхающиеся от усталости, под истошные крики солдата, поднимались из города в замок… Сквозь залитые соленым потом глаза я видел море, палуба дрожала под ногами… Но тогда это было галлюцинацией. Сейчас — действительность.

Прояснился горизонт. Я вытащил секстан и, хотя к тому не

было никакой необходимости — мы шли в >районе островов Финского залива, — взял несколько высот. И об этой минуте я мечтал в Вюльцбурге, когда, поднимая голову к чужому небу, видел такие родные мне звезды, по ним мы всегда определяли место судна…

Нет, не дрожала рука, как я опасался, высоты брались надежно. Перед сдачей вахты на мостик поднялся капитан. Он ничего не сказал мне и принялся прохаживаться от крыла до крыла. Я сдал вахту третьему помощнику, позавтракал и окунулся в массу судовых дел. У старпома всегда дела.

Старшим механиком на «Аскольде» плавал молодой одессит И. Ф. Куркоид. Познакомился я с помполитом Г. Е. Чумаковым. Как только мы обменялись рукопожатием, он, улыбаясь, сказал мне:

— Вы уж с нашим «дедом» поладьте. Страшный перец. Но парень отличный и работник — высший класс.

— Я не совсем понимаю вас…

— Очень просто, — оживился Чумаков. — Не надо проводить резкую грань — это, мол, палубная команда, а это машинная. У нас одно общее дело, один экипаж…

— Совершенно согласен.

— Ну, вот и отлично. Не совсем тут у нас с этим благополучно. Не знаю, кто виноват? Не то «дед», не то ваш предшественник, а скорее всего мы с капитаном. Как-то не обращали внимания. Ну, теперь все по-другому организуем. Так вы мой союзник?

— Полностью.

— Выйдем в море, начнем налаживать отношения.

Но наши отношения со стармехом сразу же сложились хорошо. Наверное, мы почувствовали симпатию друг к другу, или Ивану Федоровичу польстило, что я без всякого стеснения обратился к нему с просьбой рассказать о трубопроводах и судовой шпигатной системе. Он сделал это с величайшим удовольствием, переоделся в комбинезон и часа два водил меня по всему судну. Я удивлялся его памяти. Он знал все. Как выяснилось впоследствии, он был «богом машины», изучил судно от киля до клотика, работал на нем с приемки и на первых порах оказал мне большую помощь. Характер он имел, помполит сказал правду, вспыльчивый и горячий. Но я как-то сумел примениться к нему, и мы скоро подружились.

Палубная команда, за исключением боцмана, состояла из мальчишек лет по семнадцати-восемнадцати, набора военного времени, когда их брали на суда вместо настоящих матросов, которых не хватало.

— Три за одного, — смеялся боцман, разводя их по работам.

Это были веселые мальчишки, хохотуны, они почему-то всегда веселились, в строю стояли плохо, все время хихикали и шлепали друг друга по затылкам. Ну совсем как в пятом классе школы! И требовалось неуклонное наблюдение за «матросами», чтобы они не попрятались в закоулках огромного судна. Но в общем-то, когда приходилось трудно, мальчишки становились настоящими тружениками и работали не считая часов. Я до сих пор помню некоторые фамилии: Леоненков, Павлов, Багликов, Костин, Коломеец. Впоследствии из них вышли хорошие моряки.

А вот капитан мне не понравился. Он и в Вюльцбурге не отличался многословием, а тут совсем стал молчаливым. Где бы и поговорить, как не в море, вспомнить проклятый замок, порадоваться настоящему, а Михаил Иванович поднимется на мостик и ходит взад-вперед. Я на мостике, он на мостике. Ходит и >ничего не говорит. Или напевает что-нибудь под нос. Странно как-то, правда! Меня начало это раздражать. Ну, недоволен чем-нибудь — скажи. А то надуется и ходит. Сначала я терпел, тоже молчал, но скоро не выдержал и >прямо спросил капитана:

— Михаил Иванович, я вижу, что вы чем-то недовольны. Мне кажется, я все делаю, что нужно и как нужно. Если нет, то вы лучше скажите… — обиженно закончил я.

Капитан посмотрел на меня такими удивленными глазами, так смутился, что я не рад был, что затеял этот разговор. Потом он взял меня под руку и >сказал:

— Вы уж простите, пожалуйста. Такая у меня скверная привычка — ходить и думать. Дома хожу — жена сердится, на судне — вы. Не обращайте внимания. К вам никаких претензий. Вы делаете все хорошо.

Я принял его совет, и все стало на свои места.

Моряком Михаил Иванович оказался отличным. Он управлялся с нашим большим судном с поразительной легкостью, в самых сложных условиях. Капитан любил астрономию, и я постоянно видел его с секстаном в руках. Может быть, в тех районах, где мы шли, астрономические определения не требовались, но мне кажется, что настоящий капитан никогда не упустит случая взять высоту светила. Богданова интересовали мельчайшие подробности судовой жизни. Каждый вечер Михаил Иванович внимательно выслушивал мои планы на следующий день и задавал десятки вопросов. Собираются ли красить подволок? В какой цвет? Выпустили ли стенгазету? Какое завтра будет меню? Не забыли ли, что у четвертого механика Киселева через три дня день рождения? Удалось ли стармеху отремонтировать пожарный насос?..

Помню, как мы шли в Средиземном море. Стояла удивительная, тихая, звездная ночь. Михаил Иванович подошел ко мне, положил руку на плечо и сказал:

— Счастливые мы с вами люди. Видим такую красоту, плаваем на таком прекрасном судне. Утром встанет солнце, засинеет море, рыба начнет играть под штевнем… Чего еще надо в жизни? Мне — ничего. А ведь все могло быть иначе…

Сказал, замолчал и принялся мерять шагами мостик.

Как-то вечером, когда мы уже стояли в Карлсхамне, Михаил Иванович устроил у себя в каюте «прием». Он пригласил всю старшую администрацию. Вот тут он совсем переменился. Шутил, смеялся, острил. Оказался радушным и приветливым хозяином. Решали серьезный производственный вопрос. Как умело капитан успокаивал разгоревшиеся страсти, укрощал вспыльчивого «деда»! Это необычное производственное совещание комсостава закончилось и перешло в дружескую беседу. На прощание Михаил Иванович сказал помполиту:

— Следующий вопрос будем решать у вас. Посмотрим, как вы умеете варить кофе.

Скоро эти «кофейные вечера» в каютах у старшего комсостава вошли в традицию. Мы собирались у кого-нибудь из нас и за чашкой кофе обсуждали судовые дела. Спиртное никогда не подавалось. Пили кофе, заедали сдобными сухарями. Капитан не терпел пьяниц. Но какой удивительный эффект давали эти собрания! Они сплотили комсостав, люди лучше узнали друг друга, пропала излишняя официальность.

Вероятно, капитан придерживался такой же точки зрения, что и Михаил Петрович Панфилов, считавший, что помощникам надо давать самостоятельность, доверять им, тогда они захотят и будут работать творчески. Конечно, капитан должен знать, на что они способны. Такое отношение к нам дало блестящие результаты. Мы лезли из кожи вон, чтобы делать все отлично и решать вопросы самостоятельно. Штурмана постановили: работать «всем за одного — одному за всех». Это означало, что когда на судне не было меня, то многие обязанности старпома мог квалифицированно выполнить второй, а если отсутствовал он, то за груз можно было не беспокоиться — все сделают третий или четвертый помощник. Такая система исключала формальное отношение к службе. «Это, мол, дело старшего, а это знает только второй, а это третий». Мы все должны были хорошо разбираться в работе каждого и гордились тем, что можем не тревожить капитана по пустякам. А у меня прямо портилось настроение, если кто-нибудь требовал капитана, не довольствуясь нашими действиями или разъяснениями. Как это так, старший помощник,

правая рука капитана и >не может чего-то решить на судне! Личная обида! Вообще, мы высоко ставили свой экипаж, судно и заведенные на нем порядки.

«Аскольд» принимал репарационные грузы. Сдавали их нам английские военные власти. Гамбург входил в английскую зону оккупации. Когда погрузка трюмов подходила к концу, на судне появился английский полковник. Щегольски одетый в военную форму, с седыми усиками, он выглядел очень картинно.

— Я хотел бы видеть капитана, — сказал офицер встретившему его второму помощнику.

— По какому вопросу?

— Палубный груз.

— Пожалуйста, что вы хотели? Я грузовой помощник.

— Я же сказал, что хочу видеть капитана, — высокомерно бросил полковник, отстраняя штурмана рукой.

— Одну минутку. Капитан отдыхает, — обиженно проговорил второй помощник и дал один продолжительный звонок. Это значило: «Старпома на палубу». Я вышел, поздоровался. Полковник брюзгливо повторил свою просьбу.

— Хочу видеть капитана.

Я заявил ему, что уполномочен решать все судовые вопросы и только в том случае, если он останется неудовлетворенным, потревожу капитана.

— Прошу ко мне в каюту, — пригласил я, пропуская военного вперед.

Тот с видимым неудовольствием последовал моему приглашению.

Когда мы уселись в кресла, я позвонил буфетчице три раза. Это был условный сигнал. Она знала, что надлежит делать. Через несколько минут в каюте появилась наша Зина в хрустящем накрахмаленном переднике и кружевной наколке с подносом в руках. На подносе стояли закуски и замороженная в холодильнике водка.

— О! — оживился полковник и подмигнул мне. — Хорошенькая девушка, а?

— У нас все такие. Прошу вас, — улыбнулся я, наливая его рюмку. — Help yourself, please[23].

Англичанин с удовольствием пил водку, закусывал белыми маринованными грибами, копченой рыбой, а в промежутках излагал свое дело. Оно было несложным. Полковник хотел знать, сколько тяжеловесных длинномеров мы сможем принять на палубу. Список с их размерами и весом он положил передо мной. Я вызвал второго помощника, объяснил ему, что хочет грузоотправитель.

— Обмерьте палубу и >набросайте план погрузки тяжеловесов. Вот… — я протянул ему список груза.

Мы мирно беседовали, пили кофе, полковник говорил о том, как надоела ему разбитая Германия, как хочется в свой коттедж в Гринвич, какие у него славные дочери, «и подумайте, близнецы!». Второй тем временем выполнил свою работу.

— Вот, пожалуйста, — сказал он, появляясь в каюте и передавая полковнику план погрузки.

— Так быстро? Ол райт! Значит забираете почти все. Ол райт, — повторил англичанин, убирая листок в карман и продолжая прерванный разговор. Минут через пять он встал, начал прощаться, очень благодарил за радушный прием, за скорое решение вопроса и неожиданно закончил словами:

— Все-таки я хотел бы повидать капитана.

Я позеленел от негодования. Каков гусь?! Кажется, все объяснили, все сделали, угостили по-царски и все же он требует капитана. Не может быть!

— Я, наверное, вас плохо понял, полковник. Вы ведь не сказали, что хотите видеть капитана?

— Именно это я и сказал. Хочу видеть вашего капитана, — упрямо повторил англичанин. Лицо его раскраснелось от выпитой водки, глаза, как мне показалось, глядели со злобной иронией.

— Хорошо, — холодно сказал я. — Прошу вас подождать в кают-компании, пока я поднимусь наверх и узнаю, сможет ли капитан вас принять.

Я молча провел его в кают-компанию, а сам, возмущенный до глубины души, постучал Михаилу Ивановичу. Он читал. Я рассказал ему о полковнике, сознательно затягивая разговор. Пусть «этот» посидит в одиночестве и подумает о своем поведении.

Когда я возвратился за >англичанином, он стоял и с интересом разглядывал портреты, развешанные на переборках.

— Капитан просит вас, полковник.

Мы постучали в дверь капитанской каюты и вошли.

— Чем могу служить? — спросил, вставая, Михаил Иванович.

— Я пришел выразить вам свое восхищение, — глаза полковника лукаво блеснули. — Я восхищен порядком на вашем судне. Мне приходится бывать на многих кораблях… После войны все так распустились, забыли о хороших традициях. Я восхищен вашими помощниками, их знанием английского языка, знанием дела, чистотой на судне… Я получил полную информацию по нужному мне вопросу. Я очень рад познакомиться с вами, господин капитан, — он вытащил визитную карточку и положил ее на стол. — Буду счастлив оказаться чем-нибудь полезным. А

теперь не хочу мешать. Гуд бай, кэптен.

Я рассказал об этой сцене всем штурманам. Они были очень довольны. Даже высокомерный «томми» признал, что на советских судах знают дело, любят свои корабли и понимают, что такое капитан, нисколько не хуже, а может быть, и лучше, чем прославленные английские моряки.

Из Гамбурга «Аскольд» пошел разгружаться в Поти, а потом в Одессу. Здесь капитан и я получили предписание выехать в Ленинград.

В дождливый, холодный декабрьский день я уезжал. Получив билет, оставив вещи в камере хранения, я пошел на Приморский бульвар проститься с судном. «Аскольд» стоял на рейде еле видный из-за мелкой пелены дождя и тумана. Усевшись на парапет, я долго смотрел на огромный, расплывшийся корпус. Мне не хотелось расставаться с «Аскольдом». Я полюбил судно, его мальчишек, вспыльчивого «деда» и молчаливого капитана. Правда, мне всегда были тяжелы минуты расставания с судами. Как будто я покидал близкое существо. Наверное такое испытывают все моряки.

Екнуло сердце: может быть, чем-нибудь провинился? Да нет, все в порядке. Но тоскливое, сосущее чувство надвигающейся неприятности не проходило всю дорогу.

«Беня Крик»

По приезде в Ленинград я сразу же отправился в пароходство. В коридорах встретил нескольких вюльцбуржцев. Они были взволнованы, шептались, передавая друг другу какие-то слухи, и тоже ждали новых назначений.

Через несколько дней меня послали капитаном на танкер «Грозный». Назначение было не ахти какое. В отделе кадров пароходства мне сказали:

— Поедете в Либаву. Туда с Черного моря привели танкер. Двигаться он не может. Слишком стар. Судно должно служить бункерной базой на Балтике, пока не восстановят разрушенные войной нефтебаки. Всего поедет двенадцать человек, позже подошлем остальных. Через две недели к вам подойдет первый теплоход за бункером. Ваше назначение временное.

На мой вопрос: «Почему меня сняли с «Аскольда»?» — начальник кадров отвел глаза и, нервно сцепив пальцы, ответил:

— Я же сказал — временно. И потом, ведь капитаном посылаем. В чем же дело?

Я попрощался и вышел. Повышение в капитаны не радовало. Какой же это капитан на судне, не имеющем своего хода? Но делать было нечего, надо ехать, а там, может быть, обстановка прояснится.

В Либаву поезд пришел ночью. Перед этим целую неделю шли ноябрьские дожди, но сегодня подморозило. Небо стало очень черным, появились маленькие холодные звезды. В проходной будке долго и нудно проверяли пропуска. Моряки ворчали. Хотелось скорее прийти на судно. В порту, покачиваясь на ветру, тускло светили редкие фонари. Команда танкера, спотыкаясь, пробиралась через разобранные рельсовые пути, груды ржавого железа, мотки колючей, теперь уже никому не нужной проволоки. Под ногами ломался ледок, покрывавший лужи. Танкер стоял на отдаленном причале у самого моря. Невидимые волны сердито шумели и бились в гранит. Еле различимый в темноте, страшным чудищем преграждая дорогу, лежал исковерканный фашистской бомбой кран. Танкер угадывался по густому черному пятну у причала.

Команду никто не встретил. Кругом стояла тишина. Казалось, что судно покинуто экипажем. Молчаливое, темное, с креном на левый борт, оно походило на корабль, брошенный на кладбище. Люди поднялись по скользкой сходне, на леере которой висел закопченный фонарь «летучая мышь».

В кают-компании в капитанском кресле дремал вахтенный

матрос. На столе с чуть выпущенным фитилем горела керосиновая лампа. Динамо не работало.

— Приехали! — радостно закричал вахтенный, увидя нас. — А мы вас давно ждем. Домой пора ехать. Сейчас разбужу капитана.

Он постучал в дверь, выходящую в кают-компанию. Из каюты вышел заспанный капитан в полосатых пижамных штанах и ватнике, наброшенном на плечи.

— Нас осталось всего четверо. Механик, матрос, старпом и я. Мы вас ждали еще вчера. Остальную команду я отпустил. Не было необходимости их задерживать. Они уже едут в Одессу. Судно подготовлено к сдаче. Оно не пригодно к эксплуатации. Ни один механизм не работает. У нас его давно списали на слом. Какой смысл имело тащить танкер на буксире вокруг Европы? Вряд ли он окажется тут полезным.

— Ни один механизм не работает? — переспросил я. — Как же мы будем бункеровать суда?

Черноморец пожал плечами. Этот вопрос его не интересовал. Он сделал свое дело, доставил судно и теперь хотел как можно скорее уехать домой.

— Ну, до завтра, — сказал он. — Бондаренко, проводи товарищей по каютам.

На следующий день мы приняли судно.

Я проснулся рано и несколько минут лежал с открытыми глазами, рассматривая свою неприглядную каюту. С отвращением посмотрел на руки, покрытые красными прыщиками клопиных укусов. За переборкой что-то скребли, гремели ведром, шаркали щеткой. Я быстро оделся, вышел из каюты. В кают-компании буфетчица Клава стояла на табурете босая, с высоко подоткнутой юбкой и с ненавистью сдирала с подволока отставшую краску. По линолеуму палубы разлились грязные серые лужи. В ведре пенилось мыло. Женщина мельком взглянула на меня, поздоровалась и молча продолжала работать. Весь ее вид показывал крайнее недовольство.

На палубе в ватниках и шапках, хотя погода стояла не холодная, покуривая, сидела почти вся команда танкера. Откуда-то изнутри судна доносился одинокий стук ручника. Лица у людей были хмурые, невыспавшиеся.

— Чего это вы такие грустные? — пытаясь пошутить спросил я, подходя к сидящим на крышке танка.

Шутку не приняли. Только машинист с подвязанной щекой и маленькими злыми глазами, сплевывая прямо на палубу, бросил:

— Будешь грустным. Всю ночь не спали. Клопов давили. Вообще, товарищ капитан…

Из машинного отделения появился перемазанный мазутом старший механик. Он безнадежно махнул рукой.

— Осмотрел все хозяйство. Из этого рая не выйдет ничего. Надо срочно сообщить в пароходство о том, что танкер бункеровать суда не может. Не то получим неприятности.

— Правильно, — поддержал механика машинист с флюсом. — Домой надо ехать.

— Действительно, жить здесь невозможно. Клопы, камбуз не работает, бани нет. Мы же люди, — сказал матрос с длинным худым лицом.

— Вы твердо уверены в том, что танкер не сможет работать? — спросил я стармеха.

— В таком состоянии он работать не может. Заявляю официально.

— Тогда пишите рапорт.

— Пожалуйста. Хоть сейчас.

— Именно сейчас.

Пошли в кают-компанию. Я принес бумагу и ручку. Механик, нахмурив брови, принялся писать. Сидели молча.

Неожиданно в кают-компании появился человек. Он был высок и тощ. Длинное форменное пальто висело на нем как на вешалке. На маленькой голове с совершенно седыми волосами сидела когда-то щегольская, сейчас выгоревшая морская фуражка. Лицо у него было худое, обтянутое темной, почти оливковой кожей. На верхней губе — седая короткая щеточка усов. И глаза — большие, круглые, карие. Птичьи глаза — ясные и живые. Над ними густые, лохматые, нависшие брови.

«Если бы на него надеть чалму, то я бы сказал, что это индиец, брамин», — подумал я, рассматривая вошедшего.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал человек приятным хрипловатым голосом— Давайте познакомимся. Ваш морской агент, капитан дальнего плавания Сосин Вениамин Ефимович.

Я представился, представил механика.

— Так-с. Значит, приехали, — сказал Сосин, бросая фуражку на камин. — Отлично. Надо торопиться. Скоро придут суда. Начинаете работать?

— Нет. Пока не начинаем. Очень хорошо, что вы пришли, товарищ Сосин. Я только что собирался идти к вам и сообщить пароходству, что танкер не сможет работать.

— Как? — глаза морагента еще более округлились. — Как вы сказали? Не сможет работать? Опомнитесь, что вы говорите. Танкер…

— Вот механик пишет официальный рапорт об этом.

Глаза Сосина сверкнули, и на нас обрушился ураганный

поток слов:

— Кто пишет? Такого старшего механика надо перевести в третьи механики. Только человек, который ничего не понимает в танкерах, может сказать такую глупость. Я всю жизнь проплавал на них. Этот танкер золото. Вы понимаете, зо-ло-то! Лучшей бункер ной базы не придумаешь. Она будет работать…

Механик бросил писать, насмешливо наблюдая за морагентом. Подумаешь, разошелся!

— Ну, вам, наверное, виднее. Тогда пускайте его сами, а по-моему…

— Что по-вашему — меня не интересует. Вы приехали работать, а не хотите работать, я вас немедленно отправлю в пароходство, а заодно вас, молодой человек, — повернулся Сосин ко мне. — Сидите здесь, как вяленая треска, вместо того чтобы заставить людей работать, подумать об их жилье, питании. Вы не на курорт приехали, а работать. Или вы думали, что попадете на лайнер Лондонской линии?

Все это Сосин кричал, устрашающе вращая глазами, жестикулируя, непрерывно двигаясь по кают-компании.

У меня от возмущения дергалась щека. Наконец я собрался с силами и обиженно сказал:

— Просил бы вас не разговаривать со мной в таком тоне. Я к этому не привык. Со мною даже начальник пароходства так не разговаривает.

— Мальчишка! — заорал Сосин. — Вы мне в сыновья годитесь. Очень жаль, что не разговаривает. А я буду. Я сорок лет плавал на танкерах, и заявлять мне, что он не будет работать, — издевательство. А вы, молодой человек, можете подать в отставку немедленно. Заменим. Вижу, что не хотите работать. Так и напишем…

Механик притих. Я видел, что с морагентом шутки плохи. Он все больше и больше приходил в ярость.

— Да не кричите вы, — наконец улучив минуту, прервал Сосина механик. — Послушайте. Дело не в нежелании работать. Все разрушено.

— Знаю. Ремонтировать надо. Невозможного нет. Говорите, чего вы требуете.

Механик начал перечислять дефекты. Казалось, им не будет конца. Сосин делал пометки в блокноте. Обиженный, я не смотрел на морагента. Такое нахальство! Когда механик закончил, Сосин вычеркнул половину замечаний.

— Для начала хватит вот этого. Согласны? Позже дойдем до всего.

Механик кивнул головой.

— Тогда начнем. Пошли… и вы, капитан.

Мы вышли на палубу. Команда продолжала сидеть на танках, оживленно разговаривая.

— Ну что, товарищи? — обратился к людям Сосин.

— А ничего, вот сидим, ждем у моря погоды.

— Капитан, троих пошлите в склад на машине, — кивнул Сосин на старенький грузовичок, стоявший у борта. — Получите рукавицы, робу, соду и обязательно флит для уничтожения клопов. Завтра сделать заявку на все остальное необходимое. Теперь, стар-мех, срочно снимайте насос и отправляйте в мастерскую. Я договорюсь. Насосную надо вычистить. Ну, давайте, ребята, кто идет на склад?

В команде молчали.

Машинист с флюсом иронически смотрел на морагента, потом лениво произнес:

— Не пойдем мы. Домой едем. Пусть на нем отдел кадров работает.

Сосин подался к говорившему:

— Не пойдешь? Домой? Больше плавать не хочешь? Ведь уволят за это.

— Пусть лучше увольняют, чем тут в грязи копаться. Верно, ребята?

Худой матрос одобрительно кивнул. Остальные молчали.

— Забирай чемодан и немедленно вон с борта. Вон! — опять взорвался Сосин, наступая на машиниста. Казалось, что морагента сейчас хватит удар. Он выпучил глаза, покраснел, сдернул с головы фуражку.

— Чего разорался? — испуганно отступал от разъяренного Сосина машинист. — Не старый режим. Я уйду.

Он скрылся в кормовом помещении.

— Кто не хочет работать, пусть идет с ним, — успокаиваясь, сказал Сосин. — Все наладится, товарищи. Разве это трудности? Вы же и не такое видели. Плавал я на спиртовозе. Вот там были трудности. На берег никто не хотел идти, все просились на зачистку танков. Боцман Махмуд Джафар-оглы…

В команде засмеялись. Сосин посмотрел на часы.

— Ладно, доскажу в следующий раз. А сейчас марш на склад.

Трое матросов пошли за морагентом. Сосин сел в кабину, помахал рукой, грузовичок зафыркал, подаваясь назад.

— Ну, как вам понравился старик? Типаж! Настоящий Беня Крик, — усмехнулся механик, когда машина уехала.

— Хамло, — раздраженно сказал я. — Много на себя берет.

Стармех ничего не ответил.

Утром к борту подкатили сварочный аппарат, в машинное отделение протянули провода, и довольный механик повел сварщика в котельную. Машинисты разбирали насос. Команда ходила в новой брезентовой робе. Вслед за сварочным аппаратом появился Сосин. Он выскочил из кабины грузовичка, в кузове которого лежали какие-то клапаны, трубки, угольники. Механик, увидевший подъехавшую машину, сбежал на берег и долго тряс руку Сосину, улыбался, показывая на привезенный материал. Они оживленно разговаривали. Я с неприязнью наблюдал за этой сценой.

«Вчера рапорт подавал, сегодня чуть не целуется», — думалось мне.

Сосин поднялся на борт танкера. Увидя меня, виновато улыбнулся, подошел, протягивая руку.

— Вы уж извините меня за вчерашнее, — начал он, глядя на меня своими карими теплыми глазами. — Сколько неприятностей я имел из-за своей невыдержанности. И с начальством и с подчиненными. Клялся, что буду сдерживаться. Вы не обращайте, пожалуйста, внимания. И впредь тоже, прошу, не обижайтесь. Я не со зла. Ну, подумайте — сказать, что танкер не будет работать! Его же вокруг Европы вели. Ведь на днях «Кубань» приходит. Черт знает что! — Вениамин Ефимович снова начал распаляться.

«Ну и порох», — с опаской подумал я, глядя на морагента, но тот, что-то заметив в моем лице, засмеялся, блеснул белыми вставными зубами, обнял за плечи:

— Вот видите, опять… Так не сердитесь? Нет? И уговор — не обижаться. Даете слово?

— Не обижаюсь. Даю слово.

— Так вот, — быстро заговорил Вениамин Ефимович, — механик у вас молодец. Сегодня увезем насос в мастерскую. Будет готов через пять дней. Подогрев мазута сделаем своими силами. Как, залили каюты флитом? Хорошо. Клопов не будет. Баню обязательно нужно наладить. Камбуз тоже. Прежде всего, чтобы люди чувствовали, что они на настоящем судне. Сколько человек уехало? Как их фамилии? Я им устрою весело. Плавать больше не будут. Банан-щики…

Морагент провел на танкере целый день. Он лазил в насосную, в машину, в танки, в помещения команды. Он давал советы, показывал, как и что нужно делать, на камбузе вместе с боцманом перекладывал плиту, рисовал схему подогрева. Он шутил, рассказывал анекдоты, подсмеивался над недовольными, кричал на нерадивых и скоро стал любимцем команды. За ним укрепилось прозвище Беня Крик, данное механиком. К вечеру старик устал. Он как-то посерел, тяжело дышал. В кают-компании

Вениамин Ефимович вытащил из кармана пузырек и капнул из него на кусок сахара.

— Нитроглицерин, — извиняющимся голосом сказал Беня Крик. — Мотор сдает. Пожалуй, я останусь у вас ночевать. Тут на диване.

Желтый язычок керосиновой лампы тускло освещает кают-компанию. В углах темно. Не спится. Тикают корабельные часы, привернутые к переборке. Поздно. Из своей каюты я слышу, как ворочается на диване Сосин. Вот он задувает лампу. Потух последний иллюминатор, отбрасывающий блестки на черную воду. Танкер погружается во мрак. Он дремлет у тихого причала, и только шум моря напоминает ему о битвах с океаном, которых больше никогда не будет.

Но дремать танкеру не дали. С этого дня начался штурм. В котельной в две смены работали сварщики, заваривая потекшие дымогарные трубы, матросы вместе с кочегарами чистили насосную, где по щиколотку стоял мазут, боцман и Таня с Клавой выкрасили столовую команды, камбуз и кают-компанию. Давно уже в грелках булькал пар, работала баня. Беня Крик появлялся везде. Он возникал, как джинн из бутылки, — с шумом, свистом, шипением. Потом затихал. Его знали все в городе. Для него не существовало невозможного. Он обладал чудовищной силой убеждения. Потом ежедневно к танкеру подкатывал грузовичок Сосина, и из него, к изумлению и радости команды, выгружали необходимые, очень дефицитные материалы для ремонта. В мастерской спешно чинили насос.

Теперь далекий причал, у которого стоял танкер, уже нельзя было назвать «задворками жизни». Ночью судно, залитое электрическим светом, выглядело настоящим действующим танкером, на палубе гремело радио. Подлатали котел, отремонтировали самый мощный из трех насосов, пустили в ход второе динамо.

В конце концов наступил день, когда Сосин сообщил мне о том, что в порт приходит «Кубань». Я пришел на танкер озабоченный и вызвал старшего механика к себе.

— Ну, Владимир Алексеевич, через три дня здесь появится «Кубань». Не опозоримся?

Механик отрицательно покачал головой:

— Не должны. Сейчас начну подогревать.

Вся сложная система подогрева мазута пришла в негодность. Механик вместе с Сосиным придумали свою систему из хитроумного сочетания труб, клапанов и резиновых шлангов.

Пар, идущий прямо в топливо, обводняя его, снижал качество. Но другого выхода не было.

Вечером в танки пустили пар. Каждый считал своим долгом по нескольку раз подходить к горловинам и прислушиваться к тому, как бурлит внутри судна разогретый мазут. Через двое с половиной суток палуба и крышки танков сделались горячими. Нетерпение у людей достигло предела.

— Давай начнем пробовать, Владимир Алексеевич, — умолял стармеха второй помощник. — Вечером «Кубань» приходит, тогда поздно будет.

Стармех ждал Сосина. Он бегал в насосную, что-то проверял, что-то подкручивал. Машинист неотлучно дежурил в насосной. Но скоро механик появился на палубе. Он опустил металлический футшток в танк. Из открытой горловинки вырвался пар. Механик дождался, когда футшток звякнул о днище, и быстро вытащил его наверх. С конца футштока легко стекали капли горячего мазута. Наконец на палубе появился Вениамин Ефимович. Он был возбужден. Еще с трапа он крикнул:

— Ну как, в порядке?

— В порядке! Пускай насос! — каким-то необычно хриплым голосом отдал команду механик.

Стоявшие на палубе замерли. Двенадцать человек экипажа танкера ждали этой минуты, три недели мы думали о ней, работали для нее. Насос зачавкал, сначала медленно, потом все убыстряя ход поршня. Все смотрели на конец толстого гофрированного шланга, из которого должен был политься мазут… Прошло две минуты. Насос захлебнулся и остановился. Из насосной раздался отчаянный крик машиниста:

— Не берет! Мазут к насосу не поступает! Пара не хватает.

— Не берет! — стоном вырвалось у стоящих на палубе людей.

Старший механик бросился к насосной.

— Иван! — крикнул он машинисту. — Посмотри там… — но голос его осекся.

По каналу, блестя черными бортами, с лоцманским бело-красным флагом на рее, медленно шла «Кубань».

…В кают-компании заседал «штаб».

— Котел не справляется с подогревом и насосом одновременно. Я этого боялся. Закрыть подогрев- мазут через несколько часов остынет. Стоит холодная погода. Что же делать? — обескураженно говорил старший механик.

— Ничего, товарищи, без паники. Что-нибудь придумаем. Это, конечно, неожиданность, но… Вот что, — вдруг вскочил с места Сосин. — Закрывайте подогрев. Начинайте давать топливо, а я сейчас вернусь. Не бойтесь ничего. Все будет в порядке.

Беня Крик выскочил из-за стола и, чуть не ударившись головой о притолоку, бросился к своему грузовичку.

На танкере закрыли подогрев мазута и начали давать топливо. Прошло несколько часов. Насос работал все с большим и большим напряжением. Мазут остывал. Сосин не возвращался, да механик >и не представлял себе, чем он сможет помочь.

И вот, когда уже не оставалось никакой надежды >и насос еле-еле двигал своими поршнями, у борта танкера появился небольшой паровой буксир «Лачплесис». На его мостике победоносно стоял Беня Крик. Буксир, сильно стукнув танкер в борт, ошвартовался по корме.

— Тяните паровой шланг. Соединяйте буксир с подогревом. Он будет давать пара столько, сколько потребуется У него в котлах десять атмосфер.

Это было совершенно невероятно. Механик бросился к Сосину:

— Вы волшебник, Вениамин Ефимович! Теперь нам ничего не страшно.

— Скорее соединяйтесь с буксиром. Мы не должны задерживать бункеровку.

Скоро насос снова застучал монотонно, размеренно.

«Кубань» закончила бункеровку вовремя. На ней не знали, какие чувства испытывает команда танкера. Принимали топливо как обычно. Хмурый механик «Кубани», набрав в бутылку горячего мазута и рассматривая его на свет, недовольно сказал:

— Воды много. После замеров придется процентов двадцать скинуть.

Так началась наша бункеровочная деятельность. Мы без конца ремонтировали танкер. Все было такое старое, изношенное, проржавевшее, что валилось от легкого прикосновения ручника. Каждый день вскрывались новые дефекты. Но, так или иначе, «Грозный» работал и выполнял свою задачу. Бункеровал суда. Механики ругались. В топливо попадало много воды, ведь его подогревали «острым паром»: совали паровой шланг прямо в мазут. Варварство, конечно. Танкер требовал капитального ремонта, но прервать бункеровку было нельзя. В Прибалтике только на «Грозном» суда могли получить топливо.

Мы понимали важность нашей работы и отдавали старому танкеру все свои силы. Понимал это и танкерный джинн Беня Крик. Чем только мог помогал он команде.

Я просидел на «Грозном» около полутора лет. С плаванием что-то не ладилось. Я несколько раз запрашивал отдел кадров, когда же меня пошлют на настоящий пароход, но ответы получал

невразумительные.

В конце 1949 года в дождливое осеннее утро на борт «Грозного» поднялся человек в форменной фуражке и шинели. Разыскав меня, он представился:

— Капитан Горчинский. Приехал сменить вас.

Я был ошеломлен. Почему сменить? Кажется, все шло так хорошо! За время моего пребывания на «Грозном» я получил две благодарности от министра. Пароходство не предупредило меня о том, что едет замена. Я сразу ощутил неприятное чувство под ложечкой. Неужели опять…

— А куда посылают меня? — спросил я Горчинского.

— Не знаю. Кажется, в отпуск.

— Но я не просил отпуска.

— Не знаю. В отделе кадров скажут. Я сюда не просился, вы понимаете…

Сдача судна не заняла много времени. Дела были в порядке. Мы дружески расстались с удивленным Беней Криком, это прозвище так и осталось за Сосиным. Я взял с него слово, что как только он появится в Ленинграде, то обязательно навестит меня. Но Вениамин Ефимович не выполнил обещания. Преждевременно сдал «мотор». Я никогда не видел его больше, но светлую память об этом хорошем, горячем человеке храню до сих пор…

Через двое суток я уже сидел дома и говорил Лидочке:

— Ничего не понимаю. Может быть, переводят на другой пароход? Да ты не волнуйся. Все будет хорошо. Завтра узнаем.

— Я так боюсь, что это снова проклятая Германия… — Ее глаза тоскливо и тревожно глядели на меня.

Утром я нарядился в форму и отправился к начальнику пароходства. Он принял меня сразу. В кабинете было тихо и по-домашнему уютно. Фотографии на стенах, модели судов под стеклянными колпаками, большие старинные тикающие часы с маятником, толстые ковры, мягкие кресла — все располагало к неторопливой, дружеской беседе.

— Так вот, Юрий Дмитриевич, — говорил начальник пароходства, глядя куда-то поверх моей головы. — Буду с тобой откровенен. Приказ есть приказ. Я понимаю, таких работников не увольняют. Вот твои характеристики за двадцать лет службы в пароходстве. И деловые, и политические… Да что там характеристики! Сам я тебя с мальчишек знаю. Первый рейс на «Мироныче» делал. Помнишь? Ведь вся жизнь на виду прошла… — Глаза начальника пароходства потеплели. Он прямо поглядел на меня.

— Так, Василий Дмитриевич, все проверки пройдены, виза получена, за границу сколько месяцев плавал, и все-таки…

Несправедливо.

— Согласен. Но помочь тебе не могу. Конечно, мы дадим время осмотреться. Сейчас иди в отпуск. Он у тебя большой. Не торопись. Подыскивай работу. Если хочешь, сделаем перевод. Вот так…

— Я буду жаловаться. — Внутри у меня все кипело от обиды. — Несправедливо и жестоко.

— Твое право, — развел руками начальник пароходства, — только боюсь, что напрасно.

Я вышел из здания пароходства подавленным. Улица встретила меня гудками машин, солнцем, сверкающими дождевыми лужами. На тротуаре группками стояли моряки. Некоторые, поджав ноги, сидели на оградке скверика. Все здесь было мне родным, близким и знакомым. Двадцать лет назад я так же сидел на жердочке, ограждавшей садик, в ожидании назначения на пароход. На первый пароход. Тогда здесь не существовало Института водного транспорта, бетонных главных ворот порта, клуба моряков, этих густых деревьев… Деревянная парикмахерская стояла на углу, а там, где сейчас аллея, протекал грязный канальчик.

Потом из года в год я ездил сюда на трамвае или ходил пешком, становился старше, на рукавах появилась первая золотая нашивка, потом вторая, третья… Здесь, у ворот порта, меня целовала Лидочка, провожая в рейс. Какая она была тогда тоненькая, совсем не похожая на жену старпома! Девчонка девчонкой. А перед войной она сюда уже приходила с сынишкой. И все еще сохраняла девичью фигуру. Да, двадцать лет — немалый срок.

Я выбрал отдаленную скамейку в скверике и сел. Надо было собраться с мыслями.

Значит, с плаванием покончено… Вспомнилось возвращение на Родину… Ни с чем не сравнимая радость встречи с женой и сыном, и морем… о котором я тосковал не меньше, чем о семье. Оно снилось мне все долгие четыре года… И судно, которое хотелось гладить, обнимать, чуть ли не пробовать на вкус. Казалось, что все плохое осталось позади. И вот теперь опять…

Что же делать? Надо искать работу. Это не так просто. Ведь я моряк, капитан, штурман. На берегу вряд ли понадобится такая специальность… Как-то надо объяснить дома, чтобы не очень расстраивались. Денег на первое время должно хватить. А в общем, скверно.

Когда я вошел в комнату, Лидочка бросилась ко мне:

— Ничего не говори. Я по твоим глазам вижу, что плохо. Да? Плохо? Опять старое?

Я кивнул головой.

— Ну что же, Юра, и это переживем. Ведь бывало хуже. Правда? Не горюй. Все переживем вместе. Что, увольняют?

— Вроде бы. Пока в отпуск. Советуют искать работу. А фактически увольняют.

— Ничего, милый, что-нибудь найдешь.

— Конечно. Кроме того, я напишу в министерство. Разберутся. Кому следует влетит по первое число, я уверен. А работу на всякий случай буду подыскивать.

Я долго писал письмо в Москву. Жаловался. Жена не дождалась конца. Она заснула на диване.

Прошло несколько дней. Я безрезультатно искал работу. Обошел множество различных учреждений, связанных с морем. Меня всюду радушно встречали, внимательно рассматривали диплом, характеристики, говорили, что такой опытный, знающий моряк им очень нужен, просили заполнить анкеты и зайти через несколько дней. А когда я приходил за результатом, место оказывалось уже занятым или оно неожиданно упразднялось совсем.

Ответ на мое письмо пришел неожиданно очень быстро. Задыхаясь от волнения, я вскрыл толстый конверт со многими печатями. Из него выпала глянцевитая, красивая, отпечатанная типографским способом карточка. Чернилами была вписана только моя фамилия. Мне сообщали: «Ваше письмо получено и отправлено на рассмотрение в Балтийское пароходство». Следовала четкая, разборчивая подпись секретаря.

«На кого жаловался, к тому и попало на рассмотрение», — горько подумал я, вертя в руках красивую карточку.

А деньги подходили к концу. Но, как часто бывает в жизни, помог случай. Я встретил Савву Далька. Узнав о моих мытарствах, он сказал:

— Я уже давно покинул пароходство и работаю в «Арктической экспедиции». Неплохая контора, я вам скажу. У нас и Брызгин работает. Попробуйте к нам. Мы с Николаем Яковлевичем поговорим о вас с Маришей, это наша начальница. Душевный человек. Попробуйте. Люди нам нужны.

Я горячо поблагодарил Савву и решил завтра с утра пойти в «Арктическую экспедицию».

Чайные клипера

Новая контора помещалась на улице Герцена в красивом доме бывшего страхового общества «Россия». «Арктическая экспедиция» занималась опасной работой — переводила северными морями речные суда, построенные у нас и за границей для сибирских рек. Пассажирские, буксирные, технические, грузовые.

Поднявшись по роскошной мраморной лестнице во второй этаж, я остановился. Вся обширная площадка была заполнена людьми. Кого только тут не было! Какие-то уж чересчур блестящие моряки, в огромных фуражках, золотых нашивках, молодые модные парни, потертые жизнью старички и матросы в робах с подозрительно отекшими лицами, пожилые женщины и сильно накрашенные девушки. Мне захотелось послушать, что говорят про мою будущую работу. Я подошел к высокому парню в выцветшей морской шинели и спросил:

— Тоже нанимаетесь? Ну, как тут вообще?

— Ага. Обещали послать старшим механиком. Пока, говорят, судов мало, но будет много. В прошлом году людей не хватало. Контора хорошая. Платят нормально. Вот только боюсь, с командами будет плохо. Посмотрите, кто здесь околачивается. Конечно, на пятьдесят судов хорошие команды сразу не подберешь. Все хорошие плавают в пароходствах, а сюда идут… Ну, ничего. Попасть бы на судно, я сам бы подобрал себе мотористов. Есть у меня люди. А вы тоже?

Все это механик рассказал мне в одну секунду, не давая вставить слова. Говорил он быстро, как пулемет, при этом его худое подвижное лицо все время меняло выражение.

В приемной меня встретила молодая приветливая женщина. Посмотрев мои документы, она сказала:

— Так это вы? За вас уже просили Дальк и Брызгин. Рекомендовали с хорошей стороны…

— Постараюсь оправдать их рекомендацию, если пошлете.

— Заходите через несколько дней. Вероятно, для вас будет судно.

На лестничной площадке меня остановил механик, с которым я разговаривал.

— Ну, что сказали? Что обещала Мариша?

— Сказала, что пошлет через несколько дней.

— Хорошо. Она обычно не треплется. Если говорит, то делает. Вот бы вместе попасть, а?

Я шел домой в неважном настроении. После строгого

Балтийского пароходства, с прекрасными командами и комсоставом, с традициями и определенным понятием о морской службе, «вольница», которую я видел на лестничной площадке, произвела на меня удручающее впечатление. Я уже представлял, что можно ожидать от людей, которых набирают на несколько месяцев, а потом снова увольняют до весны… Но несмотря на это, я твердо верил, что если подберутся толковые механики и помощники, то и команда станет хорошей. Кроме того, впереди сверкало море, по которому я уже стосковался, самостоятельное плавание в должности капитана, хоть и на маленьком судне. И я обрел веселое расположение духа. Скоро буду плавать!

Через несколько дней я получил в командование теплоход «Брусилов», новый буксир сормовской постройки, предназначенный к перегону из Ленинграда на Обь. Выкрашенный светло-шаровой краской, с наклонными белыми мачтами, буксирчик походил на военный корабль. Построили таких в Сормове десятка три. Они должны были пополнить флот Восточной Сибири.

«Брусилов» зимовал в торговом порту. Он крепко вмерз в лед Барочного бассейна. К моему приходу на судно там уже имелся старший механик. Фамилия его была Захаров, а имя носил вычурное — Руф. Он воевал, после ранения на левой ноге был протез, несмотря на который быстро передвигался по своему машинному отделению и даже, как говорил, неплохо танцевал вальс. Молодой старший механик, он внимательно следил за своими механизмами и машиной. На «Брусилове» все работало исправно. Руф был славным человеком, компанейским, дисциплинированным, хорошим помощником по всяким общественным делам, и, пожалуй, единственным его недостатком являлась любовь к пребыванию на мостике, а иногда и вмешательство в палубные дела. А я этого не любил, но прощал за чистосердечное признание. Стармех как-то сказал мне:

— Ошибку я совершил. Надо было мне быть капитаном. Так меня и подмывает самому швартоваться, командовать судном…

— Так за чем же дело стало? Давай переучивайся.

— Нет, поздно уж. Раньше надо было все это начинать.

В то время о профессии капитан-механика никто и не помышлял. Теперь же на речном флоте это обычное явление.

Вторым механиком нам прислали Колю Тульского, великолепного специалиста, милейшего человека, но такого флегматика, которого, как мне кажется, не могло бы вывести из состояния покоя сообщение о том, что «Брусилов» развалился на три части.

Старпом тоже оказался штурманом, знающим свое дело. Так

что мое желание иметь на судне хорошую администрацию сбылось. Команда была пестрая. Наряду с великолепными моряками на теплоход попали совсем неопытные юнцы и злостные пьяницы. Их нам предстояло обратить в «христианскую веру».

Весной мы начали работать. Таскали из Ленинграда в Беломорск лихтера. Раньше буксировкой я не занимался и потому первое время чувствовал себя неуверенно. Непривычно было целиться в узкие, как щель, ворота шлюза, затаскивать туда лихтера. Пространство между стенками шлюза и бортами лихтера оставалось минимальным. Сделав один рейс, я все же приспособился. Так началась моя служба в «Арктической экспедиции», и длилась она двадцать лет. Работа оказалась интересной, экспериментальной, хорошо оплачивалась, и мне не захотелось возвращаться в пароходство, когда это стало возможным.

К первому августа караван собрался в Архангельске. Суда пришли издалека. Многие из них были построены в Чехословакии, Венгрии, Румынии, прошли весь Дунай, Черное море, Волгу, Мариинскую систему и только после этого попали в Белое море. К этому времени в Архангельск «подгребла» и ленинградская группа судов. В том числе и мой «Брусилов».

Когда пришли все суда экспедиции, даже Архангельск, который было трудно удивить количеством моряков, оживился. На улицы города одновременно высыпало триста человек экспедиционников. На Краснофлотском рейде стояли на якорях десятки буксиров, самоходок, толкачей, рефрижераторов. День и ночь, благо ночи были светлые, из города на рейд непрерывно сновали катера, нагруженные продовольствием, техническим снабжением, навигационными пособиями. По Северной Двине метались быстроходные полуглиссера со всякими проверочными комиссиями. Им надлежало убедиться в полной готовности речных судов выйти в коварные северные моря. Лакированный, сверкающий надраенной медяшкой катер капитана порта швартовался то к одному, то к другому судну, и плохо приходилось тому капитану, у которого находили какие-то упущения, непорядки.

Вечером свободные от вахт экспедиционники заполняли рестораны «Интурист» и «Полярный» и веселились там напропалую.

Времени оставалось в обрез. Но какой-то теплоход опаздывал, кого-то ждали, министерство добавило в последний момент судно, а оно было еще совсем не готово к морскому переходу. В общем, дел хватало всем. К дате выхода, назначенной

начальником экспедиции, опаздывать не полагалось. Задержать выход могла лишь погода.

Начальником экспедиции был Федор Васильевич Наянов, в прошлом капитан первого ранга, коммунист с двадцатого года, лауреат Государственной премии, награжденный многими орденами за боевые действия во время Отечественной войны. Высокого роста, очень полный, бритоголовый, он удивительно легко носил свое тело, поднимаясь по крутым трапам, прыгая на катера и шлюпки, передвигаясь в качку по узким судовым коридорам. Человек, состоящий из противоречий, он всегда поражал меня. В нем сочетались доброта к людям и несправедливость; решительность и суеверие; умение учинить разнос и поговорить по душам; знание людей и необъяснимые ошибки в их оценках; жизненная мудрость, опыт крупного руководителя и ненужное упрямство, легкомыслие… Характер. Волевой человек, половину своей жизни отдавший морю.

Шесть лет я занимал должность флагманского капитана на судах, где держал свой вымпел Наянов, и за это время узнал его хорошо. Всякое бывало…

Я вспоминаю свое первое знакомство с Наяновым, навсегда определившее мое отношение к нему. Спустя две недели после моего прихода на «Брусилове» в Архангельск всем капитанам приказали получить карты на переход в Арктике. Большинство из них были закрытыми. Выбрав время, я отправился на флагманский корабль к «начальнику штаба» — так называли у нас начальника отдела кадров. Он ведал и картами. Найдя в списке мою фамилию, кадровик засуетился, стал проглядывать какие-то бумажки, тетрадки и наконец смущенно сказал:

— Понимаешь, Юрий Дмитриевич, роздал уже все комплекты. Нет готовых. Придется тебе прийти денька через два. Я подберу. Извини, пожалуйста.

Я вышел от него расстроенный. Что же делать? Ведь без карт в море не пойдешь. Придется увольняться, снова искать работу, которую почти невозможно найти моряку в середине навигации. Я вспомнил жену, сына и принял решение: «Пойду к Наянову. Расскажу ему все, пусть решает».

Я постучал в каюту к начальнику экспедиции. Из-за двери тотчас же послышался голос:

— Давай входи.

Наянов сидел, плотно втиснувшись в деревянное вращающееся кресло. Оно было явно мало для него и жалобно скрипнуло, когда он повернулся ко мне.

— Ну что у тебя? — сказал начальник экспедиции. Глаза его ожидающе глядели на меня.

— Капитан «Брусилова», — проговорил я и замолчал, не зная, как начать неприятный разговор. Все приготовленные заранее фразы вылетели из головы.

Наянов тоже молчал. Наконец я собрался с мыслями. Сначала я говорил о своем деле вяло, противным просительным тоном, но потом разошелся, заговорил горячо, искренне, решив: «Скажу все, что думаю. Будь что будет». Я рассказал начальнику, как мучился в Германии, искал работу, про семью, про то, как мне не хочется уходить из экспедиции. Неожиданно Наянов прервал меня:

— Да ладно. Все это я знаю. Савва мне рассказывал. Да и сам я наблюдал за твоей работой, когда ты в канале лихтера таскал. С документами твоими знакомился. Все знаю… — Он замолчал и в раздумье побарабанил пальцами по столу. — Так-так… Карты, значит… — Наянов встал и три раза ударил кулаком в стенку. Через минуту в каюте появился «начальник штаба».

— Вызывали, Федор Васильевич?

— Ты почему капитану «Брусилова» карт не дал?

— Нет готовых комплектов, Федор Васильевич…

— Дай ему запасной комплект с флагмана, а нам подберешь позже.

— Но… Федор Васильевич, разрешите, я вам доложу обстоятельства.

— Ладно-ладно. Все обстоятельства мне известны. Выдайте карты.

«Начальник штаба» изменился в лице.

— Я попрошу на минутку выйти капитана «Брусилова». Извините, пожалуйста.

— Никаких «выйти». Он останется здесь. Принесите ему карты.

— Но я не могу их ему выдать! — с отчаянием воскликнул «начальник штаба».

Глаза Наянова сузились.

— Принесите сюда комплект карт. Понятно? — приказал он.

Кадровик выскочил за дверь. В каюте наступила тишина. Слышалось только тяжелое дыхание Наянова.

Появился «начальник штаба» с рулоном карт в руках.

— Где список? — коротко спросил Наянов. Кадровик протянул ему разграфленный лист.

— Внесите мою фамилию. — Есть внести.

— Где расписаться?

— Вот здесь.

Наянов взял со стола перо и с нажимом поставил свою подпись.

— Давайте карты… Мне, мне давайте… Все в порядке?

Можете идти.

Я уже предчувствовал, что произойдет дальше, и огромная радость, благодарность за доверие заполнили мое сердце. Я готов был обнять этого большого человека.

— Видал? — засмеялся начальник экспедиции. — Иначе нельзя. Но и его обвинять не надо. Это не бюрократизм. Порядок такой. На тебе карты. Плавай спокойно.

Я крепко пожал руку начальнику. Все чувства были вложены в это рукопожатие, но я тут же подумал: «Наянов дал мне карты под свою личную ответственность. А что, если его спросят, почему он это сделал, нарушил правила? Спросят такие же люди, каких я встречал, когда искал работу…» И я спросил:

— Федор Васильевич, а не будет у вас неприятностей?

— Не будет, — грубовато ответил Наянов. — Там, где надо, поймут. Я привык верить в людей и отвечаю за тебя своим партийным билетом. Бояться мне не пристало. Я коммунист с тысяча девятьсот двадцатого… Меня и белые в колодце топили, и в тюрьму чуть не посадили, и погибал я не однажды. Пуганый. Вот так…

А вскоре навсегда исчезла мрачная тень замка, и уже не требовалось вмешательства начальника экспедиции для получения карт или ответственных, командировок, можно было возвращаться в пароходство, но я уже привык к новой работе. В общем, все встало на свои места. Этот резервный комплект карт укрепил мою веру в хороших людей. Теперь я был убежден, что хороших все-таки больше.

Отчетливо помню я и первый перегон сормовских буксиров. Тогда эти плоскодонные суденышки с тоненькой обшивкой в четыре миллиметра являлись чудом техники. Баренцево море штормило. Буксирчики заливало и страшно качало. По стеклам нашей рубки потоками стекала вода. Я не мог видеть собственного судна, но хорошо видел соседей и впереди идущих. Жалко накреняясь, они показывали свои красные, выкрашенные свинцовым суриком днища, и казалось, что вот-вот опрокинутся. Было жутковато смотреть на них и чувствовать, что и мы находимся в таком же положении.

На мостик пришла зеленая от морской болезни радистка Паша. Глядя на меня измученными и печальными глазами, она прошептала:

— Капитана к радиотелефону. Начальник…

Не закончив фразы, она перегнулась через обнос мостика. Я не хотел ее смущать, соскользнул по поручням трапа вниз, очутился в радиорубке, взял наушники и микрофон.

— Капитан «Брусилова» слушает. — В наушниках послышался

вздох, и на некоторое время все замолкло. Я понял, что начальник ищет в списке капитанов мое имя и фамилию. Потом простуженным голосом сказал: — Привет… — Он назвал меня по имени и отчеству. — Наянов. Ну как дела? Трудно? Ничего, все так идут. Ничего. Скоро Вайгач. Укроемся. Судно в порядке? Вот и хорошо. До встречи.

От этого спокойного голоса мне стало легче. И море показалось не таким бурным. Нужен такой голос в трудную минуту. А когда мы пришли на Вайгач в бухту Варнека, с флагмана передали: «Капитана «Брусилова» к начальнику». На гребной шлюпке я прибыл на судно. Мне совсем не хотелось ехать к начальнику. Разболелось горло, и я очень устал. Все пять суток перехода спал урывками.

Наянов сидел в кресле небритый, усталый, осунувшийся. Он усадил меня напротив себя и сказал:

— Здорово нам давало. Да… Ну, ничего. Дошли. Ты молодец, хорошо держался. Спасибо.

Мне даже спать расхотелось. Сам начальник похвалил. Он знал, как было трудно в эти пять суток, и понял, что надо, необходимо похвалить людей. Я попрощался. Отвалил от борта и заметил, как к флагману идут шлюпки со всех буксиров. Значит, для каждого капитана найдется у начальника доброе слово.

Так рейс за рейсом… Меня назначили флагманским капитаном, а потом капитаном-наставником. Плавали мы с Федором Васильевичем на одном судне, обедали в одной каюте. Жили дружно. Но случались и ссоры. Помню одну из них, когда обычно спокойный и благодушный Наянов разбушевался, кричал, чуть не топал ногами. А получилось вот что. Наш караван из сорока судов стоял у острова Тыртов, что в ста двадцати милях от пролива Вилькицкого. Ожидали ледоколов. Пролив был непроходим. Наконец ледоколы пришли, а с ними атомоход «Ленин». Начались совещания, намечающие план проводки. Капитан ледокола «Белоусов» Татарчук сказал мне при встрече:

— Я считаю, что целесообразно руководить проводкой ваших судов с ледокола. Что, если тебе с Федором Васильевичем перейти на «Белоусов»? Поговори с ним, большое облегчение было бы, а то все решения надо передавать по радиотелефону. То шумы, то непрохождение… А погода ведь не ждет.

— Пожалуй, — согласился я, — спрошу его.

Вернувшись с ледокола, я передал наш разговор с Татарчуком. Надо было видеть лицо и глаза Наянова.

— Если тебе надо, можешь отправляться туда хоть сейчас! А я никуда не пойду, понял? На безопасном ледоколе, конечно, лучше сидеть, чем на наших судах. Можешь идти.

Больше этот вопрос я не поднимал. Ну, не хочет — и не надо. Но, к моему счастью, Наянова вызвал к телефону капитан атомохода «Ленин» Пономарев, флагман проводки, и сказал, что было бы все-таки удобнее, если Наянов со своим штабом перейдет на «Белоусов». Наянов вежливо отказался. Но что с ним было потом! Он позвал меня и кричал, что все эти приглашения на ледокол мои происки, что это я хочу попасть к своим приятелям на «Белоусов», что я не думаю о караване и ищу личных удобств. Чего только он мне не наговорил! Клянусь, я не был виноват! И обиделся за незаслуженный разнос. Обедать в каюту к начальнику я не пошел. На следующий день тоже. На третий день вахтенный матрос сказал, что начальник приказал явиться. Я пришел. Наянов стоял посреди каюты, лицом к двери. Я официально доложил:

— По вашему приказанию явился.

Федор Васильевич посмотрел на меня смеющимися глазами.

— Ну, ладно, ладно. Садись обедать. Скучно мне без тебя. — И улыбнулся своей обаятельной улыбкой. — Садись. Ладно.

Я сразу почувствовал, что ему неловко за свою вспышку, да и я не мог долго сердиться на него. Так и закончилась эта смешная ссора. А в море Лаптевых, когда наш караван был на грани гибели, я понял, отчего Наянов не ушел на ледокол. Он не хотел быть в более безопасной обстановке, чем все наши люди.

Наянов давно мог руководить экспедицией из Москвы, из своего кабинета на улице Куйбышева. Возраст, опыт, заслуги — все позволяло ему это сделать. Но он, человек неуемной энергии, отказался от такой перспективы. Только в море, только вместе с людьми…

Как легко было решать все вопросы за широкой спиной Наянова! Я давал какой-нибудь совет по проводке, он взвешивал, обдумывал его. Просчетов быть не должно. А потом принимал решение. Или соглашался, или предлагал что-нибудь свое. Наряду с этим Наянов был не чужд тщеславия. Дело прошлое — любил он славу, любил для всех быть хорошим, сделать что-нибудь другим. Вот, мол, какой Наянов! И это иногда нам мешало.

В один из приходов Ленского каравана на остров Диксон мы поехали с Федором Васильевичем в штаб проводки. Его там все знали, пожимали руки, спрашивали о здоровье, рассказывали ему полярные новости. Встретился нам в штабе и капитан-наставник Севморпути Леон Константинович Шарбаронов. Зная натуру Наянова, он обнял его, похлопал по спине, лукаво спросил:

— Федор Васильевич, ты не можешь нам сделать одолжение? Вчера ваши буксиры привели две маленькие шаландочки. Ну,

такие крошки, знаешь? Ваши обязательства и договор на Диксоне кончаются. Дальше в Тикси их должны вести мы. Понимаешь, нет у нас буксировщиков. Может быть, возьмут их твои богатыри?

Богатыри! Это была явная, сознательная лесть. «Богатыри» имели толщину обшивки четыре миллиметра. Им предстояло преодолеть тяжелый лед. Но надо было знать Наянова. Он хлопнул Шарбаронова по плечу, засмеялся.

— Что, оказались несостоятельными? Могучий северный флот! Ладно. Сделаем. Для вас сделаем, Леон Константинович.

Шарбаронов расплылся в улыбке. Ему только этого и надо было. Я не выдержал, вмешался в разговор:

— Ради бога, не берите шаланды, Федор Васильевич. Их привел капитан Башко. Проклинает все на свете. Они плохо идут даже по чистой воде. У него на полторы мили уменьшился ход. Не берите. Намучаемся. Лед тяжелый впереди.

— Возьмем, — сердито блеснул глазами Наянов, вероятно, уже сожалея, что пообещал, но слово было сказано. — Возьмем, — закрепил он. — Подумай, кому их прицепить.

Я начал доказывать, что шаланды брать нельзя. Но чем больше доводов я приводил, тем упрямее становился начальник. Кончилось тем, что он по-настоящему рассердился.

— Делай, что тебе приказано. Беру шаланды.

Шарбаронов наградил меня уничтожающим взглядом и принялся благодарить Наянова. А я, злой, понимая, что шаланды принесут нам много хлопот и неприятностей, вышел на воздух, думая, кому их дать на буксир. Выбор пал на Маслова — нашего опытного капитана. Начался рейс на Тикси. Караван, как и предполагалось, шел в тяжелом льду. Шаланды все время застревали. Приходилось специально возвращать ледоколы, чтобы их околоть. Скорость всего каравана снизилась. Нельзя же было бросить Маслова с шаландами на произвол судьбы! Приходилось его ждать.

Федор Васильевич рвал и метал. Как только не ругал он себя!

— Черт бы меня побрал! Зачем я согласился их взять! Этот хитрец Шар знал, что просить. Ах, черт возьми, эти шаланды совсем не идут. Эх, дурак, дурак…

Я злорадно заметил:

— Я же вас предупреждал…

Наянов обернулся ко мне и сердито проговорил:

— Убедить должен был. Предупреждал, предупреждал, а не убедил. Да еще неизвестно, кто из нас прав.

Я засмеялся. А когда мы пришли в Тикси, он мне сказал:

— Видишь, все-таки по-государственному поступил. Зимовали бы эти шаланды на Диксоне целый год, а так работать

будут, пользу принесут. Ну, помучились, правда.

…Было это сравнительно недавно. На Дальнем Востоке погибло два наших судна. Они попали в ураган, эти малыши, и были вынесены на камни у мыса Наварин. Тут они и нашли свою гибель. Все люди спаслись. С караваном, как всегда, шел Наянов.

Сейчас мы сидели в его маленьком кабинете в Москве, и он с горечью рассказывал мне про то, как поднялся ураганный ветер, как непрекращающиеся заряды забили локаторы снегом, как не оправдался прогноз и не вышло навстречу морское обеспечение, как в этом же районе погибли в этот день рыболовецкие сейнера, как большинство команд и капитанов все-таки сумели сберечь свои суденышки.

Я слушал его и представлял, как все это происходило. Их долго не выпускали из бухты Провидения. Все решали вопрос: идти или зимовать. Время было позднее. Наконец пришло распоряжение оставить маломощные суда на зимовку в бухте Провидения, а более сильным двигаться вперед.

— …и, понимаешь, — говорил Наянов, неумело затягиваясь (он курил только в минуты сильного волнения), — все уже было решено. Назначен час отхода, сказали, кому оставаться, кому идти. И вдруг ночью прибежали капитаны с этих остающихся судов, радостные, с криком: «Выпускают! Идем!» Наверное, не надо было их брать с собой… Но я ведь тоже человек. Очень мне хотелось привести на Амур весь караван. А тут все капитаны в один голос: «Пошли. Раз выпускают, значит, можно. Дойдем…» И я невольно поддался голосу этих оптимистов. Все было за нас: прогноз, обеспечение, фактическая погода. Ну, ты знаешь, какой-то риск был. Он всегда есть. Не будешь рисковать, не проведешь ни одного судна. Теперь я себя ругаю: ведь мог оставить. Но хотелось, чтобы они пришли, работали в полную силу в будущую навигацию. Вот почему так нужен был мне хоть один голос против принятого решения. А его не оказалось… Как тогда… помнишь, с шаландами?

— Вы все равно не согласились бы с этим голосом, — улыбнулся я.

Федор Васильевич снова тяжело вздохнул:

— Согласился бы. Во всяком случае, призадумался…

Тем временем «Экспедиция спецморпроводок» — так переименовали «Арктическую экспедицию» — делала большое дело. Сибирь развивалась столь бурно, требовалось такое огромное количество судов, что никакие местные заводы не могли справиться с этой задачей. Восточным рекам нужны были буксиры, самоходные баржи, пассажирские теплоходы, технический флот. Вот тут «Экспедиция» и сказала свое слово.

Сказала так громко, что заставила прислушаться, а потом и замолчать многие заинтересованные, но скептически настроенные организации. А скептиков и маловеров было много.

— Что вы! Разве мыслима проводка арктическими морями одновременно большого количества речных судов? Ни в коем случае. Суда угробите и людей погубите.

Но Сибирь настойчиво требовала флот. Надо было рисковать. И рискнули. Рискнул Наянов с группой энтузиастов. В 1949 году впервые в истории мореплавания осуществили массовый перегон речных судов из центральных бассейнов России на реки Обь и Енисей. За этот перегон Наянов получил звание лауреата, а команды судов наградили орденами и медалями Советского Союза. Наянов со свойственной ему оперативностью сразу сумел сплотить вокруг нового дела опытных моряков. Чем он привлек их? Прежде всего новизной, смелостью идей. Можно перевести одно, два, три речных судна морями, дав им морское обеспечение. Такое бывало. А вот провести шестьдесят — семьдесят судов одним караваном, да не на Обь и Енисей, как делали раньше, а на далекую Лену, через Белое, Баренцево, Карское и море Лаптевых, — это уже выглядело совсем иначе. Платили перегонщикам хорошо.

— Плата за страх! — смеялись друзья, когда слушали мои рассказы об очередной проводке.

Нет, платили нам не за страх, а за настоящую морскую работу, плавание на две вахты, бессонные ночи, отсутствие электронавигационных приборов, ведь в то время они имелись даже не на всех морских судах. Когда уж тут думать о речниках! Плавание было трудное, в районах частых туманов и штормов, почти всегда в плохую видимость. Оно требовало особенного внимания, детально разработанных инструкций и дисциплины. А вот с этим первое время не ладилось. Попробуйте набрать на сто судов хорошие команды, сказав, что плавание будет продолжаться не более пяти месяцев. А потом? Потом — все свободны до будущего года. Кто же из хороших согласится на такие условия? И попадали к нам на суда разные люди. Кто только не приходил на перегон в первое время! Любители «длинного» рубля, пенсионеры, искатели приключений, журналисты в поисках новых тем, молодые романтики, впервые вступившие на палубу.

Вскоре кое-как справились с проблемой кадров. Часть хороших моряков удалось сохранять на службе до следующего перегона. Это помогло «Экспедиции». Но каждый год не походил на следующий. Возникали все новые вопросы, их надо было решать быстро, оперативно, смело. Появлялись незнакомые типы

судов, раньше никогда не выходившие в море. Как они поведут себя? Выдержат ли тонкие корпуса? У многих очень высокие рубки, а осадка всего полтора метра. Не опрокинутся ли? Как их загрузить? Как подкрепить?

Правда, что греха таить, и страха в наших плаваниях хватало: суда-то все-таки были чисто речные, маленькие, почти без продольных креплений, с тонкой обшивкой. А моря, через которые они проходили, славились своим бурным нравом, льдами и туманами. И несмотря на тщательную подготовку, помощь гидрометеослужбы и ледоколов, наши суденышки попадали в жестокие штормы, у них лопались палубные листы, во льду они получали пробоины, ломали винты и рули. Караваны заходили в укрытия, подваривали там корпуса и палубы, правили винты, ремонтировали рули и продолжали путь дальше.

Какими только судами за это время мне не приходилось командовать! От крошечного буксира до огромного речного трехдечного «пассажира», построенного для нас в ГДР. За двадцать лет «Экспедиция» перевела Северным путем около двух тысяч судов. Моряки в шутку называли этот флот «чайными клиперами». Очень уж необычным было появление легких как перышки речных судов в таких серьезных арктических морях. С каждым годом росло количество перегоняемых судов, каждый год мы шли все дальше и дальше и наконец достигли противоположного края нашей великой страны — Николаевска-на-Амуре. Да, это была настоящая мужская работа.

«Истинный курс»

Перегоны кончались в октябре. Команды увольняли, а капитанов и механиков старались сохранить. Посылали в разные порты, где зимовали суда, предназначенные к перегону и по каким-то причинам опоздавшие к выходу каравана. Иногда нас назначали наблюдающими на заводы. Там строились теплоходы для пароходств сибирских рек. В следующую навигацию они тоже должны были идти на север. Горький, Измаил, Ростов, Архангельск, Красноярск стали постоянными местами наших зимовок. Только счастливчикам удавалось оставаться на судах в Ленинграде.

Зимой работа была необременительной: суточные вахты, наблюдение за безопасностью стоянки, подготовка к арктическому рейсу. Долгие зимние вечера в чужих городах оставались незанятыми. Их надо было чем-то заполнить. Моряки много читали, иные заочно учились, а некоторые просто били баклуши и смертельно скучали, с нетерпением ожидая весны, начала плавания.

В конце сентября 1952 года я вернулся из Салехарда, куда привел сормовский буксир «Пожарский». Предстоял отпуск, а потом новое назначение и зимовка где-нибудь вдалеке от дома. В Ленинграде я остаться даже не мечтал. Но пока настроение было отличное. Отпуск полтора месяца, Невский проспект, залитый нежарким осенним солнцем, яркие пятна цветочных лотков на углах, нарядные люди на улицах, возможность походить по театрам, навестить друзей… Что может быть приятнее моряку, который провел все лето в Арктике при температуре воздуха не выше четырех градусов тепла, с постоянно серым, скучным небом, холодными, пронизывающими ветрами, двухсменной вахтой!.. В общем, пока я наслаждался пребыванием дома и Ленинградом.

Но одна мысль не давала мне жить спокойно. Когда я оставался один, она обязательно приходила ко мне. «Надо написать книгу, — думал я, — написать про мальчишку, который стал моряком. Как все это непросто в жизни. Успехи, ошибки, неудачи… Ведь это должно быть интересно… Особенно тем, кто еще не выбрал профессии. Или стремится в море, не зная его. Но как приняться за такую работу?..»

Со времени того злосчастного рейса, в который я ушел на «Эльтоне» в начале июня 1941 года, я не написал ни строчки, кроме всяких анкет, объяснительных записок, документов, связанных с плаванием и должностью капитана… Прошло двенадцать лет с тех пор, как журнал «Костер» напечатал мой

последний рассказ. А тут книга! Выйдет ли что-нибудь из этой затеи? Сумею ли? Не будет ли напрасным мой труд? О том, какой это тяжелый труд, я уже имел некоторое представление. Сомнения одолевали меня. Может быть, я так бы и не взялся за перо, если бы не встретил случайно в ДЛТ Эшмана, бывшего заместителя главного редактора «Костра».

После радостных приветствий, расспросов где тот, а где этот, Юлик спросил:

— Пишешь что-нибудь?

— Нет. Но вот послушай…

Я ухватил Эшмана за пуговицу и с жаром начал излагать ему содержание задуманной книжки. Но не успел я дойти до второй главы, как Юлик строго проговорил:

— Хватит болтать. Работать надо.

— Ну, ты все-таки скажи, интересно? Интересно то, что я тебе рассказал?

— Как напишешь. Может быть интересно, а может быть скучно.

— Ну, а все-таки? — не унимался я.

— Вот что, милый мой, не задавай детских вопросов, — желчно сказал Эшман. — Будет рукопись, прочту и тогда скажу, что у тебя вышло. Но, в общем, может быть интересно, — сжалившись, добавил он, заметив мою растерянность. — Пиши заявку и неси в «Детгиз». Это их тема.

— А что это такое «заявка»?

— Заявка — это пробный камень, брошенный в издательство. Он должен обязательно попасть в цель, ударить так, чтобы там заинтересовались и схватили твою повесть обеими руками. Понял? Когда будет готова, принеси, я посмотрю.

Через несколько дней я с волнением потащил заявку к Юлику. Она была написана на десяти страницах и включала в себя содержание всех четырнадцати глав, которые я наметил.

— Дорогой мой, если ты думаешь, что в издательствах очень любят читать длинные заявки, то ты глубоко ошибаешься. Чем короче заявка, тем лучше, — сказал мой наставник. — Посиди и помолчи. Я попытаюсь прочесть твое сочинение.

Пока он читал, я не спускал с него глаз, пытаясь по лицу узнать, каково его первое впечатление, но Юлик, надев на нос очки, бесстрастно углубился в чтение. Минут через десять он сказал, откладывая заявку в сторону:

— Длинно. Но в общем сойдет. Мне не нравится название повести — «Настоящее море». Ну, это дело твое… Иди в «Детгиз», к Григорию Павловичу Гроденскому. Он сейчас замещает главного редактора…

Я отправился в «Детгиз» немедля. Редактор принял меня радушно.

— Заявочку принесли? Прекрасно. Из морской жизни? Великолепно, — говорил он, по-птичьи склонив голову набок, перелистывая заявку и поглядывая на меня через стекла очков. — Очень хорошо.

Я не верил своему счастью. Неужели берут? Пройдет год, и я увижу книжку в магазинах, в руках у ленинградцев? Невероятно!

— Значит, пойдет? — глотая слюну и нежно глядя на редактора, сказал я. — Вероятно, договор надо заключить для упрочения наших отношений?

— Э-э… Как вы сказали? Договор? Вообще-то, конечно, надо, — лучезарно улыбнулся Григорий Павлович. — Но придется подождать несколько дней. Вот в пятницу у нас будет редсовет, мы обсудим вашу заявку, решим и дадим вам ответ. Таков у нас общий порядок. До свидания.

— Когда к вам зайти?

— Да вы не беспокойтесь. Звоните через недельку. Вот мой телефон…

Я покинул «Детгиз» окрыленный: Конечно, неприятна недельная задержка, но порядок есть порядок. Не будут же для меня делать исключение. По лицу главного редактора можно было сразу определить, что тема его заинтересовала. Вполне понятно. Про торговых моряков по-прежнему пишут мало, никто не знает хорошо их жизни, надо срочно приниматься за книгу.

Теперь все свое время я посвящал «Настоящему морю». Писал увлеченно, по нескольку часов в день. Через неделю я дрожащей от нетерпения рукой набрал телефон Гроденского. Пока в трубке слышались длинные гудки, я думал: «Ну, сейчас, наверное, скажут— обсудили, приняли, приезжайте сегодня заключать договор…»

Но вот на той стороне провода подняли трубку, и я услышал голос редактора:

— Слушаю.

Я назвал свою фамилию.

— Кто? Ах, да-да. Это вы принесли заявку на повесть о моряках? Должен вас огорчить: в пятницу редсовет не состоялся. Когда будет? Если ничего не случится, то в следующую пятницу. Звоните, пожалуйста. Очень жаль, — приветливо закончил Гроденский и повесил трубку.

Опять задержка! Ну, что поделаешь. Придется подождать. С этого дня начались мои мучения. Редсовет не состоялся ни в следующую пятницу, ни во вторник, ни в четверг. Я звонил, заходил в «Детгиз» сам, но всегда слышал один ответ:

— Редсовета не было. А без него сказать чего-нибудь конкретного не могу, — огорченно разводил руками Григорий Павлович. Видимо, ему самому было неприятно все время кормить меня «завтраками». Но сделать он ничего не мог. Время шло, терпение мое истощалось. Мне уже начало казаться, что «Детгиз» просто не хочет разбирать мою заявку.

Я решил посоветоваться с Юликом. Он выслушал меня, иронически поджав губы.

— Ты, наверное, хотел, чтобы директор издательства танцевал перед тобой вприсядку с договором в руках? От восторга, что получил твою заявку? Нет, дорогой мой, так не бывает…

— Так что же делать? Ведь я скоро уезжаю! — закричал я.

— Не знаю. Есть в Ленинграде еще несколько издательств, но не знаю… «Художественная литература», например, печатает главным образом классиков. Если я не ошибаюсь, ты еще не классик? Хорошо все таки, что ты это признаешь. Попробуй «Лениздат». Миша Смирнов, завотделом художественной литературы, — хороший и понимающий парень.

Совершенно обескураженный, я взял второй экземпляр заявки и отправился на Торговый переулок, где тогда помещался «Лениздат». В большой комнате за столами сидело несколько женщин, а посредине за столом побольше — мужчина в очках с блестящими черными волосами читал рукопись. Я понял, что это и есть Миша Смирнов, завотделом, и скромно остановился у стола, ожидая, когда он обратит на меня внимание. Наконец он заметил меня и тотчас же отодвинул папку с листами.

— Вы ко мне?

Я утвердительно кивнул головой.

— Вот заявку принес на повесть для юношества, — сказал я и протянул ему свои листки.

— Садитесь, пожалуйста. Я сейчас посмотрю, — пригласил меня завотделом.

Я уселся в кожаное кресло, стоявшее у стола. Смирнов неторопливо, внимательно читал заявку. Теперь я не пытался угадать, какое впечатление производит моя заявка. Я стал скептиком, у меня не было больше иллюзий. «Детгиз» научил меня быть таким.

Михаил Михайлович читал заявку долго. Прочел, полистал еще, раздумывая над чем-то, поднял на меня глаза и сказал:

— Ну что ж. По-моему, интересно. Оставьте у нас. Приходите через четыре дня. — Он взглянул на настольный календарь. — Да… В будущую пятницу я скажу вам ответ.

— Редсовет? — обреченно спросил я.

— Откуда вы знаете? — бросил быстрый взгляд на меня Смирнов.

— Предполагаю.

— Значит, в будущую пятницу. Хорошо?

— Хорошо.

Я не ждал с нетерпением пятницы. Садился за стол и писал свое «Настоящее море». Это отвлекало меня от мрачных мыслей. Мой герой Гошка Микешин уже подружился с Ромкой, и они вместе купили барочную лодку «Ласточку». Назревал конфликт с Колькой Булочником. Как поведут себя мальчишки? Этого я пока не знал. Одно было ясно. Булочник должен быть посрамлен…

Отпуск кончался, а назначения на судно все еще не было. Ходили слухи, что Министерство морского флота сливается с Министерством речного флота. Отсюда и задержка с назначением. Но мне от этого было не легче.

В пятницу без особенных надежд на успех я отправился в «Лениздат». Увидя меня, Смирнов сказал:

— Мы заключим с вами соглашение и запланируем вашу книжку к выпуску в 1954 году. Успеете?

— Конечно, успею! — заорал я, не чувствуя от радости земли под ногами. — Можно и раньше.

— Нет, раньше не успеете. Работы много. Все зависит от вас. Напишете хорошо, напечатаем книгу. Будет плохо, тогда уж нас не вините… Пока поэтому аванса не даем. Вы литератор молодой, надо гарантировать издательство от всяких случайностей.

Я подписал соглашение, попросил разрешения посылать повесть по главам для ускорения редактирования и радостный помчался домой. Бывают в жизни такие вот счастливые дни! Дома меня ждало еще одно приятное сообщение. Вызывали в «Экспедицию» за назначением.

Меня послали в Херсон на новый чешский буксировщик «Малыгин». Вместе со мною ехал старший механик Волосевич, по прозвищу «Полковник», Савва Дальк и старший механик Васильев с аккуратно расчесанной на две стороны поповской бородкой. Двое последних получили назначение на роскошный пассажирский дизель-электроход «Украина», только что построенный на судостроительной верфи в Комарно. Он не успел пересечь Черное и Азовское моря в разрешенное для перегонов речных судов время и теперь был вынужден зимовать в Херсоне.

Мы приехали в Херсон поздно вечером. Лил дождь, дул ветер с моря, было промозгло-холодно. Вообще, этот зеленый и уютный летом город в декабре произвел на нас отвратительное впечатление. С большим трудом разыскали диспетчерскую и выяснили, что суда наши на холодном отстое, то есть без паров,

стоят на судоремонтном заводе, добираться до них трудно, и будет лучше, если мы сейчас пойдем в общежитие устраиваться на ночь, так как в гостиницах свободных номеров нет: в городе идет съезд колхозников области.

Проклиная все на свете, хлюпая по лужам и спрашивая у каждого встречного, как нам найти Пограничную улицу, мы добрались до общежития. Долго стучали в дверь и наконец очутились в плохо освещенном коридоре перед лицом худенькой воинственно настроенной женщины. Это был комендант.

— Нет у меня мест, хлопчики, Кто вас сюда послал? Диспетчерша? Вот и идите к ней спать. Ничего я не знаю. Командированные? У меня все командированные…

После долгих уговоров и жалких просьб комендант смилостивилась:

— Добре. Согласны жить в кухне? Вы не думайте, там тепло и чисто. Только плита стоит. Там у меня девушки-малярши жили, и ничего. Пойдем, посмотрите.

— А стол там есть? — спросил я, сразу решив обеспечить себе рабочее место.

— Ну а как же. Все там есть.

В большой побеленной мелом кухне стояли четыре железные застланные чистым бельем кровати, табуретки, стол. Мы поблагодарили коменданта и заняли кухню. С этого момента она стала нашей гостиницей, клубом, столовой, читальней и моим рабочим кабинетом, где должно было создаваться «Настоящее море».

На следующий день мы отправились на завод, познакомились со своими судами и речными командами. Служба была налажена. Нам оставалось только включиться в судовую жизнь и принять ответственность за теплоходы.

Жили мы в Херсоне бедно. Нам не платили зарплату, а переводили какие-то жалкие авансы. Мы возмущались, звонили несколько раз в Москву, но получали всегда один и тот же ответ: надо немного подождать, кончится слияние министерств, вот тогда… Но проходили недели, а мы, несмотря на наши высокие должности, брали в столовой что подешевле, утром пили чай с липкими подушечками, с черным хлебом и совершенно отказались от всяких культурных развлечений: кино и театр были нам не по карману.

Вечером в «адмиральском камбузе», как шутливо называли нашу кухню речники, открывался игорный клуб. Играли трое: Савва Дальк, Полковник и Петр Николаевич, маленький, кривоногий, очень азартный и жадный старичок, речной капитан. Играли в «501». Причем играли только на… сыр. Уж очень

хотелось выпить чайку и съесть бутерброд с сыром. Надо было во что бы то ни стало выиграть. Ведь заплатить проигрыш значило урезать на следующий день наш мизерный рацион. Петру же Николаевичу купить двести граммов сыру не составляло никакого труда. Он регулярно получал зарплату от своего пароходства. Обычно проигрывал Петр Николаевич. Он быстро приходил в азарт, начинал зарываться, ставил «втемную». Савва и Полковник играли так осторожно, что на них было противно смотреть. Но они не могли рисковать благополучием коллектива. Вообще, это была игра на нервах. А что будет, если фортуна повернется лицом к Петру Николаевичу и он выиграет несколько раз подряд? Только когда Полковник бросал колоду и своим скрипучим голосом объявлял: «Все. Ваших нет. Быстро идите за сыром, а то закроется магазин», — мы с Васильевым, не принимавшие участия в игре, успокаивались: на сегодня пронесло!

— Я не пойду за сыром. Отдам завтра. Поздно уже, — канючил Петр Николаевич, но Полковник был неумолим.

— Идите немедленно. Чай будем пить. Идите, идите.

Петр Николаевич возвращался, начиналось чаепитие. И хотя сыр был самым дешевым, каким он казался вкусным! Зато когда проигрывали мы, Петр Николаевич становился жестоким. Он требовал сыр, даже если знал, что мы купим его на последние копейки и завтра не будем обедать!

Я не принимал участия в этой игре. Я писал книгу. Устроившись на противоположном конце стола, отключался от всего и переносился в мир своих героев.

…Гошка Микешин познакомился с Женей, поссорился с Ромкой. Гошку исключили из Мореходки, и мне надо было направлять парня на путь истины, но он еще петушился, доказывал, что он во всем прав, и мои советы принимал плохо. Тогда я все-таки выгнал его из техникума и отправил плавать матросом, считая, что такое плавание принесет ему несомненную пользу. И верно. Боцман был им доволен, особенно после того, как они вместе закрепили в шторм бочки на палубе. Но мне этого было мало. Гошка должен был сделать еще что-то…

После чаепития Петр Николаевич уходил домой. Он жил в городе, на частной квартире. В «адмиральском камбузе» все укладывались на койки и требовали, чтобы я читал написанное. Я делал это с удовольствием, зная, что мои слушатели горячо принимают к сердцу все, что случалось с героями «Настоящего моря».

— Что-то у вас Микешин совсем от рук отбился. Связался с какими-то пижонами, ученье забросил, — сердито говорил Дальк. — А ведь, кажется, неплохой парень. Не чувствуется

влияния комсомольской организации. В наше время мы бы ему сразу мозги вправили. Вы бы отправили его куда-нибудь на траулер рыбку половить, туда, где работа потяжелее, быстро прояснилось бы в голове… А то совсем…

— Таких, как Сахотин, убивать надо в утробе матери. Сволота какая! И еще других разлагает, — шипел со своей койки Полковник. — Они вообще не достойны, чтобы их описывать. Я бы их давил как мух. Потом я тебе должен сказать, ты это с Женей неправильно… Мало написал. Ведь она влияла на Гошку, А почему? Нам это непонятно…

Эти обсуждения тянулись допоздна, до тех пор, пока кто-нибудь из нас не требовал прекратить и перенести продолжение на завтра. Гасили свет, камбуз погружался в сон.

Так проходили месяцы. Зима для Херсона выдалась снежная, ветреная и холодная. Но мы в своей кухне не не тужили. Топлива хватало. Мы исправно несли службу, следили за своими судами, дежурили по «адмиральскому камбузу». Повесть подвигалась хорошо. Все свободное время я отдавал ей.

Наконец контора перевела нам сразу всю задолженность. Мы разбогатели. Теперь мы обедали в ресторане, отъедались за все месяцы вынужденного поста. Порядком поднадоевшее «501» прекратилось. На завтрак мы варили яйца, а к ужину подавались сыр и колбаса в неограниченном количестве.

Я регулярно посылал главы моей повести в Ленинград и получал в ответ коротенькие подтверждения редактора: «Главу получила. Написано приемлемо. Есть замечания». Но однажды, в марте, когда повесть уже близилась к завершению, я получил письмо, которое выбило меня из колеи. Я растерялся. Редактор писала: «Получила присланную вами в марте главу. Должна вас огорчить: в ней совершенно не чувствуется времени, а в стране происходят грандиозные события. Например, в корне менялась структура сельского хозяйства. Неужели ваши герои этого не заметили? Где вехи времени? Их у вас нет. Подумайте серьезно над этой главой…»

Я перечитал главу несколько раз. Вех времени действительно не было. Но как привязать к моей чисто морской повести «коренную ломку в структуре сельского хозяйства»? Задача казалась невыполнимой. Товарищи по моему лицу сразу заметили, что у меня какая-то неприятность, и Савва спросил:

— Получили письмо из дома? Что-нибудь случилось?

— Это не из дома, а из редакции. Пишут, что последняя глава плохая. Нет вех времени.

— Чего нет?

— Вех времени. Ну, ведь вы понимаете, что, когда Микешин

плавал на своем пароходе, в стране происходили какие-то события. Например, шла коренная ломка структуры сельского хозяйства. Не могло же это пройти мимо Гошки и его товарищей? Но как связать… Прямо не знаю…

— Да, — почесал затылок Савва, — безусловно события происходили важнейшие. А вот связать… Это да… У вас-то ведь все происходит на судне.

— Ша! Без паники. Сейчас все будет в порядочке, бычки в коробочке! — закричал Полковник. — Я знаю, как связать. Я уже все придумал. Слушайте сюда. Значит, так. Гошкин пароход стоит в Новороссийске. Недавно организованный винодельческий колхоз в Абрау-Дюрсо собрал невиданный урожай винограда. Не хватает рабочих рук для уборки. Один из матросов, товарищ Гошки, уроженец этого колхоза, рассказывает об этом на судне. Так? Брошен клич. Вся команда едет в Абрау-Дюрсо помогать колхозникам… Там Гошка встречает красавицу доярку Стешу…

— Несерьезно, — прервал увлекшегося Полковника Савва. — Почему именно в Абрау-Дюрсо? И откуда в винодельческом колхозе доярка Стеша? Несерьезно.

— Почему несерьезно, ну почему? — кипятился Полковник. — Доярка приехала погостить к своей подруге. Всего и дела.

— Но Гошка любит Женю. К чему ему эта доярка? Ну, зачем опошлять чистые юношеские отношения какой-то легкой связью? Лучше послушайте меня. В городе Гошка знакомится с председателем передового колхоза «Колос». Тот рассказывает Гошке, что в молодости тоже плавал на торговых судах, был кочегаром, а потом ушел на гражданскую войну, в первый саперный полк Юго-Западного фронта… Выясняется, что председатель колхоза Семен Михайлович Горобец старый друг Гошкиного отца по саперному полку… Горобец приглашает всю команду Гошкиного парохода в гости. Команда едет и воочию убеждается в огромных изменениях, происшедших в селе. Можно, чтобы моряки приняли участие в каких-нибудь работах и показали класс… Что-нибудь в таком духе. Как вы смотрите?

— Несерьезно! — заорал Полковник. — Чушь какая-то! Откуда взялся друг отца?

Мне не понравились оба варианта. Здорово пахло дешевым штампом и нагромождением случайностей.

— Не пойдет, — решительно сказал я. — Давайте что-нибудь другое.

Фантазировали мы долго, но так и не придумали чего-либо подходящего. Я снова остался один на один с письмом редактора, в смятении мыслей. На следующий день я принял решение.

Написал письмо Смирнову. Ответ пришел скоро. Смирнов писал мне, чтобы я не расстраивался, что я не понял того, что хотела сказать редактор, сельское хозяйство было упомянуто только как пример крупного события, а «вехи времени» надо искать где-то ближе к теме и обстановке, окружающей моих героев. Их достаточно. Письмо было доброжелательным, чуть насмешливым, оно разъясняло все мои недоумения. Ну что ж, тогда мне это было простительно. Был я еще совсем неопытным литератором.

В мае кончилось наше сидение в Херсоне. Мы вышли в море. Началась серьезная работа. Мы водили из Измаила в Ростов речные суда, построенные в Румынии и Болгарии. К этому времени я закончил повесть, послал последнюю главу в издательство и с нетерпением ждал результата. Через месяц мне сообщили — повесть приняли. Я был счастлив. А спустя еще два месяца меня вызвали в Ленинград принимать новое, построенное в Финляндии судно. В Ленинграде я встретил своего старого приятеля Колю Никитина, и мы придумали повести новое название.

— Твой Гошка как пароход, который, исправив ошибки, следует по истинному курсу и приходит к желаемой цели, — сказал Коля. — Так? Вот и назови книгу «Истинный курс».

Я согласился с ним и изменил название. Так родилась первая повесть.

На Дальний Восток

Когда я вспоминаю эти двадцать лет, которые проработал в «Экспедиции», в памяти встает вереница различных судов и человеческих лиц. Каждый год я получал новый теплоход, и на судно приходили новые люди. Одни были лучше, другие хуже. Одних я вспоминаю с благодарностью, с хорошим чувством и всегда рад встрече с ними. О других я стараюсь не вспоминать. Но помню я всех.

Иногда так не хотелось расставаться со своим экипажем, мы так «сплавывались» за полгода, так понимали друг друга, что могли бы работать вместе годами. Но такое исключалось. Мы знали — сдадим теплоход и разлетимся на будущий год по разным судам. И рейсы были не похожими один на другой. Всегда возникали новые обстоятельства и трудности. А что трудности бывали всегда, объяснять не надо. Все, наверное, понимают, что значит слабенькое речное судно в океане. Да еще в Северном Ледовитом, где тебя постоянно подстерегают льды, штормы и туманы.

Рейсы, рейсы… Сколько их было! Но об одном плавании из Ленинграда на Дальний Восток мне хотелось бы рассказать.

Попрощавшись с «Малыгиным», я приехал в Ленинград с Черного моря. «Менделеев» — финский морской буксировщик — уже ждал меня, стоя на якоре у Володарского моста. На этот раз мне повезло. Во-первых, мне удалось увезти с собой с «Малыгина» старшего помощника Рубцова и старшего механика Волосевича — Полковника. На этих двух «китах» строится вся судовая жизнь. Во-вторых, «Менделеев» был надежным, многократно проверенным морским типом буксировщика. Таких для Советского Союза финны построили множество. Плавание на нем легче, чем на хлипких «речниках»… Одно слово — морское судно. Однако имело оно и существенный недостаток: запас топлива всего на десять дней. Значит, по пути надо будет часто принимать бункер, заходить в Пе-век, а там всегда очередь за углем. Да и вообще для Арктики это не запас, а горе. Надо было что-то придумать.

На ходовых испытаниях выявился еще один серьезный дефект. Ко мне пришел Полковник и, вытирая ветошью промасленные руки, сказал:

— Парораспределение ни к черту.

— Так надо сделать. Знаешь ведь, куда идем.

— Займет много времени. На завод надо вставать. Ладно, как-нибудь дойдем.

Меня не очень устраивало это «как-нибудь», но нас торопили,

мы отстали от каравана дней на двенадцать, и начальник приказал срочно продвигаться на Диксон, где «Менделеева» будут ждать. Ремонтироваться на заводе мы не имели времени.

— В общем, не волнуйся. Если Волосевич сказал, что дойдем, — значит, дойдем, — высокомерно проговорил Полковник, глядя на мое кислое лицо. — Все будет в порядке.

— Да я не волнуюсь. А как с бункером?

— Ящик построим позади твоей каюты. Еще тонн тридцать возьмем.

— Этого достаточно? Полковник пожал плечами.

— Можно положить еще несколько тонн к тебе в каюту.

— Оставь свое остроумие при себе, — рассердился я. — Посмотрю, как ты будешь острить, когда у тебя в море не хватит угля.

Полковник лязгнул своей квадратной «волевой» челюстью и, не удостоив меня ответом, встал:

— Могу идти?

Он хорошо знал морской этикет. — Можешь.

Я всегда поражался худобе своего стармеха. Он был так худ и высок, что его тонкие ноги торчали из комбинезона сантиметров на тридцать, а в команде ходила шутка: если на трапе слышится стук, значит, это идет стармех и стучит костями. Несмотря на это, Полковник был жилист, крепок, а «волевая» челюсть придавала ему грозный вид, хотя на самом деле он был добрым человеком.

Старпом Александр Яковлевич Рубцов, имел диплом капитана дальнего плавания, был моим старым приятелем по Балтийскому пароходству, одногодком, опытным и хорошим моряком. Ему я должен был передать «Менделеев» на Дальнем Востоке, где Рубцов собирался остаться работать. Всегда веселый, жизнерадостный, пышущий здоровьем, с каким-то особенным красным цветом лица, за который еще в молодости Саша получил прозвище «Помидор», он сразу завоевал симпатии экипажа и двух других помощников. С ними я встретился впервые, их прислали из отдела кадров «Экспедиции», но я не пожалел об этом знакомстве. Оба оказались отличными парнями.

Второй помощник, Володя Бондарь, с шапкой черных курчавых волос, с усиками, с чуть раскосыми восточными глазами, смуглой кожей, походил на цыгана. В рейсе Володя проявил себя как способный штурман. Он все легко схватывал, но, как мне показалось, относился к морскому делу равнодушно. Правда, он относился равнодушно ко всему. Что-то лежало у него на душе и мешало выйти из этого безразличного состояния.

Зато третий помощник, Игорь Есипович, был полной противоположностью Володе Бондарю. Энтузиаст, мечтающий

стать хорошим штурманом, Игорь брался за любую работу и делал ее с удовольствием.

Долго нам в Ленинграде стоять не дали. Погрузили снабжение, скомплектовали кое-как команду, посадили на борт в помощь Полковнику бригаду механиков для ремонта «пароораспределения на ходу», и в один из августовских вечеров мы снялись на Архангельск.

Меня беспокоила команда, набранная за несколько часов. Знакомых людей среди нее не оказалось, а узнать, что они из себя представляют, за день-два не было никакой возможности. Больше всех меня интересовал боцман, хозяин палубы, правая рука старпома. В плавании на него ложилось много ответственных обязанностей. Я вызвал боцмана к себе. Познакомиться. Через несколько минут в каюте стоял молодой, чернявый, длинноносый парень в высоких рыбацких сапогах, рукавицах и в желтой промасленной штормовке, покрытой капельками воды.

— Я дальше не пойду, товарищ капитан. Сапоги мокрые. Наслежу вам. Ха-ха-ха! — ни к селу ни к городу расхохотался боцман. Смех у него был оглушительный, басовитый.

— Чего это вы смеетесь? — спросил я.

— У меня такая привычка, товарищ капитан. Вы уж извините.

— Значит, ваша фамилия Агафонов, — начал я обычные вопросы. — Где плавали раньше? На буксирах плавали?

— Два года боцманом на «Таллине». Знаете? Баржи из Германии трофейные таскали.

— Знаю. А вы случайно не пьете? — с опаской спросил я, заметив под глазами у боцмана синие подпухшие круги.

— Пью. Ха-ха-ха! — опять захохотал боцман. — Молоко пью. Мой любимый напиток.

— Я вас серьезно спрашиваю, Агафонов, — строго сказал я. — Ваши шутки сейчас неуместны.

Боцман обиделся:

— А я вам серьезно и отвечаю, товарищ капитан. Никто не верит, видите ли, что человек может пить молоко. Ха-ха-ха!

— Нет, правда? — обрадовался я. — Любите молоко? А к водке как относитесь?

— К водке? Нормально. Употребляю очень редко. Когда можно. А вообще предпочитаю сгущенку и смех…

— И что?

— Смех. Ха-ха-ха! Сгущенки баночки две навернешь, посмеешься вдоволь — и жить на свете становится легче.

— А под глазами у вас такие синяки почему? — не унимался я, не веря своему счастью и желая показать боцману, что я очень

проницательный человек.

— Это от почек, товарищ капитан. Вот поэтому водка и не рекомендуется.

— Мы с вами сплаваемся, боцман, — уверенно сказал я. — Наши взгляды на выпивку сходятся. Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! — загоготал Агафонов. — Вы тоже, оказывается, любитель смеха?

— Большой, когда он звучит к месту. Премию буду выдавать вам сгущенным молоком. Идет?

— Идет.

— Как матросы, на ваш взгляд? Подходящие?

— Пока трудно сказать. Думаю, что подойдут.

Я отпустил этого любителя молока и смеха. Видно, мне опять повезло, если к этим ценнейшим для боцмана качествам у Агафонова обнаружится еще опыт, твердая хватка руководителя палубной команды и уменье ладить с людьми.

«Менделеев» шел знакомым путем. Через Ладожское, Онежское озера и Беломорско-Балтийский канал выбирался в Белое море. На Свири нас немного протащили на понтонах — была велика осадка, а дальше мы снова пошли самостоятельно. Какое удовольствие, я вам должен признаться, идти на буксире без «хвоста», «легкачом», как называют такое плавание речники. Что это значит? Значит, что вы ничего не буксируете, за вами не тащатся какие-то баржи, шаланды и всякая другая несамоходная посуда. Вы можете не смотреть назад каждую минуту, не выяснять, как чувствуют себя ваши подопечные, не думать о том, хватит ли длины буксирного троса, если поднимется шторм. Стой себе на мостике, определяй место судна, гляди вперед, любуйся природой.

Очевидно, такие чувства испытывали и все мои помощники. Им было так хорошо и привольно, что, кончив свою вахту, они еще долго толкались на мостике, отвлекая рулевого разговорами от его прямого дела. Их общую тайную мысль высказал мне как-то старпом, когда мы уже миновали последний шлюз канала и плыли в Белом море.

— Замечательно прошли, правда? Неужели так всю дорогу и пойдем балластом? И ход у нас хороший… Как вы думаете?

— Наверное, так и пойдем, — ответил я. — Ведь нам торопиться надо. Караван долго ждать не будет.

В глубине души я тоже надеялся, что мы весь путь пройдем «балластом». Если подвяжут «хвост», наша скорость уменьшится и мы никогда не догоним караван. Но в Архангельске меня разочаровали.

— Возьмете на Тикси два лихтера. Один двухтысячный с

углем, другой тысячный с бензином. Не жирно ли будет такому мощняге идти порожним. А Тикси задыхается без топлива, — сразу же огорошил меня меланхоличный командир экспедиционного отряда Лазарев.

До чего же не хотелось тащить лихтера! Я прекрасно понимал, сколько беспокойства принесут они в Арктике, где непременно встретится лед.

— Наша скорость снизится наполовину, — попробовал возразить я. — Так мы никогда не догоним караван.

— Вы его и так никогда не догоните. Он приказал вам кланяться.

— Как?

— А вот так. Караван вчера ушел с Диксона. Понятно? Пойдете всю дорогу одни. Иди, действуй, не задерживайся.

Откровенно говоря, сообщение Лазарева меня сильно обеспокоило. Пройти весь Великий Северный Морской путь на маленьком буксиришке, да еще с двумя лихтерами, — путь, который часто оказывался не под силу океанским гигантам, и они возвращались из Арктики с поломанными рулями и винтами, — трудная задача. Надо надеяться только на благоприятную ледовую обстановку.

Конечно, если нам придется плохо, то в беде нас не оставят. Все будет брошено на то, чтобы помочь.

И ледоколы, и самолеты, и радиосвязь. Эти мысли меня несколько успокоили. К моему удивлению, в команде сообщение о лихтерах не вызвало огорчения.

— Три тысячи тонн нам, как выполнение плана. Живем! Ха-ха-ха! — загоготал Агафонов. — Пару копеек заработаем.

Зато помощники и механики поникли головами.

— Намучаемся, — сказал старпом, — я-то уж знаю. Водил здесь лихтера.

Поднявшись к себе в каюту, я увидел у дымовой трубы огромный деревянный ящик, построенный для приемки дополнительного угля. «Молодцы! — подумал я. — Времени в мое отсутствие не теряли» — и попытался протиснуться в каюту. Не тут-то было! Угольный ящик мешал открыть дверь. Получалась только узкая щель.

— Агафонов! Быстро сюда! — заорал я.

Боцман прибежал немедленно. Я с насмешками продемонстрировал ему дверь. Он нисколько не смутился:

— Старший механик давал размеры. Я ему говорил…

— Давай его ко мне.

Пришел «дед». Поглядев на меня, он спросил:

— Ну что, хорошо?

— Отлично, если вы предполагаете, что я превратился в мальчика с пальчик. Посмотрите на дверь, посмотрите!..

— А чего мне смотреть? Всякий нормальный человек проходит в нее свободно. Пожалуйста. — И Полковник легко просунул свое тощее тело в каюту. — Зато на пять тонн угля больше возьмем.

— Так это вы себя считаете нормальным? Боцман, сделайте так, чтобы дверь открывалась свободно. А угля вам все равно не хватит. Идем с двумя лихтерами, ход будет маленький.

— Знаю. Я все рассчитал. Уменьшим расход топлива за счет некоторых усовершенствований. Кстати, бригаду механиков я отправил к Лазареву. Ничего не сделали. Так все и осталось.

— Идти-то можно?

— Я же вам говорил. Дойдем. А за уголь я ручаюсь.

Вокруг «Менделеева» крутились катера и буксиры. Это срочно доставляли на борт всякое снабжение и продукты. Лазареву хотелось как можно скорее выпихнуть нас в море: в Арктике стояла хорошая погода.

Вечером мы пошли под бункер. Все судно засыпало угольной пылью. У моей каюты громоздилась гора. Грейфер промахнулся и высыпал часть угля на палубу. Даже в самой каюте все покрылось толстым слоем угольной пыли.

Когда боцман с матросами скатили палубу и надстройки и судно приняло свой обычный щеголеватый вид. я поднялся на мостик. Надо было идти к лихтерам, осмотреть их, завести буксиры. Тогда можно сниматься в море.

— Уходим, — сказал я, увидя на мостике Полковника. — Все в порядке?

— Три кочегара не вернулись с берега… пока, — смущенно промямлил Полковник. — Надо бы подождать немного…

— Серьезно? Отдавайте швартовы! — крикнул я на бак старпому. — Научите своих кочегаров смотреть на часы…

Я знал, что без трех кочегаров в море не уйдешь, но ждать пьянчужек было свыше моих сил. Я решил доставить им тоже несколько неприятных минут. Скверно, когда ты подходишь к причалу, а твоего судна нет. А вдруг все же оно ушло в море? Пусть поищут свой «Менделеев».

Ранним, холодным и ясным утром «Менделеев» спустился вниз по Северной Двине до контрольно-пропускного пункта Чижевка. Здесь ожидали нас приведенные из порта груженые, готовые к отходу лихтера. Мы ошвартовались у большого, напоминающего морской теплоход двухтысячного лихтера.

Взаимоотношения между буксировщиком и буксируемым судном, или, вернее, между капитаном и шкипером, сложились

давно и совершенно определенно. Капитан — хозяин положения. Он поднимается на борт своего «объекта», не смотрит на шкипера и трех человек его экипажа, недовольно цедит сквозь зубы ядовитые замечания, все ему не нравится, все надо переделать по его указаниям, он требует от шкипера знания сигналов связи наизусть. Шкипер следует позади капитана-буксировщика и канючит: «Дак все сделано, товарищ капитан, как надо. Если что не так, скажите…» Капитан-буксировщик машет рукой и посылает свою команду сделать как полагается. Команда лихтера помогает с виноватым видом. Так бывает всегда. Ведь капитан-буксировщик отвечает за все: за благополучную буксировку, за лихтер, за шкипера и его команду. Как только подан буксир, команда лихтера переходит в полное подчинение к капитану буксира и должна беспрекословно выполнять его распоряжения.

…Помню, как однажды я оказался в роли шкипера. Такое положение было мне внове, и я благодаря своей неопытности все еще продолжал чувствовать себя человеком, полноправным участником буксировочной операции. К нашему борту подошел красавец буксир, такой же точно, как «Менделеев», на палубу выскочило несколько матросов в высоких сапогах, зюйдвестках и штормовках, поднялся хмурый капитан и заворчал:

— Шляпы! Даже кнехты не освободили для буксира. А ну быстро давай людей! Скидывайте ваши швартовы, они не потребуются.

Я хотел обидеться. В кармане у меня лежал диплом капитана, а тут такое обращение… Но времени на обиды не осталось. Надо было крепить буксирный трос. А позже, когда нас выводили из порта, я побежал на бак, опасаясь, чтобы буксир не ахнул мое судно об узкие ворота выхода. В маленький жалкий мегафончик я орал свои советы. Капитан буксировщика долго не обращал внимания на мой писк. Наконец он снизошел до ответа, и я услышал громоподобный голос, усиленный радиорепродуктором:

— Ну, что ты там авралишь? Иди отдыхай! Я, понимаешь ты, я отвечаю за твое судно, дуралей.

Поверженный, я отправился в свою каюту. С тех пор я твердо усвоил разницу между капитаном-буксировщиком и шкипером несамоходного судна…

«Менделеев» мягко стукнулся носовым кранцем в борт лихтера. Подали швартовы. К моему удивлению, нас никто не встретил. Обычно вся команда буксируемого судна встречает свой буксир. Я отправился сам в кают-компанию лихтера. Мне не понравилось такое нарушение морских традиций. В просторной, теплой, залитой электрическим светом кают-компании в новеньком форменном пиджаке с тремя золотыми нашивками

сидел за столом мой старый знакомый, штурман Андрей Филиппович Ерохов. Он сосредоточенно глядел в свои ладони, в которых по три штуки были зажаты кости домино.

— Привет. Кто здесь шкипер? — спросил, я полагая, что сейчас все играющие вскочат и займутся вопросами буксировки.

Ничуть не бывало! Ерохов спокойно взглянул на меня и важно ответил:

— Привет. Я здесь капитан, — и, обернувшись к своему партнеру, закричал: — Ставь дупеля, Пашка, не то засушишь!

Такое отношение к моему появлению меня возмутило, и я прошипел:

— Пока придется закончить. Буксир надо принимать. Или вы думаете, что мы с вами до утра чухаться будем, пока вы «козла» не закончите?

— А что его принимать? — нахально сказал Ерохов. — Возьмете нас за среднюю ноздрю, положите на буксирный кнехт, и всего дела. Ставь шесть и шесть, — скомандовал он партнеру.

Наверное, Ерохов, как когда-то я, считал себя еще «человеком», а величина его грандиозного судна внушала ему уверенность, что он не шкипер а капитан, настоящий капитан, а не какой-то капитанишка с буксира. На его судне было все за исключением машины и гребного винта. Стоит ли помнить о таких мелочах?

— Вот что, — угрожающе сказал я, — если ваши люди немедленно не пойдут принимать буксир, то я ухожу обратно в город и заявляю Лазареву, что вы не готовы к буксировке. Ясно? Почему между вами и вторым лихтером не заведен буксирный трос?

— Ваш лихтер, вы и заводите, — еще пытался сохранить престиж «человека» Ерохов, но прежней бодрости в его голосе уже не было. Он взял рукавицы, лежавшие на грелке парового отопления, и, не глядя на меня, сказал:

— Пошли, ребята. Сначала на корму.

Я понял, что беспокоиться мне больше не о чем! Андрей Филиппович «пришел в меридиан».

Не успели мы закрепить как следует буксиры, на реке послышалось пение. За то, что это пели не участники хора Александрова, можно было ручаться. В утлой самодельной лодчонке, которой управлял какой-то древний дед, сидели три наших кочегара и довольно противно пели «Из-за острова на стрежень». Настроение у них еще было хорошим. Я перешел на другое крыло мостика, чтобы не видеть их лиц и выгрузку со шлюпки. Завтра предстоял серьезный разговор, от которого, по всей вероятности, настроение у кочегаров испортится. Кому

приятно потерять премию?

Наконец вся команда была на борту, буксиры поданы, документы оформлены, все проверено. Можно уходить в море. Сдав лоцмана у красно-белого, старого знакомого, Северодвинского плавучего маяка, прогудев ему три прощальных, «Менделеев» распустил буксирные тросы на всю длину и, врубив полный ход, пошел на Дальний Восток.

Как мы и ожидали, ход у нас снизился чуть ли не наполовину. Лихтера тормозили, да, на наше несчастье, ветер дул всю дорогу в лоб. В голове шевелились нехорошие мысли об угле. Вообще-то я верил Полковнику, и его знаменитая фраза: «Если Волосевич сказал, можешь спать спокойно…» — иногда оправдывалась, но в жизни бывает всякое. Даже гениев постигают неудачи. После тягостных раздумий я нашел выход, если нас «прижмет» с углем. О нем я пока решил никому не говорить и успокоился.

Теперь все мы смотрели назад: не выскакивает ли буксир из воды, не оборвался ли какой-нибудь из лихтеров. Мы вытравили буксир на пятьсот метров, и лихтера болтались далеко позади двумя черными точками. От бинокля болели глаза, но пока все было нормально.

На траверзе Канина Носа мы повернули, ветер усилился до шторма и принял направление нам в борт. Сильное приливное течение работало вместе с ветром, и плетущийся со скоростью шести миль «Менделеев» потихоньку сносило к страшному мысу. Если тебя вынесет штормом к Канину Носу, дело «табак». Там сплошные камни. Но у моряков много друзей, в том числе и лоция. Только не забывай своевременно почитать ее. После моего плавания в океане на «Щорсе» я никогда не забывал этого делать и потому проложил курс от Канина Носа в двенадцати милях, как рекомендовала лоция. Это расстояние было безопасные даже при таком ходе и ветре.

Так мы качались около шести суток. «Менделеев» оказался очень качливым судном, бросался с борта на борт, дрожал, кланялся каждой волне и порядком вымотал нас. А лихтера шли прекрасно, ровненько, переваливались, как уточки, и, по-видимому, не испытывали никаких неудобств.

Когда на горизонте появились темные полоски — это открылись берега острова Вайгач, — на мостик пришел стармех. По тому, как были сжаты челюсти, по всему его виду я понял, что Полковник очень взволнован. Он делал мне страшные глаза и жестом приглашал перейти на другое крыло. Вероятно, разговор предполагался конфиденциальный.

— Иди сюда, — шептал стармех, приложив палец к губам. —

Никому не говори. Понял?

— Пока нет. Что вы хотели мне сообщить?

— Я произвел точные подсчеты. Нам может не хватить угля до Диксона.

— Здрасте… пожалуйста. «Волосевич сказал», «Мы устроим усовершенствования»… Так где же они, ваши усовершенствования? Я вас спрашиваю, где? И потом, что это за формулировка: «может не хватить». Хватит или не хватит?

— Не хватит, — упавшим голосом сказал Полковник. — Самую малость не хватит. Тонн восемь-десять. Проклятые котлы жрут чрезмерно. Дефектное парораспределение…

— Это я все уже слышал. Что вы предлагаете? Как пойдем дальше?

Полковник молчал, а мне в душе было и смешно, и Жалко его, и сердился я на механика. Вот такая безответственная болтовня могла поставить судно в тяжелое положение! Правда, все было против нас: запас топлива, подвязанный «хвост», встречный ветер… Хорошо, что есть выход.

— Ну что все-таки дальше, Владимир Алексеевич?

— Придется ждать. Кто-нибудь пройдет мимо. Может быть, даст десяток тонн.

— А если не пройдет? Все ходят Карскими воротами. Так и будем здесь куковать? Наянов нас не поблагодарит, если мы не успеем. Ледовая обстановка ждать не будет.

Вдоволь насладившись смущением стармеха, я сказал:

— Ладно, Володя, не горюй. Капитан тебя на этот раз выручит. Но в следующий раз поменьше остри и побольше думай о переходе.

— Да ведь я хотел как лучше…

— Возьмем уголь на лихтере у Ерохова. Две тысячи тонн угля с собой тянем. Обезугливание не страшно. Вот так, милый друг. Соображать надо.

Стармех просветлел:

— Правильно. А я как-то не догадался. Голова!

Пойду подготовлю все к бункеровке с лихтера.

Он ушел довольный и успокоенный.

В проливе Юшар на Вайгаче мы подобрали буксирный трос и аккуратно поставили лихтера на якорь в удобной, закрытой от ветров бухте Варнека. Можно было приступать к бункеровке. Не отдавая буксир, ошвартовались у лихтера с углем.

— Пусть Андрей Филиппович выйдет, — попросил я принимавшего швартовы матроса. — Скажите, что капитан «Менделеева» просит.

Через несколько минут на палубе появился Ерохов. На этот

раз он не выглядел так блестяще, как в Архангельске. На нем был ватник и шапка-ушанка.

— Привет! — помахал он мне рукой. — Неплохо довели. Все в порядке. Старайтесь. За нас премию хорошую дадут.

— Спасибо, — поклонился я. — Ты бы нам, Андрей Филиппович, уголька дал тонн двадцать, а?

Лицо у шкипера сделалось каменным.

— Чего? Уголька? — переспросил он. — Где же это я вам его возьму?

— Две тысячи тонн имеешь на борту и не знаешь, где взять?

Вот тут Ерохов, наверное, снова почувствовал себя человеком и решил отплатить капитану-буксировщику за все унижения, которые он перенес и которые еще, вероятно, придется перенести.

— Вы что, не знаете, что груз — это святое дело для команды? Мы должны его доставить в порядке. Законы знаете?

Ерохов был прав. Груз неприкосновенен. Но…

— Тут особый случай, Андрей Филиппович. До Диксона нам не хватит, вот какое дело. Я тебе оформлю официальный документ, и «Экспедиция» заплатит хозяевам угля все, что положено. Выписку из вахтенного журнала дам, что необходимость была. Форсмажорный случай, так сказать… Ну, порядок?

Ерохов презрительно взглянул на меня, плюнул за борт и раздельно проговорил:

— Никакого вам угля не будет. Вы поняли меня, я надеюсь?

— Так нам же не дойти так!

— А это меня не интересует. Вы буксировщик, должны довести до места. — И Ерохов, повернув ко мне спину, зашагал к надстройке.

— Да что вы на него смотрите, товарищ капитан! Давайте мы сейчас пойдем и сами откроем трюм. Нас-то ведь больше? — возмущенно закричал боцман. — Там на Диксоне объясните, в чем дело.

— На абордаж, значит, взять?

— Ага, на абордаж. Ха-ха! Разрешите?

— Да нет, Агафонов, это не пойдет. Андрей Филиппович, подожди! — крикнул я Ерохову, остановившемуся у двери.

— Ну, чего вам? Угля не дам. И не просите, и объяснять мне ничего не надо… Груз трогать не буду.

— До чего же дуб! — проворчал Володя Бондарь. — Ничего не соображает.

— Тогда, Ерохов, пеняйте на себя. Я ухожу. Беру маленький лихтер и иду с ним в Нарьян-Мар за бункером. Но за вами больше не приду. Поняли? Будете загорать здесь до тех пор, пока не

пришлют нового буксировщика.

— Ну, этого вы не сделаете. — усмехнулся шкипер. — Такой фитиль получите, до сердца дойдет.

Я побежал на мостик, схватил мегафон и скомандовал:

— По местам! Отдать буксир и швартовы! Матросы с удовольствием бросились выполнять распоряжение. Я, конечно, не оставил бы лихтер, но был так возмущен, что хотел отойти от непокорного подопечного и где-нибудь подальше от него обдумать свои дальнейшие действия.

— Чисто! — донеслось с кормы.

Звякнул телеграф, и «Менделеев» начал тихо отходить от лихтера. Я глядел на застывшего на палубе Ерохова. Он не ожидал, что буксир уйдет от него. И вопрос с «фитилем» был неясен. Кто из нас его получит? Расстояние между судами медленно увеличивалось, и тут Ерохов не выдержал и я услышал желанное:

— Давай подходи обратно!

Ага, метод устрашения сработал! Теперь я снова был хозяином положения и мог диктовать свои условия. Шкипер капитулировал. Мы возвратились к лихтеру, подали швартовы, и я пригласил Ерохова к себе в каюту.

— Не понимаю, что это вы так упрямитесь, Андрей Филиппович? Ведь ясное положение.

— Так-то так. Но за груз по головке не погладят. Скажут — расхищение. Вы мне только документы как следует оформите.

Через несколько часов бункеровка была закончена, и довольный стармех доложил, что мы можем идти дальше, угля нам хватит. До Диксона оставалось пятьсот миль. Но в Юшаре появилось еще более неприятное обстоятельство. Оно повергло нас всех в уныние. Перестали работать оба компаса.

На «Менделееве» стояли английские компасы «Томсон». Володя Бондарь брал поправку компаса и обнаружил, что картушки крутятся вокруг своей оси, да и по берегу пролива мы заметили — компасы врут безбожно. Пока мы шли проливом, все время брали поправку. Она менялась от десяти до шестидесяти пяти градусов. Выйдя в море, мы запросили Амдерму, метеостанцию, не может ли она объяснить это явление, так как до Юшара компасы работали отлично. Станция сейчас же откликнулась: «Вы попали в магнитную бурю страшной силы. Возможно, компасы и придут в норму, а может быть, и нет».

Компасы в норму не пришли. Они продолжали показывать «здоровье моей бабушки», как говорил стоявший на руле Агафонов. К счастью, погода установилась солнечная, ясная, с чистым, отчетливым горизонтом, а ночью небо было усыпано

нашими старыми и проверенными друзьями — звездами. Мы решили идти. На три дня давали хорошие прогнозы, а этого времени нам почти хватало, чтобы дойти до Диксона. По бережку мы добрались до Ямальского массива и, держа берег все время в видимости, поплыли к острову Белому. Что это было за плавание без компасов, можно себе представить! Но прогноз не подвел. Все время сохранялась хорошая, ясная погода. Астрономические определения корректировали наши курсы. Через двое с половиною суток открылся маяк Рагозина на острове Белом, и, пройдя еще около двух суток, «Менделеев» благополучно отдал якорь на рейде полярного городка Диксон. Здесь мы срочно сменили компасы, поставив отечественные «ГУ». Английские «Томсоны» нашей магнитной бури не выдержали.

Караван «Экспедиции» ушел с Диксона давно. Мне было известно, что ледовая обстановка от острова Тыртова до пролива Вилькицкого оставляла желать лучшего. Идти одному во льдах с двумя лихтерами трудно. Как нам продвигаться дальше, должен был решать штаб проводки западного сектора. Он помещался в деревянном двухэтажном доме на другой стороне бухты. Надо было ехать туда.

Начальник штаба принял меня приветливо. Поздравил, по хорошему морскому обычаю, со счастливым приходом и посетовал на то, что не может никого дать мне в пару. Подходящих судов в порту нет. Вот только, если я соглашусь ожидать ледокольный буксир «Якутию». Сейчас у него ремонт, но скоро, тут начштаба как-то замялся, буксир должен идти в Тикси. Он подвел меня к большому столу, на котором лежала калька, раскрашенная разноцветными карандашами. Это были данные последней ледовой авиаразведки. Как я и предполагал, некоторые участки были тяжелыми.

— Вот видите, дорогой капитан, без напарника вам не обойтись. Придется ждать «Якутию».

— Задержки бы не получилось, — с опасеньем сказал я, и тут мой взгляд остановился на невысоком человеке в меховой куртке, ушанке и собачьих унтах, входившем в комнату. Что-то очень знакомое показалось мне в его голубых глазах, коренастой фигуре, мясистом, красноватом носе. Он тоже пристально поглядел на меня и вдруг подошел, еще раз заглянул мне в лицо и неуверенно спросил:

— Юра?

— Петр Никифорович! — закричал я, и мы, как «дети лейтенанта Шмидта» у Ильфа и Петрова, бросились друг другу в объятия. Это был Петя Швецов, второй помощник с парохода «Кола», на котором я много лет назад начинал плавать

штурманом. Взаимным вопросам не было конца, и тут выяснилось, что Петр Никифорович капитан ледокола «Илья Муромец» и сегодня уходит с Диксона на Тикси. Во время нашего разговора лицо у начальника штаба выражало крайнюю степень удовлетворения. Он улыбался и смотрел на нас отечески снисходительно. Когда мы закончили хлопать друг друга по спинам, повторять по сто раз: «А ты совсем не изменился!» — начштаба проговорил:

— Встретились старые друзья. Как хорошо… Я, конечно, не могу обязать капитана «Ильи Муромца» помочь вам, но полагаю, что по закону товарищества…

— А в чем дело? — насторожился Швецов. Начштаба объяснил ему, что «Менделеев» тоже должен уходить на Тикси и хорошо бы…

— Какой у тебя ход? — спросил Петр Никифорович.

— Миль шесть-семь с лихтерами, — грустно сказал я.

— У нас скорость значительно больше, но мы пойдем вместе. По закону товарищества!

— Спасибо, Петя! Ты меня здорово выручил, — с чувством произнес я. — Спасибо.

— Значит, можно считать вопрос с вашим отходом решенным? — переспросил начальник штаба. — Ну, прекрасно. Что у вас ко мне, Петр Никифорович?

Через четверть часа мы с Петей вышли из штаба. Его ожидал роскошный мотобот.

— Ладно, — сказал на прощанье Швецов. — Сниматься будем через четыре часа. Успеешь?

Я заверил его, что у нас все готово.

Пока Игорь Есипович и четыре матроса с трудом выгребали на нашей тяжелой шлюпке, я думал, что мне опять здорово повезло. Получить ледокол в сопровождение в Арктике! Это что-нибудь да значит! И получить его просто так, по закону дружбы, бесплатно… Я всегда считал Петра прекрасным парнем.

Когда я рассказал на «Менделееве» о результатах посещения штаба проводки, на судне началось ликование. Все понимали, что теперь нам лед не страшен. Я ходил гордый, всем своим видом показывая, что старая русская пословица: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» — полностью оправдалась, и вообще у меня друзья — во!

К назначенному сроку у нас уже подняли пар на марку, я прохаживался по мостику, рулевой стоял у штурвала. Вот «Муромец» сильно задымил, мы заметили, как из якорных клюзов льются потоки воды и слышатся отдельные удары в рынду. Снимается!

Скоро мы уже миновали приемный буй. Впереди надежно покачивался низкий корпус ледокола, густо дымила труба.

— Замечательный парень ваш приятель, капитан «Муромца», — одобрительно сказал Бондарь. — Какую услугу нам оказал. Другой бы плюнул. Что, мол, с этим тихоходом возиться!

— У меня все такие!

Я прекрасно понимал Володю. Идти за ледоколом, у которого на мостике все электронавигационные приборы и ты всегда имеешь возможность проверить свое местоположение, — крайне приятно. Покинув мостик в самом благодушном настроении, я пришел к выводу, что именно сейчас капитан может спокойно отдохнуть, прилег на диван и задремал. Разбудил меня свисток в переговорную трубку и просьба второго помощника подняться наверх.

— Ну, что случилось? — спросил я Володю.

— Посмотрите, где «Илюша». Не успели вы уйти, он как врезал полный и был таков. Смотрите.

Далеко впереди дымил ледокол. До него было не менее шести миль, и он продолжал уходить от нас.

— Сейчас мы его приостановим, шалунишку, — сказал я и отправился в радиорубку. — Вызовите «Илью Муромца», пожалуйста.

— Ледокол слушает, товарищ капитан, — кивнул головой радист и застучал ключом.

— Капитана ледокола к аппарату, — попросил я, надевая наушники и беря в руки микрофон радиотелефона.

Через минуту в наушниках послышался громкий голос Швецова:

— Капитан «Ильи Муромца» у аппарата. Слушаю.

— Что же это ты, Петюнчик, так пришпорил? Мы за тобой не успеваем. Хе-хе, — игриво сказал я. — Сбавь оборотиков. Наверное, твой штурман забыл про нас?

— Понимаешь, какое дело… Не могу я так медленно идти. Механик сказал мне, что у нас до Тикси топлива не хватит, если так пойдем. Ты уж давай следуй самостоятельно. Понял? Прием.

— По закону морской дружбы, так сказать. Понял. Прием.

— Ну, извини. Будь здоров.

— Будь здоров, не кашляй. Спасибо за помощь! — пробурчал я и в сердцах бросил трубку. — Обеспечил, называется.

— Ну, что он сказал? — спросил меня Володя Бондарь, когда я вернулся на мостик. — Сбавит оборотов?

— Не сбавит. Сами пойдем.

— Чего это он вдруг? Сначала обещал, а теперь не хочет?

— А черт его знает, — проворчал я. — Боится, что топлива не

хватит…

— Не имей сто рублей, но не имей и таких друзей, — перефразировал Бондарь пословицу. — А я-то думал, что он настоящий парень. Не надо было обещать, правда?

Я ничего ему не ответил. Возможно, Петру действительно не хватает топлива? В конце концов, бог с ним. Нет худа без добра. Так бы ждал «Якутию», у нее ремонт неизвестно когда кончится, потеря времени, ледовая может за двое суток настолько измениться, что и вовсе не пройдешь…

Ладно, пойдем сами. Благо погода стоит отличная. Тихая, ясная. Проштрафившиеся в Архангельске кочегары после неприятной беседы с капитаном шуруют как черти, то ли надеются примерным поведением и высоким паром все-таки заслужить премию, то ли по-настоящему раскаялись, поэтому «Менделеев» выжимает максимальную скорость и ползет парадным ходом в семь узлов.

По пути все время попадаются каменистые острова. Не успеет скрыться один, сейчас же вылезает другой. Идти не скучно. Льда не видно нигде. Только на горизонте, далеко слева, на небе блестят белые пятна. Это отражается лед. Но нам туда забираться не нужно. Может, пройдем по чистой воде? Чего не бывает в жизни! Вдруг повезет. За эти четыре дня, что мы пойдем до пролива Вилькицкого, лед отожмет, и «Менделеев» прошмыгнет мимо мыса Челюскина, прогудит ему приветствие и окажется в море Лаптевых. И такое случается…

На мостик приходит стармех. Вид у него озабоченный.

— Надо машину остановить минут на десять-пятнадцать, — говорит он. — Можно?

— А что случилось? — спрашиваю я. — Что-нибудь серьезное?

— Да нет. За четверть часа справимся.

— Останавливайте.

Пусть останавливают. Ветер не сильный, судов встречных нет, берега далеко. Через несколько минут маленький «Менделеев» теряет ход и останавливается. Его разворачивает лагом к ветру, и >он беспомощно покачивается на >мелкой волне. И тут Саша Рубцов, мой старпом, испуганно кричит:

— Идите сюда! Смотрите!

Я перехожу в другое крыло мостика и замираю. Тяжело груженный лихтер Ерохова, не имеющий ничего, чтобы погасить инерцию, как будто бы ему поставили машину и винт, полным ходом идет на «Менделеев». Первая мысль — немедленно дать ход. Но раньше, чем через пятнадцать минут, этого нельзя сделать. Сам разрешил остановить машину. Вторая, такая же

нелепая, как и первая, — скомандовать Ерохову, чтобы отдал якорь. Но цепи у него не хватит, тут порядочно глубины. Что же предпринять? Лихтер неумолимо, как рок, надвигается на «Менделеев». По мостику мечется Андрей Филиппович, разводит руками, показывая, что ничего не может сделать. Я уже предвижу, что сейчас произойдет: исковерканные шлюпбалки, сорванные релинги, погнутые листы обшивки, разбитая в щепки шлюпка, а может быть, что-нибудь и похуже… Вот уже лихтер совсем близко. На нем, как и у нас, команда выстроилась по борту с кранцами… Через минуту он навалит на нас! Но… неожиданный порыв ветра, и легонький «Менделеев» относит от страшной громады на несколько метров. Тяжелый лихтер, подминая под себя буксирный трос, совсем близко проходит вперед. Маленький лихтер нам не страшен. Он болтается где-то сбоку, левее большого. Я утираю холодный пот и в душе матерю Полковника. «Вечно у них в машине какие-то случайности, — думаю я. — И всегда в неподходящее время…» Но где-то копошится мыслишка: «Машина машиной, а вот ты почему не предвидел, что может произойти? Ты капитан и должен все предвидеть. Ребенку ясно, что у лихтера масса больше…»

— Хорошо, что так кончилось, — говорит Рубцов. — А что делать? Ведь механик сказал, что остановка необходима. Без нее нельзя было идти дальше.

Я вздыхаю. Вижу, что старпом не обвиняет меня в плохом знании морской практики. У меня бывали помощники, которые в подобных случаях надувались, оттопыривали губы и молча, с видом превосходства, шагали по мостику. Весь их вид говорил: «Разве так делают! Вот я бы на твоем месте…» Какие гениальные решения приходят к нам, когда ответственность лежит на ком-то другом!.. Я не люблю этой молчаливой критики, потому что знаю, судить другого потом значительно легче, чем принимать решения сейчас.

В переговорной машинной трубке слышится свисток. Рубцов подходит, слушает и, оборачиваясь ко мне, говорит:

— Все о'кей. Можно давать ход. Сделали.

Он переставляет ручку телеграфа на «малый вперед». Оживший «Менделеев» медленно выходит на буксир и идет вперед. Через полчаса никто уже не помнит о неприятном происшествии, у нас возникают новые заботы: сильно упала температура забортной воды, где-то близко лед.

Он не заставил себя долго ждать. Появились редкие плавающие льдины. Огромные, желтовато-грязные, с причудливыми фигурами из торосов, они медленно проплывали мимо судна. Было что-то зловещее в этом неторопливом

движении. Появление льда в этом районе явилось для нас неожиданностью. Судя по полученной на Диксоне ледовой карте, здесь его не должно быть. Значит, за эти несколько дней изменилась обстановка. А как, мы не знали.

Скоро лед пошел гуще. Теперь он уже плыл и с левого и с правого борта и как-то совсем незаметно окружал «Менделеев». У острова Белуха нас совершенно зажали большие поля льда. Застопорили машину. Вдалеке сиротливо стояли лихтера. Буксирный трос оказался подо льдом. Надо было действовать. Не очень-то приятно беспомощно стоять во льду. При сжатии может и раздавить…

Посовещались и решили лечь на обратный курс, выйти на чистую воду, а там запросить новую ледовую карту. С большим трудом, — наше счастье, что мы не увлеклись и не забрались в лед дальше, — освободились, вывели лихтера и пошли обратным курсом, самым малым ходом. Радист тем временем связался по радио с Диксоном. В штабе проводки обещали прислать самолет с данными последней ледовой разведки. Отойдя от кромки льда на порядочное расстояние, мы остановились. Теперь «Менделеев» с лихтерами дрейфовал по ветру. Надо было ждать самолет. Пошел редкий крупный снег. Он все валил и валил, и скоро «Менделеев» превратился в пушистую ватную игрушку.

Мы опасались, что самолет не найдет нас из-за такого непрошеного камуфляжа. Но радист безотлучно находился у аппарата и был готов в любую минуту ответить на сигналы летчиков. Кроме того, поставили усиленную вахту, приказав глядеть в оба, а главное — слушать. Да и снег, не мог же он идти вечно?

Я спустился к себе в каюту, разделся, лег в койку и тотчас же заснул. Усталость брала свое. Но через час меня подняли. На палубе собралась вся свободная от вахты команда. Люди стояли с задранными кверху головами. Небо было чистым, светло-голубым. Снег прекратился. Где-то далеко монотонно гудел самолет.

— Летит! Оперативно работают! — восторженно воскликнул Агафонов. — Вот он!

Над синей полоской горизонта чернела точка. Она быстро увеличивалась в размерах.

— Вас к аппарату, — позвал меня радист. Сначала в наушниках я услышал сплошной треск, потом сочный голос сказал:

— Говорит борт-239, говорит борт-239! Как слышите меня? Привет. Готовы ли принять вымпел? Буду делать три захода. На третьем бросаю. Следите внимательно!

Пока я разговариваю с самолетом — он уже над самым судном. На тоненьком длинном лине буксирует черный продолговатый предмет. Это и есть вымпел. Пенал с калькой разведки.

— Заходит! — кричит радист, высовываясь из рубки.

Мы видим это и без него. Самолет летит так низко, что, кажется, заденет за мачту. Рев оглушающий. Проходят секунды, он разворачивается и улетает к горизонту для нового захода. Шлюпка готова к спуску, люди с баграми и бросательными концами на «товсь». Вымпел обязательно должен быть поднят, даже если он попадет в воду. Рокот приближается. На этот раз, кажется, будет бросать. Самолет так близко от нас, что я хорошо вижу лицо летчика.

— Бросает! — истошно кричит радист.

Линь с черной палочкой отделяется от самолета, и боцман тут же ловко подцепляет его багром. Метко бросает, чертяка! Попробуй попади на палубу на такой скорости. Практика.

Я снова иду в рубку благодарить летчика за вымпел.

— Поймали, значит? — говорит бортрадист. — Вот и отлично. Счастливого плавания. Дуй по берегу, там льда нет. Сам увидишь.

Бондарь передает мне пенал. Это трубка, с обоих концов закрытая красными колпачками. Не терпится скорее посмотреть кальку. Вот и она. Как все изменилось за несколько дней! Только у берега осталась узенькая полоска воды. Теперь все ясно как на ладони. Калька «раздраконена» цветными карандашами, и по цветам можно легко узнать, где какой толщины и плотности лед. Молодцы ребята! А главное, нас радует эта узкая полоска, закрашенная голубым карандашом. Она тянется по берегу материка и в проливе, и чисто выводит в море, совсем рядом от десятибалльных непроходимых льдов, выштрихованных коричневым. С нашей сравнительно небольшой осадкой мы должны пройти успешно, если, конечно, не будем «ловить бабочек».

— Самый полный, Владимир Алексеевич, — говорю я механику. — От вас сейчас зависит, пройдем ли мы пролив. Так что давайте, жмите.

— Есть жать! — весело откликается Полковник и исчезает в машинном отделении. Через несколько минут я вижу, как из трубы вырываются клубы черного дыма. Кочегары шуруют вовсю. Наверное, стармех провел с ними воспитательную работу.

Скоро мы подходим к берегу. Идем на предельной глубине. Слева, совсем близко, в каких-нибудь трех милях громоздятся торосистые, сплошные льды. Еще раз поминаю добрым словом

летчиков. Представляю, что было, если бы мы сунулись в эти льды да еще со своими лихтерами. А так бежим себе, как на прогулке, по чистой воде. Дует легкий зюйд, потихоньку отжимает лед от берега. Ну что может быть лучше?

Отсалютовали мысу Челюскина, этой самой северной точке нашей земли, и легко прошли пролив Вилькицкого, прокладывая курс все по той же голубой полоске на кальке. А лед еще долго торчал слева, пугая нас своей близостью. Только спустя сутки он стал удаляться от нашего пути и вскоре исчез совсем. Мы облегченно вздохнули. Самое трудное миновали.

Через несколько дней обычного плавания по морю Лаптевых заблестели огни поселка Тикси. Резво, как было возможно, мы пробежали в бухту, лихо развернулись и поставили лихтера на якорь. Тут наши взаимоотношения заканчивались. Мы благополучно привели их в порт назначения. Оставалось молить бога, чтобы нам не подвесили каких-нибудь других «объектов». Хотелось хоть вторую часть пути смотреть, как нормальному моряку, не назад, а вперед.

Прокричав шкиперам: «До свидания! Счастливого плавания!» — мы отдаем буксир и идем в порт к причалу. До чего же приятно идти самому, без лихтеров. И хотя ход у нас всего десять миль, кажется, что ты летишь. Не успеваем мы подать швартовы, как береговой портовый репродуктор громко хрипит:

— Капитану «Менделеева» явиться к Наянову на буксировщик «Ударный»! Капитану «Менделеева» срочно явиться…

К какому Наянову? Что такое? Не ослышался ли я? Да нет. Диспетчер отчетливо орал на весь порт: «…К Наянову!» Ну, сейчас выясним.

Быстро одеваюсь и бегу на «Ударный», благо он стоит недалеко. На палубе меня встречает улыбающийся Батя — так между собой экспедиционники зовут начальника. Он в каких-то необъятных шароварах и в форменном кителе с нашивками. Вид удивительно смешной. Откуда он тут взялся? Через минуту все выясняется.

— Специально сидел в Тикси, ждал тебя. Беспокоился, как ты один там пройдешь. Караван давно ушел. Молодец! Ну, раз все в порядке, то сегодня я улетаю на Уэлен. В бухте Провидения встречусь с караваном. Жаль, что ты опаздываешь и не пойдешь вместе со всеми.

— А может быть, подождете в Провидении, Федор Васильевич? Одному плохо и скучно идти, а?

Наянов хмурится.

— Да, я понимаю… Только намного ты отстал. Дней на восемь. Не имеет смысла ждать. Смотри. Ты тут в Тикси будешь в

очереди стоять дня два-три, потом в Певеке дней пять, ну пусть три… Я узнавал. В Певеке скопление судов. Ждут бункеровки. Так что сам понимаешь… Ну, ничего. Сейчас без лихтеров пойдешь. Легче будет. Расскажи, как шел-то…

Когда все деловые вопросы закончены, я не удерживаюсь и спрашиваю:

— Федор Васильевич, а что это вы в таком странном виде?

— Да, понимаешь, сегодня ночью какой-то эквилибрист через иллюминатор штаны крючком вытащил. Иллюминатор был открыт. Вот какое дело. Жуки!

— Так что же, у вас и запасных брюк нет?

— Да есть старенькие в чемодане. Но ведь до Москвы-то далеко. Мне еще брюки пригодятся со всякими официальными лицами встречаться. Брюки беречь надо, а тут меня и так знают. В самолете сойдет. Ну, бывай жив. Собираться надо. Скоро машина за мной придет, на аэродром поедем.

Мы пожали друг другу руки, и я пошел на свое судно. Полковник уже выяснил, что бункеровать нас будут не раньше чем через два дня. Я же сообщил, что мы пойдем в «балласте». Все очень обрадовались.

Вечером меня пригласил к себе в гости капитан тиксинского порта. Когда я пришел, у него уже сидел высокий человек с совершенно седыми волосами и очень моложавым лицом. Я сразу обратил внимание на этот контраст и очень веселые глаза гостя, которые дружелюбно глядели на меня.

Мы познакомились. Седой оказался капитаном большого парохода «Находка», Николаем Венедиктовичем Сно. Хозяин угощал нас тиксинскими деликатесами: соленой очень вкусной рыбой, крабовыми консервами, черной икрой и спиртом-ректификатом, разведенным «по широте».

Спустя полчаса мы уже обсуждали вопросы предстоящего плавания. И вдруг где-то между второй и третьей рюмкой меня осенила блестящая идея.

— Николай Венедиктович, вы идете тоже в Провидение, и тоже через два дня. Так? — спросил я.

— Абсолютно точно.

— Слушайте, сделайте доброе дело, а?

— Готов вам служить, чем могу, — галантно сказал Сно. — Говорите.

— Возьмите меня на буксир, хоть на половину пути. Я сэкономлю уголь, мне не надо будет заходить в Певек за бункером — нам хватит тиксинского, — и тогда я догоню свои суда в Провидении. А вашему гиганту такая букашка за кормой скорости не убавит, правда?

— Надо думать.

— Так возьмете?

— Экий вы скорый, — засмеялся Сно. — Надо подумать.

— А чего тут думать? По закону морской дружбы.

— Бутылку шампанского поставите — возьму.

— Хоть две.

— Ладно, шучу. Ничего не надо. Беру так, по закону морской дружбы. Только не опаздывайте. Как только выйду на рейд, сразу же цепляйтесь, чтобы нас не задержать. Вот так. Помните Николая Сно. Он добрый, любит моряков.

Я горячо поблагодарил капитана. Эта операция разрешала сразу несколько наших насущных проблем. Во-первых, теперь мы догоним Наянова, во-вторых, сэкономим уголь, в-третьих, мы пойдем со скоростью не десять миль, а тринадцать, в-четвертых, стармех может произвести необходимый ремонт: ведь машина не будет работать. Все это было замечательно, фантастически хорошо.

Посидев еще с час у капитана порта и поблагодарив Николая Венедиктовича за любезность, я побежал на судно. Не терпелось поделиться новостью со своими. Как я и предполагал, она произвела ошеломляющее впечатление.

— Только бы нас бункер не задержал, — с опасением сказал стармех, — а то знаете, как бывает. Обещают поставить под кран шестыми, а сами сунут кого-нибудь другого. Ну, ничего. Я костьми лягу, но свою очередь не отдам.

Полковник «лег костьми», и нас поставили под бункер раньше, чем мы предполагали. «Менделеев» вышел на рейд, когда «Находки» там еще не было. Она подошла на следующие сутки. Подали буксир, и через несколько часов началось незабываемо приятное плавание. Капитан Сно благородно заявил мне, что дотянет нас до самого Провидения. Но случилось немного иначе. На траверзе острова Колючий поднялся шторм, и наш буксирный трос лопнул. Не стоило подавать его снова: бухта Провидения была недалеко. Передав Николаю Венедиктовичу благодарственную радиограмму, я сообщил в ней, что дальше пойду самостоятельно.

…Минуем суровый мыс Дежнева, и «Менделеев» входит в Берингов пролив. Где-то рядом, слева, в туманной дымке лежит Аляска. Все свободные от вахты на палубе. На бак приходит старший помощник, становится в позу оратора и объявляет:

— Товарищи! Великий Северный Морской путь пройден! Ура «Менделееву» и его команде! Ура!

— Ура-а-а! — орут моряки.

— Даю историческую справку. Первый раз Северный путь был

пройден в одну навигацию ледокольным пароходом «Сибиряков» под командованием полярного капитана Воронина в 1932 году. А спустя почти двадцать лет «Менделеев» повторил этот героический путь. Правда, в настоящее время он считается нормально действующей магистралью, но не для таких судов, как «Менделеев». Мы же маленькие. Ура еще раз!

Команда смеется и кричит «ура».

Ранним утром мы появляемся в бухте Провидения. «Находка» стоит посредине на якоре. Она пришла на полсуток раньше. У причала выгружаются большие транспорта. Весь южный угол забит судами каравана. Они как мошки по сравнению с их величавыми грузовыми собратьями. Ох и много же их! Насчитал сорок штук и бросил. Так. Значит, догнали все же. Ловко получилось. Надо принять приличный вид, побриться и идти с докладом к начальнику. Пока старпом швартует «Менделеев» кормой к водяному причалу — необходимо взять пресной водички, я привожу себя в порядок. Еще нет восьми часов. Можно позавтракать. Идти к начальнику раньше не принято.

В половине девятого появляюсь на борту буксировщика «Свободный», где держит свой вымпел начальник экспедиции. Стучу в дверь и слышу знакомый голос:

— Входите!

— Разрешите доложить. «Менделеев» прибыл в Провидение. Все благополучно! — говорю я и шутливо беру руки по швам.

Глаза у Наянова вылезают на лоб. Он смотрит на меня, как на выходца с того света.

— Ты? Какими судьбами? Думал, что придешь сюда не раньше чем через неделю. Как сумел?

— Секрет изобретателя. Не скажу.

— Прямо «Летучий Голландец»! Так не скажешь? Я улыбаюсь и отрицательно кручу головой. Пусть подумает.

— Ну, ладно, — говорит Наянов. — Важно, что пришел. Теперь весь караван в сборе. Постоим несколько дней, сделаем что надо, и дальше… Самое трудное позади. Как же все-таки пришел «Менделеев»?.. Ничего, узнаю, — смеется Наянов. — Все секреты становятся известными.

Я докладываю о том, в чем нуждается судно, о здоровье экипажа, дисциплине и прошу разрешения уйти. Начальник меня отпускает. По всему видно, что он очень доволен приходом «Менделеева». Его можно понять. Тревожно, когда маленькое судно болтается где-то в одиночестве во льдах.

На палубе меня встречает мой друг, капитан «Свободного», Алексей Анисимович Башко и ведет к себе в каюту. Он угощает меня отличным кофе и замечательными сдобными булочками.

Ими славится на весь караван повариха «Свободного». Алексей рассказывает мне забавную историю, случившуюся утром:

— Я первый заметил, что «Менделеев» входит в бухту. Посмотрел в бинокль и побежал сообщить Бате. Такое событие! Он все время плакался, что у него «Менделеев» отстал. Говорю: «Федор Васильевич, «Менделеев» пришел!» А он на меня так презрительно поглядел и отвечает: «Ну, чего болтать, чего болтать… Еще капитан дальнего плавания! Соображать надо. «Менделееву» не меньше пяти суток сюда топать. Эх, моряки, моряки…» Помните этот его обычный тон, когда он знает, что прав, а собеседник ошибается? Ну вот. Я ему: «Давайте выйдем, сами посмотрите». — «Может, поспорим? — говорит Батя с этаким превосходством. — На бутылку «КВ». — «Согласен», — говорю я, и мы выходим на палубу. Вы уже к водяному пирсу швартовались. Батя схватил бинокль и смотрит. Долго рассматривал, потом сунул мне бинокль. «Это, — говорит, — не наш «Менделеев». Однофамилец. Так что гони коньяк. Проиграл». И такой довольный пошел в каюту. Твердо был уверен, что это другое судно. Теперь вы ему сюрприз преподнесли. Надо будет с него «КВ» потребовать. А в самом деле, как это вы пришли так быстро?

Я и ему не открываю секрет вашего появления. Действительно, сразу догадаться трудно. Алексей Анисимович неторопливо рассказывает мне о том, как прошли они, о всех смешных и аварийных происшествиях в пути. Я люблю этого спокойного, даже немного флегматичного капитана. Рыжеволосый, светлоглазый, добродушный, он всегда ровен, приветлив, а в море решителен и разумно осторожен. Мне приходилось наблюдать его за работой. Недаром начальник экспедиции часто выбирает его судно и делает флагманским.

С удовольствием слушаю его рассказы. Время приближается к двенадцати. Надо идти к себе. Наверное, воду уже кончают принимать и ждут от капитана новостей. Прощаюсь с Алексеем и возвращаюсь на «Менделеев». Новые заботы наполняют голову. Опять уголь, вода, продовольствие, походные ордера, девиация компасов… Но практически рейс уже закончен. Все, что лежит впереди, уже не очень беспокоит.

Встреча

Позади остался переход Северным Морским путем на «Менделееве». Шел октябрь. Рейс утомил меня. Поэтому я был доволен, когда, убедившись, что моя команда перегонщиков устроена в поезде Владивосток — Москва, очутился в вагоне.

Теперь наступило время полного отдыха. Нет связи ни с берегом, ни с морем. На восемь дней ты как бы выключен из обычной жизни. Ни забот, ни хлопот. Ничего не надо делать, никто от тебя ничего не ждет и не может потребовать. У тебя много времени для раздумий, чтения книг и сна.

Я стоял в коридоре, курил, смотрел в окно. Вагон покачивало. С освещенных станций поезд надолго врывался в темноту, иногда, очень редко, мелькали далекие огоньки. За окном угадывался лес. Ритмичный стук колес действовал успокаивающе, клонило в сон.

В соседнем купе шумели. Его занимали военные моряки. Видимо, они испытывали такое же чувство отрешенности от мира, как и я. С грохотом откатилась дверь, и в коридор вышел не старый, но уже округлившийся капитан-лейтенант. Взглянув на мои нашивки, он закричал:

— Капитан, заходи к нам в каюту! Чего ты тут стоишь один? У нас отличный «конь» и удивительная кетовая икра-малосол. Ты такую никогда не ел. Заходи!

Я не мог отказаться от столь радушного приглашения. В купе сидели еще два моряка. Один худенький, большеглазый, с длинным носом. У него на погонах тускло поблескивали чуть позеленевшие звездочки старшего лейтенанта. Второй — молодой красивый парень. О таких лицах пишут в анкетах, заполняющихся на визу, — «особых примет не имеет». Он был в чине младшего лейтенанта. На столе беспорядочно стояла закуска и бутылка коньяку.

— Вот, прошу любить и жаловать. Сосед по купе. Любитель кетовой икры, — представил меня капитан-лейтенант. — Садитесь, пожалуйста.

Моряки встали, пожали мне руку и невнятно проговорили свои фамилии. Капитан-лейтенант налил мне большую рюмку коньяку.

— За тех, кто в море! — поднял он тост. Мы звонко чокнулись. Тост был традиционен и любим моряками. Да и не только моряками.

— Ешьте икру, — любезно сказал старший лейтенант, подвигая мне стеклянную банку.

Завязался оживленный разговор о море, кораблях, общих

знакомых и, как следовало ожидать, вскоре перешел на преимущества военного флота перед торговым. Шла та остроумная и легкая «морская подначка», которая всегда возникает, когда встречаются в дружеской компании военные и торговые моряки, хотя торговый флот прочно завоевал себе славу верного и героического помощника военного флота.

Капитан-лейтенант и младший лейтенант весело «клевали» меня, представителя «торгашей», обвиняя в отсталости.

— Да чего там говорить, — гремел капитан-лейтенант, — сознайтесь честно. Вся самая новая техника у нас, а на ваших судах то, что мы давным-давно сняли с вооружения. Скажите, что это не так?

— А выучка дисциплина, вид? — поддержал его молодой моряк. — У нас команда выходит на берег. Молодцы — один к одному. А ваши — брюки-дудочки, какие-то дикие рубашки, ботинки всех цветов радуги. Оперетка!

— На то мы и торговый флот, — защищался я. — Мы и с магнитным компасом отлично плавали по всему земному шару и приходили туда, куда надо. А теперь с тем, что получили от вас, вообще считаем судовождение делом пустяковым.

Шутили и спорили мы долго и, конечно, друг другу ничего не доказали. Старший лейтенант участия в споре не принимал. Он сидел в углу, задумчиво вертел рюмку в руках, и казалось, совсем нас не слушал. Посидев еще с полчаса, поблагодарив хозяев за угощение, я снова вышел в коридор. Моряки стали укладываться спать.

Старший лейтенант вышел за мной.

— Вы уж не сердитесь на них, — сказал он, смущенно улыбаясь. — Пригласили в гости и начали подкалывать. Нехорошо даже в шутку. Гость — лицо неприкосновенное.

— Да ну что вы! Я и не подумал обидеться. Удары наносились взаимно.

Мы помолчали.

— Значит, вы в отпуск? — задумчиво спросил старший лейтенант. — А я демобилизуюсь. Совсем. Отслужил.

— И куда же теперь?

— Вот не знаю. Не хочется расставаться с морем. Но в загранплавание не возьмут. К рыбникам подамся. Как вы думаете?

— Отчего же. Для начала можно. Вообще работа тяжелая.

— Я работы не боюсь. Важно, чтобы она меня заинтересовала. А может быть, в вашу организацию? На перегон судов. Вам нравится?

— Как вам сказать? Пожалуй, нравится. Я уже четыре года

занимаюсь этим делом. Плохо, что зима свободная. Перегоны бывают только летом. Правда, меня такое положение устраивает. Я вот книжку написал для ребят за эти пустые зимы. Должна скоро выйти. Очень волнуюсь.

— Книжку? — старший лейтенант восхищенно посмотрел на меня. — Так ведь это же здорово! Моряк-писатель. Редкий случай.

— Ну, какой там писатель…

— О чем же ваша книга?

— Про мальчишку, который хотел стать моряком…

Я начал рассказывать содержание «Истинного курса». Я мог рассказывать его без конца для того, чтобы узнать мнение слушателей. Как? Интересно ли? Я не замечал усталых зевков, слипающихся век, намеков на позднее время… Я все говорил и говорил о своих героях, об их характерах, обстановке, событиях… Тот, кто когда-либо брался за перо, знает, как это бывает… Когда я кончил, у старшего лейтенанта, к моему удивлению, горели глаза. Он схватил меня за руку.

— Очень интересно, — не дожидаясь моего вопроса, сказал он. — Очень. Я не знаю, как там у вас в книге. Надо хорошо показать людей. Вообще, море — такая широкая тема… Стоишь на мостике, кругом океан, судно монотонно кланяется волнам… Мысли переполняют голову. Рождаются сотни сюжетов. Хочется заглянуть в глубину человеческой души, узнать, что движет ею, какая сила поднимает ее до героических свершений или заставляет делать подлости — долг, любовь, жадность, ненависть?..

Старший лейтенант закурил новую сигарету.

— Если бы вы знали, как мне хочется написать что-нибудь. Написать о человеке, о его мыслях и переживаниях… Вам не надоело меня слушать?

— Нет.

— Я не люблю описаний. Какая-нибудь маленькая яркая деталь должна дать представление о человеке. Писать бы, как Чехов! Вот, по-моему, вершина, к которой должен стремиться писатель…

Поезд летел в темноту. Коридор опустел. Двери купе закрылись. В вагоне давно наступила тишина, а мы все стояли и говорили. Вспоминали прочитанные книги, литературных героев, критические статьи, напечатанные в газетах. Старший лейтенант по-настоящему любил и понимал литературу. Мы разошлись, когда за окном начало светать.

На следующий день несколько сконфуженные вчерашние оппоненты явились ко мне в купе.

— Вы извините, пожалуйста, за нелепую защиту нашего

превосходства. Мы очень уважаем торговый флот и знаем, какую неоценимую помощь он оказал во время войны, да и вообще… Извините и давайте выпьем «на мировую».

Я понял, что это старший лейтенант убедил товарищей прийти с повинной. Остальные шесть дней пути прошли мирно и весело. Когда поезд подошел к Ярославскому вокзалу в Москве, мы расстались друзьями. Пожимая мне на прощанье руку, старший лейтенант говорил:

— Обязательно прочту вашу книжку. Обязательно. Буду ждать ее выхода с нетерпением. Прочту и напишу вам о своих впечатлениях.

…Книжка вышла. Я с волнением ждал читательских отзывов. Вскоре они начали приходить, но письма от моего попутчика, старшего лейтенанта, не было. Я подумал: «Не понравилась. Не хочет обижать…»

Прошло шесть лет… В этом северном порту редко появлялось солнце. На черных скалах в ложбины забился грязноватый снег. С трех сторон бухту прикрывали острова, но когда ветер дул с севера, она сердито пенилась. На рейде покачивались суда, поскрипывали якорные цепи, ночью корабли зажигали желтые уютные огни, и уходить из каюты не хотелось. Иногда сыпал снег или шел колючий холодный дождь.

Теплоход, которым я командовал, тоже стоял на рейде в ожидании улучшения ледовой обстановки в проливе Вилькицкого. Мы шли в Тикси, а пока вынужденно бездельничали. Я сидел за книгой, когда вахтенный матрос приоткрыл дверь и доложил:

— Там вас какой-то товарищ спрашивает. Провести?

— Непременно.

В такой обстановке каждый гость был желанным. Через минуту в каюте появился мой дальневосточный попутчик — старший лейтенант. Хотя мы не виделись с ним шесть лет, я сразу узнал его. Он стоял, держа в руках шапку-ушанку, на лице и длинном носу таяли крупные снежинки, из воротника серого свитера вылезала кадыкастая шея. Он радостно улыбался.

— Очень хотел вас видеть, очень, — сказал он, пожимая мне руку. — Черт знает, где встречаются люди. Правда?

— Действительно. Как вы сюда попали, в это обиталище ветров? На каком судне?

— Со съемочной группой Ленфильма.

— Вот тебе на! Моряк и пошел работать в кино. Кем же? Оператором?

— Хуже, — засмеялся старший лейтенант. — Написал

сценарий. По нему и снимают.

Я сделал большие глаза.

— Должен вам признаться, что с морем как штурман я пока покончил. Но не навсегда. Буду еще плавать.

— К чему же такой перерыв?

— Да вот стал профессиональным писателем. Я удивился еще больше.

— Здорово! — искренне воскликнул я. — Значит, записали несколько книг?

— Написал.

— О море?

— В основном о людях. Ну и о море, конечно.

Он вытащил из кармана маленькую книжку в голубом переплете и протянул ее мне.

— Однако подождите минутку. Вот вам я обязан дать ее с автографом…

Старший лейтенант выдернул из кармана перо и крупным размашистым почерком написал на заглавной странице: «А вы знаете, я рискнул начать писать только после того, как увидел вашу книжку на прилавках магазинов».

— Неужели?

— Правда. Прочитал вашу повесть и решил, что, может быть, сумею написать так же. Исписал кипы бумаги. Сначала шло плохо, а потом получилось. Много работал. Поэтому и не послал вам письмо. Прощаете?

Старший лейтенант был оживлен, полон творческих замыслов, планов. Я глядел на него с завистью. Как только гость ушел, я принялся читать подаренную мне книгу. Он написал ее не «так же», а лучше. О людях. Ну и о море, конечно.

Кто это был? Хороший, ныне известный писатель Виктор Конецкий. Автор сценариев «Путь к причалу», «Когда позовет товарищ», «Завтрашние заботы» и нескольких хороших книг. Вот как иногда бывает в жизни!

«Ледовое побоище»

Вот уже больше десяти дней тридцать восемь речных судов, следовавших на Лену, стоят в бухте Южная, у похожего на гаечный ключ острова Тыртов. Это уже глубокая Арктика. Следующий этап нашего плавания— пролив Вилькицкого. Он всего в ста двадцати милях от Тыртова. Близок локоть, да не укусишь. Пролив непроходим. Он закрыт многолетним, тяжелым льдом. Не пришлось бы возвращаться обратно и зимовать на острове Диксон или в Подтесове на Енисее.

Мы пришли к острову Тыртов в надежде на то, что подуют южные ветры, лед отожмет от мыса Челюскина, образуется узкий проход и караван сумеет проскользнуть в море Лаптевых. На это надеялись синоптики из штаба проводки Севморпути на Диксоне. Но, как назло, вот уже месяц дуют норд-осты. И все-таки мы упорно ждем.

Остров Тыртов пустынен. Низкий берег покрыт снегом. Кругом ни души. Белое безмолвие. Уже семнадцатое сентября. Температура воздуха быстро понижается. Поздно. Полярное лето на исходе. По утрам в пожарных ведрах замерзает вода, палуба покрывается тонкой корочкой льда. Часто идет снег. Тогда суда становятся похожими на елочные игрушки. Снег на мачтах, на шлюпках, на релингах.

Все чаще в вантах гудит окрепший норд-ост, и закрытая бухта ершит свою спину. Иногда к борту подплывают прозрачные льдины, трутся о железо бортов» шуршат…

Начальник экспедиции держит свой вымпел на «Озерном-82». Командует судном Алексей Анисимович Башко. Я тоже живу на «Озерном», по долгу службы, как капитан-наставник.

Наянов неразговорчив и мрачен. Он должен решить трудную задачу: возвратить тридцать восемь судов, поставить их на зимовку, на целый год вывести из эксплуатации, лишить Лену флота, который ей нужен как воздух, или ждать улучшения ледовой обстановки, смены ветра и подхода ледоколов. С таким же нетерпением, как и южных ветров, мы ожидаем прибытия ледоколов. Но дни проходят, а они все не появляются. Ледоколы заняты проводкой морских судов, идущих с востока. Каждый день ожидания смерти подобен. Ждать становится все опаснее и опаснее. С мыса Челюскин сообщают, что началось интенсивное образование молодого льда. Не ровен час, забьет бухту льдами, схватит морозом, тогда и не выберешься. Но Наянов молчит, смотрит на заснеженный скучный берег и молчит. Синоптик уже давно сказал свое мнение — лучше возвращаться.

— Подождем. Будем еще ждать. Атомоход «Ленин» поможет. В прошлом при таких же условиях мы давно бы вернулись. В этом году другое дело. Такая силища… — буркнул начальник и снова замолчал.

На смену серым коротким дням теперь приходят темные и длинные ночи. Зажигаются якорные огни, цепочками оранжевых точек начинают светиться бортовые иллюминаторы, вахтенные включают палубные люстры, и неожиданно, как по велению волшебника, пустынная бухта Южная превращается в залитый огнями город.

Каждый вечер к нам на «Озерный» приезжают капитаны с других судов. В гости. Потравить, узнать новости. Тихо, чтобы не попасться начальнику на глаза, они пробираются в каюту к Башко, набиваются там как сельди в бочку, накуривают — хоть топор вешай — и травят. Обо всем. Но только после того, как будет выяснен основной вопрос. У всех он одинаковый.

— Ну, как Батя решил? Что, стоять будем или пойдем обратно? Когда ледоколы придут? Как настроение у Бати?

Ни я, ни Алексей Анисимович на эти вопросы ответить не можем. Только на последний совершенно уверенно отвечаем:

— Плохое.

После того как внесена ясность, что ничего нового нет, начинается травля. Прежде всего обсуждается — идти или стоять.

— Надо подождать, братцы, — басит капитан Гидулянов, мой соученик по Мореходке и старый полярник. — Бывало, и позже проходили. Лед-то на расплаве.

Меня раздражает безапелляционный Сашкин тон: ледовые сводки, которые мы получаем, сообщают прямо противоположное, и я собираюсь возразить ему, но меня опережает Костя Маслов, капитан «Озерного-81». Он одессит, кругленький, небольшого роста, светлые глаза гневно сверкают.

— Вы забудьте про то, что бывало, забудьте. Какими судами вы тогда командовали? То-то и оно. А сейчас речные суда! Войдут в соприкосновение с тяжелым льдом, пробоина, ни одной водонепроницаемой переборки в трюмах у наших теплоходов — и пиши пропало… Надо здраво рассуждать.

— Зачем преувеличивать. Переборки есть. Три штуки.

— Не спорьте, братцы. Стоять долго нельзя и идти страшновато. Оставим это на совести начальника, — старается успокоить спорящих Башко.

— А мы кто здесь? Капитаны или так, «тюхи-матюхи, колупай с братом»? Начальник! Ваше мнение, товарищ маузер? Идти или стоять? — взрывается капитан теплохода «Смольный» Игорь Этин. У него курчавые с проседью волосы, и он отдаленно смахивает на

Эзопа. — Ведь начальник и совета у нас может спросить.

— У него и без нас советчики есть. Вон забился в угол, сидит молчит, — оборачивается ко мне Гидулянов. — Ну чего молчишь? Идти или стоять?

— Если такой опытный полярник, как ты, говорит, что надо ждать, то что могу сказать я, всю жизнь проведший в западных водах? А если серьезно, то мое мнение таково: подождать ледоколы, собрать совет ледокольщиков, и там будет видно. Они обстановку лучше знают, идут с востока.

— Как бы поздно не было, — ворчит Маслов. — Все надо предвидеть. А если ледоколы не придут еще две недели?

Положение действительно сложное, и никто толком не знает, что будет лучше. Но возвращаться никому не хочется. Мы к этому не привыкли. Если не доведем суда в порты назначения — ЧП для всей экспедиции.

— Ладно. Батя что-нибудь придумает. Пока стоим, значит, надо ждать. Слышали, у Александра Николаевича опять полундра на судне, — говорит старпом Гриб. — Шлюпку рабочую разбил.

— Ну, скажи пожалуйста! Как же его угораздило?

— Под парусом на берег высаживался. Вот и кумекайте, как это могло произойти.

— А я так нисколько, не удивляюсь, — говорит капитан танкера Женя Смарыго. — Если стоят десять одинаковых судов и у кого-то что-нибудь случилось, то не надо говорить у кого. Я знаю, что это у Александра. Такой уж невезучий.

— Верно, — поддерживает Смарыго капитан Юра Глебов. — Встречались мне такие неудачники. Вроде и дело знают неплохо, грамотные, люди хорошие, а вот как начнут что-нибудь делать, всегда какая-нибудь «кака» произойдет. Верно? Встречали таких?

— Встречали.

— Слушайте, товарищи. У меня есть такой знакомый неудачник, — вдруг говорит молчавший до сих пор капитан Бахтин. — Всякие беды на его голову сыпались, а вершиной неудач явилась история с попугаем…

— С попугаем? Интересно…

Все предвкушают необычную травлю и замолкают. Бахтин славится как прекрасный рассказчик, и если он в ударе, то не надо никакого Театра миниатюр. Он сам все представит в лицах.

— Ну так вот, есть у меня знакомый капитан, назову его Колей. Командовал он большим пароходом. И вот в один из приходов в родной порт ухватило его начальство:

— Николай Владимирович, как же это так? Судно у вас передовое, план неплохо выполняете, а вот по шефству отстаете…

— Да, знаете, времени совсем нет.

— Не годится так. Надо школу какую-нибудь взять. Ребята флотом очень интересуются. Хорошо?

Согласился капитан. Что будешь делать? Послал в школу делегатов условиться о дне встречи. И вот они двинулись. Сам в парадном мундире и несколько человек из команды. Взяли шефство.

И пошел Коля снова в Арктику. Штормы, туманы, лед, бессонные ночи, напряженное плавание… Не до подшефников тут было экипажу, и только когда отдали якорь в Сингапуре, кто-то вспомнил:

— А как же наши ребята-школьники?!

Ну, здесь все, конечно, заохали и заахали. Надо обязательно ребятам что-нибудь привезти. Пошли к капитану. Коля, конечно, согласился и дал денег. А через час к нему приходит боцман с клеткой в руках, а в ней какой-то паршивенький серый попугаишка зерна чистит.

— Вот, — говорит боцман. — Купил. Коля страшно удивился:

— Зачем же такую дрянь? Ни кожи ни рожи! Был бы уж цветастый какой-нибудь.

— Э, нет, — мотает головой боцман. — Это говорящий. По-английски лучше нашего с вами рубит. Школьников еще учить будет.

Боцман встряхнул клетку, и, что бы вы думали, попугай что-то прохрипел по-английски.

— Ладно, — говорит Коля. — Убери его куда-нибудь с глаз долой. Не нравится он мне.

— Я его в плотницкую поставлю или подвешу и кормить сам буду…

Пришли они наконец домой. А подшефники тут как тут. Узнали в пароходстве, когда судно ожидается. Пригласили на встречу. Выбрали день, и моряки торжественной процессией отправились в школу. И боцман с клеткой под колпаком во главе. Пришли в школу. Все ребята по-парадному — в белых рубашках, галстуках. Как же, шефы все-таки приехали. Доложили пионеры, что учились хорошо. Двоек нет.

— Молодцы, ребята, — говорит Коля. — За это получите маленький презент для вашего уголка юннатов. Боцман!

Боцман тут же рядом с клеткой стоял. Снимает он чехол.

Ребята в ладоши захлопали. Попугай, наверное, остался доволен таким приемом, перевернулся на жердочке и вдруг как ахнет, как запустит, хоть уши затыкай.

Что тут было! Ребята гогочут, преподаватели в ужасе. Хорошо, боцман быстро на клетку чехол натянул. Только тогда замолк негодяй. Коля рассказывал, что с ним чуть инфаркт не

случился.

Наконец вышли они из школы. И боцман, этот прохвост, тут с клеткой. Коля к нему:

— Ты что же это, сукин сын, наделал? Весь экипаж опозорил, меня грязью облил, перед детишками стыдно…

А боцман такую невинную рожу скроил и давай ныть:

— Что вы, Николай Владимирович, разве это я? Матросы, наверное, его научили. Все приходили кормить и втихую учили русскому языку. Я ни при чем.

— Вот какую историю рассказал мне мой приятель Коля. Явный неудачник, — закончил Бахтин и хитро подмигнул сидящим.

— Ну и травило ты, Славка! Ведь сам придумал все?

— Зачем? Сказал бы фамилию капитана, да не хочу, чтобы вы знали, кто это.

— Вообще сильно завернуто. Но, по-моему, никаких неудачников в природе не существует, — говорит Гриб. — На всякую неудачу есть своя причина. Либо человек не знает дела, либо невнимателен или халатно относится к своим обязанностям…

— Нет, не скажи, — прерывает своего старпома Башко. — Вот я, например, знаю…

Начинается новая история. Долго сидят капитаны. Разъезжаться не хочется. Вынужденная стоянка осточертела. А здесь весело. Хохот, подначка, травля…

Наверху слышатся тяжелые шаги. Это Батя гуляет по мостику, глядит на огни судов и мучительно думает все об одном и том же.

…Ледоколы появились на рассвете. Они возникли, как призраки в туманной дымке, пять темных черных расплывчатых пятен. Корабли стояли поодаль от нас, мощные, молчаливые, с чувством превосходства над «мошкарой», рассыпанной по бухте.

Нас пригласили на совещание. Флагман ледовой проводки Павел Акимович Пономарев, капитан атомохода «Ленин», прежде чем принять какое-нибудь решение, послал своего старпома детально осмотреть наши суда.

Мы с Борисом Макаровичем Соколовым, молодым, энергичным человеком, на пузатом моторном боте подходили к каждой «единице», лазали по трюмам и жилым помещениям.

— Да, я вам скажу, — поджимает губы Соколов. — Четыре миллиметра корпус. Это не объекты для проводки через пролив Вилькицкого. Знаете, какой тяжелый лед? Мы морские суда по одному проводили, а вас тут сорок. Не знаю, не знаю…

Когда Пономарев выслушал доклад старпома, он сказал Наянову:

— Вот что, Федор Васильевич, беру только половину твоего каравана. Остальных возвращай обратно.

Капитаны ледоколов сидели вокруг стола, накрытого зеленым сукном, курили и одобрительно кивали головами. Они были согласны со своим флагманом. Девятнадцать судов еще кое-как можно будет провести, а тридцать восемь… Но Батя воспротивился такому решению. Он вытащил из кармана радиограмму начальника Ленского пароходства и прочел:

— «Ждем вас нетерпением. Флот запланирован будущую навигацию. Каждая единица дороже золота. Сообщите дату подхода». Понимаете, Павел Акимович, половина каравана ни то ни се. Не решает вопроса. Либо вы берете все суда, либо я возвращаюсь обратно. Лене нужен флот как дыхание… Растут перевозки не по дням, а по часам.

Начались горячие споры. Брать или не брать наши «клипера». Ледокольщики высказывались осторожно.' Они понимали всю сложность этой проводки и меру ответственности, которая ляжет на них, если они поведут караван. В конце концов Павел Акимович сказал Наянову:

— Ладно. Убедил. Беру всех. Отвечать вместе будем, если что… Передай своим капитанам, чтобы внимательно следили за сигналами ледоколов, соблюдали строжайшую дисциплину… Пойдем так: впереди «Ленин», потом «Красин», восемь твоих, затем «Капитан Белоусов», опять восемь твоих и так далее. На пути к нам присоединятся еще два ледокола: «Ермак» и «Капитан Воронин». Там перестроимся. И давайте сниматься как можно скорее. Дорога каждая минута.

Мы покинули атомоход. Через час наши суда снялись с якорей, построились и пошли длинной кильватерной колонной. Сначала путь казался не таким уж страшным. Встретился разреженный лед. Караван продвигался довольно быстро. Но через несколько часов лед начал сгущаться и скоро превратился в плотно сбитые сплошные поля. Ход замедлился. Грузовые теплоходы стали застревать. Ну что они могли со своими длинными корпусами и слабенькими машинками? То здесь, то там во льду виднелись беспомощные суда, раздавались частые короткие гудки, означавшие: «Застрял во льду. Нужна помощь».

Опекающий группу ледокол возвращался, окалывал беднягу, выводил в канал, но не успевал он занять свое место, как уже слышался писк кого-то другого. Снова надо было возвращаться, окалывать, выводить. Ночью продолжать путь стало невозможно и опасно. Встали на ночевку.

Не забуду я эту ночь в открытом замерзшем море. Метет поземка. Снег кружится в воздухе. Холодно. Впереди стоит

«Ленин». Синий, какой-то космический свет его прожектора направлен на караван. Наши суда разбросаны, стоят без всякого порядка. Там, где застал сигнал флагмана об остановке. До пролива еще далеко.

Начальник экспедиции, Башко и я на мостике нашего «Озерного-82». Сидим молча. Говорить не о чем. У всех, вероятно, одни и те же мысли.

— Нет, — вдруг прерывает молчание Наянов, он отвечает сам себе, потому что мы его ни о чем не спрашивали, — нет, надо было рисковать и идти. Ведь, шутка сказать, тридцать восемь судов! Тяжело идем, я вижу, что тяжело. Может быть, дальше будет полегче. Павел Акимович говорил, что кое-где есть чистая вода.

— Вряд ли, — говорю я. — Ветер начинается. Лед сжимает. Слышите?

Чувствуется, как вздрагивает корпус «Озерного». Это еще не настоящее сжатие, только предупреждение. Сжатие! Для нас это самое страшное. Скорлупки ведь!

Прекрасно понимает это и Пономарев. Надо любыми средствами скорее выйти изо льдов. Утром поступает команда: «Ледоколам взять на буксир грузовые теплоходы». Подошли еще два ледокола. Теперь их уже семь. Берут на буксир по четыре-пять штук. Кажется, такой метод оправдывает себя. Ход хороший. Все держатся кучно, никто не отстает, никого не надо окалывать. Наши буксиры идут самостоятельно. Они короткие, им легче маневрировать во льду, следовать по пробитому каналу.

Но караван подстерегает другая опасность. Часа через два следования на буксирах почти все рации грузовых теплоходов передали на ледоколы: «Меньше ход! Меньше ход! Из-под ваших винтов выворачиваются большие льдины, пробивают нам корпуса, сворачивают насадки, рули, загибают винты». Что же делать? Ведь надо идти как можно быстрее. Ледовая обстановка ухудшается. Об этом сообщает самолет ледовой разведки, который все время летает над нами и держит непрерывную связь с «Лениным». Ветер перешел на норд-ост. В проливе началось торошение льда. Пономарев вызывает Наянова к радиотелефону:

— Федор Васильевич, слышал, что передают летчики? Твое мнение?

— Надо идти.

— Я тоже так думаю. Будем идти. Если появятся серьезные повреждения, команды ледоколов помогут подлатать твои суда.

А с наших «перышек» на имя начальника экспедиции уже поступают тревожные радиограммы:

«СТ -701 получил пробоину в носовой части. Вода поступает

непрерывно. Капитан Иванов».

«Танкер -307. Трещина в корпусе. Поступает вода… Капитан Виноградов».

«Танкер-306. В носовой части оторвало обшивку от шпангоутов… Капитан Белоусов».

«СТ-954. Погнуты насадки… Капитан Смирнов».

Тяжелый и трудный путь! А вот приходит уж совсем скверная радиограмма:

«СТ-956. Льдина пробила корпус. Пробоина подводная, один метр на сорок сантиметров. Теплоход быстро кренится. Откачиваем воду, заделываем пробоину. Капитан Строганов».

Ледоколы подходят к пострадавшим судам, их команды вылезают на наши теплоходы, и начинается работа. Заделывают пробоины, приваривают оторванные крепления, выправляют рулевые тяги. Делают все, что могут. Движение на некоторое время приостанавливается. Несколько часов стоянки — и снова в путь. А он не становится легче.

Пять суток вела жестокую борьбу с водой команда «СТ-956». Несмотря на помощь людей с ледокола «Капитан Мелехов», полностью устранить течь не удалось.

.. Уже несколько ночей мы не спим на нашем «Озерном-82». Нам не до сна. На душе тревожно. Впереди еще долгий путь во льдах. Я все время думаю: «Правильно ли мы поступили, что повели караван? Может быть, надо было вернуться и не поддаваться соблазну провести все суда? Как выдержит это испытание наша «вольница», «случайные люди»? Пока ведут себя настоящими моряками, ни паники, ни истерических взываний о немедленной помощи. Сухие информации, дельные распоряжения… Наянов угадывает мои мысли и говорит:

— Молодцы ребята. Хорошо держатся. Ты вот возьми этого Строганова… Что он в Архангельске вытворял, что выделывал на берегу. Я его уже хотел снять… А тут спокоен, деловит. Морячиной оказался. Да не один он. Этот молодой, как его?.. Реслакин, что ли? Тоже не паникует.

…Миля за милей, миля за милей. Скрежет льда по корпусу. Застряли! Вперед, назад! Вперед, назад!.. Вот уже на траверзе чернеют домики мыса Челюскина. Мы в проливе Вилькицкого. Но по сообщению самолета льды кончаются где-то далеко впереди. Ветер понемногу усиливается, и они спускаются с севера, заполняют море. Когда же конец?!

Он наступил спустя шесть дней после начала ледокольной проводки. Обычно по чистой воде этот путь занимает не больше суток. А тут почти неделя! Никогда не осуществилась бы такая операция без атомного гиганта. Он прокладывал путь всем

остальным ледоколам и принимал первые страшные удары о лед. Тридцать восемь речных судов были выведены к сто двенадцатому меридиану. Там находилась кромка льда.

Она не принесла каравану облегчения. Кромка была в непрерывном движении. Почти на целую милю от сплошных ледяных полей плавали оторвавшиеся от них большие, тяжелые льдины. Восьмибалльный шторм от норд-оста гнал их в пролив. Они вставали дыбом, переворачивались, ударялись в днища и борта. В такой обстановке нельзя было оставаться ни минуты. Дорого стоила каравану эта последняя миля во льдах. Наконец чистая вода! Ледоколы отдали буксиры, попрощались с нами гудками и повернули обратно. Их ждала другая работа.

Норд-ост усиливался. В море гуляла высокая зыбь, не менее опасная для наших судов, чем льды. И тут выяснилось, что пятнадцать судов не могут двигаться самостоятельно. У некоторых от ударов льдин и волн отскочили цементные ящики, которыми были заделаны пробоины. Вода вновь начала поступать внутрь. Положение стало критическим. Надо было спасать суда. Счастье наше, что буксировщики, идущие в караване, как-то избежали повреждений. На них и легла трудная задача взять на буксир всех калек.

Шторм, темнота, снежные заряды, качка, холод, обледенелые тросы — вот в какой обстановке пришлось работать. Но и тут капитаны не подвели, также, впрочем, как не подвели и случайные команды. Все понимали серьезность положения. Нельзя было бросить поврежденные суда на произвол судьбы. Бросить — значило обречь их на гибель.

По нескольку раз капитаны буксировщиков подходили к беспомощно качающимся грузовым теплоходам, но штормовой ветер относил бросательные концы в сторону, и маневр повторялся заново. Это был каторжный труд. Не гнулись замерзшие пальцы, от пронизывающего ветра не спасала никакая одежда, резало глаза… Еще попытка, вторая, третья… и наконец в репродуктор на флагмане, от которого мы не отходили, слышится довольный голос капитана «Смольного», Этина:

— Буксиры поданы и закреплены. Взял четыре штуки. Могу следовать дальше.

Не успели мы выслушать рапорт Игоря Этина, как «Чукотка», а за ней «Нордвик», «Камчатка», «Меркурий» требуют связи с флагманом. Все докладывают об успешном окончании операции. Поврежденные суда взяты на буксир.

Но на этом испытания каравана не закончились. В море продолжался шторм. То у одного, то у другого рвались буксиры. Надо было ловить оторвавшиеся теплоходы, а в штормовом море

это задача трудная. Особенно, когда у тебя на «хвосте» висят еще два судна. Попробуй подойди!

Меня вызывают к микрофону. Узнаю простуженный бас Гидулянова:

— Я немного отстал от каравана. Оторвались два теплохода. Вы идите, не задерживайтесь. Мне тут «Рион» поможет… Его, правда, здорово заливает, но Юрка держится героем; Ну и плавание, черт бы его побрал!

Мне хочется съязвить, напомнить ему стоянку у Тыртова и его «лед на расплаве», но я сдерживаюсь и говорю:

— Хорошо. Будем следить за вами, дайте распоряжение радисту, чтобы все время находился у аппарата.

А шторм не прекращается. Море беснуется. На этом участке до самого Тикси нет ни одного места, где мы могли бы спрятать караван. Весь берег закрыт многомильным льдом. Да если бы его не было, все равно для защиты от ветров берег не пригоден. И все- таки первого октября весь караван без потерь пришел в бухту Тикси. Низовья Лены уже замерзали, бакены и вехи сняли, а нам еще предстояло подниматься вверх по реке больше чем на тысячу километров. Но это уже была река… Другие трудности, опасности и другой рассказ.

«Ледовое побоище», как назвали этот рейс моряки, надолго осталось в памяти, хотя и закончилось благополучно. В следующую навигацию весь приведенный нами флот успешно работал на Лене. Правильно решили Наянов и Пономарев: в следующем году пролив Вилькицкого для наших судов вообще оказался непроходимым.

Рейсы, рейсы… Бывали они и тяжелыми, похожими на «ледовое побоище». А иногда Арктика улыбалась речным «перышкам» и мы проходили весь путь по чистой воде. Но всегда видели лед. Он грозно блестел далеко на горизонте слева — напоминал о своем существовании. Наверное, чтобы мы не очень зазнавались.

О морской романтике

Меня часто спрашивали:

— Как это получилось? Был капитаном и вдруг стал литератором. Как ты дошел до жизни такой? Что толкнуло тебя на этот тернистый путь?

Я всегда отвечал:

— Хотелось рассказать о жизни моряков торгового флота. Об этом мало знают. Это главное.

Но была еще одна причина. Возможно, после возвращения из фашистского лагеря я бы больше и не стал писать. Дела житейские, необычные плавания на речных судах по морю, зимовки вдалеке от дома не способствовали вдумчивой, уединенной работе за письменным столом. Но случилось, что в одно из моих пребываний в Ленинграде дочурка приятеля попросила меня прийти на пионерский сбор и рассказать о странах, в которых я бывал, о плаваниях, и «что-нибудь обязательно страшное. Про штормы, гибель судов, огромные волны. Придете? Мы вас встретим».

Для такого торжественного случая я надел свой парадный костюм с золотыми нашивками, фуражку с «крабам» и отправился в школу. У входных дверей стояла стайка девчонок и мальчишек в белых рубашках и красных галстуках. Они окружили меня и с гордостью повели по коридору в свой класс. Ребят собралось много. Какая это была аудитория! Сияющие лица, блестящие глазенки, такое внимание, наверное, редко бывает на уроках. И я разошелся. Выдал все, что смог. Рассказывал смешные истории, и про океан, и о разных странах… В общем, я превзошел себя, выступил, как мастер художественного слова. Когда я кончил, ребята наградили меня аплодисментами. Они хлопали в ладоши, а торжественная, счастливая председательница совета отряда преподнесла мне на память книгу Льва Успенского «Шестидесятая параллель» с надписью о памятном дне встречи.

Меня не отпускали. Ребята просили рассказать еще что-нибудь. Но я и так говорил больше часа. На прощание я покровительственно спросил:

— Наверное, ребята, большинство мальчиков хотят стать моряками? Ну-ка, поднимите руки, кто хочет.

Я ждал, что поднимется лес рук. Но не поднялась ни одна. Я не верил своим глазам. «Стесняются», — подумал я, встал и подошел к черноглазому парнишке, сидевшему на первой парте. Помогу ему. Я потрепал его по голове.

— Ну, ты-то, наверное, хочешь быть моряком, по глазам

видно, да? — проворковал я. — Так?

Мальчик смущенно молчал. В задних рядах хихикнули.

— Ну, смелее, — подбадривал я будущего капитана. — Станешь моряком?

— Не-е… Я летчиком хочу быть, — прошептал мальчишка.

— И я! И я! И я! — пронеслось по рядам.

Я взял свою фуражку, сопровождаемый пионерами до дверей, покинул школу. Я был огорчен. И это после таких перлов красноречия! Как же так? Я вспомнил свою школу. Не будет преувеличением, если я скажу, что там каждый четвертый мальчишка мечтал стать моряком. Кто военным, кто торговым, но моряком. А тут ни одного.

Так родилась беспокойная мысль: «Надо написать книгу про человека, который захотел стать моряком. Рассказать мальчишкам о море. Ведь где-нибудь на далеком Алтае не знают, как оно выглядит. Рассказать о профессии моряка. О хорошем и трудном, веселом и горьком, обо всем. Привлечь молодежь на флот, заставить ее полюбить море. Если, прочитав мою книгу, мальчики захотят вступить на палубы судов, моя задача будет выполнена». Вот что еще толкнуло меня приняться за «Истинный курс».

После выхода в свет книжки пришли письма читателей. В основном от мальчишек. Они спрашивали, как им поступить в мореходные училища и школы, как стать моряком. Оказывается, они всю жизнь мечтали о море. Письма были разные. Одни серьезные, написанные после долгих размышлений, другие совсем детские. Писали мальчишки-семиклассники, желавшие немедленно поступить в матросы, бросить школу и плавать по морям. Писали и девочки. Они тоже хотели быть капитанами или кем угодно, если капитанами нельзя… Я радовался тому, что ошибся. Все-таки есть интерес к флоту и морю у молодежи.

Я принялся за новую работу. Написал сборник морских рассказов «Открытое море», а спустя несколько лет роман «Штурман дальнего плавания», положив в его основу кое-какие случаи из своей жизни. Но в общем-то это был роман с вымышленными героями и событиями. Теперь я уже не мог не писать. Мне казалось, что я еще очень мало рассказал.

Один мой бывший помощник, ныне молодой капитан, человек, который мне очень симпатичен, встретив меня после своих плаваний, говорит:

— Читал, читал вашу последнюю книжечку…

— Ну и как, понравилась? Про вас, про моряков… Капитан снисходительно улыбается.

— В общем, ничего, — говорит он и не смотрит мне в

глаза. — Про нее будет особый разговор. Вы только не обижайтесь. Я вот хочу вас давно спросить, где это вы берете таких моряков? Правильных. Все они у вас честные, влюбленные в море, смелые, бескорыстные, романтики… Ну где вы их взяли? Нет их теперь. Понимаете, нет. Вы живете какими-то старыми, допотопными понятиями. — Капитан нервно достает сигарету, закуривает и продолжает: — Нам некогда сейчас соблюдать традиции, проявлять какую-то особенную влюбленность в свою профессию. Море — это наша работа. Работа, которую мы должны делать хорошо. Мы всегда очень спешим. У нас короткие стоянки, надо так много успеть за эти несколько суток… Когда начинали плавать вы, конечно, все было по-иному. Вот и находилось время восхищаться и ахать: «Ах, море! Ах, моряки!» Нет, сейчас не то — работать надо. Вы только не обижайтесь, я искренне говорю. Неплохая ваша книжка, но как-то оторвана от современной жизни…

Я молчу. Мне немного грустно и очень жаль этого, в общем, славного молодого человека. Нет, такой не скажет: «Посмотри скорей!», увидя восход солнца где-нибудь в Тихом океане, когда оно, вырвавшись из-за горизонта, окрасит воду и небо удивительной гаммой оранжево-пурпурных золотых тонов, он не задержится на причале посмотреть, как швартуется чужое судно, и не вытащит секстан из ящика, если можно определиться по радиопеленгам. Мне жаль его. Как много он потерял, лишив себя романтического в своей профессии. Как много незамеченного проходит мимо его глаз…

Да, есть, конечно, и такие. Не тяготящиеся, но и не влюбленные. Ремесленники. Если такому предложить высокооплачиваемое место на берегу, ведь он уйдет. Конечно, уйдет. И последний взгляд, брошенный на судно, ошвартованное у причала, глядящее на своего теперь уже бывшего капитана теплыми желтыми глазами-иллюминаторами, ничего не скажет его душе. Он уйдет равнодушный, не заметив неряшливо болтающегося за бортом конца… И все-таки большинство моряков не такие.

Если критически посмотреть на морскую работу, то, казалось бы, что может привлекать в ней нормального человека? Изнурительная качка, многомесячные рейсы, однообразная природа, тоска по родине, семье, дому, обществу друзей, опасности, постоянно подстерегающие моряков… Ну что хорошего, привлекательного? Деньги? Их можно заработать на берегу. Оригинальные заморские вещи? Теперь их продают и в наших магазинах. Любопытство? Хочется посмотреть на чужие страны? Не слишком ли высокая цена за удовлетворенное

любопытство? Так почему же идут люди в море?

Вот тут и пришло время высказать свою точку зрения. Настоящий моряк не может быть только техником, он должен быть непременно немножко романтиком. Если это не так, человек не останется долго на флоте. Он очень быстро покинет море…

А может быть, я не прав? Может быть, я не знаю современной молодежи и мой приятель молодой капитан разбирается в душах своих сверстников лучше, чем я? Возможно, выводы, сделанные мною за многие годы плаваний, ошибочны? Надо бы узнать, что думает и о чем мечтает наша смена, молодежь из мореходных училищ. Ведь через несколько лет они встанут на палубы наших огромных, современных теплоходов и будут задавать тон на флоте. А какой тон они будут задавать? Такой, о каком говорил мой молодой друг? Надо проверить…

И вот я гость капитана учебной баркентины «Сириус». Надо мной надутые паруса, посвистывает ветер в снастях, чуть накренясь, парусник скользит по начинающему сердиться морю. Темнеет. Мне удивительно хорошо. Чем-то очень молодым, далеким пахнуло на меня от этих парусов, поскрипывания переборок, запаха просмоленной пеньки и тросов, так давно не слышанной мною команды: «Все наверх! Паруса ставить!»… Но мне никуда не надо лезть, ни на какие реи, у меня нет обязанностей, никто не обращает на меня внимания. Я гость.

Вот баркентина сделала поворот. Шкоты и брасы вытянулись. Теперь мы пойдем так несколько часов. Курс длинный. Без лавировки. Отпущена подвахта с палубы. Становится тихо. Слышны только удары волн о штевень да поскрипывание рангоута. Стало уже совсем темно. Осенью на Балтике ночи подкрадываются незаметно. Тускло освещает верхние паруса лампочка на клотике. Это для рулевого. Вахтенные забираются в укрытые от ветра места. Появляются красные точки зажженных папирос. Наступило время неторопливых бесед.

Я незаметно подсаживаюсь к курсантам. В темноте не видно лиц, и я вполне могу сойти за вахтенного.

— Последний рейс, — слышится чей-то голос. — Придем в Ленинград и снова в училище. Надоел этот парусник со страшной силой… Скорей бы на настоящий теплоход попасть…

— А мне так понравилось. Больше такого в жизни испытать не придется. На теплоходах еще наплаваемся, правда? — отвечает другой высокий, похожий на девчоночий, голос. — Говорят, что больше парусников не будет. Отплавают свой век и на слом…

— Ну и пусть ломают. Не будут мучить нам подобных. А мне так хочется скорее в большое море. Подальше. Куда-нибудь в Австралию, Южную Америку, Канаду…

— Как на это еще твоя рыжая посмотрит? Не пустит. Скажет: «Сиди, Толик, дома».

Курсанты смеются.

— Не скажет, — уверенно говорит неизвестный мне Толик. — Мы с ней договорились. Она уже морально подготовилась к длинным разлукам. Ничего. Сильней любить станет…

— А сам-то ты подготовился? Годика три так поплаваешь и как бы на берег не запросился, браток.

— Этого не будет. Когда я в училище шел, то уже знал, что всю жизнь проведу на море. Зачем тогда в училище поступать? Бессмысленно.

— Почему бессмысленно? Получу высшее образование, а там выбор широкий. Хоть в море, хоть на берег… — прерывает Толика другой курсант.

— Шел бы тогда в гуманитарный. Нечего тебе курсантский клеш протирать…

— Он, рябчики, из-за формы пошел. Девочки нашу форму любят…

— Не знаешь ты наших девочек. Они не форму любят, а заграничные шмутки, которые мы им привозить будем. Смотри в корень…

— Мне море до лампочки, — сказал веселый голос. — Кончу и «здоровеньки булы»! Здесь временная посадочная площадка. Поят, кормят, одевают…

— Карьерист ты, Володька. Куда лететь собираешься?

— К заоблачным высотам. Вам так все и скажи сразу. За мной побежите, ни одного в мореходке не останется…

— Нет, братцы. Для меня существует только море. Я вот жду не дождусь, когда встану на самостоятельную вахту, буду определять место судна, прокладывать курсы, швартоваться. Так что за тобой, Володька, не побегу…

— Кливер шкоты подобрать! — раздается команда вахтенного штурмана. — Спите тут, ничего сами не видите.

Несколько человек нехотя встают и идут подбирать шкоты.

За десять дней моего пребывания на баркентине я услышал много разных разговоров, показывающих отношение этих мальчиков к морю, их будущей службе и к жизни вообще. Чего скрывать, были среди них парни, похожие на Володьку с его «перелетными» планами, были равнодушные, попавшие в Мореходное училище по принципу: «Все равно, в каком высшем учебном заведении получать образование», встречались и просто любители больших заработков, думающие, что на флоте «умному» человеку деньги сами в карман сыплются. Всякие были… Но большинство ребят оказались другими. Они мечтали о

море. Они с нетерпением ждали получения диплома не для того, чтобы убежать с ним в какое-то другое место, а чтобы встать на мостик и впоследствии командовать кораблем. В этом была их конечная цель. С каким уважением они говорили о море и морской работе. Их не пугали ни короткие стоянки, ни длительные рейсы, ни частые разлуки с любимыми. Они готовились стать настоящими моряками. И они были преданными влюбленными. Мне стало очень приятно, что я оказался прав. Теперь я был уверен, что тон, который зададут эти юноши, придя на флот, будет правильным, таким, как нужно.

Сойдя с борта «Сириуса», я поехал в Ленинград и принялся за давно начатую книгу. Мне хотелось в ней рассказать и о том, что я видел и слышал на учебном судне. Так появилась повесть «Золотые нашивки». В ней действуют капитаны Шведов и Нардин, курсанты Тронев, Роганов, Курейко, Хабибулин, девушки Зойка, Марина, Валерия Николаевна… Все это люди с разными характерами и вкусами, но это хорошие люди, влюбленные в свое дело моряки… Мне хотелось показать именно таких. Образованных, способных руководить сложным предприятием людей и обязательно немножко романтиков.

Много юношей мечтает о море. Они видят его в своих снах, жадно ловят каждое слово о нем, они делают деревянные плоты, утлые лодчонки и отправляются в далекие плавания по рекам и озерам. Ведь для многих море слишком далеко. Но они уже вдыхают «ветер дальних странствий» и чувствуют себя моряками. И рано или поздно они станут ими. Это неотвратимо. Они поступят в училище, познают мореходные науки, и, наконец, придут в море, принеся ему свою любовь.

Я хочу привести только один отрывок из письма такого влюбленного:

«…Знаете, когда я выхожу в море, то все плохое, что случается со мной на берегу, постепенно забывается или становится таким незначительным по сравнению с величием природы, с которой я соприкасаюсь. Мне кажется, что только в море можно познать это величие. Правда ведь? Нас всего тридцать два человека на судне. Горсточка людей, оторванных от берега. Но чувствую себя среди родных. У нас все за одного, один за всех.

А какой у нас теплоход, если бы вы знали! Так и хочется погладить его борт, когда ты подходишь к нему. Я то уж знаю, что он не выдаст ни при каких обстоятельствах. Попадали мы в переделки! Надежный друг. Я плаваю на нем уже два года, и мне не хочется никуда уходить. Даже на более выгодные рейсы.

У нас замечательный капитан. Мне кажется, что от капитана

на судне зависит очень многое. Наш капитан молодой, немного горячий и вспыльчивый, но справедливый. К нему можно прийти со всяким вопросом, он поможет. Мы не променяем его ни на кого другого.

Вы плавали много и знаете, как все бывает на судне. Но мне хотелось, чтобы вы пришли к нам на теплоход и убедились сами: все, что я пишу, правда.

Сейчас я в отпуске, у себя дома…

Виктор А., матрос первого класса».

Это письмо напомнило мне далекую молодость.

Месяца два тому назад у меня в гостях побывал знакомый капитан Александр Николаевич А. Мы сидели за столом, курили, вспоминали прошлые плавания, и, конечно, разговор коснулся будущего нашего флота.

Александр Николаевич, насупив свои густые с проседью брови, недовольно оттопырив нижнюю губу, ворчливо говорит:

— Вот мы уйдем, кто тогда будет плавать, а? За нами многолетний опыт, знание моря… А теперь? Зеленая молодежь. Вчера в мореходке учился, сегодня уже капитан. Да еще какого судна! Очень уж быстро выдвигаются. Моря не успели узнать, опыта получить. В наше время, помнишь? Третьим наплаваешься, потом вторым, а уж тогда старшим лет пять-шесть. Школа, я вам скажу! А теперь что? Раз, два и в дамки. Не судоводители, а судогубители! Аварий-то ведь больше стало… А старых моряков понемногу оттесняют на задний план…

Александр Николаевич сердито отворачивается. Ему не хочется признавать, что сейчас другая работа, темп жизни другой. Там, где его судно выгружали за неделю, сейчас выгружают за сутки. Он ходил на своем паровичке восемь-десять миль, сейчас суда идут по восемнадцать. Теплоход на семь тысяч тонн казался тогда гигантом, а теперь на судно в двадцать тысяч тонн никто не обращает внимания. Он не понимает, что подготовка капитанов отстает от строительства новых судов, что нельзя задерживать рост способных людей.

Нет, я не согласен с Александром Николаевичем и, закуривая новую сигарету, говорю этому седовласому ворчуну:

— Пока существует мир, старое всегда уходило, а молодое занимало его место. Жизнь не останавливалась, суда никогда не переставали плавать, перевозить грузы из-за того, что уходили старики. И потом, почему бы им не плавать? Вот ты несправедливо отозвался о молодых капитанах — «судогубители», мол. Неправда, Я тебе приведу десятки примеров, когда именно молодые люди показывали высокое морское мастерство. Что, нет?

Разве капитан «Черняховска» в океане в один и тот же рейс не спас два горящих судна, или команда «Мичуринска» не проявила мужества и находчивости, дав отпор провокационным действиям южноамериканских властей, или у тебя не вызывает восхищения операция по буксировке в Атлантике в шторм огромного теплохода «Клин» теплоходом «Ижевск». А кто командовал судами? Молодые, совсем молодые моряки. Нет, дорогой мои, ты не прав и на все смотришь с позиции собственного положения и возраста. Всегдашняя ошибка поколений… Корабль идет дальше и никогда не остановит своего движения. Семь футов ему под килем!..»

Он рассердился тогда на меня, милый несовременный Александр Николаевич, защитник старых довоенных порядков, эмблем, формы… Обвинил в «приспособленчестве к веяниям», в неуважении к собственному опыту и стажу… Но я искренне уверен, что он все-таки не прав.

Осенью 1973 года я познакомился с капитаном Балтийского пароходства Анатолием Павловичем Былкиным. С капитаном «новой формации». Так мне его рекомендовали. Он командовал большим грузовым теплоходом «Владимир Ильич» и ходил в самые далекие рейсы — Австралию, Канаду, Южную Америку, Японию.

— Вы спрашиваете, как я смотрю на морскую романтику? — Анатолий Павлович в раздумье поерошил свои густые черные волосы. — Она уже не совсем та, что была в ваше время…

Я сделал протестующий жест.

— Нет, нет, — улыбнулся капитан. — Она осталась. Есть чувство нового, борьба со стихией, экзотика, красота окружающей природы, океан… Но мне кажется, что сейчас первое место занимает романтика морского труда. Что это такое? Удовлетворение своей работой, результатами, которых добился ты и твой экипаж. Представьте себе теплоход, оснащенный самыми современными механизмами и приборами. Это целое большое предприятие, и оно подчиняется тебе, оно должно хорошо работать, приносить государственный доход. И вот, когда в конце года выясняется, что мы дали около двухсот тысяч внеплановой прибыли, у меня, например, прекрасное настроение. Значит, мы не напрасно трудились, изыскивали новые статьи экономии, использовали передовые методы труда. А как важно, когда весь экипаж думает над этим! Вы поняли меня?

— Да, в общем-то понял, — кисло ответил я. — А не скучновато? Только и думать, что о прибылях.

— Что вы! Совсем нет. Увлекательно, — загорелся Анатолий Павлович. — Согласитесь, что в основе торгового

мореплавания, — само слово «торговое» говорит за это, — должна лежать экономика, рентабельность. Это цель… А достичь этой цели могут только хорошие моряки. Прекрасные судоводители, технически образованные люди, знающие и морское право и иностранные языки. Такими нас стараются выпустить из училищ, и мы сами стараемся быть такими. Вот вам и романтика. В наш быстротечный век космоса, кибернетики и электроники нельзя слишком долго задерживаться на одном месте. Мы обязаны успевать за техникой.

— Техника, техника… — грустно сказал я. — А еще кроме техники и рентабельности есть что-нибудь для морской души?

Былкин опять улыбнулся.

— Я же сказал: все есть. И влюбленность в свою профессию, и тоска по родному берегу, и следование хорошим морским традициям, любовь к судну… Все это осталось и входит в понятие морской романтики, но меня из этого комплекса, буду откровенен, больше всего интересует экономика… — и заметив, наверное, мой печальный вид, мягко добавил: — Время сейчас другое, Юрий Дмитриевич…

Я ушел от Анатолия Павловича немного разочарованным. В первый момент он показался мне уж слишком «коммерческим капитаном». Но потом, поразмыслив, пришел к выводу, что именно таким и должен быть современный капитан. Человеком думающим, умеющим считать государственные деньги, образованным, отличным судоводителем.

Это знакомство еще раз подтвердило мою точку зрения. На молодежь можно положиться. А то, что у нас не совсем одинаковые представления о морской романтике, что ж? Время сейчас, действительно, другое.

Корабль идет дальше

Я стою на берегу бухты Хара-лахт и смотрю на серую шершавую поверхность воды. На песок накатывают волны. Тихонько шуршат. За спиной высокие сосны. Среди них дом. В нем я поселился с женой. Решили наконец отдохнуть вдвоем.

Над горизонтом собираются тучи. Значит, скоро подует ветер. От зюйд-веста. Такие облака обычно предвещают зюйд-вест. Из-за мыса выползает далекий теплоход. Это лесовоз типа «Игаркалес». Я узнаю их с самого далекого расстояния по кольцу на мачте. Идет на запад…

Ну, вот и усилился ветер. Все небо покрылось тучами, а на море появились барашки. Я возвращаюсь домой. Сажусь на веранде в кресло, распахиваю дверь, закрываю глаза и вдыхаю запах моря. Оно так вкусно пахнет! Я вспоминаю прошлое. Здесь хорошо думается. Неторопливо текут мысли…

Хлопнула калитка. Девушка в черном блестящем дождевике, похожая на стройного гномика, бежит по желтой песчаной дорожке. Вот она уже протягивает мне белый листок. Это Эльви, почтальон нашего поселка. Ей семнадцать лет.

— Тереихтутс,[24] —приветствует меня Эльви и приседает. — Это вам…

Телеграмма. Я не люблю телеграмм и потому не спешу ее прочесть. Они всегда волнуют. Что в ней? Горе или радость?

Я беру из стоящей на столе вазы красную гвоздику, подаю девушке.

— А это вам. Вы будете красавицей, Эльви, — таинственно, как гадалка, говорю я. — Вас обязательно похитит какой-нибудь лихой капитан с большого морозильного траулера, и вы…

Но Эльви не понимает. Она еще плохо знает русский язык.

— Айта. Ятайга![25] — улыбается девушка и делает книксен. Так здесь принято. У калитки она садится на свой велосипед, на прощание машет рукой.

Я медленно разрываю бумажную ленточку, читаю: «Прошу вас принять участие перегоне навигацию этого года. Рейс Черное море — Север. Согласие телеграфируйте. Выезд через две недели. Наянов».

Вот тебе и отдых вместе с женой! Без забот, без судна и команды, без волнений. Пропадут прогулки по лесу, купанье на пляже, вечерний чай на веранде и приятные беседы с друзьями, приехавшими из Ленинграда… Так мы мечтали с Лидочкой. Нет… Пойду на телеграф, поблагодарю и откажусь. Надо же, в самом деле, хоть одно лето побыть с женой…

Но ветер дальних странствий, как в юности, уже дует мне в лицо, я испытываю знакомое беспокойство, оно всегда охватывает меня перед уходом в плавание… Я срываюсь с кресла, бегу на почту. Хватаю голубоватый телеграфный бланк и пишу: «Согласен».

notes

Примечания

1

Капитаны носили четыре с ромбовидной загогулиной.

2

Рогали — (шутливое) матросы, духи — кочегары.

3

Хорошо, рулевой! (Нем.)

4

Старший помощник (англ.).

5

Топливо на предстоящий рейс.

6

Неприятности (англ.).

7

Плата за провоз груза (нем.).

8

Оплата за простой судна (англ.).

9

Капитан порта (англ.).

10

Приемщик груза (нем.).

11

Продолжай! (Нем.)

12

В. Бережков. С дипломатической миссией в Берлин. 1940–1941 гг. 1966, стр. 116.

13

Подъем! Быстро! (Нем.)

14

Перекличка! (Нем.).

15

Особое сообщение (нем.).

16

Дерьмо (франц.).

17

В. Бережков. С дипломатической миссией в Берлин. 1940–1941 гг. 1966, стр. 145.

18

Прибирать! (Нем.)

19

— Короткой дорогой!.. Быстро!

— Господин Клим, невозможно. Тяжело. Длинной дорогой… Пожалуйста.

— Смирно. Марш! Короткой дорогой!

20

— Два часа! Газеты, комендант! Быстро!

21

А ну потише…. А то мы скажем коменданту, что вы украли пакет. Курите английские сигареты. Понятно? (Нем.)

22

Перемещенные лица (англ.).

23

Угощайтесь, пожалуйста (англ.).

24

Добрый вечер (эстон.).

25

Спасибо. До свидания! (эстон.)